

НОВОБЫТЪ
МИРО

6

1951

6

НОВОБЫТЪ МИРО

1951

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 6

Июнь, 1951 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕОРГИЙ ГУЛИА — Кама, повесть	3
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — На британских островах, стихи	82
ДМИТРИЙ ОСИН — Большой Днепр, рассказ	86
ПЛАТОН ВОРОНЬКО — Возрождение, стихи. Перевод с украинского П. Железнова	106
СЕРГЕЙ МУШНИК — Над полевым станом, стихи. Перевод с украинского Вл. Фёдорова	108
Н. НОСОВ — Витя Малесз в школе и дома, повесть	109
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Мальчишка, стихи	191
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — В Германии	193
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ан. ТАРАСЕНКОВ — Величие Горького	218
Б. ДАЦЮК и К. КОВАЛЕВСКИЙ — Создать историю русской журнали- стики!	229
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Н. Капиева — Пробуждение народа. — Ю. Карасёв. Бледно и невырази- тельно. — К. Лапин. Сборники латышской поэзии. — З. Кедрина. Твор- ческий портрет писателя. — С. Розанова. Критика, идущая от жизни. — Л. Зонина. Непокорённая Греция.	
<i>Борьба за мир. Международные отношения. История</i>	
А. Палладин. Правые лейбористы — прислужники капитала. — Б. Алек- сандров. Национальное движение в Индии. — А. Иглицкий. Весна в поль- ской деревне.	259

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
	268
<i>Техника</i>	
М. Голей. Знатные курыне. — Н. Томан. «Полоса чудес».	
<i>Этнография</i>	273
Е. Лукашова. Великий гуманист.	
<i>Естествознание</i>	276
Вл. Львов. Журнал «Природа».	
<i>Химия</i>	279
М. Азарин. Творец теории химического строения.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Апрель — май 1951 года)	283

ГЕОРГИЙ ГУЛИА

★

КАМА

Повесть

1

Снова передо мной сакенская земля...
Лето, что называется, в разгаре. Горные вершины непрерывно курятся, как трубки столетних старцев. Овраги по ночам наполняются тёплыми туманами. Лесные тропы потерялись в высокой траве, мрачные, серые скалы покрылись зелёным мохом...

Но лето нынче со странностями — уж больно дождливое, с частыми грозами. Дожди докучали людям, словно для того, чтобы подольше запомнили они этот срединный год столетия и чтобы могли говорить сакенцы: «В тот год, когда лето было особенно дождливым, когда молнии сбивали башлыки с голов, а реки угрожали всемирным потопом...». Одним словом, любители преувеличений уже заранее предвкушали эти и подобные им, по-сакенски сочные, выражения.

Сакенские метеорологи — прямые наследники старинных звездочётов — без устали толковали о чудачествах природы. А те из них, что возрастом своим соперничали с вековыми дубами, выискивали в памяти годы, когда лето бывало столь же странным, как и в этот, 1950-й год.

И всё же, друзья мои, стояло лето. Пусть выпадали дожди, но по всему было видно, что влага небесная проливается не на холодную землю, а на землю горячую, полную внутреннего жара. Словно кто-то снизу подогревал огромную зелёную жаровню, название которой Сакен, — жаровню, на которую обрушивались ливни и тотчас испарялись, чтобы снова заполнить огромные небесные пространства...

Лето шло своим чередом, и протекало оно неплохо. После любого, даже самого надоедливого дождя рано или поздно наступает прояснение (твёрдое правило в поведении и сакенской природы). Вдруг после очередной непогоды раздвигались тяжёлые тучи и солнце начинало нещадно припекать землю. Мгновенно забывались дожди, стар и млад выходил на кукурузные поля и табачные плантации, а весёлые песни взлетали до самых высоких вершин. Только падение иного сакенца, поскользнувшегося на влажной глинистой тропке, напоминало о недавнем дожде.

В один из субботних дней, когда солнце клонилось к закату и очень мало или вовсе не думалось о дождях, горной, нехоженой дорогой шли два путника. По виду это были туристы — рюкзаки за спинами, в руках — ледорубы, обувь на шипах и лёгкая, но тёплая одежда.

Должен отметить, что туристы в горах — явление обычное, я бы даже сказал, будничное, особенно летом. И появление двух молодых людей

едва ли могло удивить кого-нибудь. Однако шагали они слишком торопливо, как не полагается шагать даже опытным горцам, — и это обстоятельство было не совсем понятно. Путники одолели долгий и трудный путь, который идёт через Клухорский перевал. Теперь овраги и косогоры, скалы и тропы уже не казались им трудными. Верно, горы здесь уступали в величии и моши хребтам, через которые недавно пролегал их путь. Ноги отлично чувствовали разницу... Остаётся предположить, что туристы торопились прибыть засветло к определённом месту.

Солнце наполовину скрылось за ближайшим хребтом. Из ущелий потянуло прохладой. Река Клыч пенилась на перекатах, обдавая холодными брызгами серые глыбы, загромождавшие многотрудное, скалистое ложе. А в заводях чуть слышно булькала ледниковая вода, словно молодое вино в просторном и глубоком чане. Леса настораживались в преддверии сумерек, становилось спокойней, торжественней...

И вдруг раздался выстрел.

Он прогрохотал, этот выстрел, словно орудийный гром, и долго отзывался в горах, уходя всё дальше и дальше — к перевалу. Выстрелили из ружья — это было ясно. И тот из двух, кто шёл впереди, упал и беспомощно скатился к самой реке. Ноги, обутые в грубые ботинки, по колёно погрузились в воду.

— Антонио! — вскричал другой, бросаясь на помощь к товарищу. — Что с собой?

Антонио, сухощавый малый, с острым носом и чёрными вьющимися волосами, корчился от боли.

— Нога, — проговорил он. — Помоги мне, Дмитрий.

— Кто стрелял?

— Не знаю...

Тот, кого звали Дмитрием, бережно оттащил своего друга от реки. «Кто же стрелял?» — спрашивал он себя, беспокойно озираясь вокруг.

— Я стрелял! — неожиданно раздался голос с противоположного берега, поросшего густым сосновым бором.

Из лесу вышел высокий, плотный мужчина с ружьём в руках. Он был одет в кожанку, а голову его венчала пушистая чёрная папаха солидных размеров. Молодым туристам он показался великаном.

— Клянусь своим здоровьем, — продолжал великан, спускаясь по крутому берегу и уверенно шагая по мелководью, — я попал в самое сердце. Он взревел и упал мордой вперёд... Что с вами? — обратился великан к путникам, притоптывая на каменистом берегу, чтобы стряхнуть с сапог речную воду.

Он не то что был великан, но и простым смертным его, пожалуй, не назовёшь. Первое, что сразу бросалось в глаза, — это недюжинное, крепкое здоровье, при котором любой насморк — сущий пустяк (по сакенским понятиям, самой неизлечимой и самой прилипчивой болезнью является насморк).

— Так это вы стреляли?

— Я, чёрт возьми, и ежели есть у него душа — она уже там... — и стрелок указал на небо. — А что с твоим товарищем?

— Я ничего не пойму... Я думал, это вы...

Человек в папаче расхохотался.

— Вчера был дождь, дорогой мой, — сказал он, — а это — жёлтая скала... Сакенская скала... Ясно?..

Антонио улыбнулся, превозмогая боль.

— Я сломал ногу, — проговорил он.

— А это мы сейчас посмотрим, — сказал человек в папаче, беря

Антонио на руки. — Идём туда, под ту скалу — там сухо, клянусь здоровьем

В жёлтой, с красноватым оттенком скале было выбито углубление, а в нём — небольшие каменные уступы.

— Это дом для пастухов и охотников, — сказал человек в папахе. Он уложил Антонио на один из уступов. Затем взял его правую ногу в свои грубые ручки. Антонио вскрикнул.

— Чепуха! — сказал человек в папахе тоном учёного хирурга, распотрошившего живот больному и ничего не обнаружившего, кроме здоровых кишок и желудка. — Чепуха! Когда перелом — кричат не так. Совсем не так! Когда перелом — визжат, как шакалы. А у тебя голос раненого оленя. Ясно?.. А теперь познакомимся. Я — Никуала, председатель союза охотников. — Из скромности Никуала счёл нужным присовокупить скороговоркой: — Сакенского союза...

— Я — Дмитрий Сомов, а это мой друг, Антонио Гомес.

— Как?! — воскликнул Никуала. — Антонио? Это очень приятно! У нас тоже есть Антон... Антонио и Антон — это всё равно... Только наш Антон большой чудак.

Никуала живо собрал сухие веточки, и вскоре запылал небольшой, но буйный костёр.

— В горах отдых нужен, — говорил Никуала Дмитрию и Антонио. — Отдохнул, согрелся — и пошёл себе дальше... Извиняюсь, вы куда держите путь? — обратился он к Дмитрию.

— В Сакен, — ответил Дмитрий.

— К нам? — изумился Никуала, но тотчас же спохватился, ибо неприлично хозяину изумляться, когда перед ним гости. И он заметил: — Да, конечно, Сакен хорошее место... Теперь у нас можно так: сел в машину — и приехал в Сакен... Положим, не совсем в Сакен... До Сакена ещё три километра останется... Машины дорожные работают, смолу варят у нас, скалы взрывают... Одним словом, в хорошее время вы явились...

— Ну как, Антонио? — спросил Дмитрий.

Антонио привстал, но не смог ступить и шагу. Он тяжело опустился на камень и снял ботинок.

— Режьте мне голову, — говорил между тем Никуала, — ничего страшного. — Однако при виде сильного кровоподтёка на лодыжке и распухшего колена он попытался пояснить свои слова «ничего страшного». — Это ушиб, Антон, простой ушиб. Мы позовём врача, сделаем тебе костыли, уложим на две недели в постель — и готово!

Однако эта перспектива не доставила Гомесу особенной радости. Он улынулся перекошенным от боли ртом и снова лёг на каменное ложе.

— Верно, — сказал Дмитрий, — полежи немного, успокойся... А до Сакена далеко, Никуала?

— Далеко? — Никуала усмехнулся. — Ты знаешь гору Клыч? Она — за спиной у нас. Перейди её — и Сакен в кармане!

— Это, как видно, не близко... — усомнился Дмитрий.

— Но и не слишком далеко, — простодушно возразил Никуала. — Мы сделаем так: доберёмся до станции... до нашей гидростанции, оттуда позвоним в Сакен, вызовем машину — и всё! Мы — это значит я... А в больницу не поедем, — предупредил он, — прямо ко мне домой!

— Видите ли... — начал было Дмитрий.

Но Никуала остановил его решительным жестом.

— Я позвоню, — сказал он. И, чтобы рассеять всякие сомнения, продолжал: — Между прочим, я был председателем... председателем сельского совета. Конечно, ответственный пост, но, дорогие мои, а как же

быть с охотой? Охота в Сакене — первое дело. Ясно? Вот меня и перевели в охотничий союз... Слышали, сейчас я одного медведя — бац! — и нет его. Медведи здорово портят кукурузу: на пять копеек поедят, а на тысячу рублей вытопчут. Медведей убивать надо! — заключил Никуала жёстко, слишком жёстко даже для охотника.

— А много у вас охотников-то? — справился из вежливости Дмитрий.

— Да, ружья многие носят, — уклончиво ответил Никуала. — А больше всё с землёй возятся, скалу дробят, дороги проводят, табак сажают... Нет, настоящих охотников мало, раз, два — и обчёлся.

Никуала загнул большой палец, немного подумав, загнул и указательный, а до среднего так и не добрался.

— Нет, очень мало, — повторил он.

— Что так? — удивился Дмитрий. — Гор много, а охотников мало?

Никуала почувствовал, что представился удобный случай, и оседлал своего любимого конька.

— Объясню почему, — начал он горячо. — Есть у нас такой человек — Кесоу Мирба. Ему подавай табаку да кукурузы. Другой вот, Тараш Лоу, от чахотки умирал, — ничего, вылечили... Он подстать Кесоу... Есть ещё, знаете, Кама, по фамилии Нанба, агротехник... Ей подавай чай и лимоны в Сакене, и Тараш — заодно с ней... Да вот ещё Константин Алан, бригадир, наш секретарь партии, тоже с ними... А настоящий охотник головы своей не жалеет, днём и ночью не спит, лесными делами занят... Ясно?

Ясно было одно: Никуала чем-то ущемлён. Однако его отрывистая и не слишком логичная речь больше давала пищи для чувств, нежели для ума. И в ответ на «ясно?» Никуалы — Дмитрий кивнул не совсем уверенно.

Антонио попробовал изменить положение ноги, но ему это оказалось не под силу.

— Очень извиняюсь, мне хочется знать, откуда у тебя такое имя? — спросил Никуала Антонио.

— Вы слышали про Испанию? — сказал Дмитрий.

— Про Испанию?

— Антонио Гомес — испанец.

— Антонио Гомес! — повторил Никуала.

— Он приехал к нам в тридцать седьмом... Он дрался с Франко, — пояснил Дмитрий.

Никуала с восхищением взглянул на Гомеса.

— Я много воевал, Антонио, — сказал охотник, — я видел Дон, видел Волхов... Ты знаешь Волхов? Там стояли мы против «Голубой дивизии». Я брал испанских фашистов в плен. Наверное, ты стрелял в них в тридцать шестом, а в сорок втором стрелял я. — И Никуала с удовольствием продолжал: — Знал я одного испанца из нашей дивизионной разведки... Звали его Пабло, что значит по-русски Павлуша... Хороший был парень. О Мадриде рассказывал... Я приглашал его в Сакен, да кто знает, где он теперь?.. Ну, ничего, Антон, теперь ты будешь моим гостем.

Антонио улыбнулся в знак согласия.

Никуала отвёл в сторону Дмитрия и сказал:

— Дмитрий, все в Сакене знают, как я воевал против испанских фашистов. Ясно? Я слышал о Мадриде. Знаю, что за птица Франко. Я рассказал сакенцам о Павлуше, или, если хочешь, о Пабло. Дома я тебе его карточку покажу... — Он взял Дмитрия за пуговицу: — Ежели пойдёте не в мой, а чужой дом — мы с тобой враги! Ясно?

Дмитрий твёрдо обещал Никуале быть его гостем.

— А теперь, — сказал охотник, вполне довольный, — мы вытащим убитого медведя и посмотрим, что он за зверь. Ты, Антон, не бойся. Мы споём песню, которую поют для раненых... Хорошая песня. — Он присел на корточки перед Гомесом, первым испанцем, ступившим на древнюю сакенскую землю. — Мы будем петь, и тебе станет легче, тебе будет очень хорошо. Помни: ежели в ноге засела пуля — пой эту песню! Ежели нож торчит в груди — пой эту песню! Ежели чёрная туча в душе — пой эту песню, и тебе будет очень хорошо!

Антонио с сокрушением наблюдал, как угрожающе пухла его нога...

2

Гостя в Сакене нюхом чуют. Гость, говорят, излучает нечто такое, что немедленно согревает всех сакенцев. Если это гость знатный — слух о нём распространяется быстрее электричества, даже быстрее сакенского электричества (сакенцы почему-то убеждены, что электричество у них особенное, как, впрочем, и земля, и вода, и воздух)...

День был воскресный.

Первым побеспокоил Никуалу Антон Рашба. Это было ранним утром. Он покашливал и переминался с ноги на ногу у лаза в плетне, не решаясь перешагнуть во двор.

— Чего тебе? — буркнул недовольный Никуала. — Заходи, что ли...

— Послушай, — сказал Антон вкрадчивым, а посему скрипучим голосом (тембр, специально приспособленный для елейных речей), — правду ли говорят, что тебя посетил очень интересный гость?.. Разумеется, такому хозяину, как ты, только знаменитость и подстать...

Никуала смягчился. Этого сакенского охотника можно было победить только лестью.

— Твой тёзка, — сказал он грубовато, но без злости. — Однако тебе до него далеко, как до неба. Это смелый человек, и горы и леса ему нипочём. Он прыгает по скалам, словно козуля. Даже ногу себе сломал.

Человек, сломавший ногу в горах, без сомнения, храброго десятка — это отлично понимал Антон Рашба.

— А откуда он родом, Никуала?

Антон осторожно переступил через лаз и засеменил рядом с хозяином.

— Испанию знаешь?

— Испанию?! — воскликнул Антон.

— А Франко знаешь, этого подлеца?

— А при чём тут подлец, Никуала?

Охотник едва удостоил Антона взглядом, исполненным глубочайшего сострадания, и не сказал ни слова. Но чуть попозже заметил:

— Ты посиди здесь, они ещё спят... У меня с этим парнем общие враги. Я их «Голубую дивизию» бил вот этой рукой, — Никуала вытянул правую руку и сжал пальцы в кулак так сильно, что они хрустнули... — А насчёт Франко поговорим с тобой как-нибудь на досуге, а то неудобно — в Сакене, и вдруг такое непонимание... Ясно?

Антон направился в кухню, на которую указал ему Никуала.

Это была маленькая избушка; из неё валил дым, и сладкие запахи жареного мяса, перца и прочей снеди, а главное, крепкие пары вина и водки разносились по двору, пленяя каждого, кто приближался к этому великому алтарю сакенского гостеприимства...

Никуала был не таким уж эгоистом, как это могло показаться; он успел известить сельского врача о происшествии и ждал его с минуты на минуту. Было оповещено также и всё сельское начальство: и

председатель сельского совета Тараш Лоу, и секретарь партийной организации Константин Алан, и председатель колхоза Кесоу Мирба.

Никуала встретил Дмитрия, поднявшегося с постели, в сенях.

— Вот что, дорогой хозяин, — сказал Дмитрий, — а ведь в Сакене у меня есть родня...

Никуала удивлённо повёл бровями.

— Ну, родня — это расширительно сказано, — пояснил Дмитрий, — но сестра моя здесь, у вас.

— Сестра? — Никуала треснул себя ладонью по лбу. — Что же ты молчал?.. Скажи, не та ли это девушка... жена... — Он осёкся и густо покраснел. — Я хотел сказать: та девушка, которая приехала со Смелом Куламба?..

— Она самая.

— Митя, — проговорил Никуала крайне фамильярным тоном, выказывая тем самым свои лучшие чувства. Он взял молодого человека под руку. — Митя, значит, мы с тобой немного родственнички... Видишь ли, этот Куламба...

— Они только товарищи, — сухо заметил Дмитрий.

— Я и говорю, — спохватился Никуала, — они товарищи, а мы...

Никуала никак не мог отвязаться от мысли, которая очень прочно, я бы даже сказал, естественно прочно укладывалась в голове сакенца: приехала с парнем — значит невеста; если ещё не невеста — так будет невестой, а если будет невестой, то...

И Никуала попытался развить эту мысль. Однако речь его получилась столь многословной и витиеватой, что Дмитрий так ничего и не понял.

— А вот и доктор! — вскричал Никуала. И, желая вызвать в госте почтение к молодому врачу, сказал: — Наш доктор выглядит молодо, но таких, как мы с вами, Митя, он за пояс заткнёт.

Отозвавшись столь лестным образом о состоянии сакенской медицины, Никуала, в свою очередь, счёл необходимым шепнуть несколько слов и доктору.

— Гриша, — сказал он на ходу, — ежели осрамишь меня — ножом полоснёшь по сердцу... В общем, сам знаешь: люди из Москвы!

Сакенский Гиппократ, известный всем под уменьшительным именем Гриша, осмстрел опухоль, в которой свободно утопил указательный палец, и вскользь заметил:

— Настоящий кулич. А? Через две недели лезгинку будете танцевать, — категорически отклонив всякое предположение о переломе, объявил он. Однако, справедливо полагая, что лезгинка не может быть вершиной человеческого желания, доктор добавил: — Этой ногой вы ещё дадите пинка палачу Франко.

— Очень хорошо! — воскликнул испанец.

Никуала выглянул в окно и засуетился. Дело в том, что на всякий случай он подготовил ещё одну поверку состояния гостя и поэтому чувствовал себя перед доктором не совсем ловко...

— Кости, — сказал убеждённо Никуала, — не совсем по медицинской части. Наши костоправы — чудо! Я пригласил одного старика, которому сто пятьдесят один год...

Гости переглянулись.

— Вот он, — торжественно возгласил Никуала, представляя старика Шаангери, опиравшегося на огромный посох.

Старик неуверенно подвигался к постели больного.

— Добро вам, — проговорил старик.

— Шаангери, — обратился к нему Никуала, — это тот самый юноша,

который сломал себе ногу... Он родился в Испании, а живёт в Москве.. Понимаешь, Шаангери?

— Это далеко? — спросил Шаангери, любознательный, как и все сакенцы.

— Москва, что ли?

— Нет, эта самая...

— Испания?

— Да.

— Там, где заходит солнце, — провозгласил Никуала, — а дальше — вода, конец всему (он подмигнул гостям: дескать, старику надо объяснять по-стариковски).

— Конца ничему не бывает, — бросил невзначай Шаангери и, помолчав, добавил: — Да, это очень далеко. И он хочет вернуться туда, в эту самую?..

— Испанию?

— Да.

— Нет, сейчас он не возвратится.

— А почему? — заинтересовался старик.

— Франко не пустит.

— Не пустит домой? На родину?

— Да, не пустит.

— Что же это за бес такой?

Старик покачал головой и задумался. Казалось, он уснул, погрузившись в глубину своих полутора столетий, как в пуховую постель. Наконец он глянул в глаза испанцу и сказал:

— Чистый белок. Прозрачные зрачки. Ясный лоб. Здоровые щёки... Нет, нога не сломана. Костный мозг не успел испортить кровь... И не испортит...

— Доктор был прав, — заключил Никуала.

...К полудню явились Тараш, Константин и Кесоу. Они справились о здоровье испанца и сообщили, что место в больнице приготовлено.

— В больнице?! — вскричал Никуала. — Из-за пустого вывиха — в больницу? Нет, друзья мои, вы шутите. Антон останется у меня! — Он зычно расхохотался, сотрясая дом, выстроенный из каштановых досок и тонких дубовых балок. — Нет, дорогие, мой гость будет лечиться у меня...

Никуала пригласил всех к низенькой, но длинной скамье, заменившей стол. Таким образом и больной оказался за общим столом.

Слово взял Тараш — высокий, худой мужчина в чёрной блузе, в брюках навывпуск. Он говорил низким, грудным, слегка хриповатым голосом.

— У каждого, кто сидит за этим столом, есть родина. Мы можем гордиться своей родиной, значит — мы люди счастливые. — Тараш обратился к Антонио: — Пожелаем тебе, чтобы тот уголок земли, где родился ты, товарищ Гомес, снова стал для тебя настоящей родиной, родиной без Франко!

Слово попросил Никуала. Он говорил серьёзно и проникновенно, держа в руке турий рог, до краёв наполненный вином. Начал Никуала с описания своей встречи с Дмитрием и Антонио; счёл нужным сообщить, что молодые люди решили провести свой отпуск в походе через горы, что идут они к морю, а конечная цель их путешествия — снова Москва...

— Но, — продолжал Никуала, — они завернули к нам, в Сакен... Спасибо им за это, я очень рад. А нога что? — пустяки!..

Никуала вспомнил военные годы. Здесь в речи его прорвались хвастливые нотки. Но всё, что он говорил, было истинной правдой, и односельчане прощали ему эту слабость: выпятить себя в рассказе на передний план.

— Испанцы! — воскликнул Никуала. — В болотах Волховского фронта я узнал испанских фашистов, но узнал и наших испанских друзей. Между ними пролегли огонь и железо! Ясно?

Никуала, разумеется, не мог не вспомнить Пабло, офицера из нашей дивизионной разведки... Несколько затянувшийся тост охотник заключил возгласом:

— За родину!

И Никуала высоко поднял рог с сакенским вином.

Все осушили свои стаканы до последней капли, ибо это был тост за самое главное, что не может не волновать каждого честного человека, — тост за родину.

А Кесоу уже шептал Константину:

— Хорошо бы собрать сельский актив, Константин... Доклад о трудящихся Испании. А? Выступление товарища Гомеса... Хорошо бы всё это связать с Кореей... Ведь мир есть мир, будь это Испания или Корея!.. Что скажешь, Константин?..

— ...и поручить доклад Никуале... — ответил, подумав, Константин. И обратился к Никуале: — Послушай, сделай нам доклад об Испании...

— Я? Доклад? — удивлённо спросил охотник.

— А что за трудность? Ты этот вопрос знаешь хорошо... После тебя выступит Гомес... Что скажешь?..

Никуала грузно сел на табуретку.

— Друзья мои, — возразил он, — пусть доклад делает кто-нибудь другой, а я буду верховодить за столом. Я произнесу хороший тост после доклада...

Константин махнул рукой.

— Ладно, — сказал он, — доклад поручим нашей Кама. Что скажешь, Кесоу?

Кесоу промолчал, но почему-то подчёркнуто сильно чокнулся с Дмитрием, сидевшим справа от него.

— Я чуть не разлил вино, — сказал смущённо Дмитрий.

— Чёрт с ним! Где пьётся, там и льётся! — ответил Кесоу.

3

Можно ли испортить человеку настроение пустяком? Если иметь в виду сакенских мужчин, я, не задумываясь, отвечаю: да, можно, если этот «пустяк» задевает любимую женщину. Зачем далеко ходить за примером?

Вот Кесоу. Он только что распрощался с Тарашем и Константином. Тараш сказал ему:

— Завтра прошу ко мне. Придёт Кама. Поговорим о деле. И тебя прошу, Константин.

Кесоу в отличном расположении духа. Он думает о разговоре, который состоится завтра. Этот агротехник (имеется в виду Кама) приехал из города с неплохими мыслями. Чай в Сакене — очень интересно! Лимоны в Сакене — очень заманчиво!.. Разумеется, это ещё мечта, пусть реально осуществимая, но всё-таки мечта...

Кесоу сбивает палкой жёлтые цветы придорожных азалий. Он идёт, напевая песенку. Нынче воскресенье, и он может позволить себе небольшой отдых. Надо заметить, что впереди самая жаркая пора: ломка,

сушка и низка табаков. Только успевай работать — ни днём, ни ночью не будет покоя...

«Нам не привыкать», — говорит себе Кесоу, вспоминая прошлый год, когда табак высыхал чуть не на корню и приходилось собирать его лунными росными ночами. И этот день, полный яркого солнечного света, расцвечивал душу молодого горца. Именно расцвечивал...

Если не изменяет мне память, я когда-то говорил, что сакенец в погожий день готов забыть все невзгоды или, во всяком случае, готов преуменьшить их значение. Но остерегайтесь: настроение сакенца так же легко испортить, как залить чернилами белую скатерть, — а попробуйте вывести это пятно!

Итак, Кесоу шагает в отличном расположении духа. А навстречу ему — Адамур. Тот самый Адамур, бывший заведующий ларьком, который три года назад вместе с Антоном оказал содействие неизвестному в Сакене молодцу по имени Рашит. Вы, должно быть, помните историю с похищением Камы... Так вот, благодаря бегству Рашита, Адамур и Антону кое-как удалось выйти сухими из беды. Адамур, разумеется, потерял тёплое местечко в ларьке и был вынужден пристроиться сторожем на фосфоритном заводишке (слово из Адамурова лексикона).

Шёл Адамур вперевалку, нахлобучив папаху по самые глаза...

Встреча с толстяком всегда напоминала Мирбе злополучное похищение, бередила старую рану, и неприязненное чувство против Камы поднималось с новой силой. Отношения между Камой и Кесоу многим казались странными. Сакенцы, горячие на руку, особенно если дело связано с девушкой, не могли понять, что это за любовь: время идёт, а дело ни с места. И люди помаленьку пришли к выводу, что прежние чувства молодых людей основательно поостыли. Иными словами — конец любви... Так решил и Адамур.

— Добрый день, Кесоу, — приветствовал он председателя колхоза.

— Здравствуй...

— День-то какой, а?

— Хорош...

Адамур покрутил усы, сощурил глаза, заплывшие жиром.

— Настроение плохое, что ли? — спросил он.

— Откуда ты взял?

Адамур хихикнул.

— Откуда? Идёшь задумчивый, цветы палочкой тревожишь... А я думаю так: кому-кому, но тебе-то не о чем думать.

— Это почему же?

Кесоу поднял глаза на круглое, багровое лицо Адамура.

— Ты ещё спрашиваешь? — сказал Адамур. — Своего ты добился. Кукуруза отличная. И табачки, слава богу, не в пример прежним. Фосфориты добываем... Скоро шоссе к самому Сакену пробьют. Чего ещё хочет твоя душа?

— Разве это всё?

Адамур развёл руками — дескать, что же ещё? Но вот он прищёлкнул языком.

— Не всё! — воскликнул он. — Ей-богу, не всё!

— То-то же, — проговорил Кесоу.

Адамур приблизился к нему и, напуская на себя сугубую таинственность, сказал:

— Не всё, Кесоу... Тебе нужна жена — вот что!

И он залился смехом, тряся всеми своими тремя подбородками. Кесоу ничего не ответил — ему был противен этот толстяк.

— Вот что, Кесоу, — продолжал Адамур, хитро щуря глаза, — имей в виду: Кама — девушка неплохая. Ей-богу. Ежели тебя беспокоит тот случай, то могу заверить: Рашит даже не поцеловал её... — Толстяк помолчал, почесал подбородки. — А что было потом, в городе — того не знаю. Уехала в город, прожила там три года... Говорят...

Адамур умолк. Кесоу изо всех сил старался не выдать своего бесшестства, ибо намёки толстяка били его в самое сердце.

— Говорят, целовалась она с кем-то... Влюблена, говорят, в кого-то... Кто-то видел... Кто-то сказал... Но, полагаю, всё это сплетни...

Кесоу уже не слушал его. Адамур говорил ещё что-то о чае, лимонах, эвкалиптах, которыми, дескать, хочет поразить нас, людей, видавших виды, эта приткая Кама...

Кесоу повернулся спиной к Адамуру, не сказав ему ни слова. Всё было кончено: настроение испортилось непоправимо. Но мало этого. Всё тягостное, что понемногу забывалось, сейчас воскресло вновь: и это похищение... и ночь, проведённая Камой под одной кровлей с Рашитом... И вот вам ещё впридачу: поцелуй в городе!

Молодой человек что было силы размахнулся палкой, точно саблей, и переломил её о ствол молодого тополя...

4

Кама, как заявила она секретарю сельского совета, ждала высшее начальство.

— Начальство прибудет с минуты на минуту, — сказал секретарь и углубился в чтение бумаги, должно быть очень важной.

День, как и вчера, выдался погожий. Гора Гуагуа курилась; морщинистая, изрезанная глубокими ложбинами, под лучами яркого солнца она казалась гордой. В долине мерно рокотала река. Кама прислушивалась к её далёкому шуму, заплетая длинную, толстую косу. Она словно понимала красноречивый язык струй, особенно говорливых на перекатах. Кама слушала и улыбалась собственным мыслям...

Прошло более трёх лет с той поры, как мы расстались с нею у заветного родника. Помнится, она была обижена, весь белый свет казался ей постылым, а против Кесоу Мирбы поднималась в её душе буря негодования. Она пообещала уехать в город — бросить Сакен и не возвращаться, пока не закончит образование. Эта сакенская девушка сдержала слово: месяц назад, агротехником, она вернулась из Тбилиси в своё родное село. Три года изучала Кама природу и повадки субтропических растений. Казалось, она в совершенстве овладела тайной, с помощью которой можно видоизменять и вкус, и форму лимонов и апельсинов, совершенствовать сорта чая, выращивать эвкалипты — эти стройные и нежные, как дети, гиганты. Многому научилась она, но самой глубокой наукой из всех, которые она изучила, была, пожалуй, наука распознавать человеческую душу и сердце.

Кама стала старше не только годами, но и опытом. Она, как говорится, повидала и свет, и людей. Между бровями легла небольшая бороздка, взгляд сделался глубоким и сосредоточенным — у неё теперь был пленительный женский взгляд, в котором светятся и честный ум, и горячая сердечность. Формы её плеч и рук стали мягкими, походка лёгкой и непринуждённой, и многие сакенцы испытывали головокружение при встрече с нею. «Совсем городская», — говорили ей вослед. Но она попрежнему ходила босая росными сакенскими утрами, попрежнему любила родник, навевавший на неё чуточку горькие, но в общем приятные воспоминания...

Она стояла у окна и любовалась цепью гор, огибавших Сакен

гигантской подковой. Горы эти не казались теперь беспорядочными нагромождениями камня, источниками всяческих бед. Она глядела на них иными глазами, глазами человека, задумавшего нечто большее; она не чувствовала себя подавленной этими громадами, как бывало прежде и, казалось, готовилась померяться с ними своими силами. И то, что задумала Кама, представлялось ей не лёгкой девичьей мечтой, а делом тяжким, но осуществимым, почти зримым. Временами она всеми мыслями уходила в будущее, и оно, это будущее, было столь осязаемо, что по её рукам пробегал приятный холодок...

— Вот мы и явились, — услышала Кама за собой голос Тараша, и трое мужчин с шумом расселись вокруг письменного стола. — Садись, Кама, поближе.

Кама кивнула Константину и Кесоу, пожала протянутую руку Тараша.

— История-то какая! — говорил Тараш. — Приехал, стало быть, к нам испанец. Самый настоящий, Кама...

Но Кама не удивилась, она не откинулась на спинку стула, не ахнула, не всплеснула руками. Она заметила просто:

— Ничего удивительного в этом не вижу. В нашей стране находят убежище многие честные люди...

Мужчины обменялись недоуменными взглядами. Кесоу пожал плечами.

— Хороший испанец, — настаивал Тараш, — он подростком воевал в этом... как его... да, Мадриде. Потом бежал от Франко. Нынче живёт и работает в Москве на каком-то заводе.

— А как он оказался у нас, в Сакеге?

— Шёл со своим другом через горы... Одним словом — туристы... Стало быть, нужен доклад на активе — твой доклад. Мы всё обсудили и, можно сказать, решили...

— А нужно ли это? — усомнилась Кама.

— И даже очень, — сказал Тараш. — Разумеется, было бы очень хорошо, ежели б к нам пожаловал в гости китаец или...

Кесоу перебил его:

— Китаец сейчас занят. У него забот полон рот.

— Знаю, знаю, — продолжал Тараш, кашляя в платок, — но мы показали бы себя людьми недалёкими, ежели б упустили такой случай...

Кама невольно повернулась к Константину с немым вопросом. И Константин сказал:

— Да, Кама, сельский актив — и твой доклад. Хороший, сердечный доклад об испанских тружениках. Пусть знают наши люди, сколько горя в мире. Разумеется, и о Корее скажешь, она нынче, словно рана на человеческом сердце. Гомес расскажет о себе, вспомнит родные края...

— Хорошая мысль, — значительно подтвердил Кесоу, развязывая кيسет и не глядя на Каму.

— Ты должна сделать доклад, — продолжал Тараш, — боевой доклад.

— Это очень трудно... — попыталась возразить Кама.

— Наша библиотека — к твоим услугам, дай ей поручение — всё выполнит, — решительно сказал Константин. — Это будет не скоро, может через неделю, а может дней через десять. Вот поправится у него нога...

— Ну что ж, попробую, — сказала Кама, почему-то краснея.

Константин подметил это её неожиданное смущение, но, скупясь на слова, лишь дружески подмигнул.

— Ну, а как дела, агротехник? — спросил Тараш.

— Как раз-то с делами я и пришла. — Кама вынула из полевой сумки бумаги; бороздка меж бровей стала глубже. — Я исходила все наши горы, осмотрела леса лиственные и сосновые, и пихтовые, и еловые. Хороши у нас лавровишневые подлески. Как я уже говорила не раз, речь идёт о посеве семян чая, может быть и лимонов... О севе.

— В снега и морозы... — мрачно перебил Кесоу, вращая в руках фарфоровую пепельницу в виде морской раковины.

— Ежели угодно — в снега и морозы, — жёстко проговорила Кама.

«Никак не помирятся», — подумал Тараш и, глянув на потолок, прикинул в уме, сколько же лет этой странной ссоре. — «Три года», — сказал он себе.

Кама продолжала горячо:

— Это новый путь, и наряду с обычным, вегетативным разведением он имеет большое будущее.

Кама прочитала несколько абзацев своего конспекта. Учёные термины слегка поцарапали сакенский слух.

— Что ни день, то не слаще, — со смехом проговорил Константин, почёсывая кончик носа. — То задал нам работу Кесоу, а нынче Кама не даёт нам покою. Ну и молодёжь!

Он поднялся с места, подошёл к окну и, вобрав в лёгкие свежий воздух, медленно зашагал по комнате.

— М-да, — проговорил Тараш, вращая зрачками и покачивая головой из стороны в сторону. — Задала нам Кама задачу. Что скажешь, Кесоу?

Кесоу отставил в сторону морскую раковину и глубоко затянулся папиросой. Кама, скажем прямо, не без волнения (чтобы не сказать — с трепетом) ждала его слов. Что скажет он, этот новый председатель колхоза «Светлый луч»? Окажет ли поддержку новому для Сакена начинанию? Или побойится риска?..

Кесоу заговорил. Первые же его слова прозвучали очень странно. И каждый из присутствующих спросил себя: «Что с ним? Откуда это раздражение?». Похоже, Кесоу всю жизнь ненавидел чай и лимоны и только ждал удобного случая, чтобы восстать против них...

Перед его глазами стояло круглое смеющееся лицо проклятого Адамура...

Нет, Кесоу понимал, что говорит не то, не в те двери ломится, но слова вырывались сами собой, не подчинялись ему. И чем дольше говорил Кесоу, тем непонятнее становилась его речь и тем страннее казалась запальчивость. Точно говорил не Кесоу, председатель колхоза, деловой человек, а тот, прежний Кесоу, которого когда-то уязвила ревность и который до сих пор не может прийти в себя. Всё мелкое, что досталось ему в наследство от дедов и осело на дне души — высокомерное, собственническое отношение к женщине, убеждённое в превосходстве мужской половины человечества над женской, — вдруг полным голосом заговорило в Кесоу и тут же обнаружило весьма посредственные дипломатические качества молодого человека...

В эту минуту он почти ненавидел Каму, которую — чего греха таить! — любил. Повидимому, Мирба и сам понял, в какое неловкое положение поставил он себя необдуманной речью, и сделал небольшую передышку. Он уже подбирал слова более или менее осторожно, но его сжатые зубы, сквозь которые он с трудом проталкивал фразы, и взгляд, остановившийся на кончике папиросы, ничего доброго не предвещал.

— Я плохо разбираюсь в этих делах, — продолжал Кесоу, — но зато, как видно, не простая. Лимоны, разумеется, это не плохо, даже очень хорошо; я говорю, очень хорошо, когда они привьются (он выра-

зительно подчеркнул слово «привьются»). И чай, конечно, не помешает нам, и эвкалипты пойдут на пользу. Надо решать: будем ли хвататься за всё сразу или сначала разделаемся с хлебом? Хлеб у нас внове, и как бы мы с ним не опозорились. С кукурузой и табаком как будто сладили, хорошо бы также сладить и с озимью. — Мирба перевёл разговор. — Кстати, мы уже начали пробную пахоту...

— А как работает мотоплуг? — поинтересовался Тараш.

Вместо Кесоу ответил Константин:

— Мотоплуг, я бы сказал, придуман прямо для Сакена. Он лазает по косогорам, словно козёл.

— И трактор, и мотоплуг работают отлично, — продолжал Кесоу. — Придётся снять мотоплуг и передать ей... А с хлебом подождём...

— Нет, зачем же, — проговорила Кама, еле справляясь с предательским комком, подступавшим ей к горлу.

— А затем, что придётся, — упорствовал Кесоу. — Озимь Сакену очень нужна. Надо решать, за что братья в первую очередь...

Кесоу уже чувствовал, что не совсем прав, что если он и не препятствует смелому начинанию, то и не очень его поощряет... Будь Кесоу на месте Камы, — уверяю вас — он обязательно швырнул бы чернильницу в любого, кто помешал бы дельному предложению. Но не мог же Кесоу — поймите же нас, сакенцев! — не мог же он после того, как Адамур перетряхнул ему всю душу, говорить иначе. Дайте срок — он остынет, всё поймёт, во всём разберётся и тогда...

— Мне пока ничего не надо, — сказала Кама. — Дайте на подмогу пять-шесть девушек, мы разведем горы, наметим места для посевов. Но предупреждаю, — Кама поднялась во весь рост и трянула головой: — предупреждаю, — нам придётся много и поработать, и подумайте... А вам...

Кама не могла говорить: предательский комок, с которым она кое-как справлялась, теперь душил её. Единственным спасением были слёзы, обыкновенные женские слёзы. Как известно, слёзы подчас приносят успокоение, и правильно, может быть, поступили мужчины, не став удерживать Каму от стремительного бегства...

— Горячая девушка, — произнёс Тараш, укоризненно поглядывая на Кесоу.

Наступило молчание. Константин ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Наконец он подошёл к столу, взял в руку морскую раковину и, словно читая по ней, заговорил:

— Насколько я понимаю, речь идёт о преобразовании сакенской природы. — Он хитро взглянул на Кесоу, подмигнул Тарашу. — В своё время это дело начал Кесоу. Видимо, он его и продолжит... продолжит вместе с другими... Разумеется, немало у нас забот, самых обычных... очень тяжёлых, я бы сказал... Ну, что ж, не грех подумать и о чае... Попробуем, чёрт возьми!

Кесоу встал и, не говоря ни слова, вышел в сени. А Константин лёг животом на стол и, продолжая разглядывать раковину, сказал вполголоса:

— Все мы человеки, Тараш, а молодость, наряду с огромными достоинствами, имеет и недостатки. Это так. Но ведь на то и существуем мы, старики, чтобы вносить кое-какое равновесие...

Тараш откинулся на спинку стула и расхохотался. Он хохотал от души, и секретарь сельского совета, сидевший в соседней комнате, заулыбался. Как и всем секретарям в подлунном мире, сакенскому секретарю было приятно убедиться, что начальство пребывает в хорошем расположении духа. И, напевая себе под нос какую-то песенку, секретарь потащил на подпись бумаги.

Дмитрий заметил сестру ещё издали: она стояла посреди Гудалова двора и кормила индюков. Смел сидел на ступеньках лестницы и по-свистывал; индюки от свиста пыжились, распутив хвосты и свесив до самой земли красные мохры.

Галя бросилась брату на шею и повисла на ней.

— Митя, как хорошо, что ты сдержал своё слово, — говорила она, целуя его в обе щеки.

Дмитрий приподнял сестру на руках, подержал её в воздухе и медленно опустил на землю.

Смел стоял в сторонке, ожидая своей очереди, чтобы приветствовать гостя.

Мужчины крепко пожали друг другу руки.

— Наконец и ты на сакенской земле, — сказал Смел.

— Именно, наконец, — весело отозвался Дмитрий. — Нас чуть не примяло лавиной там, на перевале (Галя всплеснула руками). А Гомес ушиб себе ногу, — сказал он, обращаясь к сестре.

— Как? И Антонио здесь? — воскликнула Галя.

— Поташил за собой. Отпуск у него, зачем, думаю, сидеть ему в Москве — пусть пошатается по белу свету.

— Где же он?

— Мы гостим у Никуалы...

— Когда же вы появились в Сакене?

— Видишь ли, Галя, добрались мы поздно вечером и заночевали у Никуалы... Это, говорят, знаменитый охотник. Ты знаешь его, Смел?

Дмитрий окинул Смела быстрым взглядом, и ему показалось, что в молодом человеке произошли какие-то перемены. Но какие? Горный загар? Или эта войлочная шляпа с полями и чесучёвая рубашка со странными петельками вместо пуговиц? Нет, видно, дело не во внешнем облике... Где же его глаза, почему он их прячет? И какая-то неловкость в обращении с Дмитрием... Дмитрий глядит на сестру, ища у неё ответа на свои вопросы.

— Кто не знает Никуалу! — говорит Смел. — Он хороший охотник и большой хвастун.

— Ну, без хвастовства настоящий охотник не обходится. Малость приврёт, малость схитрит — на том и держится охотничья слава... Ну, а ты, Галя, соскучилась по Москве?

— Знаешь, Митя, некогда скучать. Я тут целую тетрадь разных сказаний собрала, полтетради пословиц, да разные песни записала. Смел у меня переводчиком... А завтра ухожу с Камой...

Дмитрий ещё раз взглянул на Смела. Нет, парень не прячет глаз, ему просто неловко рядом с Галей, как и тогда, в Москве...

— Кама — чудесная девушка, — замечает Галя, быстрыми пальцами поправляя волосы; причёска та же — простая, гладкая, она так понравилась Смелу на московском вокзале. — Ты в неё влюбишься, Митя.

— У неё есть жених, — предупреждает Смел.

Галя возражает:

— Был, но всё разладилось. Я знаю подробности.

И она высказала смелые предположения, смелые, резкие и в то же время простые, из которых следовал только один вывод: во всём виноват Кесоу! Этот девичий вердикт не допускал никаких кривотолков и возражений. Но он вызвал улыбку у мужчин, всегда снисходительных к суждениям женщин.

— А куда же вы с ней собираетесь? — спросил Дмитрий сестру.

— В горы, чай и лимоны сеять, — ответила Галя так просто, словно это случалось ей делать каждый день.

— Не понимаю, о каких лимонах речь?

— Об этих самых... — И Галя скорчила смешную гримасу, точно ей на язык и в самом деле попал сок кислого-прекислого лимона.

— Ничего не понимаю, — признался Дмитрий. — Всегда было известно, что лимоны любят тепло. Не так ли? В Сакене зима, наверное, холодная?

Смел вместо ответа дробно застучал зубами. Это значило: собачий холод зимой.

— Не в этом дело, Митя, — сказала Галя. — Ты ничего не понимаешь... Прежде всего...

— Прежде всего, — перебил её брат, — надо, очевидно, менять климат. Надо напустить на Сакен жару из Сахары. Понятно?

Смел поддержал Дмитрия. Ревностному электротехнику, к сожалению, была чужда поэзия агрономии, и он произнёс пренебрежительно:

— Бабы сказки.

Галя вспыхнула. Но брат предупредил её:

— Не будем, Галя, ссориться. Ещё успеем.

Девушка была в кофточке без рукавов и лёгкой ситцевой юбке. Она загорела под сакенским солнцем и оттого белые ряды зубов сверкали ещё ярче. Ей очень шла милая улыбка, чуточку обнажавшая зубы, и, зная это, Галя щедро, как и полагается в её годы, расточала улыбки.

— Настоящая крестьянка, — проговорил Дмитрий, рассматривая её туфли, просторные на голых без чулок ногах и сильно выпачканные в грязи.

— Это я хожу к роднику, — сказала она. — Там всегда сыро.

Если вы помните, Галя обещала Смелу приехать в Сакен и заняться собиранием народного творчества. Как видите, она осталась верной уговору.

Молодая москвичка заслужила доброе отношение к себе даже со стороны самых строгих горянок, полагающих, что городские девушки, все как одна, донельзя избалованы. Правда, многие из них никак не могли взять в толк, зачем эта миловидная девушка без устали что-то записывает в тетрадь. «Собираю фольклор», — пыталась объяснить Галя, подробно растолковывая диковинное слово. Женщины улыбались, говорили: «Очень хорошо», — а про себя думали: «Вот недурной предлог, чтобы оправдать своё пребывание в доме молодого Куламбы». Одним словом, фольклор ничего не объяснил, но только повысил интерес к приезжей девушке...

Смел познакомил Дмитрия со своей матерью. Камачич вышла навстречу гостю, на ходу вытирая руки о фартук.

— Смел очень похож на вас, — польстил ей Дмитрий.

— Нет, — ответила женщина со скорбной ноткой в голосе, — совсем не похож. Я всю жизнь прожила в Сакене и никуда не выезжала. А он бросил свою мать; уехал далеко-далеко. Разве так поступает любящий сын?

Камачич перевела на Смела взгляд, исполненный той теплоты, равной которой нет в целом свете: это тепло не только греет сыновнее сердце, но и вдохновляет его, придаёт новые силы и выращивает в душе добро, одно лишь добро!..

Как и всякая хорошая хозяйка, Камачич незаметно удалилась на кухню с тем, чтобы через полчаса разложить перед гостем произведения сакенской кулинарии. Обычай, как известно, требует не только отлич-

ных вкусовых качеств пищи, но, что не менее важно, и быстроты её приготовления. И пока кухня наполнялась приятным чадом, включающим в себя запахи дыма, жареного мяса, перца и разных душистых горных трав, молодые люди беседовали в гостиной под ветвистыми рогами оленья — обычное украшение сакенских жилищ.

...Повторяю, появление Гали в доме Гудала Куламбы (в настоящее время хозяин отсутствовал — он работал на строительстве шоссе), — её появление в этом доме вызвало оживлённые толки среди сакенских женщин, не придававших особого значения сбору фольклора. У родника разгорались жаркие споры.

— Привёз невесту, чтобы показать своим родным, — решили одни.

— Говорят, они поженились, — твердили другие.

Но это предположение было категорически отвергнуто по весьма основательной причине.

— Как?! — возражали им. — Чтобы Гудал Куламба не закатил хорошей пирушки?! Этого не может быть. Нет, она приехала только в гости... Правда, в дальнейшем...

И тут насчёт «дальнейшего» развивались любопытнейшие планы. Мы не приводим их здесь, как не соответствующие действительности.

Камачич не раз была вынуждена отвечать на вопросы чересчур любознательных женщин. Как-то неудобно было осаживать. Но женщины день ото дня становились всё назойливей.

— Она товарищ моего сына, — говорила Камачич, повторяя слова Смела и, должно быть, не слишком-то веря в эти слова. — Она собирает сказки и песни...

— Ах, сказки! Что и говорить, сказки бывают разные...

— А зачем ей сказки? — спрашивали другие, едва сдерживая смехи.

— Это её работа...

— Очень хорошая девушка, дай ей бог здоровья, и внимательная ко всем, и весёлая, и молодая, и умная.

Одним словом, Галю старались расхвалить, имея в виду, что она и в самом деле может породниться с Камачич.

Но больше всего доставалось Смелу: он попал в то ужасное для сакенца положение, которое легче всего обозначить одним словом — жених!

Сакенскому жениху положено стесняться. Он не показывается на людях вместе со своей невестой; он не должен быть слишком внимательным к ней при посторонних; он не должен... Короче говоря, всё ещё бытующий в Сакене неписанный кодекс жениховства довольно-таки строг. Правда, мало кто придерживается его полностью. Но врождённая мужская стыдливость всё-таки обязывала Смела к некоторой скованности. Смел, разумеется, и не помышлял о том, чтобы соблюдать стародавние правила, и подчёркивал исключительно товарищеские отношения с Галей. Но, как сакенец, я должен отметить, что самый факт приезда Гали в Сакен, её пребывание в доме Гудала Куламбы и, наконец, её брат... Словом, вы должны понять, что сакенские женщины имели некоторое право обсуждать это событие во всех подробностях (женидьба считается в Сакене делом значительным)...

— Ты, я надеюсь, перейдёшь к нам? — спросил Смел Дмитрия.

— Видишь ли, мне не хотелось бы обижать Никуалу, — он человек неплохой. Это раз. Во-вторых, не хочу оставлять Антонио — он лежит у Никуалы.

— Ладно, мы об этом ещё потолкуем с моим отцом...

— Нет, Смел, — вмешалась Галя, — довольно и того, что я стеснила вас...

— Мы можем принять ещё добрый десяток друзей,— гордо изрёк Смел. Губы у него слегка надулись и чуть дрогнули (верный признак обиды).

— Каковы же наши планы? — спросил Дмитрий.

— Я с утра ухожу с Камой,— заявила Галя.

— А я предлагаю вот что,— сказал Смел. — Пройдёмся по Сакену: осмотрим плантации, заглянем на гидростанцию, на фосфоритный завод. А потом можно подумать и о медвежьей охоте. Что скажешь?

Дмитрий расчесал волосы пятернёй, сморщил нос и задумался.

— У меня нет ружья,— проговорил он.

Смел вскочил с места, выбежал в соседнюю комнату и притащил своё довольно старенькое ружьё.

— Видишь? — сказал он торжествующе.

Дмитрий взял ружьё и прицелился в небольшое оконце, выходящее на задворки...

Яркий свет солнечного дня врывается в комнату. В его блеске Сакен стоял зелёный и пышный. И горы тоже были зелёные. Казалось, весь мир утопал в сиянии солнечного дня. Река Сакен шумела где-то в ущелье. Но это был уже не прежний могучий шум: его заглушало более мощное гудение трактора и маленького мотоплуга. Зато для песни, звучащей в поле, не существовало преград. Она неслась среди гор быстрее птицы, она была слышна везде, ибо в каждом горячем сердце находила отзвук. А Сакен никогда не был беден горячими сердцами!

6

— Слишком горяч! — воскликнула Нина, всё больше раздражаясь против брата. — Но ты не знаешь или не хочешь знать, что и у нас есть сердце!

Кесоу прищурился, занятый своими мыслями. Сестру он слушал рассеянно, ибо она говорила вещи не очень приятные. В комнате Екупа приёмник поёт песню, изредка прерываемую раскатами далёких летних гроз...

— Ты скоро всех женщин натравишь на меня,— говорит Кесоу с усмешкой.

— И ты добьёшься этого!

Яркий свет луны падает на Нину. Она скрестила руки на груди и метала огненные взгляды, как, наверно, это делала сказочная Гунда. Кесоу, слушая её, думал о том, нравится ли ей какой-нибудь парень, есть ли у неё дружок? Он упрекнул себя за то, что мало интересовался жизнью сестры. «Ей уже двадцать, и она на выданы, — говорил себе Кесоу. — А слова не скажет, хоть убей её». Впрочем, не такое это неотложное дело, чтобы особо беспокоиться, всё образуется само собой... Может быть, ей нужно учиться дальше? Десять лет в школе — не бог весть что! Вот Кама, например...

— Обидел ты её,— продолжала Нина, отвернувшись от брата. — А что дурного предложила она? Вы же сами послали её в училище. Вы сами помогали ей. Она честно вернулась в Сакен, а могла бы и не возвращаться. Или ты думаешь, что на Сакене свет клином сошёлся? Она могла бы поехать в любое село получше и побогаче нашего Сакена... Нет, она вернулась на родину, сдержала своё слово! Что же вы думаете, будет она вам мамалыгу варить или кур ошипывать?

— К слову сказать, мамалыга вещь не вредная...

— Ты всё шутишь... А до того ли ей? До слёз довели. Почему, спрашивается?

Разговор происходил в сенях. Кесоу сидел на перилах и медленно раскачивался из стороны в сторону. Сени высокие — почти второй этаж. Дом был новый, и Кесоу гордился им: построен, можно сказать, его собственными руками, по его плану. Старый Екуп важно шагает по комнатам, не нахвалится печами, сложенными на городской манер. Правда, и у них есть недостаток: тепло дают, а пламени не видно. А где же радость для глаз?.. Впрочем, есть опора и для радости: в просторной гостиной, против городской печи, сложен самый обыкновенный сакенский камин высотой в человеческий рост. Вечерами в нём бушует неугомонное пламя, и старый Екуп, на словах придиричивый к сыну, в душе благодарен ему. Застарелая боль в поясище становится будто слабее и не так уже часто донимает старика. Нет, что и говорить, хорош новый дом! Вот ежели городской мебели побольше бы... Но, ей-богу, грешно советовать! Сияет электричество, радио стоит в большой комнате и — представьте себе — другое, совсем малюсенькое — у постели старика. Чего только Кесоу не придумает! «Лежи себе на спине и слушай весь мир!» — советует Кесоу. Старик здорово наловчился, как говорят в Сакене, играть на приёмнике: знай, лежит себе, попыхивает трубкой и слухом обегает всю землю. Слышит он бой московских курантов, спокойный, как удары могучего сердца; слышит старик и голоса сибирских городов, и украинские песни... Чего только он не слышит? Не там ли, куда едва дотягивается сакенское радио, шумит великий Китай? Может, незнакомая речь, едва доносящаяся до Сакена, — корейская?.. Знай, шагает себе старик по земному шару, что ни поворот ручкой — то новые страны и новые города, и — снова Москва!.. К ней ведут нынче все пути, имя её называют на всех языках и наречиях мира!..

Нет, старик доволен своей жизнью, взошло, наконец, солнце и для Екупа. Вот если бы старуха была жива... Но самое главное — не у одного Екупа и свет, и радио, и новый дом. Недаром говорит старая пословица: «Хочешь добра себе, пожелай добра соседу своему». Видно, много мечтал старый Екуп о добре для всех соседей, если теперь так хорошо и ему самому, и соседям...

Кесоу мерно покачивается на перилах, а Нина всё ещё пилит его...

— Сойди, не то сломаешь себе шею.

— Шея у меня крепкая. Двужильный я...

— Оно и видно! В последний раз говорю: найди общий язык с Камой.

— У нас один язык...

Нина в отчаянии. Обидь её брат — всё бы легче. А эта неопределённость просто бесит... Вдруг Нина вытаскивает из длинного рукава кофточки белый шёлковый платок, прикладывает его к своему чуть вздёрнутому носу... Брат подозревает, что сестра плачет, — самое неприятное в разговоре с девушками.

— Нина!

— Слушаю...

— Какие вы странные.

— Кто это — мы?

— Девушки.

— А вы, мужчины? — Нина круто поворачивается к брату, словно готова броситься на него. — Все вы на один лад! Правду Кама говорит: только себя и любите. Перейди вам женщина дорогу — и вы уж места себе на находите от зависти! Кама дура, вот что! Надо бы тебе нос утереть. Я всегда ей говорю: выходила бы замуж в городе. Да, видишь ли, сердце у неё не такое. А вам что? — вам всё трын-трава...

Кесоу расхохотался, да так, что чуть не свалился с перил — едва удержался, вцепившись в них обеими руками.

— А ну-ка, повтори, что ты сказала? Нам всё трын-трава?

— ...а она сохнет... — продолжала Нина и заключила истово: — Дуры мы, дуры!

Кесоу смеялся от души. Он любил, когда сестра сердилась. Ему нравилось слушать её подчас наивные, но всегда правдивые речи. На этом юном, ещё мало знающем жизнь существе уже успели отразиться великие перемены, происшедшие в Сакене. Душа у женщин стала иною... Взять для примера Каму. Не она ли мужественно настояла на своём решении? Не она ли вернулась агротехником, как обещала? Кто знает, может быть, осуществится и её затея с лимонами и чаем?..

Кесоу, разумеется, не против таких заманчивых затей. Сам он, как известно, мечтатель не из последних... Но что же ему мешает прямо и честно сказать в глаза Каме, что он думает о её планах? Нет, ему не пристало завидовать ей! Как знать, может, он в этом году в Москву за Золотой Звездой поедет. Может, в этом году ждут его тысячепудовый урожай кукурузы и невиданный урожай табака?.. Нет, не ему завидовать Каме...

— Не в том дело, Нина, — говорит Кесоу с грустью, — я сам не почитую людей завистливых... Можно ли говорить о зависти?..

— Что ж произошло в таком случае? Объясни мне...

— Нина! — Кесоу прыгивает с перил. — Мне кажется, что нам рано ввязываться в научные изыскания. Наше дело небольшое, но прочное: нужен устойчивый урожай табака и кукурузы, нужна озимь в Сакене. Вот говорят: хлеб насущный. Первое и главное — побольше насущного хлеба.

Кесоу вслушивается в собственные слова. Всё верно... Нужно хлеба побольше. Вот что! С этого и надо бы начинать в сельском совете. Получен трактор. Прислали мотоплуг. Рассуждали так: освободятся рабочие руки. А что получается? Трактору на карликовых земельных участках, разбросанных по всему Сакену, делать нечего. Не то что трактору, но и мотоплугу здесь трудно. Встал вопрос о корчёвке леса. Нужны рабочие руки! Там, глядишь, большая скала разделяет участки. Ломай скалу — тоже нужны руки! В страдную пору каждая рука на строжайшем учёте. Нельзя, стало быть, в такое время людей на какие-то лимоны отвлекать. Дело не в том, что Кама предлагает засеять только один участок. Она собирается излазить все горы и найти не один, а десяток участков. И на всё это нужны рабочие руки... В крайнем случае, можно так: нынче найти один участок для чая, в будущем году — участок для лимонов...

Понятно как будто, но почему с этого не начал свой разговор Кесоу там, в сельском совете?..

— А Каме мы поможем, — говорит Кесоу.

— Послушай, — перебивает его Нина с мрачной решимостью, — ты чего-то не договариваешь... Скажи прямо: женишься на ней или нет?

Кесоу, признаться, не ждал подобного вопроса от младшей сестры. Он покраснел. «Он никогда не женится, — решила Нина. — У него на уме совсем другое».

— При чём здесь женитьба? Но раз пошла об этом речь, то и я дам вопрос, — с задором проговорил Кесоу.

— Задавай!

— Когда ты сама выйдешь замуж?

Нина присела на стул и залилась чистосердечным смехом.

Кесоу погрозил ей пальцем.

— А ты не смейся.

Он взялся руками за перила, подобно оратору, собирающемуся про-

изнести горячую речь перед тысячной толпой. Перед ним, как на ладо-ни, лежал Сакен. Чёрные, будто намалёванные углем горы, а в горах — яркие окна домов, и все они, сколько их ни на есть, глядели на Кесоу добрым взглядом. За каждым таким окном горела лампочка в пятьдесят свечей, за каждым таким окном сидели уважаемые сакенцы. А высоко в небе — изумрудном, августовском — сияла луна. Свет её казался теперь мягче. Он, пожалуй, чуточку поблёл с той поры, когда дороги в Сакене впервые осветились городским светом. Река, как и всегда, урчала на перекатах, да кое-где гнусаво выли шакалы. Но прежде неизвестные, новые звуки властно врываются в сакенскую ночную тишь: то были сигналы грузовых автомашин, подвозящих щебень и асфальт.

7

Скажите мне по-дружески: любили вы когда-нибудь? Молчите? Тогда я сам отвечу за вас: да, любили. На этом и согласимся. Стало быть, вы поймёте состояние Кесоу. Это не то, чтобы страдание. Подобное слово едва ли применимо, а может быть, и вовсе неприменимо. Любить — не значит страдать, любить — это значит жить ещё громче. Я не в философию ударился, а просто опираюсь на небольшой жизненный опыт отдельных сакенцев...

Ещё раз напомним о душевном состоянии Кесоу в то время, когда он узнал историю похищения Камы. Вы думаете, за три года так всё и позабылось, всё предано забвению и всё прощено? Не совсем так, поверьте мне. Помнится, я как-то говорил, что воззрения сакенцев по любовной части не претерпели больших изменений. Как и любой сакенец, обитающий на земле, а не в небесных сферах, Кесоу считался с реальной обстановкой и теми обычаями, которых и сейчас никто не охаивал. А поскольку это так, то и во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами должны сохраниться определённые, по сакенским правилам довольно-таки суровые нормы поведения. Похищение девушки, пусть даже неудачное, всегда оставляет в сердце любимого, мягко выражаясь, неприятный осадок... На одной чаше весов, стало быть, лежит неприятный осадок. Так и запишем.

С другой стороны, говорить о притуплении чувств Кесоу решительно невозможно. И этого никто не собирается утверждать, ибо никому не хочется осквернить себя ложью. Трёхлетняя разлука, скажем прямо, не принесла облегчения Кесоу. Надо полагать, Каме тоже (о ней речь пойдёт дальше). За три года в душе прибавилось горечи. Значит, на другой чаше весов — неостывшие чувства плюс горечь. Так и запишем.

Не знаю, как вы, но по-человечески я понимаю Кесоу: невозможно кривить душой и делать вид, что всё обстоит хорошо, в то время как не рассеялось что-то наносное, неприятное и ненужное. Рассудок в таких случаях и советчик, и не советчик. Я хочу сказать, что нельзя подобное деликатное дело решать только голосом рассудка. Это противно человеческой природе. Но, с другой стороны, нехорошо, если разумное начало отходит в сторону в делах сердечных. Тут необходима ясная гармония; только она приведёт в равновесие обе чаши весов, о которых шла речь выше...

Вот и валяется наш Кесоу в постели и думает об этих самых весах. Нина спит в соседней комнате. Екуп крутит ручку радиоприёмника, а сын его лежит в постели и думает трудную думу. Мысли переносятся от Камы, незримо присутствующей в этой комнате, к чёрным горам, стоящим вокруг Сакена, как гордые стражи... Кесоу перевёртывается на живот и глядит в открытое окно.

Весь мир сейчас зеленовато-голубой — это от луны, что забралась высоко в поднебесье. Она совсем бледна, но струит немалый свет. В такие ночи гулять бы с милой и думать о грядущем, строить дерзкие планы, высоко залетать мечтою за облака. Разве дело — лежать сейчас и терзаться пустопорожними мыслями?..

«Надо Каму поддержать», — решает Кесоу. А то как получается? Нечестно. Дело не просто в лимонах и чае, дело гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд.

В это время начинают бить кремлёвские куранты: значит, в Сакене час ночи...

Так вот, стало быть, о главном... Сакену не помешают ни лимоны, ни чай. Но Сакену мешают холодные северные ветры. У ветров есть союзники. Во-первых, ущелье реки Сакен, из которого, как из трубы, текут морозные потоки воздуха. Далее. Оленья седловина, голая, как плешь у Адамура. Кому нужна эта седловина? Никому не нужна!.. Стало быть, речь идёт о далёких планах — смелых и дерзновенных...

Возьмём великие государственные лесонасаждения в России. Можно, казалось бы, окружить зелёным кольцом каждое село в необозримых степных пространствах. Но это не решило бы исхода борьбы против суховеев. Верное решение предложил Сталин. Это грандиозный план: тысячекилометровые лесонасаждения плюс колхозные лесные полосы... Вот пример настоящего, государственного подхода к труднейшей — и никем ещё в мире не решённой! — проблеме.

«Поговорить с Константином? — думает Кесоу. — Он человек с головой...»

И снова о Каме... Славная девушка — что верно, то верно. «Проклятый Рашит!» — в тысячный раз повторяет Мирба.

Чаши весов колеблются. Прежде чем он успевает проследить за ними, могучий сон овладевает им. Это блаженный сон великанов-нартов, любимых героев сакенских сказочников.

А во дворе происходят чудесные превращения. Луна достигает зенита и висит над Сакеном, словно лампа перед сельским советом. Её свет падает на все горы разом, и они уже не кажутся мрачными. Они похожи на живые существа, уснувшие на короткий срок. Не о них ли сказал поэт? —

Горные вершины
Спят во тьме ночной...

А долины Сакена полны свежей мглой, мглой августовской лунной ночи...

8

Утро выдалось пасмурное. Из-за гор потянулись облака. Было рано. Солнце только-только обещало выглянуть из-за горы Гуагуа. От реки веяло холодом. В лесу пели птицы, и пение их разливалось по всему Сакену. А высоко в небе сновали ласточки...

— Не будет дождя, — сказала Кама, следя за птицами. Она погрузила босые ноги в прохладные струи Сакена. — Это очень закаляет, — добавила она со смехом.

Её примеру последовали Нина, Галя и другие девушки. Они весело затараторили, задирая юбки и обнажая розоватые икры. Дмитрий искося поглядел на девушек и постарался углубиться в изучение прибрежных волн (ничего лучшего он не мог придумать).

— Мы больше никого не будем ждать, — заявила Кама. — Сколько нас? Десять, ежели не считать Дмитрия...

— А почему меня не считать? — спросил Дмитрий.
 — Наше дело трудное, — сказала Кама. — Придётся полазить по горам...

— А как же Галя и другие?

— О, девушки выносливее вас, мужчин.

— Вот как!

Галя вмешалась в разговор, поправляя волосы мокрыми руками.

— Кама немножко жалеет нас, — сказала она, подмигивая Каме. — И это очень обидно. Она думает, что мы, городские, — неженки...

— Ладно, берём вас с собой! Только, чур, не уставать! — воскликнула Кама и протянула Дмитрию руку.

Москвич осторожно пожал девичью ладонь и вооружился лопатой. Девушки надели туфли на босу ногу, и вся компания двинулась вдоль берега.

Сакен ещё спал. Это не совсем точно: уже шумел мотоплуг, взрыхляя целину, скрипели арбы и били в колотушки сторожа, отгоняя медведей — больших охотников до свежей кукурузы.

— А вы знаете, — говорил Дмитрий Каме, — ваше имя напоминает мне нашу Каму, реку Каму...

— Об этом мне уже говорила ваша сестра...

— А песню она вам пела?

— Песню? Какую песню?

— Слушайте.

Дмитрий, подняв лопату и, делая вид, что играет на гитаре, пропел:

Как за Камой, за рекой
 Потерял я свой покой...
 ...На какую ни взгляну,
 Вижу всё её одну...

Девушки расхохотались. Дмитрий казался им малоразговорчивым и неуклюжим. Но эта песня заставила их переменить мнение.

Нина сказала:

— Умоляю вас, продолжайте.

— А вы думаете, он сумеет? — бросила Галя.

Дмитрий со своими русыми волосами и чуть веснушчатым лицом мало похож на сестру. Правда, зрачки у обоих карие. Но это сходство не сразу бросается в глаза.

— Я похожа на маму, а Дмитрий — вылитый папа, — говорит Галя.

Она идёт в обнимку с Ниной. Они — однолетки и почти одного роста.

— У тебя хороший брат, — шепчет Нина подруге.

— Тюлень, — нарочито небрежно говорит Галя (именно так говорят о близком, любимом человеке).

— Что ты! — и Нина шиплет её за руку.

...Кама остановилась посреди зелёной лужайки. Здесь была эвкалиптовая роща. Она вымерзла прошлой зимой. Сейчас из низко спиленных пней тянется нежная зелень веток.

— Кто их вырубил? — спросил Дмитрий.

— Их сгубил мороз в эту зиму, — ответила Кама, — только потом срубили.

— Мороз?

Кама сказала:

— А вы поезжайте к морю: там вымерзли все плантации лимонов, все эвкалипты и даже пальмы. Мороз доходил до пятнадцати градусов. И держался целые сутки.

Они прошли дальше.

— Вот тут мы посеём чай,— сказала Кама, указывая рукой на небольшие площадки между пнями. — Надо взрыхлять так: размер площадки — метр на метр, ещё метр на метр — вон там. Посеем прямо в грунт, в маленькие ямки.

Девушки взялись за работу.

Кама предупредила:

— Работать будем до седьмого пота. С трудом выпросила девчат. И когда ещё расщедрятся?— И она вздохнула.

— Какое у вас жадное начальство,— сказал Дмитрий.

Кама покачала головой:

— Они и вас заставят работать. Первые три дня — вы ещё гость, а там как начнёт на корню гореть табак — сами на плантацию попроситесь.

— А вы бросайте свои эвкалипты и чай — и принимайтесь за табак.

Кама исподлобья взглянула на Дмитрия: что он, шутит, что ли?

Она молча достала тетрадь и самопишущим пером (память об учёбе в городе) сделала пометку: «Участок № 1, чай. Посев: октябрь 1950 года» (посев предполагался в октябре).

Через час группа двинулась дальше, вверх по берегу реки.

— Мы будем искать климат,— говорила Кама, ловко взбираясь по крутому склону. — Вот сосны. Это южный склон — значит здесь тепло. А на другой стороне холма — северный склон. Там должны быть ели, и там холоднее. Мы будем искать разные почвы и разные климаты.

— Климаты — дело другое,— сказал Дмитрий.— Надо менять климат, прежде чем сеять чай и цитрусы.

— Почему вы так думаете? — Кама уставилась на Дмитрия долгим взглядом.— Кесоу?

— Нет, не Кесоу. Я.

Галя крикнула Кама:

— Не теряй с ним времени. Он не верит в наше начинание.

— Это правда, Дмитрий?

Дмитрий ответил серьёзно:

— Я думаю, вы взялись не с того конца... Вы что-то нащупываете, а до настоящей работы — далеко...

Кама словно разгадала его мысли.

— Какая у вас специальность? — спросила она.

— Токарь...

— Вы когда-нибудь делали опыты?.. Скажем, с вашими инструментами... клещами или молотком?..

— С молотком — нет, с резцами — да, — не без иронии заметил Дмитрий.

— Вот видите: вы — с резцами, а мы — с семенами и почвами. Какой будет климат лучше — увидим.— Кама полюбопытствовала: — А что вы режете своими резцами?

— Как что? Металл.

В сосновом бору тихо и торжественно. Пахнет смолой. Между огромными стволами развешены гирлянды паутин. Стволы высокие и ровные.

Галя вспомнила шишкинские леса и захлопала в ладоши: так это было похоже и грибов оказалось немало. Девушка набросилась на них.

— Галя, — остановила её Нина, — что ты делаешь?

— Собираю грибы.

— Зачем?

— Мы приготовим грибной суп... А разве вы их не едите?

— Нет,— ответила удивлённая Нина.

Да, здешние грибы ничем не отличались от тех, какие собирала она в подмосковных лесах. И трава была пахучая, и цветы здесь то адели, то голубели — разнообразные лесные цветы, тоже очень похожие на подмосковные. И на какое-то мгновение Гале показалось, что вот сейчас она услышит басистый голос электропоезда, который увезёт её и через полчаса доставит на московский вокзал... Она подняла голову и сквозь верхушки сосен, плотно прижавшихся друг к другу, увидела кусок высокого серого неба, точно такого же, каким бывает оно под Москвой в пасмурную погоду... Она улыбнулась своим мыслям и продолжала собирать грибы в подол, не обращая внимания на изумлённую Нину.

Вдруг раздался конский топот, и на лесной тропе показались Кесоу Мирба. Подъехав к молодым людям, спешил и за руку поздоровался с Дмитрием. Остальных приветствовал по-сакенски, согнув правую руку в локте. Он казался бледным и утомлённым, словно провёл бессонную ночь. Кесоу нервно похлёстывал свои голенища коротким обтянутым кожей кнутовищем.

— Нынче вы первые на работе,— сказал он хриплым голосом,— хороший пример другим подаёте. Но зачем беспокоить гостей?

Вопрос обращён к Кама.

— Сами вызвались,— ответила она тихо.

— А как ваш друг, Дмитрий?

— Лежит, охает.

— Ничего, до свадьбы заживёт,— сказал Кесоу, напуская на себя озабоченный вид.— Кама,— продолжал Мирба сугубо деловым тоном,— вы наметили подходящие для посевов места?

Было ясно, что теперь говорит председатель колхоза, а не кто-нибудь другой, и Кама старалась отвечать ему в тон, то есть тоже сухо.

— Это место,— сказала она,— должно быть, тёплое. Здесь, между рядами сосен, мы посеём чай и лимоны. Будем сеять в почву, возделанную и невозделанную. Дальше. Мы выберем участки с дикой лавровишней: мы и там посеём и чай, и лимоны. Но не остановимся на этом: мы будем сеять и на северных склонах, и в ложбинах, и там, где теплее, и там, где холоднее.— И, словно осердясь на кого-то, заключила:— Мы должны вырастить необходимые нам виды растений из семян, в условиях, выгодных для нас самих.

Кесоу почесал за ухом (его немного корбила эта безапелляционность Камы), осмотрел всю компанию, но ничего не сказал. Повернулся на каблуках и лихо сел на коня.

— Кама,— проговорил он, уткнувшись взглядом в луку седла,— помощь мы вам окажем. Но вы берётесь за всё сразу. Завтра мы не дадим людей. Надо корчевать лес.— Он слегка нагнулся к ней, почёсывая мизинцем кончик носа, словно желая скрыть улыбку.— Между прочим, вы не подумали о главном. Действуете вы хорошо, но надо иметь в виду и самое главное...

Он не досказал, хлестнул коня и понёсся под гору так стремительно, что, казалось, не жаль ему ни коня своего, ни собственной шеи...

9

Галя сидела рядом с Шаангери и держала карандаш наготове. Роль переводчика выполнял Смел. Он старательно подчёркивал своё уважение к ней, как к гостье, именно гостье, ибо этого требовали его неопределённые отношения с Галей.

Шаангери грелся у очага. Буйное пламя касалось его сухих и холод-

ных пальцев. На нём была бурка, а голову прикрывал тёплый шерстяной башлык.

— Дочь моя,— говорил старик, с трудом преодолевая одышку,— много бывало разных случаев... Дай бог памяти, может, о витязе нашем рассказать?..

Он закашлялся, и Гале почудилось, что не старческий кашель, а какая-то неистовая сила разрывает его лёгкие.

— Верно, Шаангери, о витязе,— сказал Смел.— Это ты придумал неплохо.

Шаангери улыбнулся бескровными, деревянными губами и скосил глаза на молодого человека, не поворачивая головы.

— Ну, что ж, будь по-твоему.— Старик прикрыл тяжёлые веки и, мерно покачиваясь, начал рассказ. Он импровизировал, чуть-чуть напевая. Карандаш в Галиных пальцах бойко запрыгал, заноса в тетрадь каждое слово Шаангери.— Давным-давно,— сказывал старик,— жил на сакенской земле человек по имени Абраски́л. Был он не просто человек, но витязь. А витязь, да будет вам известно, никого и ничего не боится. Витязь справедлив, друзья мои, и честен. Витязь горой стоит за правду. Он добр и широк сердцем. Витязь не пьёт вина без друзей, хлебом делится с ближним. Витязь, дочь моя, тоже человек, но человек особой закалки, вроде стали, из которой куют сабли, вроде железа, из которого высекают огонь, вроде машины, которая даёт свет. Вот что такое витязь!.. Сердце у витязя и простое, и необыкновенное в одно и то же время. Простое, ибо оно, как и всякое сердце, состоит из мяса, крови и огня, дающего тепло. Необыкновенное, ибо печётся о справедливости, ибо оно не терпит зла, ибо оно презирает сильных мира сего!.. И душа у витязя, я бы сказал, и простая, и необыкновенная в одно и то же время. Простая, ибо она смертна, как и её оболочка, как и всякая человеческая душа. Необыкновенная, ибо, пока она жива — принадлежит народу. Она принадлежит мне, принадлежит и тебе, дочь моя, и тебе, Смел... Она принадлежит всем!.. Что я хочу сказать? Витязь — человек, но прибавьте к этому ещё одно слово: настоящий — и вы поймёте меня...

Старик начал выбивать свою трубку, а затем неспеша снова набил её табаком. Это заняло немало времени. Наконец, затянувшись дымом, он продолжал:

— Стало быть, жил витязь по имени Абраски́л. Всего было вдоволь у него и, как у каждого настоящего человека, были, разумеется, и недруги... Носил он в душе три ненависти. Первая ненависть — к папоротнику; вторая — к злему духу по имени Нуг, а третья — к лианам в лесу. А почему, спрашивается? Абраски́л говорил, ибо он был добр от природы: «Уничтожайте папоротник — источник всяких болезней, сжигайте его и сейте на пепле его!» И каждый, кто следовал этому совету, оставался в выигрыше, а выигрыш для крестьянина — всё, друзья мои! Абраски́л говорил, ибо он был настоящим человеком: «Не кланяйтесь в пояс злему Нугу, ибо ненавистно ему всё сущее на земле». Так поучал Абраски́л, ибо он боролся за величие человека и высоту его духа... Как я уже говорил, дочь моя, Абраски́л презирал и лианы в лесу: он рассекал их шашкой. Он твердил людям: «Я презираю злого Нуга, а лианы заставляют нас нагибаться, и Нуг, чего доброго, может принять это на свой счёт — за наши ему земные поклоны». Так говорил Абраски́л, ибо был он настоящий мужчина. А что такое настоящий мужчина, дочь моя? Это — камень, это твёрдый, непреклонной воли человек. Это — вата порою, ибо он добр сердцем и великодушен. Это — соловей в любви, ибо нет для настоящего витязя ничего выше женщины, от которой получил он и плоть, и неборимый дух!..

Старик задумался и долго безмолвствовал. Молодые люди обменялись взглядами. Не утомился ли Шаангери и не задремал ли он? Но старик рассеял эти сомнения, продолжая свой сказ:

— Я спросил вас: знаете ли вы, что такое настоящий мужчина? Да, вы должны знать: это тот, кто храбро смотрит вперёд и не боится смерти. её холодных и тёмных, как пещеры, глаз... У настоящего мужчины сто два глаза: два, как и у всех, вот тут, под бровями, а сто — в голове. Настоящий мужчина всё видит и всё понимает. Но с кем не бывает греха? Был грех и у Абраскила: непобедимым себя считал — в этом была доля истины, — он презирал осторожность, ибо не считал себя трусом — и в этом было его несчастье. Но скажите, положи руку на сердце: разве осторожность и трусость — одно и то же? Нет, это вещи разные. Осторожен — лев, труслив — заяц... Любил, стало быть, тот самый витязь джигитовку. Был у него конь по имени Арра́ш. Дышал тот конь не воздухом, как все кони, но огнём. И недаром прозвали его люди — Огнедышащий... И вот однажды, на морском берегу, который так любил Абраски́л, разостлали его враги свежие бычьи шкуры и положили они те шкуры шерстью на песок. Попробуй-ка пройдишь по таким шкурам: они скользкие, как лёд! И когда Абраски́л вихрем понёсся по берегу, споткнулся конь его и упал! Упал конь, подмял седока, и потерял седок свет в глазах своих. А когда наш витязь пришёл в себя — он сидел в глубокой пещере, что выше Голубого озера. Он сидел, прикованный цепями к каменной скале, а рядом с ним глодал железо славный Арра́ш... И дал себе слово Абраски́л — он дал его себе и народу — в том, что вырвется на волю, непременно вырвется, и тогда все люди будут довольны жизнью и счастливы вполне... — Старик помолчал и добавил с серьёзным видом: — Не пытайтесь искать его в пещере, дети мои, Абраски́л уже на воле!

Шаангери погладил себе бороду, расправил усы.

— А что вы знаете о Гунде и семи богатырях? — проговорил он.

— Меня интересует всё, — сказала Галя.

— Ну, что ж, это можно... Только в следующий раз... — протянул старик. Он подал девушке руку, и ей показалось, что она прикоснулась к сухому грибу, который нашла нынче утром у столетнего дуба...

Смел и Галя возвращались домой в сумерки. Она быстро освоилась с горными тропами и шла впереди. Он останавливал её, предупреждал об опасных местах, словом, оберегал, как мог. В том месте, где река Сакен делала крутой изгиб и рокотала меж плакучих ив, молодые люди присели на старый, выброшенный рекою ствол. Сквозь листву деревьев пробивался слабый свет луны, витающей где-то в облаках... Было прохладно и тихо.

— Ты запомнила, что говорил Шаангери? — спросил Смел. — Для настоящего мужчины — женщина превыше всего. Это значит, что мужчина любит её больше всего на свете.

Галя не согласилась с ним.

— Старик очень точно выразил свою мысль. А ты всё переворачиваешь по-своему.

— Галя, но не будешь же ты отрицать, что мужчина, то есть настоящий мужчина, должен сильно любить женщину?

— Я возненавижу мужчину, который будет нянчиться со мной, словно с ребёнком. Терпеть не могу сюсюканья!

— И я тоже! — воскликнул Смел. — Настоящий мужчина, о котором говорил Шаангери, уважает женщину... как бы это сказать? — всей душой уважает. Он не ласкает её при посторонних, он даже несколько грубоват с ней на людях...

— Грубоват? Это совсем ни к чему, — заметила Галя.

Смел расхохотался и прижал её прохладную ладонь к своему лбу, пылающему, точно сковорода на огне.

— Горячий, — сказала Галя.

— Всё из-за тебя...

И Смел осторожно взял в свои грубые, мозолистые руки её нежные, хрупкие пальцы и начал перебирать их. Это был своеобразный язык — до предела скупой, но понятный любящим во все времена...

Друзья мои, вот перед вами молодые люди, которые не всегда могут найти нужные слова, но зато у них много чувств, чистых, понятных и без слов, без красивых жестов и клятв... Они в том возрасте, когда тихий вечер и бурная горная река говорят больше, чем пылкие речи. Согласитесь же со мной: нельзя понять с чужих слов, пусть даже самых искренних и горячих, те чувства, которые испытывает в настоящую минуту Смел от прикосновения Галиных рук. Всё это надо пережить самому, а если пережито — постараться воскресить в своей памяти.

10

— Послушай, Адамур, — сказал Антон, ёжась от утренней свежести, — слышал новости?

— Где же они, не слышу их? — промычал бывший заведующий ларьком, кашляя в кулак. С некоторых пор им владел философический скептицизм; основной девиз Адамура выражался в простых словах: вынь да положь.

— Где они? В Сакене, разумеется, — ответил Антон.

Разговор происходил в проходной будке фосфоритного завода (первенец индустриального Сакена, как называл его Кесоу Мирба). Я уже говорил вам, что теперь Адамур работает на фосфоритном заводе. Официально именуясь заместителем заведующего хозяйством, он был всего-навсего обыкновенным сторожем, однако гордым, как индюк. Адамур всё ещё мечтал о восстановлении исконных сакенских порядков. Не без горечи наблюдал он за тем, как сносили знаменитый деревянный ларёк. Порой казался ему, что бьют ломами в само Адамурово сердце. Прошёл месяц, и на месте старого ларька вырос новый — каменный, просторный. «Всё хорошо, — говорил Адамур, — почёсывая свои подбородки (их, если помните, было три), и присовокуплял со вздохом: — но прежнего уюта нет как нет!» Что верно, то верно — прежней грязи и запущенных четырёх стен (прославленного Адамурова уюта) как не бывало. Разбитные юноши бойко шныряли вдоль прилавка, предлагая покупателям то один, то другой товар. А что до кормёжки, то рядом с ларьком появилось новое здание — ресторан (громкое название!) сельского потребительского общества. Правда, салфетки, вырезанные из газет, и бумажные скатерти (тоже газеты) оставляли желать лучшего, но во всём прочем ресторан мог поспорить с любым городским. Однако заядлые сакенские кутилы всё же утверждали, что пить вино приятнее в каком-нибудь закутке без всяких столов и стульев, без бумажных салфеток и скатертей...

Адамур числил себя в списках обиженных судьбой и людьми. Не так-то просто работать сторожем на заводе, где перемалывается, можно сказать, твоё личное добро (фосфоритная скала возвышалась на участке, некогда принадлежавшем Адамуре). С тяжёлым сердцем примирился Адамур со своим положением. Вот почему всё больше и больше развивалась в нём склонность к философствованию...

Антон мало изменился за три года. Глаза остались, как и были, воспалёнными; редкая, рыжеватая борода имела прежний вид. Правда,

повадки свой он немножко изменил — стал добросовестнее работать, реже «паздывал на поле (дескать, «не хочется связываться с этим Кесоу...»).

— А я видел сон,— пробасил Адамур, потирая ладсню лоб, словно у него болела голова. — Сон, как сон, и всё-таки удивительный... Иду, значит, я по горе, а какой — не помню. Может быть, по Гуагуа, а может быть, и по Клычу. Сам понимаешь — сон... Иду и размышляю: хорошо бы на дорогу выйти, на ту, которую сейчас строят. Будто я в город тороплюсь. Вдруг кусты передо мною шевелятся, словно зверь в них какой-то засел. Я — за кинжал. Да как на грех, дома его оставил. Я — за нож, а его тоже нет при мне. Что делать? Кричать? Неудобно как будто... И вижу я, словно наяву, вылезает из куста Рашит. Голова, значит, Рашита, а туловище — олень, только нет рогов. Я от страха ни жив ни мёртв. Подходит ко мне Рашит, или олень, что ли — не знаю, как и назвать! — и давай ноги мне обнюхивать. Понюхал он сапоги, понюхал и, ничего не сказав, — снова в кусты...

— А зубы он скалил при этом? — живо заинтересовался Антон.

— Зубы? Нет как будто... Впрочем, не помню...

— Он лизал сапоги, говоришь?

— Чёрт бы его побрал, кажется, нет!

Антон потёр кулаками глаза и зевнул.

— Аж зевота одолела, — сказал он серьёзно, — значит, сон хороший. Хорошо, что зубы не скалил. Правда, было бы неплохо, ежели б разок сапоги лизнул...

— Лизнул, лизнул, — вспомнил Адамур, и усики его от удовольствия подпрыгнули вверх.

— Поздравляю тебя, Адамур! — торжественно провозгласил Антон. — Враги твои будут у ног твоих!

Адамур достал из кармана бутылку бузиновой водки и, убедившись, что никого нет поблизости, приложился к горлышку, потом передал водку Антону.

— Ну, а новости какие же у нас? — спросил небрежно Адамур.

— Люди понемногу сходят с ума, — убеждённо заявил Антон. — Сумасбродства Кесоу тебе отлично известны. Допустим, Кесоу оказался прав... Скажем, прав на самом деле... Урожай хорош, ждут нынче полтыщи с гектара, а Кесоу со своего участка — тысячу. Ну, бог с ним, с кукурузой всё будто ясно. С табаком — тоже... Но чего надо этой бабёнке?

Адамур мотнул головой, словно отгоняя от себя тяжёлые мысли, кружившие вокруг него надоедливо, как мошкара.

Он выпучил глаза и тупо уставился на Антона.

— Какой бабёнке, Антон? Каме, что ли?

— Каме, разумеется! Ей звёзд небесных недостаёт, вот и тянется к ним на цыпочках.

— Какие же такие новости, я спрашиваю, Антон? — Адамур, пожалуи, выказывал лишнее для философа нетерпение.

— В Сакене будем чай сажать, — Антон загнул палец на левой руке, — будем растить лимоны — два, эвкалипты — три и всякую чертовщину — четыре.

— Врёшь, — спокойно заметил Адамур. — Врёшь так же, как и она.

— Вру?! — воскликнул оскорблённый Антон, пытаясь встать со своего места.

— Сиди, сиди, Антон, — успокоил его Адамур. — Ничего этого не будет, и вот почему: с кукурузой и табаком кое-что вышло, потому что землю подкормили, подсыпали порошок, подбавили навозу и прочее.

А чай и лимон, умная твоя головушка, требуют хорошего тепла. Или, может, решено стеклянную крышу над Сакеном строить?

— Не знаю, — пробурчал озадаченный собеседник.

— Ты не знаешь, а я вот знаю: это всё равно, что от коровы ждать буйволёнка. Сакен, запомни, не простая корова, а с норовом. Ежели бы ты сказал, что крышу строить собираются, а по всем сакенским углам и закоулкам железные печи ставить, чтобы воздух согреть, — я бы ещё поверил.

— В том-то и дело, что ничего этого нет, — с живостью отвечал Антон. — Одна соседская девушка ходила с Камой в лес. Там они чуть-чуть разрыхлили землю и обещали посеять лимоны.

— Посеять?.. Какая-то чепуха!

— В том-то и дело!.. Я и говорю: с ума люди походили. Скажем, Каму сбили с толку разные там мечтатели — профессора да агрономы, но куда наши-то глядят? От работы, можно сказать, вздохнуть некогда, день, можно сказать, короток, проходит, как одна минута, а тут ещё — и лимоны, и чай... Вот озимь затеяли — ну это куда ни шло...

— Тоже ни к чему, — мрачно заметил Адамур, — что у нас, кукурузы нехватает, что ли?

Антон пожал плечами и промолчал.

— Ты лучше скажи об этой, как её?.. — продолжал Адамур. Он вытаскивал зубами пробку, глубоко засевавшую в бутылке, и сложил губы трубочкой, собираясь ещё раз отведать бузиновой.

— О ком это ты?

— О пташке залётной...

— Их нынче много, — сказал Антон, впиваясь взглядом в бутылку и глотая слюну в предвкушении своей очереди. — К Гудалу приехала невестка, к Никуале...

Адамур зафыркал, скорчил страшную гримасу и передал бутылку Антону, который, спустя мгновение, тоже зафыркал и тоже скорчил гримасу.

— Что за невестка у Гудала?

— Какая-то девушка, ходит с тетрадами, сказки, говорят, записывает... И ко мне приставала... Хорошая девушка — ничего не скажешь.

— Женился, что ли, Смел?

— Нет, не женился. — Антон улучил минутку и ещё раз хлебнул водки, энергично при этом замотав головой. — А впрочем, не поймёшь — то ли женился, то ли нет... Приехал её брат вместе с каким-то испанцем... Да вот он, этот самый... Погляди...

Адамур глянул в квадратное смотровое окошечко. И действительно, у заводских ворот стоял Дмитрий, а рядом с ним — Смел. Они пытались открыть калиточку. Адамур по долгу службы вышел из своего закута и медленно, переваливаясь с ноги на ногу, направился к ним.

— Доброе утро, Адамур, — приветствовал его Смел.

Адамур буркнул в ответ что-то невнятное и отпер калитку.

— Вот мы с моим другом, — Смел кивнул на Дмитрия, — с приездом товарищем хотим осмотреть завод.

Адамур закрутил усы в тоненькие струнки и степенно поклонился Дмитрию.

— Ты — наш гость, — сказал он церемонно, — и мы обязаны тебе служить. Приказывай.

Дмитрий смутился. Он не ожидал подобной галантности от заводского сторожа.

— Если это можно, — сказал Дмитрий, — мы бы хотели взглянуть на ваше предприятие.

Адамур вытарашил глаза и потряс всеми тремя подбородками.

— Что значит — можно! — воскликнул он. — Ты к нам приехал за тысячу вёрст — и нельзя? Конечно, можно, чёрт возьми!.. Смел, прошу тебя — будь хозяином, покажи гостю всё, что его интересует.

И Адамур удалился в свою конуру, где Антон сидел, прижавшись к стене и затаив дыхание (в этот урочный час ему полагалось быть на поле).

— Что это за дядя? — спросил Дмитрий своего друга, когда они отошли от будки на некоторое расстояние.

— Знаменитый Адамур, — последовал ответ, — тот самый, о котором я тебе когда-то рассказывал.

— Я так и подумал...

— Сторож, а приглашал словно директор. — И Куламба заметил со смехом: — На низовой работе Адамур впервые.

Адамур возвратился в будку более оживлённый. Он потирал руки и чему-то ухмылялся.

— Парень собой ничего, — сказал он Антону. — Сестра, говоришь, хорошая?

— Как говорится, канарейка, — определил Антон.

Адамур призадумался. Антон тотчас же сообразил, что у этого прирождённого торгаша в голове возникают какие-то новые, удивительные мысли, и дал себе слово пореже бывать здесь. «Он до добра не доведёт», — решил Антон, повязывая башлык на голове.

Сторож между тем сильно морщил лоб. Наконец, он проговорил, точно был один-одинёшенек:

— Появился бы пригожий парень — отбили бы её назло... Назло всему Сакену...

Антон почёл за высшее благоразумие заткнуть пальцами уши и незаметно выбраться наружу. «Этот разбойник, пожалуй, выкинет ещё какое-нибудь коленце», — думал Антон, удаляясь прочь от злополучного Адамура.

11

Нынче летом, находясь в Сакене и набрасывая этюды, я пытался поглубже вникнуть в дела сакенцев. Я помню горячие пересуды, возникшие в связи с планом Кесоу Мирбы насчёт скалы Милосердия (кстати, она решением сельского совета переименована в гору Плодородия) и насчёт высоких урожаев кукурузы. Я думал: как же всё-таки относятся сакенцы к затее молодого агротехника Камы? Как ни странно, но её предложения были встречены деловито, хоть и сдержанно. Кажалось, летняя страда настолько утомила крестьян, что лимоны и чай не слишком-то интересовали их. Но это только казалось. Уж очень заманчивы были картины, нарисованные Камой. Разговор с первым же натурщиком многое мне объяснил.

Это был Гудал, позировавший мне на фоне дощатого щита с рубильником и черепом с костями, нарисованными белилами (семейная реликвия, напоминавшая о первой сакенской гидростанции).

— Александр, — обратился он ко мне, пока я устраивался с этюдником, — и у нас будут расти лимоны. Слыхал?

Похоже было на хвостовство, и я пожал плечами.

— Лимоны, говоришь? — спросил я.

— Да, и лимоны, и чай. Замышляем кой-какие мероприятия... Дело серьёзное.

Этот сакенец ещё три года назад с детской радостью строил самодельную электростанцию, а нынче спокойно говорил о дерзких планах Камы.

— Морозы, надеюсь, не так уж страшны? — заметил я осторожно, намечая углем контур головы, глаза, нос, усы, короткую бороду.

— Как не страшны, Александр! Вся штука в том-то и заключается, чтобы преодолеть морозы.

— А это возможно?

Гудал подумал и ответил вопросом на вопрос:

— А пятьсот пудов кукурузы получить было возможно?.. Всё спасение в науке, — продолжал он, солидно покашливая, — не захочет к нам итти наука — мы её силком затащим, благо дорога в Сакен теперь гладкая, что твой пол... Правда, дело это не двух и не трёх лет, но дело хорошее. Мне оно нравится, — заключил Гудал...

Беседовал я также и с Никуалой (написал его во весь рост, а рядом с ним — убитый медведь). Как бывший руководитель села и чуточку обиженный на односельчан, он, казалось мне, более прочих склонен к скептицизму. Я учитывал также, что образ Камы до сих пор не даёт покоя его любвеобильному сердцу.

— Видишь ли, — заметил он, выпячивая грудь и глядя на острые маковки тополей (излюбленная поза сакенцев, обожающих моментальную фотографию и скороспелые этюды), — видишь ли, вообще-то говоря, это вполне возможно. Чай любит тепло. Лимон любит тепло. Эвкалипт обожает тепло. А где взять тепло в Сакене? Ни за какие деньги его здесь не купишь. Остаётся одно — приучить растения к холоду. О Мичурине слышал?

Я утвердительно кивнул ему.

— Ну, тогда и говорить не о чем. Всё ясно! Но ты, Александр, как видно, думаешь несколько иначе.

— А именно? — сказал я, накладывая первый, лёгкий слой краски.

— Ты думаешь так: эти сакенцы хвастаются чаем и лимонами, слово, кроме чая и лимонов, у них всего в досталь.

Я пытался было возражать. Однако Никуала не дал мне и слова выговорить.

— Всё понимаю, Александр... Конечно, кой-кому покажется смешным, что мы в Сакене за чай берёмся. Вот видишь? — Никуала показал свои грубые, мозолистые руки. — Видишь? Я — охотник, да и корчёвкой занимаюсь. А почему? Потому что работы хватает и без чая.

— В таком случае, оставьте в покое чай...

Никуала улыбнулся широкой улыбкой.

— Женщины затеяли это дело, пусть они продолжают, — заявил он решительно.

Признаться, я так и не понял, что он в конце концов думает о сакенском чае и лимонах...

Если мужская половина Сакена снисходительно-равнодушно отнеслась к удивительному начинанию Камы, то женская половина горю встала на защиту Камы.

Вздумалось мне как-то набросать на холсте сакенский родник. Это оказалось не просто, ибо с трудом удалось навести порядок среди многочисленных посетительниц родника, возбуждённых пересудами о Каме.

— Им завидно, что девушка оказалась не глупее любого мужчины, — зло заметила старуха с лицом морщинистым, как печёное яблоко. — Попомните мои слова: она ещё покажет, что значит сакенская девушка!

Её поддержала другая:

— Ежели б это затеял мужчина, то о нём трубили бы на весь Сакен...

— Не совсем так, — попытался вставить я словечко.

— Не совсем?! — воскликнули женщины в один голос. — А ну покажи свои рисунки.

— Зачем они вам?

Девушка по имени Катя — дородная, загорелая, с русыми волосами — не без злорадства заявила:

— Вы только мужчин рисуете...

— Неправда, Катя.

— А ежели и рисуете женщин, — продолжала она, подбоченясь, — то обязательно за варкой мамалыги или у родника. А разве нет женщин на поле, или в табачных сараях, или на электростанции?..

Должен признаться, друзья мои, что Катя была права. Я объяснил это досадное упущение своей деликатностью, нежеланием тревожить их, слишком занятых и на работе, и дома.

— Ничего подобного! — воскликнула Катя к полному удовольствию всех присутствующих женщин (а их было не менее дюжины), — вы тоже недалеко ушли от наших мужчин.

Вогнав меня в краску, женщины дружно обрушили своё раздражение на головы сакенских мужчин и ушли восвояси с кувшинами, полными ключевой воды. Если бы их жестокие слова не сопровождались добродушным и звонким смехом, я бы сказал, что гнев их мог показаться ужасающим. Если бы, например, записать их проклятия стенографически, клянусь, содрогнулось бы не одно сердце...

Я отложил палитру и задумался, глядя на струю, словно отлитую из хрусталя. «Сколько лет струится она? — спрашивал я себя. — Сто, двести лет, а может быть, и тысячу. Кого только не бывало у этого родника!.. Но такие люди, как нынешние, бывали ли здесь когда-нибудь? Но споры, которые ведутся нынче, раздавались ли здесь когда-нибудь? Я, не колеблясь, отвечу на эти вопросы: нет, ни людей таких, ни споров таких не бывало здесь, ибо и времена нынче иные, и люди не похожи на прежних!..»

Я заметил Шаангери, идущего по тропе. Он шагал тяжело, опираясь на посох, плечи его отягощала огромная кабардинская бурка, и он дымил крепчайшим табаком.

— А, Александр, здравствуй, — сказал Шаангери хрипло, поровнявшись со мной. — Всё рисуешь?.. Торопись, друг мой, рисуй, скоро твоим рисункам цены не будет...

— Моим, Шаангери?

— А то чьим же? Ты рисуешь дикую скалу, а она скоро исчезнет, вместо неё, говорят, появится сад. Ты рисуешь родник, но скоро потечёт вода по трубам... Вот и покажешь всем старый Сакен на своих рисунках. И люди будут удивляться тому, как могли они жить в такой глуши... И мой портрет заканчивай поскорее, Александр. Человек — не камень, а полтора века — не тридцать лет...

Старик закашлялся, схватился за горло, и я с трудом разобрал слово: «Душит»... Он был бледен, едва дышал, но зрачки — верный барометр здоровья — блестели, словно чёрные сливы, только что перемытые дождём.

Шаангери махнул рукой и, качнувшись, медленно двинулся дальше...

Солнце осветило вершины сакенских гор теми розоватыми лучами, какие бывают у него только в самые ранние часы. Река из серой становится бледно-розовой, ворчание её усиливается, кажется, и она просыпается вместе со всей природой...

Тараш и Кесоу сидят на огромном прибрежном камне и наблюдают за работой мотоплуга. Председатель сельского совета морщит своё и без того морщинистое лицо. Кажется, его угнетает боль, которую он тщательно скрывает от посторонних. Ему не нравится Дамей, слишком независимо восседающий на миниатюрном тракторе. Почему он так медленно пашет? И почему мотор время от времени уподобляется огнестрельному оружию? Разве мотору полагается стрелять? И к тому же этот участок — он так мал даже для мотоплуга.

Дамей исчезает в предутреннем тумане и вскоре появляется снова. Как видно, и сам он изрядно смущён поведением своей машины.

Кесоу останавливает его жестом руки.

— Зачем стреляешь? — говорит он.

— Это надо спросить у неё...

Дамей соскакивает со своего сидения и, выругавшись, начинает копать в частях мотоплуга. Тараш становится поодаль. Он замеряет глубину вспашки и остаётся доволен... «Нет, пашет неплохо», — говорит он себе. Но его не устраивают ни эти оглушительные выстрелы, ни размеры участка.

— Проверь зажигание, — замечает Кесоу.

Вдруг машина переходит на сплошные залпы. Её с трудом удаётся утихомирить.

— Дело не в зажигании, — возражает Дамей. — Бензин никудашный — вот что! Я буду жаловаться в район. На нефтебазе мы вроде пасынок.

В доказательство своих слов Дамей выливает себе на ладонь немного бензина.

— Разве на таком поработаешь?

Он вытирает руки о комбинезон (Кесоу настоял на том, чтобы водитель мотоплуга был одет в синий комбинезон) и едет дальше, подымая целинные пласты.

— А участок тебе нравится, Кесоу? — спрашивает Тараш.

— Да разве это участок?! — восклицает Мирба. — Он мал даже для мотоплуга. Такой участок надо пахать швейной машиной.

И он высказывает некоторые соображения по этому поводу... Участок вспахивается под озимь. Машина, как известно, любит большие просторы. Однако не так уж богат Сакен земельными массивами. Пока что придётся довольствоваться небольшими участками и перегонять мотоплуги с места на место. Огромный гусеничный трактор, доставленный в Сакен месяц назад, занимается только корчёвкой леса — больше делать ему нечего...

— Бригады укрупняем, — заключает Кесоу, — участки увеличиваем. Машинам тесно на малых площадях — это факт.

— Что правда, то правда, Кесоу. Я считаю, что можно объединить третью и четвёртую бригады — они слишком малы. И земли их надо соединить в один массив. Нельзя допускать, чтобы машины топтались на малюсеньких клочках.

— Верно, — соглашается Кесоу, — но на всё нужно время и рабочие руки, Тараш.

— Чёрт возьми! — говорит Тараш. — Я думал так: получим машины — освободятся рабочие руки. А выходит что? Машинам тесно — значит корчуй лес. Когда есть машины — хочется большего. Захотел большего — давай людей. Жизнь, брат ты мой, свои законы пишет...

Тараш говорит горячо, словно Кесоу спорит с ним...

Дамей между тем развернул машину и полез на косогор. Плуг работал отлично, если не думать о неприятных выстрелах.

Группа крестьян, проходившая по полю, остановилась полюбоваться крошечным трактором.

— Точно ишак! — воскликнул старик по имени Кан. — Славный у тебя ишак, Кесоу.

Дамей круто повернул машину и угрожающе двинулся к крестьянам.

— Эй, чёрт! — крикнул Кан, отпрянув в сторону. — Плохие у тебя повадки, Дамей!

Кесоу спросил Кана, куда идёт он вместе со своими товарищами.

— Разве тебе неизвестно это? — сказал Кан. — Мы должны были продолжать прополку на кукурузном поле. Да видишь ли, вздумалось нашему бригадиру скалу рушить у самой реки... Неужели нельзя было послать туда других?

— Кого? — спросил Кесоу.

Кан подумал, почесал затылок, но так и не придумал, кого...

— Во всяком случае, не нас же, чёрт возьми! — воскликнул он.

— Это не вашего бригадира выдумка, — успокоил Кесоу готового разбушеваться Кана. — И скалу приходится рушить... Надо же готовиться к озими? Маловато людей — каждому приходится всюду поспевать.

Кан огрызнулся:

— Не людей маловато, а берём на себя многовато...

Кесоу не стал с ним спорить. Кан, как и следовало ожидать, быстро остыл.

— Пошли! — крикнул он своим.

И широко зашагал впереди своей группы, затянув песню. Его дружно поддержали, и звонкая песня поплыла над полями:

К роднику, роднику подошла,

Засмотрелась на струю...

Не заметила орла —

Жажда мучила её...

И когда орёл заговорил,

И когда орёл заговорил,

Испугалась белолицая...

Не заметила орла —

Жажда мучила её...

Крестьяне скрылись за пригорком, но песня их ещё долго была слышна. Дамей, приглушив мотор, с удовольствием прислушивался к ней.

— Итак, — сказал Тараш, снова присаживаясь на камень, — к нам приезжает секретарь райкома. Чем же мы можем похвастать?

Кесоу нравится этот высокий, изнурённый болезнью, но твёрдый и настойчивый человек. Было что-то притягательное в спокойной речи Тараша, в его покашливании и даже в болезненной неторопливости. Он успевал и заседание в сельском совете провести, и на поле побывать, с людьми поговорить. Вот и сейчас ровным, басовитым голосом перечислял Тараш некоторые, как он выразился, достижения. Фосфоритный завод выполнил месячный план, на складе — немало запасов ценного удобрения; уборка табака идёт нормально; кукуруза... вот тут, пожалуй...

— Всё будет в порядке, — уверенно заявляет Кесоу. — Я вчера обошёл все поля. Первая бригада не оплошает. Вторая даст по полтыщи пудов — голову на отсечение!..

— А твой участок?

— Я докажу, что и тысяча пудов не предел для Сакена! В прошлом году шестьсот кой-кого удивили — не правда ли? В нынешнем — тысяча! — Кесоу поднялся во весь рост и ещё раз повторил: — Тысяча!

Он положил руку на плечо Тарашу, словно хотел опереться на него.
— Послушай, Тараш... Хорошо, что сакенцы сдержали своё слово. Но нельзя ли ещё больше размахнуться? Я думаю об этом и днём, и ночью. И разные приходят в голову мысли, но порой от них становится страшно...

— Да, дело серьёзное, — проговорил Тараш. — А ты посоветуйся с нашим агротехником...

— С Камой? — Кесоу посмотрел на Тараша так, словно тот оскорбил его.

— Отчего бы и нет? — продолжал невозмутимо председатель сельсовета. — Она девушка учёная, толк в своей специальности понимает.

— Знаю, — пробормотал Кесоу, — она тоже не нахвалится тобой, за поддержку тебя благодарит.

Тараш закашлялся и, отдышавшись, сказал, что поддержка его — посильная, незначительная: он должен оказывать её по долгу службы. Научные предложения, как известно, всегда требуют поддержки, а жить без науки невыносимо даже в Сакене. Зато Камы вернее было бы назвать опытом, именно опытом. Неужели Кесоу возражает? В чём же существо вопроса? Обычный лимон не переносит морозов более восьми-девяти градусов. Чай тоже боится холода. Эвкалипт — тоже. Следовательно, надо выводить морозоустойчивые сорта. Кукуруза и табак теперь завоеваны прочно; озимь, надо надеяться, тоже будет неплохою. А вот как быть с лимоном, чаем, эвкалиптом? Ежели удастся вывести морозоустойчивые сорта, их можно будет послать и на север — в Крым, на Украину, на Северный Кавказ. Вот оно что!..

Кесоу от нетерпения потирает руки — всё это ему ясно давным-давно. И его чутьчку возмущает этот нравоучительный тон: точно Кесоу мешает кому-нибудь. Но Кесоу научился брать себя в руки (насколько позволяет его характер).

— Всё это прекрасно, — говорит Кесоу, — агротехник не останется без помощи, места для посевов намечены, вчера передана телефонограмма в район с просьбой о семенах... Но я о другом подумываю, о главном...

Кесоу поднялся, сердито нахлебучил папаху по самые брови, прищурил глаза. Солнце выглянуло из-за горы Гуагуа и точно зашагало по маковкам сосен. Августовское солнце злое: оно начинает припекать с раннего утра. И особенно кажется злым, когда ты сам злишься...

Кесоу не договорил, а Тараш и не попытался выяснить, в чём же заключается главное, что не даёт покоя председателю колхоза... Тараш сказал, меняя тему разговора:

— Не нравится мне загрузка электростанции: всего семьдесят процентов мощности... Энергия нужна, а проводов не дают... Придётся жаловаться райкому, Александру Ивановичу...

Он протиснулся с Кесоу и зашагал по целине к гусеничному трактору, который корчевал пни за пригорком.

Кесоу повернулся лицом к реке и вздохнул полной грудью: воздух и свеж, и чист. На дне реки Сакен плавали косяки рыб — они хорошо были видны с высокого берега. Кесоу вздохнул ещё раз и ту же затянул пояс..

На следующее утро Кесоу разбудили раньше обычного. У изголовья стояла Нина, глаза её были полны слёз.

— В чём дело? — спросил Кесоу.

Нина молча вытерла рукавом мокрые глаза.

— Шаангери... — сказала она, запинаясь.

— Что Шаангери?

— Умирает... — промолвила девушка и выбежала в сени.

В комнате стоял тусклый, казалось, загустевший свет. Ива, растущая у самого дома, шелестела на ветру. День выдался пасмурный, серый-пресерый... «Умирает Шаангери». Нет, это казалось невозможным, таким же невероятным, как если бы сказали, что высыхает или потекла вспять река Сакен. «Умирает Шаангери»... Уходило из жизни что-то большое и хорошее, и молодому человеку стало очень грустно. Нет, смерть не пугала его. Слишком часто смотрел он в её пустые глаза на фронте. И ни разу не отвернулся трусливо. Но смерть в эту легкую, мирную пору казалась полной несуразностью. При чём тут смерть, когда мечты сбываются одна за другою, когда всё меняется к лучшему, когда только бы жить да жить!.. Правда, полтора столетия за плечами — не шутки, природа, в конце концов, своё берёт... И всё-таки трудно примириться со смертью...

Входит Екуп. Обе руки он держит на поясице и горбится пуше обычного...

— Такие-то дела, — говорит он, — ничего не поделаешь... Старые умирают, молодые остаются жить... Видишь ли, простыл где-то Шаангери, а много ли ему надо? Доктора к себе не подпустил...

— Как так — не подпустил?

— Не надо, говорит, — и всё. Тараш в город позвонил, врачи выехали, скоро придут с лекарствами...

Кесоу быстро оделся, умылся и, не завтракая, ушёл со двора. Он слышал, как приговаривал Екуп:

— Старые уходят, молодые остаются...

«Всё это верно, — говорил себе Кесоу, — но старые должны оставаться жить как можно дольше, хотя бы на час, но дольше!»

У самого дома Шаангери молодого человека настиг дождь — летний ливень в горах. Кесоу едва не вымок насквозь. Стряхнул в сенях мокрую папаху, осторожно почистил сапоги. Люди уже собрались и тихо перешёптывались меж собою.

Шаангери лежал на высокой кровати. Его окружали родные: дети, внуки, правнуки, праправнуки, родственники. Кесоу ещё с порога увидел бледное лицо старца и его едва шевелившиеся одеревенелые губы.

Председатель сельского совета разговаривал с врачами — городскими и местным.

— Мы привезли всё необходимое, — сказал молодой врач, открывая небольшой, обитый кожей, ящик. — Коллега сообщил, что у больного воспаление лёгких... Мы немедленно оборвём болезнь...

Тут подошёл один из внуков Шаангери и шепнул несколько слов на ухо Кесоу.

— Товарищи, — обратился Кесоу к прибывшим врачам (их было двое), — вас просит больной.

Старик, казалось, почувствовал себя лучше. Он произнёс, чётко выговаривая слова:

— Пусть подойдут.

Трое врачей — один из них сакенский — безмолвно подошли к постели. Все четыре угла комнаты были заняты родственниками, сбившимися в тесные кружки. Старик возлежал на смертном одре с таким видом, будто прилёг отдохнуть. Он сделал над собой невероятное усилие и улыбнулся. «Ничего не понимают врачи, — подумал Кесоу, — старик здоров». Но глаза, друзья мои, Шаангерева глаза были уже не те: они

слегка помутнели, свидетельствуя о холоде, который уже сковывал душу и сердце.

— Сколько тебе лет? — спросил Шаангери.

Врачи смутились.

— Двадцать семь, — ответил один из них.

— А тебе?

— Тридцать.

— А тебе?.. Впрочем, знаю, ребёнок ты ещё.

Это относилось к врачу-сакенцу, и односельчане, не выдержав, засмеялись.

— Кесоу, — промолвил старик после небольшого раздумья, — ежели и твои годы прибавить к годам трёх врачей — до моих всё же будет очень далеко. Вот видите? — продолжал Шаангери. — А вы беспокоитесь, будто умирает молодой человек... Правда, не мешало бы пожить ещё годик...

— За чем же дело стало? — сказали городские врачи. — Можно и два, и три...

— Нет, — прохрипел Шаангери, — только годик.

Наступило тягостное молчание. Старик захрипел, но снова приоткрыл тяжёлые веки и продолжал:

— Не надо, пожалуй, и года... Живите вы... Об одном прошу: ежели есть у вас ко мне хоть капля уважения — оставьте меня в покое... Меня зовут...

Вдруг грянул гром, и где-то с треском обрушилась молния.

Врачи удалились, чтобы посоветоваться на свободе и исполнить свой долг.

— Дамей, — проговорил Шаангери, — ты когда-то прекрасно пел... знаешь, песню Ранения?.. Это — хорошая, целебная песня. А ежели усну... станцуйте Медвежью. Славная пляска, ей-богу. Бывало...

И старик сладко зевнул.

Дамей склонился над умирающим. Он отошёл на шаг и проговорил громким шёпотом, который был слышен всем, ибо в комнате, в сенях и во дворе стояла, что называется, гробовая тишина:

— Тише... Спит...

Но то был сон, от которого больше не пробуждаются, крепкий сон на сто пятьдесят втором году от роду...

Дамей собрал вокруг себя молодёжь.

— Он просил песню Ранения, — сказал он, — споём, дорогие мои...

И они запели:

Пуля страшна ли герою?
Пулю вытащит нож!
Раны ль боится герой?
Травами лечится рана!..
Слава мужчине-герою,
От земли и до звёзд ему — слава!..

Это была старинная песня, она звучала и торжественно и скорбно.

Дождь зарядил по-настоящему. Небесные краны открыть-то открыли, а вот закрыть их — позабыли. Вздুলись речушки, помутнели родники, река Сакен оцетинилась острыми волнами; она ревела, рычала, грозя кинуться на близстоящие деревья. Однако ложе у реки было достаточно просторно, чтобы вместить все ливневые воды и доставить их в полной сохранности к самому Кодору. Гуагуа и Клыч подёрнулись сплош-

ной пеленой тумана, их словно и не бывало на свете. Электростанцию чуть не затопило водой, кое-где свалились электрические столбы, но их быстро подняли.

Жизнь шла своим чередом...

Нога у Гомеса поправлялась. Никуала хвастая новыми победами над медведями. Кама внимательно изучала местность, каждый клочок земли, выбирала почвы, прикидывала — что, когда и как сеять; Галя по-прежнему вела свои записи.

С братом у неё что-то не ладилось. Говорят, они поссорились из-за Камы. А почему, спрашивается? Причина простая: Галя — за Каму, а Дмитрий — за Кесоу. Дмитрий полагает, что надо сначала менять климат, а уж потом браться за лимоны. Шутка сказать! — менять климат. Это дело многих лет, и задача эта едва ли под силу одному Сакену и даже всему району... Словом, Галя всецело на стороне Камы. Вот и ссора.

Кесоу ходит мрачный. Донимали его, с одной стороны, дела, а с другой — так называемые сердечные глупости (читайте — любовь).

Колхозом Кесоу был доволен — здесь всё более или менее благополучно. Но личная жизнь складывалась как-то несуразно. Отношения с Камой не налаживались (так, по крайней мере, казалось всем). Только придёт мысль о Каме, а тут уж, хочешь или не хочешь, лезут в голову и Рашит, и проклятый Адамур, и все эти городские пощелуи... К тому же упорно поговаривают, что Никуала не дремлет; охота, дескать, охотой, но и девушку он держит на прицеле. И кто знает, вдруг Кама решится... всьмёт и назло Кесоу... Нет, до этого доводить никак нельзя...

Кесоу сидит в лесу, на горе Клыч. А под ним внизу — Сакен, он лежит за туманной сеткой дождя...

Хорошо в сосновом бору! На земле — сухие иглы, пахнет смолой, и от дождя удобно укрыться. Сосны — высокие, стройные, шишки падают непрерывно, наполняя лес чудесным шумом.

Кесоу примостился у огромной сосны. Перед ним, прямо на земле, разложена карта Сакена (обыкновенная двухвёрстка). Ветер шевелит жёсткими вершинами деревьев, и они шуршат своими иглами, словно папоротниковая кровля над уютной избушкой.

По правую руку от Кесоу — седловина Турьей. Если горы, окружающие Сакен, представить в виде огромного плетня, то Турья седловина — лаз в этом плетне. Холодные северные ветры проникают через него так же свободно, как солнечные лучи сквозь чистое стекло. Седловина когда-то несомненно была покрыта лесом, но теперь это голая местность, вроде головы, с которой начисто сняли густую шевелюру... Между горой Клыч и горой Гуагуа тоже имеется впадина — долина реки Сакен. И в этой долине люди постарались уничтожить леса. Во-первых, к этим лесам удобно было подойти, а во-вторых, тут рос бук — отличное топливо. Долина, таким образом, превратилась в своего рода ристалище для бешеных ветров. Два лаза — Турья седловина и долина Сакен — расположены почти друг против друга. Это прекрасный путь для сквозных ветров. «Стало быть, — размышлял Кесоу, почёсывая затылок (действие, отражающее некоторую неуверенность), — климат в Сакене суровее, чем он должен быть на самом-то деле. Надо вернуть Сакену прежний климат, то есть вопрос надо решать кардинально» (словечко, очень понравившееся Кесоу).

Мирба погрузился в глубокое раздумье. Теперь перед ним стояла уже не проблема скалы Милосердия, но задача во сто крат сложнее. То была задача укрощения неистовой природы, природы беспощадной, если отдаться на волю её прихотям, и природы кроткой, если заставить её подчиниться себе! И мысленно он переносился далеко, куда-нибудь на сред-

нее течение Волги, где на глазах у восхищённого человечества вырастали леса, которым предстоит изменить климат на территории, может быть в миллион раз большей, чем весь Сакен со всеми его потрохами...

А дождь всё лил и тучи всё ползли. Их чёрные громады лепились к самой горе, пониже того места, где уютно пристроился Кесоу. И тогда уж председатель колхоза «Светлый луч» казался не просто председателем, но самим богом, восседающим на небе.

15

— Дальше так продолжаться не может!

Это решительное и по смыслу и по тону заявление принадлежит Каме. Оно сделано в просторном сарае, где женщины нижут свежие, слегка клейкие и душистые табачные листья. Та, к которой относились эти слова, виновато опустила голову и тяжело вздохнула, слишком тяжело, чтобы поверить в искренность этого вздоха.

— Я лучше и не умею, — проговорила она конфузливо.

Кама присела на низенький табурет и взяла в руки огромную низальную иглу, похожую на вертел, на котором жарят шашлыки.

— Надя, — повернулась Кама к худощавой женщине, скромно низавшей листья в углу, — сколько тебе лет?

— Скоро исполнится сорок, — ответила Надя.

— Ты в школе училась?

— Не довелось...

— А ты, Есма?

Есма — та самая молодуха, у которой пунцовые щёки и которая только что проговорила сконфуженно: «Я лучше не умею».

— Окончила семь классов, — на этот раз гордо произнесла она.

— Ты всех моложе, — сказала Кама жёстко. Она обратилась к женщинам: — Почему Есма нижет хуже Нади? Что у неё, здоровья меньше, чем у Нади, или знаний недостаёт? Никак не пойму, в чём тут дело? У Нади уже две нормы, а у Есмы и половины нет. А день идёт к концу...

Женщины прекратили низку и вразной старались ответить Каме на её вопросы.

— Она слишком молода, — заметила Надя, поправляя косынку.

— Не в этом дело, — вмешалась другая, — ты, Кама, иглу проверь... Наверное, вовсе затупилась.

— Да, игла никудышная... Я понимаю, — продолжала Кама, — понимаю, что рвение в работе — это очень много. Но есть и другое: сноровка... Вот я слежу за Надей... Пусть она покажет свою работу...

Надя, чтобы скрыть смущение, закрыла лицо своими жёсткими, огрубевшими ладонями.

— Ничего особенного... Что же тут мудрёного?..

Её всё-таки упростили показать, как она берёт листья, в каких пальцах и как держит иглу, с какой стороны должны лежать листья, чтобы было сподручнее их брать. И Надя сказала:

— Ну, что вам показывать-то? — вы и без меня знаете... Беру листья и складываю вот тут, рядышком, поближе, складываю их побольше, чтобы меньше терять времени... Иглу, значит, проверяю с вечера, натачиваю её получше. Сажусь поудобней, не как-нибудь, а чтобы спина не уставала... Вот и весь сказ.

Она выхватила несколько листьев и мгновенно нанизала их на иглу. Её движения были размерены, тщательно продуманы и, можно сказать, она не делала ни одного лишнего.

— Верно, — сказала Кама, — вот вам и сноровка, умение и прилежание... Видела, Есма?

— Видела...
 — Может, и ты попробуешь?
 — Отчего же, могу и я... Как все, так и я...
 — Между прочим,— продолжала Кама,— хорошо бы тебе, Надя, пройти по бригадам и показать свою работу.
 — Что ты! Подумаешь, невидаль...
 — Именно невидаль. Должна сказать, дорогие мои, что всякой работе надо учиться, даже самой простой. Это неправда, будто только грамоте учатся!

Кама раскраснелась. Она говорила горячо, но дружески. Кажется, ясно всем: низка отнимает очень много времени, это кропотливый труд, но без него не обойтись...

— Существуют низальные машины,— говорила Кама,— я их видела собственными глазами, вот как вижу вас. Подкладываете листья, а машина нижет.— Она помолчала немного и добавила:— Правда, нижет она пока что слабовато. Но, говорят, скоро её усовершенствуют и тогда начнут выпускать в большом количестве...

— Вот бы нам такую машину...
 — А что вы думаете? Я уже замолвила словечко. Не можем мы без машин!

«Хорошая девушка,— подумала между тем Надя, следя за Камой,— и образованная, и собой красивая, а счастья, видно, не написано ей на роду...»

Нет, не те у Камы глаза, каким надлежит быть у беззаботной, молодой горянки. Виною этому, по мнению многих, неудачная любовь. Любит она Кесоу, а он к ней как будто поостыл, вот, стало быть, и подтачивает эта беда девичье сердце. Замуж бы ей пора, не девочка, слава богу. И вспомнилось Наде, как её самое пятнадцатилетней выдавали замуж, не спросив желания её, не считаясь с её чувствами,— так и передали с рук на руки забулдыге и пьянице. И никто не хотел прислушаться к её душе. А ведь была у неё душа и в пятнадцать лет, и нравился ей, говоря по совести... Однако стоит ли вспоминать?.. Надя хмурит брови, бешено нанизывает листья и говорит себе со злобой: «Пусть выходит, когда ей самой захочется!.. И нечего её подгонять!.. Сердце само подскажет!..»

Недалеко от табачного сарая Кама повстречала Кесоу.

— Кесоу,— сказала она, глядя мимо него,— некоторые женщины работают из рук вон плохо.

Да, это для него не новость. Работают скверно не только в третьей бригаде, но и в пятой... А что предлагает агротехник? Обсуждение опыта лучших низальщиц?.. А что же? Это, пожалуй, идея...

— Вот выглянет солнце,— сказала Кама,— табак так и потечёт с плантаций в сарай. А низать как же будем? Непременно отстанем...

— Нет, это невозможно,— говорит Кесоу и трёт себе лоб.— Отставать нельзя. Ты, Кама, права — необходимо обучать скоростной низке... Может, возьмёмся мы с тобой за это дело?.. А?

«Мы с тобой» прозвучало как-то особенно значительно. Возможно, Кесоу и хотел вложить в эти слова определённый смысл, но, скорее всего, Кама поняла их по-своему.

— Отчего же, возьмёмся,— согласилась она кротко.

«Она похорошела,— решил Кесоу.— И эти тонкие чулки красиво сидят на её ногах...» Тут снова вспомнился Адамур. Кесоу нахмурился...

«Сердится,— думает Кама,— не терпит, когда дорогу ему переходят... Не завидует ли?» А Кесоу: «Проклятый Рашит! Проклятые поцелуи!» Кама продолжала размышлять: «Не пойму, что с ним стряслось. Надо,

говорит он, за новое бороться, вперёд двигаться, а сам мешает...» А Кесоу будто внимательно слушает её и твердит про себя: «Неужели эти губы?..»

— Я считаю,— звучал голос Камы,— перед районом надо поставить вопрос о низальных машинах... Они или уже в городе, или скоро придут...

Кесоу следил за её руками, мелькавшими перед ним, словно бабочки (белые бабочки в весенний день), и думал о своём... Быть может, высказать ей всё, что накопилось на душе?

— Пятидесятый год! — продолжала Кама.— Нельзя нам без машин. «...или подождать, пока все дела уладятся?» — размышлял Кесоу.

— ...и дорога строится медленно. У самого села вдруг застопорилась. В чём дело?

— Что ты говоришь?.. Ах, да, дорога...— Кесоу извинился за свою рассеянность. Он объяснил: — Не спали всю ночь — медведей выслеживали... Звери не дают покоя — портят кукурузу почём зря!

Кама простилась с ним. Молодому человеку очень хотелось посмотреть ей вслед. Шея, подчиняясь неведомой силе, казалось, сама тянулась за левушкой. Но Кесоу пересилил себя и громко проговорил:

— Да, надо выделить лучших низальщиц...

— Что ты сказал, Кесоу?

Мирба оглянулся и увидел узкие, смеющиеся глаза начальника гидростанции. Он держал под руку Дауда, заведующего табачной рассадой. Старик щурил близорукие глаза, задумчиво почёсывая бороду.

— Да вот, — протянул неохотно Кесоу, — низальщиц отругали...

— За что?

— Работа плохо спорится... А вы что ходите парой, словно Антон и Адамур?

Григорий (начальник гидростанции) проглотил слюну, и острый кадык у него так и заходил ходуном. Он снял фуражку и старательно почистил козырёк рукавом ворсистого полушубка.

— Кесоу,— сказал Григорий,— у нас к тебе важное дело...

И он жестом пригласил Мирбу присесть на огромное, в два обхвата, бревно.

— Вот что, Кесоу: мы с Даудом о сушке табака подумываем...

— Прекрасно! Дауду положено думать о сушке, я это понимаю. А ты при чём?

— Можешь ответить на один мой вопрос? — спросил Григорий с таинственным видом.

— Спрашивай, Григорий, в чём дело?

— Скажи, пожалуйста, для чего нижуг табачные листья? Для чего ежегодно тысячи людей тратят драгоценное время на эту нудную работу?

— Как для чего? — удивился Кесоу.— Сушить-то надо? Что за нелепый вопрос!

— Всё в своё время узнаешь,— невозмутимо продолжал Григорий.— Стало быть, листья нижут, чтобы их сушить. А сушат где? На солнце. Солнце высушивает, а потом табак посылают на ферментацию... Табак сушат не день и не два. Ежели солнце не соизволило показаться, то его приходится ждать. Не так ли?

— Это азбучные истины, Григорий...

— Отлично, Кесоу, отлично... Идём дальше... Я хочу сказать: надо ли сушить табак на солнце?.. То есть, обязательно только на солнце?.. Что такое солнечный луч? Что требуется от солнца? Отвечай прямо. Кесоу.

Кесоу сказал:

— Я знаю одно: нужно жаркое солнце.

— Это не ответ... Солнце — это вот что. Видимые лучи — раз. Тепловые — два. Ультрафиолетовые — три, и затем ещё чуточку бета-, чуточку гамма-, чуточку альфа-лучей и ещё кое-что... А что нам нужно из всего этого богатства?

Кесоу подумал:

— Нам нужен ясный день и чтобы было жарко.

— Верно, — подхватил Григорий, — нужна жара. А это значит, что позарез необходимы инфракрасные, тепловые лучи. Ясно?

— Это ясно, — подтвердил Кесоу.

Григорий вскочил с места и, подбоченившись, спросил:

— Так зачем ждать солнца, когда всё необходимое для сушки есть у нас в Сакене? Инфракрасные лучи — это спираль, через которую пропускается ток... Этими лучами и надо сушить табак... Мы с Даудом предлагаем вот что: сушить табак по нашему способу, а затем отправить его на ферментацию... Результат покажет, правы мы или нет.

Кесоу с восхищением смотрел то на Григория, то на Дауда.

— Всё это хорошо, дорогие друзья! — воскликнул он. — Чудесная мысль! Вот ежели б сравнить листья... листья природной сушки и сушки по вашему способу...

— Листья! — Григорий торжественно извлёк из карманов пачку табачных листьев. — Вот они: эти — обычной сушки, а эти — нашей...

Кесоу пригляделся к листьям попристальней, понюхал их...

— Не знаю, что из всего этого получится, но, кажется, придумано здорово! Да вы просто молодцы! — воскликнул Кесоу. — Слышите, молодцы, чёрт бы вас побрал!

И он обнял и Дауда и Григория...

16

Гомес поправлялся. Он уже ходил по комнате, опираясь на палку. Сакенцы оказались правы: никакого перелома ноги! Опухоль заметно спала. Никуала мог похвастать проницательностью своих односельчан.

— Я медицину уважаю, — говорил он Антонио и Дмитрию, — но я плюну в глаза тому, кто посмеет ругать нашу, народную медицину. Вы говорите: пенициллин! Согласен, хорошая штука, наш врач молится на него... А я спрашиваю его: из чего делают твоё лекарство? Из золота, что ли? «Нет, говорит, не из золота, а из плесени». Вот оно что! Слушай, говорю ему, а что же ты скажешь, ежели узнаешь, что ещё моя бабушка лечила раны плесенью? Да, да, не смейтесь, она выскивала под домом зелёную плесень и мазала ею раны... Она научила меня готовить разные зелья от укуса змей. Я знаю даже наговоры против коршунов...

Словом, Никуала очень был доволен тем, что Гомес выздоравливает. Он обещал сводить своих друзей на охоту.

— Это не просто охота, — говорил он горячо. — Это — охрана урожая. Что делает медведь? Он сожрёт один свеженький кочан кукурузы, из которого течёт молоко, а наломает при этом тысячу стеблей. Нет, медведь очень опасен. Я это заявляю как председатель комиссии по охране урожая.

Дмитрий подивился повадкам сакенских медведей. Никуале показалось, что молодой человек будто не очень-то доверяет его словам.

— Нет, я вас должен сводить на охоту, — решил Никуала, — обязательно на охоту. А сегодня могу вам показать какое-нибудь поле, где побывали косолапые... — Он спохватился: — Нет, сегодня не могу. Сегодня у нас корчёвка. Это тоже интересно. Хотите пойти на корчёвку?..

...Как-то вечером явилась Кама. Никуала растерялся. Ему почудилось, что девушка, движимая раскаянием (а этого Никуале очень хотелось), ищет повода, чтобы насолить этому высокомерному Кесоу. Охотнику и в голову не приходило, что могут найтись и другие причины для столь неожиданного визита (обычная самоуверенность сакенских ухажёров). Никуала вдруг приободрился, на мгновение вспыхнула в нём надежда, казалось, угасшая навеки. Однако бодрое настроение исчезло, как только Кама попросила свидания с Гомесом... Дело в том, что она выделена докладчиком и ей необходимо побеседовать с ним. Это был самый настоящий удар (чтобы не сказать — пощёчина). Но Никуала, привыкший к переменивому нраву своей судьбы, героически снёс и эту невольную обиду. Он предоставил госте полную возможность побеседовать с молодыми людьми, а сам потихоньку позвал кое-кого из соседей отужинать. Ужин обещал быть исключительным благодаря присутствию Камы. «Надо действовать различными методами,— пытался утешить себя главарь сакенских охотников.— В данном случае некоторая торжественность приёма не будет худо истолкована Камой. А быть может, даже совсем напротив...»

Он отдавал распоряжения, какие куски свежей и копчёной медвежатины и прочей снеди поднести гостям, из какого кубшина брать вино.

Традиционные куры на сей раз отсутствовали по той простой причине, что незадолго перед тем дважды приезжали друзья. Широкий по натуре Никуала ничего не жалеет для друзей, в том числе, разумеется, и кур. Но Никуала глядел далеко вперёд и припас для будущих гостей немало дичи.

Занимаясь делами хозяйственными, Никуала оставался в курсе беседы: он улавливал отдельные фразы и по ним догадывался, о чём идёт речь; по интонациям Антонио он безошибочно мог определить, когда дело касается республиканской Испании, а когда Испании Франко...

Дмитрий молчал, лишь изредка вставляя в разговор несколько слов: он восполнял рассказ испанца там, где Антонио, по соображениям скромности, опускал интересные подробности...

Лет тринадцать назад молодой каталонский парнишка Антонио Гомес потерял всё: родных, которые погибли от бомбы, брата, павшего в бою под Мадридом. Потерял, наконец, родину... Но вскоре он обрёл и родной край, и тёплый очаг: его приютили в одном из московских детских домов; где добрые люди заменили ему прежнюю семью. На новой родине началась новая жизнь... Теперь Антонио работает на заводе вместе с Дмитрием Сомовым. Антонио тоже токарь по металлу...

Кама слушала Гомеса, широко раскрыв глаза: она не представляла себе, как это можно выгнать человека с родной земли. Проникнутая беспредельной любовью ко всему, что связано с Родиной, Кама с трудом постигала положение человека, не видящего неба своей Отчизны...

— Я тоже горец,— говорил Антонио с сильным акцентом,— мы тоже жили в горах...

Стоявший в сенях Никуала видел, как испанец пожимал руку Каме и благодарил в её лице сакенцев за радушие... Представьте себе, Кама не отнимала смущённо руки, не краснела и не заикалась, как это случалось с нею прежде. Нет, она отвечала испанцу просто, дружески, умно... Никуала не утерпел, чтобы не вмешаться в разговор.

— Кама,— сказал он, гордо подбоченясь,— я знаю испанцев (у него чуть не сорвалось: как свои пять пальцев)... я знаю испанцев неплохо... На фронте встречал разных: одни стреляли в меня, а другие помогали мне. Был у меня...

— ...хороший друг Пабло,— продолжала Кама за него.

Этот выпад не смутил охотника.

— Неужели я рассказывал о нём? — спросил он с невинным видом. — Одним словом, хорошие были ребята в нашей разведке. И Пабло, и другие...

Гомес выразил сомнение: нужно ли устраивать вечер? Ему, право, неловко...

— Мы устраиваем для себя, а не для вас, — возразила Кама.

— А теперь, — провозгласил нетерпеливый Никуала, — давайте отдаем хлеба-соли.

Кроме тех, кого пригласил Никуала, неожиданно явились Нина, Галья и Смел. Вскоре гости уже сидели за скромным, но, по сакенским понятиям, обильным столом.

Нынче, находясь далеко от Сакена, я не могу отказать себе в удовольствии кратко перечислить блюда, которые украшали стол охотника. Я уже не буду говорить о чудесной мамалыге из белой кукурузной муки, ибо её было столько, что сидящие друг против друга гости с трудом могли обменяться взглядами (обычная сакенская щедрость по части еды). Не буду также касаться и румяного чурека, разбросанного на столе, словно галька на морском берегу; не коснусь я и водки различных сортов (бузиновой, грушевой, яблочной, виноградной). Едва ли удивлю кого-нибудь и мясными блюдами, а именно: медвежатинной — копчёной и свежей, и говядиной — тоже копчёной и свежей. Молочные блюда (свежий сыр, сыр копчёный, сыр козий и бараний) едва ли кого-нибудь заинтересуют. Но что действительно потрясло гостей, так это подливы: различные соки, способные сразить любого своей пронзительной остротой. Подливы эти, составляющие гордость сакенского стола, способны буквально воспламенить внутренности. Только попробуешь их — пламя так и начинает бить из горла, как из горящей нефтяной скважины, и если во-зремя не потушить огонь (единственное спасение — вино), человек обращается в пепел. Так, по крайней мере, утверждают сакенцы.

Подливы состояли из соков: ореховых, барбарисовых, помидорных, алычёвых, чесночных. Каждая из этих подлив была такой силы, что с чем бы их ни ели — всё теряло вкус. Во рту оставалось только ощущение ожога. В качестве неотъемлемого ингредиента к каждой из подлив был в изобилии примешан перец — своего рода гремучая ртуть, присутствие которой необходимо для вышеуказанного воспламенения внутренностей. Но каждая подлива содержала и ароматические составы, как-то: мяту, жёлтый цветочный перец, травы, именуемые в Сакене Заячьим глазом, Медвежьим ухом, Куницыным цветом, Куриной мягой, стеблем Цесарки и так далее...

Все обратили внимание на то, как Гомес пил водку и вино. Две объёмные за столом рюмки он, что называется, опрокинул и не поморщился, а вино пил глотками, причмокивая от удовольствия губами.

— Так нельзя, — заметил Никуала, — водку выпил хорошо, а вино — нет.

— На улице Горького в Москве, — сказал испанец, — мы с тобой точно так же будем пить водку.

— Спасибо, Антон. Но вино пьёшь неправильно. Пей разом — так лучше. — И он торжественно признаёт: — Этот тост я пью за нашего дорогого Антона.

Он опорожнил турий рог и вручил его оторопевшему Дмитрию. Дмитрий почесал затылок, посмотрел на сестру, встретился взглядом с Ниной. Нина молча подбодрила его. Дмитрий выпил рог и передал его Смелу.

— Долой Франко! — вскричал молодой человек. — Да здравствует Антонио Гомес!

— Кто этот Франко? — спросил Дамей своего соседа по столу.

Тот был настолько занят медвежатиной, что только бросил сквозь зубы:

— Палац.

Услышав это слово, оскорбляющее всякое благородное ухо с тех пор, как существует белый свет, Дамей потребовал рог.

— Имени этого подлеца я не хочу поминать за этим добрым столом, — сказал он. — Но ежели встречу его где-нибудь — поговорю с ним по-своему!

Дамей торжественно осушил рог, почистил рукавом усы и обратился к Гомесу:

— Послушай, Антон, твоё дело верное, не горюй — будешь дома!.. И ежели... — Дамей сделал паузу и ещё раз повторил: — ...и ежели там, у себя, ты не угостишь меня своим вином — не считай меня другом.

Антонио встал и протянул руку Дамею. Сакенец пожал её, обнял испанца и крепко поцеловал его в самые губы.

Дмитрий сидел рядом с Ниной и пытался ухаживать за нею. Он положил ей на тарелку огромный кусок мяса. Девушка даже покраснела от такого усердия соседа.

— Что вы делаете? — удивилась она.

— Как что? Угощаю вас. — Он посмотрел ей в глаза и тихо сказал: — Не сердитесь.

Она пожала плечами.

— За что?

Дмитрий подумал немного, поднял чайный стакан вина.

— За ваше здорovie, Нина.

Нина опустила голову и начала яростно мять крохотный носовой платок, кокетливо обшитый кружевом...

Кама предложила тост за испанских и сакенских девушек.

— Вы женаты, Антонио? — поинтересовалась она.

— Да, — ответил испанец.

— Как же зовут её, вашу жену?

— Маша! — вскрикнул Антонио, точно неожиданно увидел её в дверях.

Никуала принёс гитару, взял несколько аккордов.

— Гитара! — обрадовался испанец, невольно протягивая руки к инструменту.

Его попросили сыграть и спеть что-нибудь испанское.

— Они хорошо поют, — подтвердил Никуала.

— Что вы, — отказывался Гомес, — теперь я почти совсем русский человек. А впрочем... — И он объявил: — «Хороший охотник».

И, откашлявшись, Антонио запел. Он пел об удачливом охотнике... Вот она, эта песня:

Утром туманным
Я на охоту пошёл,
Ни куропаток, ни уток
Я, увы, не нашёл...

Антонио повесил нос, изображая крайнее уныние.

В рощу забрёл я,
Где бойкая речка текла,—

продолжал он,—

Там на траве зелёной
Девушка мирно спала...

Песня всеми была выслушана с чисто сакенским вниманием, которое радушно прощает не только голосовые недостатки, но и неверные ноты, режущие ухо.

Охмелевший Никуала (как хозяин, он пил все бокалы до дна) попросил Каму порадовать гостей какой-нибудь горской песней.

— Душещипательной! Любовной! — просил он.

Кама перебрала в голове несколько песен и запела ту, в которой рассказывалось о девушке, изошедшей слезами от безутешной любви. Впоследствии, как утверждала песня, на том самом месте, куда падали слёзы девушки, забил родник...

Средь скал он струится
Кристалльный,
И кто бы к нему ни прильнул
Горячими,
Как солнце, губамъ,
Тот узнает любовь,
Тот узнает любовь
И милое сердце поймёт...

...А что такое там, друзья мои, высоко в небе над славным домом Никуалы? Что это за светящийся хоровод, живой и весёлый? То Млечный путь, то мириады звёзд, прорезавшиеся в высоком небе. Они усеяли всё пространство его, огорчённые тем, что вынуждены лишь наблюдать это пиршество в небольшом, но уютном деревянном доме охотника...

17

За столом зашёл разговор о лимонах Камы. Галя и Нина восхищались проектами агротехника. Всё обошлось бы хорошо, если б Галя не вздумала чокнуться с Камой и сказать несколько, казалось бы, безобидных слов.

— За полное поражение ваших врагов, — пожелала она.

При этом, очевидно, имелось в виду, что главный враг (разумеется, Кесоу) отсутствует. Да не тут-то было!

— Позвольте, — вмешался Дмитрий, — о каких врагах вы говорите?

— А это не твоё дело, — ответила ему сестра.

— Как не моё? — Дмитрий хватил кулаком по столу. — Это не честно. Вы должны говорить прямо в лицо, а не прятаться за спиной.

Галя пожала плечами.

— А мы никого не боимся.

— Вот что, товарищи, — Дмитрий встал. — Я считаю, что Кама не права. Да, да, не права. Надо менять климат, а потом уж браться за лимоны и прочее.

Это слово «прочее» оскорбило Каму.

— Дмитрий, — заметила она, — вы не агроном и не можете так смаху об этом судить.

Дмитрий возразил:

— Агрономия тут ни при чём. Здравый смысл подсказывает мне вывод!

— А ты подумал, — говорила разгорячённая Галя, — что значит — менять климат? Эта задача не одного и не двух или трёх лет. И не одного Сакена дело.

Стол, что называется, раскололся: одни горой встали за Каму, другие вступились за Кесоу. Ну, это в Сакене не внове, здесь это частенько бывает по многим поводам, а часто даже без повода. Самое смешное,

мне кажется, в том, что поссорились Дмитрий и Галя, и поссорились основательно. Галя была возмущена, как она выразилась, безответственными заявлениями проезжего туриста.

— Как? — вскричал он. — Я — проезжий турист? Кесоу прав, и я буду бороться за его предложения, а если потребуется, то специально в район поеду.

— Мы тоже кое-что понимаем, — пригрозила сестра, — и не позволим мешать людям работать.

Одним словом, получился небольшой скандал. Никуала, как хозяин, пытался примирить противоречия, хотя у него, разумеется, было и своё собственное мнение.

— Дорогие мои, — говорил он, — есть доля правды у каждой стороны. Климат? — очень хорошо! Лимоны? — тоже хорошо! Мы будем стремиться и к тому и к другому. Одна цель — побольше, вроде горы, другая — поменьше, вроде большой скалы... Но сейчас самое лучшее — это рог с красным вином. Я хочу выпить за горячих людей. Деритесь, дорогие мои, это лучше, чем жить спокойно, безо всякой мечты. — И тут же добавил, хитро подмигнув: — Деритесь, но не забывайте: надо выпить тост. Не каждый день бывает воскресный вечер. Ясно?

...В понедельник, рано утром, Дмитрий разыскал Кесоу.

— Вот что, — сказал москвич, — до сегодняшнего дня я оставался наблюдателем, но дальше не могу. Считаю, что план ваш замечательный. Если пригожусь вам — располагайте мной где бы я ни был, здесь или там, в Москве.

18

Кесоу повстречал Константина на лесной опушке. Огромный гусеничный трактор легко выдёргивал глубоко вросшие в землю пни, точно гнилые старческие зубы. Порою машина гудела. Ей будто недоставало воздуха для горячего дыхания. А затем, рванувшись с места, она разом успокаивалась: это значило, что дело своё она сделала.

Константин следил за корчёвкой с явным удовольствием. Машина нравилась ему. Он думал о слоноподобных сакенских буйволах, которые нынче казались карликами в сравнении с этой неукротимой железной машиной.

Было жарко. Солнце нещадно припекало землю. Оно точно торопилось отдать ей весь свой жар, пока не подспели облака, которые уже сгущались далеко над морем и медленно двигались к Сакену...

— Ну, как дела? — спросил Константин, предлагая Кесоу папиросу.

Кесоу был в хорошем настроении. Сакенец, у которого спорится дело и которого пригревает солнышко, не может не пребывать в хорошем, а бы даже сказал, в прекрасном настроении. Все неурядицы кажутся ему малозначительными (об этом я уже говорил при случае). Вот почему Кесоу ответил не без бахвальства:

— Дела идут отлично. Табак поступает по плану. Листья нижем всё быстрее. Обменялись опытом наших лучших низальщиц. Ну, что ещё? С кукурузой тоже неплохо...

Константин, этот тяжелодум, покуривал папиросу с явным наслаждением. Прищурился глаза, следил он за сизым дымом, ровной струйкой поднимающимся кверху.

— Неплохо, говоришь, с кукурузой? — Константин пожевал кончик папиросы и сплюнул: — Ты имеешь в виду все участки?

— Нет, не все, — не без горечи признался Кесоу. — Участки, что выше, на косогорах, не очень удались. Но за триста пудов всё-таки ручаюсь!

— А твой участок?.. Тысячу пудов обещаешь?

— С каждого гектара? — Кесоу ответил не сразу. Он сделал, я бы сказал, героическое усилие, чтобы без обычной горячности обдумать ответ. Константин не прощает скороспелых выводов.

Но за него ответил сам Константин.

— Думаю, что всё будет в порядке... Учти: можно вырастить хороший урожай, но ежели не уберечь его — пропадёт всё.

Константин с похвалой отозвался о Никуале и его друзьях — бьют они медведей просто замечательно! Один косолапый может доставить уйму хлопот — нужен глаз да глаз.

— Тебя в Герои метим, — продолжал Константин, жестом останавливая протест Кесоу. — Нет, это не личное твоё дело. Ведь кто-нибудь должен открыть список сакенских Героев? Вот мой совет тебе, Кесоу. — Константин положил ему руку на плечо. — Никогда не довольствуйся успехом, как бы велик он ни был. Эти слова, что тебе, должно быть, известно, — не мои. Сдаётся мне — мы в чём-то очень важном отстаём от общего развития страны. Может быть, Кесоу, пора подумать с каком-то новым начинанием?

Кесоу взял под руку Константина и медленно прошёлся с ним по лужайке, изуродованной ямами после корчёвки.

— Ты словно в воду глядишь, — сказал Кесоу. — Я много думал э затее нашего агротехника (он не прибавил — Камы). Ежели посмотреть серьёзно — затея большая. Сказать по правде, кукуруза и табак меня уже не очень волнуют...

Константин погрозил ему пальцем.

— Я хочу сказать, что с кукурузой и табаком мы сладили, — поправился Кесоу. — А вот наш агротехник привёз из города свежие мысли. И о них-то и следует поговорить...

Константин сказал себе: «Признаёт ошибку. Каму надо поддержать». И сказал вслух:

— Ты прав. Не кажется ли тебе, что мы можем взяться за новую, большую... — Ему не терпелось сказать «проблему», но он удержался — ...за большую задачу...

— Именно, Константин! — воскликнул Кесоу.

Константин присел на вывороченный дубовый пенёк. Кесоу вооружился длинной хворостиной: ею он начертил на земле план Сакена. Его интересовали горы, и он обозначил их комьями земли. Каблуком сапога он прорыл канавку, долженствующую изображать реку Сакен.

Константин терпеливо выслушал план похода Кесоу на сакенский климат, который, судя по всему, не устраивал молодого человека. Этот план был изложен достаточно горячо, чтобы можно было ждать немедленного отклика со стороны Константина. Но секретарь партийной организации, человек деловой и практический, молчал. Кесоу, давно привыкший к его немногословию, подивился на этот раз: таких длинных красноречивых пауз даже за Константином не замечалось.

— Я говорил с Тарашем, — раскрыл он, наконец, уста, — и мы с ним твёрдо сошлись в одном: нам надо собраться и поговорить. Поговорить, поставить вопрос на правлении, посоветоваться с Александром Ивановичем. Кстати, он скоро прибудет сюда.

— Кому это «нам» собраться? — процедил Кесоу сквозь зубы.

— Тебе. Каме и мне с Тарашем... То, что ты сказал, — дело далёкого будущего, и мы должны идти навстречу будущему. Но никогда не следует торопиться в серьёзном предприятии... Этим я не хочу сказать, конечно, что надо топтаться на одном месте... — Константин начертил в

воздухе прямую линию, что означало: придерживайся прямой и верной линии.

Кесоу давно оценил прямоту и доброжелательность Константина и даже некоторую его осторожность (что никак не припишешь лени). Более того, Кесоу кое в чём искренне желал бы походить на Константина. Жизнь, как известно, штука интересная, но сложная. Можно и должно работать горячо, но горячность нельзя подменять поспешностью. В горячности есть свои положительные стороны, но трезвая мужская зрелость — куда лучше! Прав Константин: примерить лишний раз никогда не худо.

Кесоу не сердился на Константина... Он потуже затянул пояс, по-военному выпятил грудь.

— Согласен,— произнёс Кесоу как можно мягче,— один ум хорошо, а четыре — лучше. Только вот о чём прошу: возьмёмся за дело с душой, не будем зря терять времени...

Константин улыбнулся и потрепал молодого человека по плечу. Выразить свои чувства ярче этот сдержанный человек, пожалуй, и не умел...

19

Смел только что продрал глаза. «Поздно или рано?» — гадал он. Вокруг необычайно тихо: так бывает только в полдень, когда припекает августовское солнце и всё живое прячется в прохладной тени. Он смотрел на внушительную аппликацию, которая висела на стене. В рамке из неприхотливого орнамента был изображён, по видимому, олень. Морда похожа на человеческое лицо... Странно, как прежде не замечал этого Смел... Олень казался безобразным, рога очертаниями своими напоминали странный корень, вроде тех, что корчуют на берегу Сакена. А вот в морде, действительно, есть что-то человеческое. На кого же похож этот олень? На Адамур, вот на кого!..

Смел приподнялся, опершись на локоть. «Ну да, вылитый Адамур», — подумал он.

Приоткрылась дверь, и в комнату неслышно вошла Камачич. Лицо у неё исполнено благоговения. Это и понятно: через две недели снова укатит в Москву Смел. Как быстро проходят каникулы!..

— Мама,— говорит Смел,— чья это работа?

Камачич поправляет аппликацию тощими, потемневшими у очага руками и гордо признаётся:

— Моя.

— Тебе не кажется, что этот олень напоминает...

— Конечно,— перебивает мать,— и даже очень. Точно такого же оленя убил твой отец лет двадцать тому назад.

Молодой Куламба с трудом сдерживает смех. Мать присаживается к нему на кровать, гладит сына по голове. Смел принимает ласки нехотя (настоящий сакенец внешне равнодушен к материнской нежности). Камачич вздыхает и не без тайного умысла заводит разговор.

— Устаёшь, сыночек, неправда ли? Отдохнул бы, посидел бы в тени. Вчера с утра до вечера пропадал в поле.

— Нет, я совсем не устал...

— Эта девушка тоже много работает,— говорит Камачич. — Всё время пишет. Большая охотница до сказок и песен. У неё много бумаги, и она всю её хочет исписать. Она сама призналась мне в этом.

— Да, мама, это её специальность.

— Она и по хозяйству помогает. Очень непоседливая. Я ей говорю: ты много работаешь, целый день пишешь да ещё и к роднику бегаешь, и у очага своих глаз не жалеешь. Нельзя, говорю, ты — девушка город-

ская... Она смеётся, просит показать, как готовят барбарисовую подливку да как толкут перец с травами...

— Женщина всегда остаётся женщиной,— с деланным равнодушием замечает сын.

— Неправда! Возьмём соседскую Любочку. Она не маленькая — ей семнадцать лет. А поручи мамалыгу сварить — подаст несъедобную кашу. Я и говорю её матери: «Так нельзя, неправильно дочь растишь». А она в ответ: «В школе учится, лень ей стряпать». «А кушать, говорю, не лень? Вот, говорю, есть у нас гостья, за один месяц всему выучилась...»

— Положим, не всему. Да это и ни к чему.

— Я и говорю: Галя, не надо. Она смеётся, босая по траве бегают. Городская, простудится.

— Привыкла, должно быть, к холоду,— говорит Смел.

— Послушай, сын мой, ты чего-то грустишь...

Камачич обнимает сына.

— Ежели задумал что-нибудь — скажи,— шепчет она.— Мы с твоим отцом переговорили — всё будет по-твоему... Девушка она хорошая, нам нравится, людям — тоже... Я не сказала бы, что ты стар... Но ты же знаешь, как мы тебя любим и, ей-богу, не меньше бы любили и её...

Смел высвободился из материнских объятий. Он посмотрел на мать долгим, недоуменным взглядом. Камачич как-то съёжилась вся. и ему стало жаль её.

— Мама,— говорит он,— ну как тебе не стыдно? Что за намёки, какие предложения? Разве мы маленькие? Может быть, ты думаешь, что она только балуется с этими записями?

— Что ты, — мягко возражает Камачич. — Я всё понимаю...

Смел видит, что мать понимает, но по-своему. Нет, он не станет с ней спорить. Это бесполезно...

Камачич прижалась к нему щекой и зашептала:

— Ты же не маленький... Надо нам подготовиться как следует. Ты только правду скажи — пир закатым горой...

Смел молчал. Казалось, только вчера он бегал мальчишкой, гонял буйволов и коров; только вчера играл в мяч, сваленный из шерсти; только вчера мечтал об инженерной науке... А нынче с ним заводят разговор о женитьбе, нынче он — будущий инженер, нынче он — мужчина. о невесте которого говорит всё село... Кажется, сбываются его мечты, а их очень много... Настанет день — и необозримые горизонты откроются перед Смелом, и новые, более дерзкие, чем прежде, мечты заполнят его душу. Вернётся ли он снова в Сакен? Может быть. Или уедет в далёкую Сибирь, где, говорят, укрощают реки. Может быть. Или его пошлют в Закаспийские пустыни, чтобы там прокладывать высоковольтные линии под мелодичный звон верблюжьих караванов? Может быть. Или помянут его волжские просторы, и он там будет творить и строить? Может быть, всё может быть...

А я не сомневаюсь, что его мечты сбудутся. Я говорю так, ибо это случилось и случается с миллионами молодых советских людей. Поверьте мне: пройдут три-четыре года и, не сомневаюсь, мы снова увидимся с вами, и вы скажете, непременно скажете мне: да, вы были правы, мечты Смела Куламбы сбылись!..

А Камачич всё нашёптывает сыну тёплые, сердечные слова, и сын вовсе разомлел, незаметно поддался материнской ласке.

— Я уж ей говорила,— шепчет Камачич.

— Кому? — вскрикивает Смел и краснеет, словно перец.

— Гале...

— Что ты ей говорила, мама?

— То же, что и тебе.

Смел не знает, что делать: сердиться ему или всё обратиться в шутку? Он выбирает второе.

— Ну, и что же она?

— Ничего, долго смеялась, хохотала.

Смел молча глядит на мать с видом бодливого телка...

Входит Гудал. Он потирает от удовольствия руки. Отец словно помолодел за последние три года. Лицо глаже, будто и седины меньше... Рядом с Камачич он выглядит просто молодцом...

— Мы с Галей всё порешили, — говорит он весело, не замечая, что сын изменился в лице. — От ворот пойдёт дорожка, а то неприятно шлёпать по лужам...

— Ты о чём? — спрашивает Смел.

— Всё о том же, об асфальте. Я говорил с начальником нашей дороги. Это хороший парень, только немного на Рашита похож. Такой же живой, шустрый, всё мигом готов уладить, словом — парень огонь! Но по уму совсем не Рашит. Тот — забулдыга, этот — умница.

— Где нынче Рашит, кто его знает?.. — говорит со вздохом Камачич. Как матери, ей жаль эту пропащую душу.

— Шляется, наверное, где-нибудь по белу свету, — отвечает Гудал. — Хорошо, что сбежал, а то бы не сдобровать ни Адамуру, ни Антону. Они всё на него одного взвалили. Ну, чёрт с ним... Так вот, асфальт во дворе положим...

— Будет тебе, — останавливает его Камачич, всю жизнь страдавшая от мужниных причуд, — зачем тебе это?.. Слава богу, дороги сельские, что ковры в иных домах, а по двору как-нибудь уж сумеем пройти...

— Нет, — возражает Гудал, — как-нибудь нынче не годится. Дорожку проложим от дома до кухни — раз. От дома до коровника — два. От ворот до дому — три. И до птичника — четыре. Что скажете?

— Выдумщик ты, вот что.

— Но это ещё не всё, — продолжает хозяин, потирая руки. — Один столб с лампочкой поставим у ворот, другой... Другой — посреди двора, третий — на задворке, четвёртый...

— Не нужен четвёртый, — замечает Камачич, — горит же лампочка в сенях...

— Верно, — соглашается Гудал, — четвёртый не нужен... Галя одобрила мой план... Вы, говорит она, скоро нас, городских, обгоните. А я говорю ей: что же тут удивительного!

— Ох, и хвастун же ты! Лучше б ты крышу починил, протекает она...

— И крышу починим, — весело отзывается Гудал.

Смел зарывается головой в подушку. Он не слышит спора родителей. Ему ни о чём не думается, просто хочется прийти в себя, унять биение сердца... А в это время со двора доносится звонкий голос Гали:

— Смел!.. Тебя ждёт Николай!

Смел прислушивается: разве не так поют соловьи весною? Да нет же, куда им! Этот голос можно отличить среди миллиона других. Не найдёшь в целом свете голоса, похожего на этот!

По ту сторону плетня стоит Николай Айба, молодой студент-историк. Он очень гордится своей специальностью. Скромный, бледнолицый (верный признак учёности), худощавый и малоразговорчивый — таков облик

будущего исследователя глубин человеческой истории и, несомненно, истории Сакена.

Должен заметить, что своей историей сакенцы интересуются давно. Вы, может быть, помните, как один чахоточный чиновник отыскал в горах старинную усыпальницу большого семейства древних людей? Как известно, факт этот в своё время порадовал сакенцев. Я не сомневаюсь, что рассказы о находке в горах некоторым образом повлияли на решение Айбы сделаться историком... Николай Айба уехал учиться в один год со Смелом Куламба. Он был принят сразу и, стало быть, на курс опередил Смела...

Айба серьёзен. Галя, напротив, говорит громко и весело. Она в платье без рукавов, в огромных, на босу ногу, галошах. Кожа её рук и ног блестит на утреннем солнце, точно зеркало (любимый образ сакенцев, когда речь заходит о телесной красоте женщины).

Смел, неумытый, с всклокоченными волосами, здоровается с товарищем, учтиво осведомляется у Гали: как она спала этой ночью? Подчёркнутая галантность наводит Айбу на мысль, что неспроста оказалась Галя в доме Гудала Куламбы. Историк мысленно соглашается с теми, кто прочит эту девушку за нескладного Смела. Он невольно думает о своих однокурсницах и приходит к убеждению, что филология нежит интересных девушек, в то время как история губит их красоту. Правда, Николай ничем не может подкрепить эту странную теорию, что, впрочем, для историка не является чем-то сверхъестественным...

— Николай ждёт тебя целых полчаса,— говорит Галя Смелу.

Николай Айба рос сиротой. Отца у него давным-давно убили, как говорят в народе, князя Маршаны, успевшие скрыться в горах от народного гнева в 1921 году. Отец Николая, Гудим Айба, отличался живостью характера и настойчивостью. Он ухитрялся, не имея ни волов, ни буйволов, ни даже собственной приличной сохи, раньше других вспахивать землю и во-время убирать урожай. У него, по словам сакенцев, был острый язык, хуже бритвы. Не дай бог попасться на такой язык! За очагом Гудим бывал весел и разговорчив, даже если у него за день не было во рту ни маковой росинки. У костра, шуря глаза от едкого дыма, он расплачивался со своими обидчиками. Главным оружием его, как я уже говорил, был острый язык. А своими врагами он считал князей и дворян и вовсе этого не скрывал. Не раз пыталась остерегать его жена, но куда там! Раз Гудим сел на любимого конька — пиши пропало. Князя не раз угрожали ему через подосланных. А когда в Сакене объявилась советская власть, Гудим стал её первым и ревностным поборником.

Николаю шёл второй год, когда привезли тело отца, закутанное в бурку. Это было подлое убийство — из-за угла... На руках у вдовы осталось трое ребят. Положение казалось безвыходным. Однако только казалось. Все трое благополучно окончили школу, а самый младший, Николай, как видите, даже учится в городе. Как и Смел, он проводил свои каникулы в родном селе...

— Он уже хотел уйти,— сказала Галя укоризненно,— и ты много потерял бы, Смел. Николай пришёл показать свою находку.

Историк держал в одной руке небольшой чемоданчик, а в другой — кирку.

— Находку? — спросил Смел. — Да ты же историк, чёрт возьми!

— Я занимаюсь археологией, — заметил Николай, краснея и слегка заикаясь, как мальчик, который говорит заведомую ложь.

— Это одно и то же, — заявил Смел, чьё слегка презрительное отношение к гуманитарным наукам было известно Гале.

Девушка сочла нужным вступить за Николая.

— Смел влюблён только в своё электричество. Он ничего не смыслит в археологии. Спросите его о раскопках в Египте или Трое — и он ничего не ответит.

— Неправда, — возразил электротехник с истинно сакенской живостью: — Неправда. Культуру надо создавать вокруг себя, а не искать её в земле.

— А я буду спорить, — сказала Галя твёрдо, — и докажу, что на одной электротехнике далеко не уедешь.

Николай счёл нужным выразить своё отношение. Историк сказал:

— Я понимаю: вы оба шутите...

Так просто разрешил этот сакенец спор о первозначимости наук.

Николай отбросил кирку в сторону. Он щёлкнул замочками на чемодане, но прежде чем приоткрыть крышку, достал из кармана чёрный конверт с фотографиями.

— Вот это наш двор, — пояснил он, подавая Гале серый снимок. — Вот — плетень, там — всполье. Справа — наш дом.

— Вижу, — сказал Смел, — вон там, подальше, стоит опора линии высокого напряжения...

— Верно, стоит столб... — Николай достал из кармана небольшой бронзовый топорик. — Этот топорик найден недалеко от столба...

— А кто делал эти снимки? — спросил Смел.

— Наш фотограф Салуман.

— Куда только смотрит сельский совет? — возмутился Смел. — Сплошной туман, а не снимок!

— Ты правду говоришь, — согласился с ним археолог. — Так вот... Я осмотрел местность и решил немножко расковырять землю. Вот и наткнулся на кости. Тут я решил, что дело серьёзное, и позвал фотографа...

— Надо его хорошенько проучить за такие снимки!..

— Верно, Смел... Раскопал я площадь в несколько квадратных метров, очистил свою находку от земли, не трогая ничего, и сфотографировал.

— Лошадь это, что ли? — догадывался Смел.

— Именно. Кости павшей лошади... Вот тут видна сбруя, украшения... Я начал копать дальше и откопал вот что...

— Человеческий скелет, — определила Галя.

— Да, кости и кольчуга. Тут наконечники стрел, тут и кинжалы... Могила воина. В этой могиле я нашёл до полусотни бронзовых вещей.

При всей своей скромности Николай не мог не похвастать:

— Большая ценность, — и он открыл чемодан.

Весь он был набит наконечниками стрел, различными украшениями из бронзы и железа, оружием, к слову сказать, отличнойковки. Наконец Николай достал из кармана тщательно обёрнутые в платочек сердоликовые бусы.

— Неужели сердолик? — воскликнула Галя.

— Да, — ответил археолог.

— А ты знаешь их свойство, Смел? — Галя благоговейно перебирала в руках бусы. — Древние верили в их целебную силу. Какая прелесть! Какой изумительный цвет!

Археолог, пересиливая себя, предложил в подарок несколько бусинок. Галя, к его огорчению, не преминула принять их.

Смел наблюдал за тем, как осторожно прятал свою находку молодой историк. С каждой ржавой вещичкой он обращался как с новорождённым ребёнком, который, глядишь, вот-вот выскользнет из неуме-

лых рук. И Смел подумал про себя, подумал без зависти: «Из него выйдет настоящий учёный...»

— Я подозреваю, — сказал Айба, — что можно много кое-чего найти. Только надо копать. Вот прополка одолела. Находки находками, а урожай не ждёт. Приходится помогать.

— Я уверена, — заявила Галя, — что вам запретят выходить в поле, как только узнают о ваших находках.

Айба улыбнулся и пожал плечами.

— Ничего, ничего, — сказал Смел, — наш Николай везде поспеет. У нас с ним особый уговор: на каникулах работать не хуже крестьянина...

А вечером весь Сакен — весь, от родников до крутых нагорий, — говорил о чудесном открытии молодого человека по имени Николай Айба. А был он раньше, недоумевали сакенцы, таким незаметным. Говорят, древней могиле не меньше двух тысяч лет. Не лыком шиты сакенцы!..

21

В субботний вечер в клубе свет зажётся раньше обычного. Кёсоу тщательно осмотрел все комнаты, зал и сцену и пришёл к выводу, что всё в надлежащем порядке. Здание клуба построено совсем недавно. Зал рассчитан на четыреста мест, но если чуточку потесниться — вместятся и все пятьсот. Сакенцы гордятся своей сценой — она на полтора метра больше городской. Имеются огромные фонари, способные дать любое освещение: обыкновенное, красное, жёлтое, синее и зелёное. Бывает и так: расположится на сцене президиум собрания, а директор клуба (молодой человек по имени Георгий) прикажет включить полный ёвет — весь президиум жмурится, как от летнего солнца. Особенно приятно проделывать это, когда кто-нибудь из города приезжает — знай, мол, наши! Между прочим, есть и декорации. На одном огромном полотнище изображён лес, на другом горы (в Сакене, да без гор!), а на третьем — внутренность дома. Имеются парики и много грима. Занавес, должен заметить, шёлковый, вполне приличный (пожалели в районе бархат, к себе в театр забрали).

При клубе работают хоровой и драматический кружки, отлично ладят между собой, помогают друг другу. Есть тут и читальня, и библиотека.

Здание празднично украшено. Над порталом сцены кумач с надписью: «Привет трудящимся Испании и всего земного шара!» Мушаг, директор школы, дней десять натаскивает своих кружковцев, что-то разучивает с ними, а что именно — о том приказано молчать!..

Кама пришла на собрание озабоченная. И сразу направилась в библиотеку, посмотреть ещё раз свои записи. Ей предстояло первое большое выступление перед односельчанами, и она, разумеется, волнуется. Но стоило подняться на трибуну и оглядеть полный зал и президиум, ослеплённый светом, — она разом успокоилась и даже расхрабрилась...

В середине стола сидели Антонио и Дмитрий — почётные гости сакенцев. Рядом с ними — Тараш и Константин. Никуала с достоинством представлял сакенских охотников.

Когда водворилась тишина, Кама заговорила. Не успела и рта раскрыть, а уж односельчане решили: «Говорит, как пишет». Во-первых, она удивила своих слушателей умением держаться на трибуне. Во-вторых, казалась красивее обычного: ей, если можно так сказать, очень шла эта трибуна из чистого ореха, тёмная, под цвет её волос. Кама словно повзрослела, стала ещё стройнее — вот беспристрастное заключе-

ние аудитории. Говорила Кама мягким, грудным голосом, который порою звучал даже грозно.

Кесоу наблюдал за нею исподлобья. Он сидел в президиуме на дальнем конце стола. Константин выразительно подмигнул Мирбе и кивнул ему головой: дескать, неплохой оратор наша Кама.

Гомес чувствовал себя явно не в своей тарелке: он не привык сидеть в президиуме да ещё в качестве такой важной персоны. Кесоу и Дмитрий едва уговорили его занять место за большим буквым столом, покрытым кумачёвой скатертью.

Дмитрий Сомов, по замыслу организаторов вечера, представлял трудящихся столицы. Сакенцы были довольны своими гостями и с удовольствием слушали Каму, тем более, что говорила она громко, чётко и обещала не испытывать долго терпения присутствующих.

Гневно клеймила она позором Франко и его американских покровителей. Кама заявила, что народ, давший миру знаменитых художников и писателей, нельзя закабалить навечно. При этом она произнесла незнакомые собранию имена Сервантеса и Гойи. Она сообщила, что сакенцы, как и вся страна, высказались за мир, против войны.

Значительная часть доклада была посвящена событиям в Корее. И это понятно — сакенцы от души сочувствовали тем, на чьи головы в эти минуты падали бомбы американских империалистов. Бурной овацией приветствовали горцы новый Китай. И когда наступила небольшая передышка, вдруг кто-то сказал:

— Я видел китайца.

Все мигом обратили внимание на этого удивительного человека, который собственными глазами видел китайца. Этим человеком оказался Адамур. Да, он видел китайца и ещё раз подтвердил своё заявление кивком головы. Многие захлопали в ладоши, и председателю пришлось призвать особо ретивых к порядку.

Кама продолжала говорить о том, как честные люди во всём мире борются за мир, о том, как их преследуют за то, что они не хотят войны. Когда она назвала имя Сталина, весь зал поднялся и долго-долго аплодировал. Уже и стёкла дрожали во всём здании, а сакенцы не унимались, ибо с этим именем у них было связано всё: настоящее и будущее, само понятие о счастье и благоденствии...

В нарушение всяких правил поднялся с места Екуп и попросил слова. Он сказал, обращаясь к Гомесу, следующее:

— Сын мой, я стар и мои слова не очень-то много значат, но всё же запомни их: не долго тебе ходить вдалеке от родного края. Наступит день, и ты скажешь: да, прав был Екуп!

Выступление старика Мирбы понравилось сакенцам. Кто-то выкрикнул:

— Твоими бы устами да мёд пить!

А в дальнем углу кто-то несмело произнёс:

— Аминь!

Получилось это не очень складно, и люди разразились дружеским смехом...

Я сидел в заднем ряду, ближе к выходу. С удовольствием наблюдал я это собрание, осенённое великими словами: свобода, труд и мир! Я всматривался в своих односельчан и диву давался: каждый из них в эту минуту мысленно витал где-нибудь в Корее или Малайе, в Испании или Индии, и каждый из них, несомненно, чувствовал ответственность за судьбы всей планеты. И я спрашивал себя: те ли это сакенцы, которых я знал когда-то, или не те? И я отвечал себе: и те, и не те!..
Выступление Гомеса было коротким. Бедный парень чуть не заикался

от смущения. Он сказал, что может быстро выточить любую деталь, но язык у него не такой шустрый, как руки.

— Правильно! — кричали ему из зала.

Гомес выразил надежду встретить всех, как братьев, в Каталонии, едва только Франко уберётся вслед за Гитлером...

Когда Тараш закрыл собрание и возвестил о предстоящей художественной части, поднялся Дамей и напомнил, что не принята резолюция. Организаторы собрания переглянулись: откровенно говоря, принимать резолюцию и не предполагали — всё как будто ясно само собой. Кесоу попросил слова. Он предложил направить телеграмму протеста против поддержки режима Франко американскими монополистами (слово «монополистами» Кесоу пришлось разъяснить), а также против войны в Корее, телеграмму с требованием мира во всём мире. Это предложение всем пришлось по душе. Кесоу и Константин набросали текст короткой телеграммы.

— Ладно, — проговорил Тараш, — но куда мы пошлём её?

— Как, куда? — сказал Кесоу. — В Организацию Объединённых Наций.

Но Тарашу необходим точный адрес: город, улица, номер дома. Кесоу не смог удовлетворить законного требования председателя.

— Я думаю, в Нью-Йорк, — произнёс Константин.

Решили посоветоваться с начальником почты. Он сидел где-то в задних рядах — высокий, малоподвижный детина, видимо, хлебнувший браги после утомительного рабочего дня (одних писем и журналов пришло нынче до полусотни да телеграмм из района штук пять). Начальник собрался с мыслями и весьма авторитетно заявил, что телеграмму без точного адреса не примет.

— А что скажет товарищ докладчик? — поинтересовался Тараш.

Кама сказала:

— Предложение правильное: надо послать телеграмму. Я думаю так: пошлём её Сталину, а он направит, куда следует.

— Правильно! Правильно! — раздались возгласы.

Тараш исправил адрес и прочитал телеграмму собранию:

«Дорогой товарищ Сталин! Мы, жители села Сакен, обсудив на общем собрании борьбу трудящихся Испании за свою свободу и независимость, требуем от Организации Объединённых Наций обуздания империалистов, требуем решительных мер против палача Франко и империалистов в Корее, требуем мира на всём земном шаре».

К этому единогласно было постановлено добавить следующие строки: «Мы, сакенцы, выполнили все сельскохозяйственные работы на высоком уровне. Обещаем полностью убрать урожай табака и кукурузы, поднять зяби на 120 процентов против плана. Сообщаем также, что благоустройство села осуществляется весьма успешно».

— Много распространяться не следует, — заметил Константин. — У Сталина есть дела и поважнее наших...

Редактирование телеграммы собрание поручило президиуму, после чего официальная часть была закрыта.

Мушаг сказал Гомесу:

— Вы садитесь в первом ряду и о своих впечатлениях расскажете после. Ладно?

Он, очевидно, чем-то думал поразить Гомеса. Не знаю, как испанец, но сакенцы были удивлены, когда на сцену вышли красиво одетые молодые люди и стали петь и танцевать. Это были сценки из пьесы «Фуэнте Овехуна», переведённой на абхазский язык писателем Михаи-

лом Гочуа (погиб смертью храбрых на Крымской земле весной 1942 года).

Большое впечатление произвела сцена в темнице.. Испанские крестьяне проявили непоколебимую твёрдость, и это понравилось горцам.

Судья (ученик седьмого класса), в пурпурной шёлковой шали, перекинутой через плечо, грозно допрашивал крестьян:

...Так назовите нам
Убийцу Гомеса Гусмана.

Эстебан
(сын Дамея, облачённый в пастушью
безрукавку из козьей шкуры).

Фуэнте Овехуна.

Судья
(грозно поводя усищами):

Мальчишку взять!
Он правду скажет на дыбе.
Скажи! Молчишь, подобно рыбе?
Я научу тебя скрывать!
Палач, зажми его в тиски.

Ребёнок:

Фуэнте Овехуна, сударь.

Ответ всем знакомого сорванца из третьего класса вызвал неистовый восторг.

— Молодец! — неслось из зала.

— Этот судья — настоящий Франко! — раздался чей-то басистый голос.

Лауренсия, роль которой исполняла девушка по имени Люба, низальщица из третьей бригады, просто изумила сакенцев. Её словно впервые увидели. Иные из молодых людей обратили на неё серьёзное внимание. К слову сказать, Люба вскоре стала женою одного из них.

С этого знаменательного вечера упрочилось в Сакене крылатое выражение «Фуэнте Овехуна». Под хорошее настроение оно само просилось на язык.

22

— Мы ничего пока не решаем, — сказал Тараш, отодвигая от себя тяжёлое мраморное пресс-папье. Он повернул длинными влажными пальцами борзую собаку, украшавшую письменный прибор, и собака уставилась своей умной мордой на Кесоу. Тараш подчеркнул: — Мы собрались, чтобы обменяться мнениями.

— Разумеется, — подтвердил Константин, — решать будет совет, а может быть, даже район.

Кама сидела против председателя сельского совета. Перед нею на зелёном сукне лежала груда бумаг. Кесоу чертил какие-то завитушки на обложке тетради и улыбался. Казалось, он уверен в своих силах. Константин глядел на него с любопытством, находя в нём какие-то новые черты. «Он похудел, — сказал себе Константин, — и поседел вдобавок...» Константин презирал людей, которые никогда не меняются — не седеют и не стареют (а такие были в Сакене). Например, Адамур на всю жизнь сохранит свой неопределённый возраст, голщину и беззабот-

ность, это бесспорно. Ранняя седина, по мнению Константина, свидетельствовала о недюжинном мужском уме.

Худой, нескладный Тараш, с болезненным румянцем на щеках, вызывал в суровом Константине большое уважение. Константин знает, как много работает Тараш, как мало бережёт он себя и совсем не заботится о личном благе. Но, сказать по правде, сакенцы не остаются перед ним в долгу: они его лечили в Гульрипше и вылечили — не отдали во власть страшной болезни. Одним словом, добрые дела не пропадают. Вот и вернулся Тараш в родное село пополневшим, а, бывало, кровью харкал. С интересом слушали односельчане его рассказ о больничных порядках. «Всё было хорошо, — говорил Тараш, — но... — и он шёпотом сообщал мужчинам ужасную подробность, смутившую исконную стыдливость сакенцев: — ...за больными ухаживают одни девушки... Тараш потребовал мужчин-санитаров. Ему отказали. На этой почве произошёл бурный разговор с главным врачом, и Тараш был вынужден подчиниться больничной дисциплине... «А в остальном — это прекрасная больница», — утверждал он...

— Может быть, ты хочешь слова? — спросил Тараш, обращаясь к Кама.

— Пожалуйста.

Кама развернула бумаги, пробежала глазами ряды цифр, подчеркнув некоторые из них карандашом.

— Я считаю, — начала она, — что теперь мы в состоянии поставить перед собой новые задачи. Я хочу сказать, мы должны поставить новые задачи! Мы стоим на верном пути, когда боремя за высокие урожаи...

— ...ли добываем их, — заметил Тараш.

— Да, и добываем их. Хороша кукуруза. Табак тоже не плох. Пятнадцать центнеров с гектара — это означает двести процентов плана. Всё это отлично. Но желаем мы или не желаем, а должны подумать о машинах. У нас есть мотоплуг, есть гусеничный трактор. Я думаю, будут ещё машины. А это значит, что надо пересмотреть бригады, укрупнить их, правильно распределить участки, чтобы было где разгуляться машинам.

— Верно, — подтвердил Кесоу.

Кама всё больше взодушевлялась. Она словно кого-то обвиняла и кого-то защищала. Мужчины слушали молча, не прекословя ей. Ни один из них не мог бы сказать, не покрывив душой, что девушка эта знает меньше их и что ей подобает, по старому обычаю, стоять в углу и слушать чужие умные речи... Мне, как сакенцу, может, не так уж просто это выговорить, но должен сказать прямо: Кама в чём-то даже превосходила мужчин. Я не боюсь утверждать: Кама действительно знала если не больше, то никак не меньше присутствующих мужчин. Она, не в пример иным женщинам, могла быть и серьёзным соперником, и надёжным другом — в зависимости от обстоятельств...

— Таким образом, — продолжала Кама, — я считаю, что мы справились и с кукурузой, и с табаком. Нынче принимаемся за озимь. Это тоже надо приветствовать. Но кто нам запрещает итти вперёд, всё дальше и выше? Я спрашиваю вас: кто запрещает?

Она ударила ладонью по столу, и трое мужчин невольно переглянулись, словно спрашивая, кто же из них запрещает.

— Никто не запрещает, — хрипло проговорил Тараш.

— Я предлагаю необычное для Сакена дело, а не опыты, как многие думают, ибо опыты делаются и без нас. Слава богу, страна не маленькая, и умных голов хватает!

Кесоу вспомнил, как однажды Кама разрыдалась и убежала от

него, пообещав уехать в город и вернуться через три года, чтобы понастоящему поговорить с сакенцами. «Сдержала слово», — сказал себе Кесоу. Но стоит ему подумать о прошлом — тут как тут Адамур с его грязными намёками и проклятый Рашит с его проделкой. И независимо от того, что видит Кесоу всем своим разумом, — его подводят чувства, слишком пылкая душа. Всё смешивается в такие минуты и говорит Кесоу наперекор Кама, наперекор и только наперекор. В этом вы можете убедиться сию же минуту...

Кама предлагала взяться за разведение чая и эвкалипта — наиболее ценного, быстрорастущего дерева, за лимоны и апельсины, способные украсить своими плодами любой стол. Но это не значит — добыть черенки и посадить их! Сакен не на берегу моря. В Сакене морозы и снег. Здесь нужны особые сорта. А где их взять, эти сорта? Взять их негде, хоть весь свет обрыскай. Надо самим вырастить нужные сорта. Но как? Подобно учёным, смело браться за дело. Нельзя быть половинчатым, надо верить, надо всей душою верить и следовать науке!

Кама представила подробный план участков, намеченных под посевы семян чая и лимонов.

— Здесь учтены все микроклиматические условия, — сказала Кама, — мы использовали любую возможность, чтобы сеять семена в самых различных условиях. Вот северные склоны, здесь — южные. Вот тут мы думаем сеять в овражках, здесь — на опушках. И леса мы выбирали разные: сосновые, еловые, дубовые, липовые, лавровишневые подлески. Мы поднимались от реки всё выше и выше, доходили до альпийских лугов.

Кама быстро сложила свои бумаги и спрятала их в сумочку из жатой кожи (в Сакене утверждали, что кожа эта крокодиля).

— Всё? — спросил Тараш.

Он повернул борзую собаку мордой к себе и долго её рассматривал.

— Вот что, — сказал он, — я бы хотел, чтобы у Камы не создалось впечатление, будто ей в чём-то мешают. Никто у неё поперёк дороги не стоит... У нас тоже много своих дел и забот, и каждый человек в Сакене настолько загружен работой, что не хочется браться за новое, пока его не убедят в полезности этого. Есть предложение у Камы, есть свои соображения у Кесоу, есть и у нас своё мнение... Вопрос заключается в том, чтобы как следует раскинуть мозгами, семь раз отмерить... — Тараш замолчал; откашлявшись, он обратился к Мирбе: — Ты добавишь что-нибудь?

— Да, — сказал Кесоу и встал. Ему хотелось, чтобы Кама поняла, что перед нею люди с головой, а не дети. Он не мог допустить, чтобы Кама, в чём-то опередив его, посрамила на глазах у всего села. Кесоу продолжал: — Я хочу договориться об одном: будем мы вести разговоры ради разговоров и благих пожеланий или же намерены взять быка за рога?

Хотя мысль Кесоу была и не совсем ясна, но все согласились с тем, что вообще быка следует брать за рога.

— Конечно, за рога! — воскликнул Тараш.

— За рога, — промолвил Константин.

— Говорят, не надо бояться большого дела. В таком случае я ставлю вопрос иначе. — Кесоу покосился на Константина. — Давайте ставить вопрос так: надо менять климат в Сакене.

Кесоу оглядел присутствующих, но никто не выказал особенного удивления. А Тараш проговорил:

— И то правда, это хорошая мысль.

Кесоу изложил свои соображения:

— Первое: надо избавиться от северных холодных ветров. Каким образом? Высадить густые леса на Турьей седловине и в ущелье реки Сакен, начиная от Голубого озера. Таким образом мы запираем входы в Сакен. Но этого мало. Сакен необходимо окружить лесами со всех сторон, то есть восстановить то, что вырубалось сотнями лет. Но и этого мало. Есть предложение спустить воду из Голубого озера в Волчий ров и устроить вблизи Сакена водохранилище... Для этого нужно время, нужен труд. Надо возвести плотину, подумать и о других сооружениях. После всего этого вопрос с эвкалиптами и прочими растениями разрешится проще, почти сам собою.

— Неправда! — решительно возразила Кама. — Одно другому не мешает. Леса нужны, обводнение Волчьего рва — тоже... Но разве посев семян мешает всему этому?

— Не мешает, но отвлекает, — упрямо возразил Кесоу.

Тараш объявил, что он, как председатель совета, поддерживает оба предложения. Нельзя ли их объединить? А что, ежели продумать всё, как следует, наметить сроки — года два или три, скажем? Очевидно, нужны будут немалые деньги и, в первую очередь, помощь района...

— Нынче дадим полтора миллиона дохода, — прихвастнул Кесоу.

— Ну, это не так много, — заметил Тараш.

Кама пожелала внести полную ясность.

— Я понимаю так, — сказала она, — мы продолжаем работу с семенами.

Кесоу промолчал.

— Разве вам не помогают? — спросил Константин и начал не спеша выкладывать каждое своё слово: — Сейте чай — спасибо скажем. Задержки тут не должно быть. Никакой задержки. В будущем году приобретите лимоны... Что касается предложения Кесоу — я советую так: обсудить этот вопрос в партийной организации. Дальше. Поговорить с районом. Это дело большущее. А?

Константин вытер платком вспотевший лоб.

Тайная обида шевелилась в самом сердце Мирбы и не давала покоя. Может быть, уязвлённое тщеславие? Нет, будто не то. Зависть, что ли, зашевелилась в груди? Тоже будто бы нет...

Я понимаю Кесоу, друзья мои, и, если я смыслю что-нибудь в человеческой душе, заявляю вам определённо: во всём всё-таки повинна любовь!

Кама возвратилась домой поздно вечером. Нынче она обошла все свои участки, наметила новые. Скоро придут семена, лягут они в землю, и тогда начнётся беспокойная пора наблюдений: придётся измерять и температуру воздуха, и температуру почвы, вести подробный дневник. Словом, дела идут на лад. Но почему на душе так тяжело и беспокойно? Физическая усталость? О, нет! Каме не впервые ходить по горам, её не пугает и долгий рабочий день в лесных чащобах...

Она прошла в маленький домик с земляным полом — здесь жила её бабушка Мина. Старая Мина наотрез отказалась перейти в новый дом: дескать, высок он, трудно взбираться по лестнице и пол деревянный — костра не разложишь на таком полу.

Нет уж, пусть доживает она остаток дней в привычном, прокопчённом и ветхом, но очень уютном домике. Здесь так хорошо! Дождь не стучит по железу, он бесшумно, как на вату, падает на папоротниковую кровлю; от сухого земляного пола идёт тепло (говорят, полезно для старческих костей), костёр дымит день-деньской, а ночью горячие уголья

и зсла не дают остыть комнате... Пусть в том большом доме, который выстроил сын, одержимый гордыней, играет городская музыка, пусть топят там высокие печи, сложенные из кирпича, — Мина не согласна менять старое, насиженное место на новое. Непонятные стали люди нынче. Каждый из них стремится куда-то, каждый старается разрушить старый и воздвигнуть новый очаг. Гордость обуяла сакенцев — не иначе!

Мина сугула, годы сгорбили её, лицо сморщилось, пожелтело, словно перезревший персик. Но она работает, она никому не в тягость, сама разжигает огонь, поддерживает его весь день, а по ночам молится за молодых. Обо всех она печётся. Её волнует всё: и дожди, когда они льют непрерывно, и новая война, которая может вспыхнуть. Беспокоит, наконец, и внука. Ещё бы: вернулась девочка из города учёная и пригожая, а какой в этом толк?..

Кама подсаживается к очагу поближе. Пламя, как на поверхности воды, играет на её белых руках, и бабушка вздыхает пуще прежнего: нет, не везёт внучке...

Мина жарит сыр на маленькой сковородке.

— Ох, деточка моя, — охает старушка.

— Что с тобой?

— Со мной? — шамкает бабушка беззубым ртом. — Со мной ничего... Я что же? Вон умер Шаангери. А какой был цветущий. Умру и я. И ничего!

Старушка горазда поговорить, повздыхать, да поохать, да старое помянуть...

— Молодость, что ли, вспомнила, бабушка?

Кама спрашивает, а мысли её витают далеко. И сама не знает, о чём они, её мысли.

— Зачем она, моя молодость, кому она нужна? О тебе, Кама, день и ночь думаю...

Кама удивлена.

— Обо мне?

— Ну чем ты хуже других? Или собою непригожа? Кровь с молоком, ноги, что у серны, и шея белая, как известь. Разве мало этого?

— Мало, бабушка, мало...

Старушка начинает сердиться.

— Мало? Нет, милая, очень много, ежели у мужчин глаза на месте. Да тебя в моё время давно бы умыкнули! — И, подумав немного, Мина говорит с сожалением: — И зачем отказала ты этому Рашити? Неплохой был парень. Его сгубила, а сама...

Старуха запнулась.

— Что сама? — строго спрашивает Кама. Её начинает раздражать этот разговор, — кажется, в бабушкиных словах есть крупинка правды.

— Не дай бог в старых девах засидеться... — И Мина истово крестится. — Не дай бог!

— Не большая беда, — улыбаясь, возражает Кама. — Вот и останусь в старых девах.

— А почему? — говорит Мина, отставляя сыр и разрезая холодную мамалыгу на ровные куски. — Или мало в тебе учёности, ежели об учёности говорить? Ты, деточка, не сохни по Кесоу. Никуала ничуть его не хуже. Герой-мужчина. Погляди сюда! — И старуха показывает крючковатым пальцем на кусок свежей медвежатины. — Знает, что люблю дичь, — и носит. Воспитан хорошо, уважение к старшим имеет.

— И ничего ты, бабушка, не понимаешь!

Мина ставит на низенькую скамейку сыр и мамалыгу, а сама садится против внучки, по ту сторону очага.

— И понимать тут нечего. Сколько тебе лет? Двадцать три? И куда только глядят отец и мать? Я бы на их месте давно хорошего жениха подыскала. А на Кесоу надежда плоха. — Старуха вытирает руки о чёрный фартук. — Он, говорят, женится скоро...

У Камы застрекает кусок в горле. Разумеется, это неправда. Однако кто же болтает такой вздор?

— На ком же, бабушка? — спрашивает Кама, вымучивая из себя слабенький смешок.

— Девушка, говорят, из города приехала... У Гудала живёт...

Старуха проводит пальцем по влажным, воспалённым векам: да, она плакала, обидно ей за свою красавицу внучку.

Конечно, разговоры эти пустые, да не в них дело... В Каме просыпается женщина, она почти оскорблена, ей надоела эта томительная неопределённость.

— Проклятый Рашит! — срывается с её губ, и она заливается самыми настоящими слезами — горячими, обильными женскими слезами. Ничего не поделаешь с ними, сами текут из глаз, не спрашиваясь... Неужели всегда с таким трудом даётся простое человеческое счастье?

— Бабушка, — говорит Кама, глотая слёзы, — когда приходил этот Никуала?

— Никуала, деточка? А он каждый день заходит...

— И что же он?

— Подарки приносит. Посидит, покурит, о лесных происшествиях расскажет... Наверное, из-за тебя ходит...

— А что он говорит обо мне?

— О тебе, внучка? О тебе — ничего... Может, и хочется ему высказать — да молчит...

— Язык онемел, что ли? — зло произносит Кама и плачет пуше прежнего. Кажется, она готова пойти хоть за Никуалу...

«Это от дурного глаза, — решает старушка, ковыляя к внучке, чтобы приласкать её и утешить. — Надо принять меры». И она перебирает в уме лучших знахарок. Но — увы! — давно они отдали богу душу, не оставив после себя смены. Это ни на что не похоже! И старушка дивится прозорливости той, что ходит с косою по миру и собирает кровавую жатву среди людей. Даже знахарок не щадит свирепая!..

Сидит Кама у огня, вытирает глаза и щёки платком. И вдруг слышит своё имя. Она настораживается: да, кличут её. Чей это голос?

Кама выбегает из кухоньки. После яркого огня весь мир кажется погружённым в глубокую темень. Она осторожно нащупывает ногой дорожку к воротам.

— Кто там? — спрашивает Кама.

— Это я, Галя.

И в самом деле, у ворот стоит Галя. Она не даёт Каме и словечка вымолвить.

— Вот что, милая Кама... Вы не удивляйтесь, что так поздно беспокою вас. Завтра мой брат со своим товарищем уходят в город... Вы понимаете?..

Кама ничего не понимает.

— Как? — Галя с трудом переводит дыхание — должно быть, бежала всю дорогу. — Вы знаете, что они заодно?

— Кто — они?

— Кесоу и мой брат. Дмитрий считает, что вы неправы с вашими посевами, а Кесоу прав — надо, говорит, климат менять, а до того потерпеть с чаем, с лимонами...

— Ну так что же, милая моя, — говорит Кама, — пусть они так думают...

— Что вы! — возмущается Галя. — Кесоу, наверное, дал поручение Дмитрию... Они целый час разговаривали... Я боюсь, как бы они не заручились поддержкой в райкоме...

— А я не боюсь, — твёрдо, сквозь зубы произносит Кама. — Я ничего и никого не боюсь. Пусть делают, что угодно!

Галя стискивает ей руку, выражая своё сочувствие. Ей жалко агро-техника, которому не очень-то везёт в работе, а ещё меньше в личной жизни...

— Спасибо, Галя — говорит Кама, — спасибо за ваше хорошее отношение. Передайте своему брату, что я добьюсь своего. Скажете ему?

— Обязательно, Кама.

— А ещё передайте привет. Пусть приезжает будущим летом.

— На всякий случай позвоните в райком, — советует Галя. — Ну, я пошла...

— Нет, я провожу вас, Галя...

Но Галя протестует так горячо, что Кама быстро уступает ей.

— Я мигом доберусь, — настаивает Галя.

Она пропадает в темноте. И кажется Каме, что не одна, а две тени торопливо шагают по дороге.

«Должно быть, Смел», — думает Кама, возвращаясь к себе, совершенно уверенная в том, что угадала.

24

Гомеса и Дмитрия до окраины села провожали Никуала, Смел, Галя и Нина.

— Понимаешь, — объяснял Никуала, — многие пришли рано утром, чтобы проститься. Но вы спали, и они ушли на работу. Просили привет передать... Вот ежели б воскресенье было, к тому же дождливое — обязательно провожали бы...

— Нельзя так много пить, — сказал Гомес, хватаясь руками за виски, которые тупо болели после вчерашнего ужина. — Нельзя пить из рога. Надо пить маленькими рюмками.

Никуала подумал и серьёзно заметил:

— Нет, рюмками ничего не получится.

— Нельзя пить так много вина! — твердил Антонио. — Уж лучше водку.

— Это же ради тебя, — сказал добродушно Никуала. — Когда гость — надо выпить и хозяину. Послушай, Антон, ежели придётся мне псбывать в Испании — ты уж рюмками меня не угощай. Принимай по-нашему, и я скажу тебе спасибо.

Антонио обещал исполнить эту просьбу.

Галя повздорила с братом.

— Дмитрий, — сказала она, — если ты попытаешься мешать Каме — наша дружба пойдёт врозь.

— Не мешайся в чужие дела, — возразил Дмитрий.

— Как в чужие? Ты считаешь, что чай — это твоё дело? Кесоу поступает нечестно, а ты...

— Что я?

— Ты помогаешь ему.

Дмитрий побагровел.

— Не мешайся в чужие дела, — снова повторил он.

И Дмитрий заговорил с Гомесом. У обоих молодых людей рюкзаки за спиной. Гомес даже не прихрамывал, хотя опухоль на ноге всё ещё

не исчезла. Дмитрий шагал размашисто, глубоко вдыхая свежий воздух. Они торопились. Предполагалось, что в Сакене они задержатся дня три-четыре, но подвёл Антонио с этим своим неожиданным падением. Отпуск на исходе, остаются считанные дни: надо ещё поспеть к морю, а оттуда — в Москву. А у Гали и Смела в запасе ещё дней десять...

Впереди всех шёл Куламба. Галя нагнала его и попыталась пригнаться к его шагу.

— А ты-то куда торопишься? — спросила она.

— Чтобы уйти от наших и побыть с тобой, — признался Смел с похвальной откровенностью. Она сказала:

— Ну что ж, не протестую.

И они скрылись за поворотом.

Дмитрий обрагился к Нине с просьбой: писать ему о всех сельских новостях, писать обо всём.

— Как это — обо всём? — любопытствовала Нина.

— Ну, вот так... обо всём интересном. Даже о свадьбах...

Нина колебалась: дать слово — значит выполнить его. Дмитрий продолжал настаивать.

— Ладно, — сказал он, — буду писать я. Дайте слово, что ответите на моё письмо... Чёрт возьми, — продолжал Дмитрий, — неужели вы думаете, что лимоны в Сакене — только ваше дело?

— А вы обещайте мне, — поставила она условие, — не мешать Каме там, в районе. и не слушаться Кесоу. Хоть он мне и брат, а неправ, а перед Камой даже очень виноват...

Дмитрий кивнул ей и затянул песню, разученную в туристском лагере на Северном Кавказе. Его пение оставляло желать много лучшего, но пел он, что называется, от души, а потому заслуживал поощрения.

Уж вы горы мои,
Горы вы кавказские... —

пел Дмитрий.

И далеко разносилась песня:

Как под этой под горой,
Течёт речка быстрая...
Как над этой над рекой
Вырос куст ракитовый..

Никуала сощурил глаза и сказал Гомесу, указывая рукой на парочку, идущую впереди:

— Послушай, Антонио, — и, понизив голос до шёпота, добавил: — Смел и Галя идут под руку. Что это значит?

Гомес прищёлкнул языком.

— Видишь? — повернулся Никуала к Нине. — Руки у них вместе, видишь?

Нина, казалось, не придавала этому особого значения. Однако Никуале, как истому сакенцу, всё было ясно.

— Быть свадьбе, — заключил он.

А Дмитрий продолжал свою песню:

Как на этом на кусту
Сидел сизокрыл орёл,
Сидел сизокрыл орёл...

Сумерки сгущались. Небо покрылось облаками. Там и сям на пыльной придорожной траве обозначились капли дождя, но были они редки и падали с большой неохотой. Вот почему Адамур сказал уверенно:

— Не быть нынче дождю.

Изрекши сей недвусмысленный прогноз, он лихо сдвинул папаху набок и вошёл в ресторан.

Это новое сельское заведение появилось на месте прежнего ларька, снесённого до основания. А рядом вырос магазин с шикарными пилястрами и отличным деревянным карнизом причудливого стиля. Здесь можно приобрести всё что угодно, начиная от радиоприёмников до чугунных плит для печей. Однако простые вещи, вроде швейных иголок, почему-то не всегда находили дорогу в этот магазин, и сакенцы в таких случаях разрешали себе поиронизировать над монументальным стилем постройки.

Ресторан не блистал фасадом. У сельского потребительского общества недоставало денег на внешние украшения, и часть строительных работ была перенесена на будущий год. Но, так сказать, интерьер ресторана говорил о богатом воображении строителей. На орнаменты не пожалели золота и ультрамарина. Потолок расписали клеевой краской. Огромный плафон изображал четыре времени года и людей, занятых трудом. Скрещённые винные рога, словно невзначай разбросанные по всему потолку и стенам, напоминали о людских утехах, как бы символизируя дух и устремления самого заведения. В зале расставлены квадратные столы, покрытые бумажными скатертями. Посудой своей ресторан определённо гордился, и не зря гордился: хоть убавляй её, эту изобильную фарфоровую посуду. Столько навалят на столы тарелок, и ножей, и вилок из нержавеющей стали — локти опереть негде, для пепельниц места нехватает. Вот он, каков ресторан в Сакене!..

Адамур перешагнул через порог и тут же наткнулся на столик Никуалы. Охотник явно скучал в ожидании официанта.

— Здоровья желаю тебе, Никуала! — И Адамур сделал вид, что направляется к соседнему столику.

Никуала тут же пригласил его за свой. Адамур не заставил просить себя дважды.

В ресторане было пусто и тихо. Лишь иногда из-за тонкой стены доносились звон тарелок и шипенье воды, попавшей на горячую плиту.

— Нехорошо, когда пусто в ресторане, — сказал Адамур.

— А с какой бы стати ему ломиться? Люди спину гнут на поле.

— И то правда, — согласился Адамур. — Только не пойму я, чего им надо? Птичьего молока, что ли? От добра добра не ищут. Человеку и отдых нужен, и веселье...

Никуала промычал что-то невнятное.

— Как твои гости, Никуала? Говорят, очень довольны тобой.

— Спасибо, — сказал Никуала, у которого слегка побаливала голова после вчерашнего возлияния, — утром проводил их. Хорошие ребята. Послушай, — обратился Никуала к официанту, — дай поесть чего-нибудь.

— Мясного? — спросил молодой парнишка несуразно высокого роста и с буйным чёрным вихром на голове.

— Скажем, мясного...

— Есть антрекот, бифштекс, котлеты...

Никуала пожал плечами.

— Вы начинаете тягаться с городом, — заметил он, — но мы посмотрим, что означают эти твои трескучие названия.

— Первый сорт,— чмокнув губами, сказал молодой официант — молодой, но, по твёрдому убеждению Адамур, уже достаточно развращённый рестораном.

— Постой, не торопись,— остановил его Никуала. — Принесёшь дюжину солёных огурцов. Понял?

— Огурцов сегодня не будет.

— Ну, так помидоров солёных.

— Тоже не будет.

— Тогда репу, что ли? — воскликнул Никуала, начинавший терять терпение.

Выяснилось, что солений вообще нет. Всю вину за такое ужасное положение официант возложил на правление потребительского общества, которое, дескать, позабыло спустить наряды на август месяц.

— Слышишь? — не без злорадства сказал Адамур. — Даже соленья привозить не научились, зато названия-то какие: антрекот, бифштекс!

Однако Адамур успокоил готового разбушеваться Никуалу. Он вышел на порог и гаркнул во всё горло:

— Эй, Христина, эй!

Из дома, скрытого за небольшой рощицей, отозвался женский голос:

— Кто там?

— Это я, Адамур! — кричал толстяк. — Бога ради, Христина, человек умирает.... Пришли-ка солёных огурцов и немного капусты. Слышишь?

— Сейчас! — бойко ответила Христина.

Вскоре на посрамление ресторанной администрации и всего правления сельского потребительского общества на столе появились солёные огурцы и капуста.

— Придётся поговорить о ресторане, — сказал мрачно Никуала, — он портится не по дням, а по часам.

— Ресторан души требует, — глубокомысленно подчеркнул Адамур, — а эти работают с ленцой.

— Мы им всыпем, — пригрозил Никуала.

Вскоре подали еду. Антрекот понравился охотнику. Он расправился с мясом, как лев с козулей, и, чокнувшись с Адамуром, опрокинул в горло стакан вина.

— Правда ли, — спросил Адамур не без тайного умысла, — правда ли, что Кама затевает удивительную историю, а сельское начальство с ней согласно?

— Историю с лимонами, что ли?

— И с лимонами, и с чаем.

— А что в этом удивительного? — Никуала проглотил кусок мяса с добрый кулак и запил его вином. — Наверное, согласно. А что?

Глаза у Адамур стали совсем крошечными, усики подпрыгнули вверх.

— Нет, ничего, ничего, — поспешил он заверить, — могу лишь сказать, что сакенцам недоставало до сей поры женского ума. Слава богу, теперь и он появился, женский-то ум.

И он в шутку осенил крестным знаменем стакан вина и опорожнил его единым духом.

Никуала перестал жевать и, глядя куда-то вверх головы толстяка, сказал:

— А что, Адамур, неплохая получилась бы жена из Камы?

— Из Камы? — Адамур вдруг почувствовал, какого он дал маху. Однако не растерялся и, потрясая всеми своими подбородками, почти пропел: — Лучшей жены и не желай!..

Кама выговаривала девушке по имени Катя Гунба — толстой, некрасивой, с ногами, словно низкие буковые пни. Та слушала молча, иногда улыбалась, открывая ряд ослепительно-белых зубов.

Они стояли в углу огромного табачного сарая, полного шуршания зелёных листьев. Было невыносимо душно. Женщины работали в глубине сарая и не могли слышать, о чём говорила Кама. Но по жестам Камы они догадывались о многом.

— Ты будто впервые нижешь,— говорила Кама.— Ни ссоры, ни видно, ни охоты. В чём дело? Разве ты не знаешь, как работают наши лучшие низальщицы?

— Знаю,— пробормотала девица.

— Из-за тебя страдает вся бригада. Может быть, ты нездорова?

Катя словно проглотила язык.

— Вчера тебя не было. Три дня назад ты ушла после полудня... Сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

— И только?.. Катя, прошу тебя,— продолжала Кама,— не срами наших женщин. Прошли времена, когда нас, девушек, за глупых гусынь считали. Слышишь? Может, тебе трудно здесь?

— И не легко,— ответила девушка.— Вчера работали с утра до ночи... Позавчера тоже.

— Одна ты сидела, что ли?

— Зачем одна? Все сидели... У меня поясница болит.

— А другие, думаешь, каменные?

— Может, и каменные...

— А со мной поработать не хочешь? — предложила Кама.

— Это по горам лазить, что ли? — спросила Катя, грызя ноготь указательного пальца.

— Работа живая, сидеть на одном месте не придётся. Может, табак на лимоны поменяешь?

Катя ничего не ответила, она с независимым видом направилась на своё место. «Что с ней? — подумала Кама. — Какая-то странная». И спросила одну из женщин, всегда ли Катя такая ленивая?

— Катя? — повторила женщина, вытирая платком потное лицо и шею.— Да разве ты не знаешь? Её скоро сватать будут. Зачем же ей убиваться на работе?

Так вот оно что! Катю сватают, и ей неохота работать... Она, эта Катя, целиком поглощена предстоящим замужеством. Должно быть, девушка рада. Ну, разумеется, рада. Наверное, хороший парень, если она вовсе потеряла голову. Но Кама не понимает её. Может быть, оттого, что состарилась?.. Да нет, чёрт возьми, не стареют же в двадцать три года!

Кама бледна, глаза у неё потухли, а в развилке бровей — глубокая бороздка. Вышла из сарая, постояла у входа, вдыхая свежий воздух,— грудь почему-то сдавило.

Заговорила Катя своим высоким, неприятным голосом, и женщины в сарае вдруг расхохотались. Кама невольно прислушалась.

— Я могу работать сколько угодно,— хвастала она.— Хотите, всех вас обгону? Но в голове у меня засел этот проклятый...

— Ты так бы и сказала,— посоветовал кто-то.

— А много ли она поймёт? — продолжала Катя.— Правду говорят, что все старые девы сварливы...

Кама до боли закусила губу и, боясь, выдать себя, осторожно на

цыпочках удалилась. Она шла, шатаясь, точно её качало ветром, шла, уронив голову на грудь. Её больно уязвили. Нет, больше того: оскорбили смертельно!

— Галя,— сказала Камачич,— клянусь, они что-то замышляют.

Галя оторвалась от тетради.

В дальнем углу двора, под амбаром, сидели Гудал и Смел. Сын точил какую-то палочку, а отец, должно быть, о чём-то вслух рассуждал, глядя на носки своих сапог. Смел время от времени прекращал работу и начинал жестикулировать: было неясно — то ли он не соглашается с отцом, то ли его фантазия парит ещё выше отцовской...

— Не может быть,— возразила Галя.— У Смела нет времени.

— А зачем им время? — сказала Камачич.— Они сегодня же могут выкопать какую-нибудь канаву и неизвестно зачем напустить в неё воду.

Камачич направилась в кухню.

Галя аккуратно вывела заголовок: «Сказка о блохе и черепахе» (записано в селе Сакен со слов старика Шаангери Канба).

День нынче выдался отличный. Солнце пекло землю изо всей мочи. Гуагуа курилась как никогда: её широкая спина едва выдерживала поток горячих лучей. Высоко в небе летали ласточки — к хорошей погоде. Со всем как в Москве летним, погожим днём, во дворе ссорятся из-за крох воробьи, взлетают и снова возвращаются, сердитые и нахохленные.

Камачич была права: отец и сын и в самом деле придумывали что-то новое. Гудал не сомневался в успехе своей затеи. Его только беспокоили некоторые мелочи. С тех пор как в Сакене заработала тысячекваттваттная гидростанция, Гудал остыл к этому виду энергии. Он пристрастился к радио — оно давало духовную пищу (новый для Сакена термин, отмеченный Галей в рубрике «Влияние нового быга на разговорный словарь»). Но в эту минуту Гудала занимало нечто иное...

— Послушай,— говорил он сыну,— ты погляди на свою мать — она таскает воду за полверсты...

— Я пытался ей помогать,— оправдывается сын.— Не мужское это дело, говорит. Решил вставать пораньше. Куда там! Разве её опередишь?

— А я считаю так: мы должны ей доставить воду...

Гудал огляделся вокруг, как заговорщик. Сын аккуратно строгал кизловую палочку.

— Смел,— продолжал отец,— любой город, как тебе известно, побольше нашего Сакена.

Смел кивнул в знак согласия.

— Разве в городах есть родники?.. Я спрашиваю, ежели в городе тысяча людей может получать воду, что называется, возле самой своей постели, то почему нам не иметь её хотя бы у плетня?

— Ты хочешь выкопать колодец? — предположил Смел, страшивая с колен сгрудки.

— Зачем колодец? В колодце вода хуже родниковой. Я бы хотел воду прямо из родника.

— Вот оно что!

Гудал поделился хорошим планом — так он называл свою затею. Он таков, этот план: как известно, родник Кривой Каштан чертовски хорош — зимой он тёплый, а летом попробуй сунуть палец — отморозишь. Лучшей воды нигде не сыскать. Гудалов дом — на холме, а Кривой Каштан — под холмом... Трубы железные раздобыть не трудно — надо только в город съездить... Дальше. Трубы уложить тоже не трудно: два дня — и вся работа! Но как устроить, чтобы вода потекла вверх? Это противно законам природы...

Смел улыбается.

— А центробежный насос зачем существует? — спрашивает он. — А моторы зачем?

И он объясняет отцу нехитрое приспособление для водокачки.

— Смел! — обрадованный Гудал вскакивает с места. — Я так и думал, что мы совладаем и с водопроводом. Ты маме — ни слова. Слышишь? А то загрызёт меня.

— Отец, — говорит сын, — хорошая мысль у тебя... А что, ежели ты поговоришь с Кесоу о большом насосе и большом моторе?

— Ты хочешь сказать: большом водопроводе?

— Да.

— Для всего Сакена?

— Да.

Гудала тревожит опасение, и он его высказывает:

— А что, ежели они не захотят?

— Тогда возьми сам.

Гудал хлопает сына по плечу.

— Умно придумано.

И оба, довольные, возвращаются в дом.

28

Кама встретила Галя у родника: она по щиколотку стояла в студёной воде.

Кама присела на пенёк, и они разговорились, а крутобокие, закопчённые в дыму глиняные кувшины, привычные к женским нескончаемым разговорам, приготовились долго лежать на песке. Кама полубовалась стройной фигурой Гали, даже пришла к выводу, что девушка эта чертовски красива (решение, которое, как мы знаем, нелегко принимают женщины всего света).

Каму интересует, когда уезжает Галя. Дней через десять? Так скоро? Разве плохо в Сакене? Нет, здесь совсем не плохо, тем более, не скучно, но надо ехать — учебный год на носу... Уедет ли Смел? Обязательно. Его тоже ждёт институт... Галя говорит вполголоса, правой ногой слегка взмучивая ил... А Кама приехала сюда навсегда, неправда ли?

Галя в курсе сердечных дел бедной Камы (и очень сочувствует ей). Поэтому ей хорошо понятна вся самоотверженность Камы, когда она говорит, что пока остаётся в Сакене (слово «пока» усиленно подчёркнуто интонацией). А куда, собственно говоря, ей бежать? Работа здесь интересная, большие перспективы...

Кама неожиданно воодушевляется:

— Должна сказать вам, Галя, что ежели для специалиста по субтропикам нынче здесь не очень много дел, то через три-четыре года хлопот не оберёшься. Я думаю, это будет настоящая исследовательская, научная работа. Вот вы, скажем, записываете народные словечки, выражения, пословицы. Через два года вы здесь найдёте такие речения, каких нынче нет и быть не может. А почему? Да потому, что жизнь идёт вперёд.

Девушки высказали друг другу несколько мыслей, которые, как, мне кажется, не нуждаются в особых пояснениях. Чтобы не утруждать вашего внимания, я решил передать этот разговор почти в стенографической записи.

Г а л я. Если бы вы знали, Кама, с какой открытой душой я желаю вам удачи! И уверена, что всё будет так, как вы задумали.

Кама. Спасибо, Галя... Мне обещали отборные семена и разных сортов. За чай я почему-то спокойна...

Галя. Что же вас волнует?

Кама. Лимоны... Во всяком случае, мы покончим с однокосыми опытами... Представляете, Галя? — вот уже лет двадцать специалисты по субтропикам пытаются вывести морозоустойчивые формы. А как они это делают? Только путём вегетативного размножения.

Галя. Этот путь неверен?

Кама. Это всё равно, что стругать палочку и думать, что она станет железной. Железо добывается из железной руды, значит морозоустойчивые формы надо искать в закалённых сеянцах, а не в нежных взрослых формах.

Галя. У нас есть родственница, живёт она под Москвой. Большая любительница всяких растений. Она собирается... как бы это сказать? — посеять зёрна черешен и ещё каких-то растений... Там, знаете, такой небольшой лесок...

Кама. И правильно поступает ваша родственница... Она ровным счётом ничего не проиграет, разве что пропадёт несколько косточек. А делает большое дело.

Галя. Мне нравится ваша специальность, Кама. Вы первая в Сагене начинаете разводить лимоны. Это должны оценить ваши друзья. Я поссорилась с братом из-за вас.

Кама. Из-за меня?

Галя. Ну, да. Мне кажется, что он заодно с Кесоу... Скажите, Кама, вам могут помешать? Это было бы ужасно! Вот я скоро уеду в Москву, и если бы вы пожелали, я бы могла куда угодно обратиться за помощью.

Кама. Спасибо, Галя. Кто мне может помешать? Ежели я уверена в правильности дела, кто мне станет поперёк дороги? Не добьюсь здесь — пойду выше.

Галя. Вы мне очень нравитесь. Вас называют девушка-молния. Я записала это выражение.

Кама. Мало ли как называют! Главное — надо проявить себя настоящему... Вот наши собираются горы своротить. Вы слышали про леса, про озёра и пруды?

Галя. Всё это очень трудно и почти невероятно.

Кама. Говоря откровенно, не совсем так... И ваши хозяева (она чуть не сказала «ваш теть») тоже новую идею предложили... Да вы, наверное, сами знаете.

Галя. Нет, не знаю. А что?

Кама. Как? Они вам ничего не говорили о водопроводе?

Галя смутилась. Почему она, собственно, должна быть во всём осведомлена?

— Гудал предложил водопровод построить, — сказала Кама. — Думаю, в этом и вы со Смелом повинны. Не отнекивайтесь — по глазам вижу. Ну, что ж, это хорошо — пора подумать и о настоящем водопроводе.

Галя принялась мыть кувшин.

— Вы испортите себе руки, — предостерегла Кама. — Напрасно вы трёте кувшин песком.

— А вы?

— Я привыкла, Галя.

— И я привыкну.

— Скажите мне... — Кама подсела к Гале. — Скажите мне... Вот все говорят... Может быть, это секрет?

Галя тряхнула головой.

— У меня нет секретов, Кама.

— Правда ли, что вы выходите замуж?

— За Смела?

— Да.

Галя сказала твёрдо:

— Наверное. Но не сейчас... после...

Кама задумчиво провела пальцем по песку: получилась прямая линия. Затем она пририсовала к линии какие-то кружочки.

— Он — парень хороший, — сказала Кама, — даже очень хороший. Вы с ним — замечательная пара. — Она скосила глаза на Галю. — А между вами ничего серьёзного?..

— Как, ничего серьёзного? Мы любим друг друга.

Кама нахмурила брови.

— Не то, Галя. Как бы это сказать?..

— Понимаю, — тихо ответила Галя, зардевшись, словно маков цвет. Помолчав немного, она воскликнула: — А как это можно!

Кама обняла её, горячо поцеловала в щёку.

— Галя, вы хорошая.

— И вы тоже, — простодушно преговорила Галя, возвращая Каме поцелуй.

Кама сказала жёстко:

— Я ненавижу девушек, которые бросаются на шею встречным-поперечным и, как дурочки, верят в золотые горы, которые им сулят болтуны. Что мы, куры, что ли? Или силы в нас мало? Или головы нет на плечах?

Глаза у неё загорелись, губы задрожали. О, в эту минуту она была настоящей женщиной-молнией, женщиной, которая ни в чём не уступит мужчине, которая равна мужчине и в силе, и в храбрости...

Вдруг зашумели кусты, хрустнула под ногами веточка — и в нескольких шагах от девушек вырос Кесоу, появился как из-под земли. Вид у него был усталый. Волосы на лбу слиплись, ворот — нараспашку, сапоги — в грязи, пот струился по лицу и жилистой, крепкой шее.

Кесоу поздоровался с девушками и припал к воде. Пил не отрываясь, пил много и долго. Наконец шумно вздохнул.

— Это очень приятно, девушки, — сказал он хрипло, — пить воду, когда пройдёшь тридцать горных километров. Должен сказать, что Голубое озеро — отличное место. Вода в нём голубая, словно небо. Плавают форели... Вода из озера стекает в какую-то пропасть, проваливается, словно в бездну. А зачем, спрашивается? Сакенцам не повредила бы такая вода и такие чудесные форели!

Кесоу показал бутылку с водой из Голубого озера. Вода сверкала, словно хрусталь. Пронизанная солнечными лучами, она казалась такой же лёгкой, как и лучи.

15 августа 1950 года через Сакен промчалась первая легковая машина. Она оставила на сакенской дороге первую от сотворения мира автомобильную колею. В воображении пылких горцев машина именно промчалась. А на самом деле она переваливалась с боку на бок, словно утка, и едва тащилась по ухабам. Дорога была разворочена, перекопана, но через год она должна предстать во всём блеске — замощённой, укатанной, заасфальтированной.

Машина перемазалась в грязи, точно буйвол, только что вылезший из болота. Будто на посрамление сакенцев, она предстала перед ними

именно в таком виде. С крыльца сельского совета сбежали люди. Кесоу, протянув руку, улыбаясь, подошёл к машине.

— Добро пожаловать, Александр Иванович! — сказал он.

— Привет, товарищ Мирба! Здравствуйте, товарищи!

Александр Иванович снял фуражку и вытер платком вспотевший лоб. Тараш поглядел на машину, покачал головой. Ему стало досадно за свою подопечную территорию.

— Как живёте-можете? — говорил Александр Иванович. — Что нового?

— Особенно нечем похвастать, — сказал Тараш, — видите, как мы вас принимаем? — И он кивнул на машину.

— Пустяки, скоро будем ездить, как по бильярдному столу... Что, надоели вам дожди?

— Радости от них мало. Сейчас самая пора для кукурузы — ей солнышко нужно... А оно то выглянет, то скроется. И табак скушает по настоящему солнцу. Влажность в воздухе большая.

Александр Иванович почесал подбородок. За три года он как будто постарел, седина от висков пошла выше, глаза — озабоченные, вокруг них пролегли глубокие складки... Он заметил пытливый взгляд Кесоу.

— Что, товарищ Мирба? — сказал он. — Много находите во мне перемен? — И сам поспешил с ответом: — Стареем, дорогой, стареем.

— Что вы! Рано думать об этом...

— Ничего не попишешь, — сказал Александр Иванович... — Для того, чтобы лучше, сытнее стало жить — кому-то приходится сесть.

И он заразительно рассмеялся, закинув голову и глубоко запуская руки в карманы. Тараш пригласил Александра Ивановича к себе в кабинет, но секретарь райкома отказался.

— Не сейчас, товарищ председатель. У меня такое предложение: давайте обойдём поля, а после поговорим. Товарищ Мирба, мы в вашем распоряжении, ведите нас.

Осмотр хозяйства продолжался до позднего вечера. Александр Иванович ощупал чуть ли не каждый табачный лист, каждый кочан кукурузы. Хвалил мало. Кесоу совсем было упал духом. Казалось, секретарь слишком требователен, ни в чём не даёт поблажки.

Участок Кесоу секретарю понравился. Не то чтобы Александр Иванович пришёл в восторг, но и не слишком ругал. Он углубился в поле, осматривая кочаны и стебли, и приговаривал точно про себя:

— Стебелёк хорош! А сколько кочанов? Три. А там? Два...

Он садился на корточки и глядел, нет ли на земле травы. С трудом найдя травинку, приговаривал:

— Прополка, вроде, неплохая...

— Четвёртая, — подсказывал Константин.

— Да, должно быть, четвёртая... Фосфориты тоже своё сделали... Стебли стоят, как солдаты в строю, — и не без удовольствия повторял: — Как в строю... Равнение направо, равнение налево, и по рядам, и по диагонали... А каково расстояние между рядами?

— Пятьдесят сантиметров, Александр Иванович.

— А между стеблями в рядах?

— Сорок.

Александр Иванович подсчитал в уме, сколько пудов кукурузы предстоит снять.

— Что же получается, товарищ Мирба? Как минимум, тысяча двести пудов на гектаре. А вы помните? — Александр Иванович подёргал

пуговицу на кителе Кесоу. — Вы помните, товарищ Мирба, сколько обещали взять тогда, в первую нашу встречу?

— Помню, Александр Иванович: триста — пятьсот.

— Прошло три года... — задумчиво произнёс секретарь. — Ну, об этом как-нибудь потом... А как выполняете свои обязательства перед государством?

Вопрос обращён к председателю сельского совета.

— Как будто неплохо, — последовал ответ.

Александр Иванович смотрит на Константина. Тот не торопится с ответом, понимая, что означает этот взгляд секретаря райкома.

— Я полагаю так, — говорит Константин: — урожаем кукурузы будет стличный, табака — тоже... И все другие обязательства выполним... — Он помолчал и твёрдо произнёс: — Сакенцы выполняют, Александр Иванович...

Александр Иванович зашагал по нескончаемым зелёным кукурузным рядам. Константин пожал руку Кесоу.

— Он доволен, — шепнул он.

— Ты думаешь?..

Один из табачных участков заставил насторожиться Александра Ивановича. Он пощупал листья, присмотрелся к ним и спросил:

— Переставляет?

Кесоу выступил вперёд. Получается так, что маловато рабочих рук. Народу много, но дела ещё больше. Погода никак не способствует полевым работам. То шпарит дождь, то солнце печёт...

— А вы приготовьтесь, товарищ Мирба. Старайтесь использовать и лунные ночи, особенно на табачных плантациях. — Александр Иванович медленно произнёс: — Хороший урожай — дело трудное. Он добывается горбом. Упустил срок — потерял качество, а то и весь урожай. Нам нужны высшие сорта. Вам они тоже нужны — за них больше дают денег. Много у вас участков с перезревшими листьями?

— Не очень, но всё-таки есть, — признался Кесоу.

Александра Ивановича тянуло всё дальше, точно он надеялся увидеть нечто такое, чего никогда не видел. Он присматривался к каждому клочку земли, что-то прикидывая в уме, и снова устремлялся дальше.

Темнело, но, как видно, это мало беспокоило секретаря райкома. Александр Иванович попросил показать ему табачные сараи. Пошли. Александр Иванович познакомился с низальщицами. Ему указали на лучших из них, и он долго следил за их работой. Женщины сидели усталые, потные, но не выпускали из рук низальных игл. А с плантациями зелёным потоком шёл и шёл табак. Мужчины разгружали арбы, и всё новые корзины со свежими табачными листьями заполняли сарай. Глядя на всё это, можно было подумать, что рабочий день только начался.

В одном из сараев Александр Иванович обратил внимание на плохую электрическую проводку.

— Хотите сжечь сарай? — спросил он.

— Никак нет, — ответил Кесоу.

— В таком случае исправьте проводку... Есть у вас противопожарная инструкция?

— Есть.

— Ну, товарищи сакенцы, — сказал со смешком Александр Иванович, — теперь можно и в сельский совет — поговорим, обсудим...

Всю дорогу им светила луна, такая яркая, что электрический свет, к большой досаде Кесоу, потускнел в её блеске. Но это только казалось так. Могло ли какое-нибудь небесное явление, пусть даже такое неопределимое, как луна, затмить сияние сакенских ламп?

В сельском совете Каму познакомили с Александром Ивановичем. Он прищурился, точно хотел получше её разглядеть, и крепко пожал девушке руку.

— Слышал о вас, — сказал он. — Если не ошибаюсь, первый сакенский агротехник?

— Но не последний.

— Вам рассказывали, Александр Иванович, — вмешался Кесоу, — о нашем историке?

— О ком?

— Об одном студенте-историке?

Тараш откашлялся и тоже вмешался в разговор:

— Замечательное дело, Александр Иванович. Нашли древние могилы, а в них — топоры, бусы и ещё кой-какие железки. Боюсь, как бы учёные не нахлынули со всех сторон.

Явились члены правления, бригадиры. Робко вошёл и сел в уголке заведующий табачной рассадой старик Дауд. Все они пришли прямо с полей и плантаций. Они принесли с собой и запах свежей кукурузной зелени и едва слышный аромат клейких табачных листьев. Люди были в рабочей одежде, изодранной во многих местах цепкими лесными колючками. Рукавами блуз они вытирали свои красные, влажные от пота шеи. Графин воды, стоявший на столе, сразу был опорожнён. Пришлось срочно посылать к колодцу за водой. Но и второй графин не утолил людской жажды. Комната наполнилась дымом самокруток.

Александр Иванович думал: «Вот он, труд, упорный, тяжёлый, но любезный сердцу человека. Чем был бы Сакен без этого труда?»

Сакенцы, в свою очередь, разглядывали секретаря. «Он кажется старше своих лет», — единодушно решили они. Александр Иванович был бледен желваки на щеках нервно прыгали, он часто тёр себе виски.

Началась беседа.

Александр Иванович слушал внимательно, что-то записывал себе в книжку. Заговорит кто-нибудь в углу — он тотчас поворачивается к нему.

О чём только ни заходила речь? О табаке и кукурузе, о мотоплуге и корчёвке леса, о низке табачных листьев, об озими, об электростанции, энергия которой используется не полностью, о школьной библиотеке, о погоде и строительстве дороги, о клубной сцене и фосфоритах...

— Кстати, о фосфоритах! — подхватил Александр Иванович. — Что, если мы попросим у вас тонн до пятисот ежемесячно?

Кесоу вопросительно взглянул на Тараша, и оба они, словно по уговору, посмотрели на Константина.

— Я думаю... — начал Кесоу.

А Тараш продолжил его мысль:

— Кесоу прав. Мы дадим пятьсот и больше, ежели поможете транспортом.

— Значит, договорились?

— Так точно, Александр Иванович.

Тараш придвинулся ближе к столу, положил на зелёное сукно свои длинные, худые руки. Подождал, когда секретарь райкома кончит записывать.

— Александр Иванович, — сказал он, — дайте нам, пожалуйста, один совет.

— Я слушаю.

— Задумали мы кое-что... Впрочем, пусть об этом скажет... — И он кивнул в сторону Камы.

Наступила тишина. Каме не оставалось ничего другого, как встать и сказать несколько слов. Начала она, волнуясь, теребя платочек, обшитый кружевом... Речь, стало быть, идёт о субтропических растениях, причённых к холодному климату... Кое-что уже сделано. Колхозники откликнулись, помощь оказывают. В случае успеха можно подумать о расширении зоны субтропиков вообще...

Александр Иванович живо заинтересовался делом, входя в подробности, и Кама, как утверждают сакенцы, отвечала, точно по писаному.

— Что вы скажете? — обратился Александр Иванович к Тарашу.

— Вот товарищ Мирба, по-мусу, желает...

Кесоу не заставил себя ждать. Он знал, что спросят его мнение, заранее обдумал ответ, по возможности отбрасывая всё личное, не относящееся к делу. Мирба квалифицировал своё выступление, как дополнение к словам предыдущего товарища, то есть агротехника. Необходимо продумать и в ближайшие же годы осуществить лесонасаждение (кедры, лавровишня, эвкалипты), что серьёзно изменит сакенский климат. Именно климат — не меньше! Следует также устроить водохранилища вблизи Сакена — скажем, наполнить Волчий Яр водой из Голубого озера... Необходимо предусмотреть широкое разведение водоплавающей птицы. Дальше. После указанных мероприятий, видимо, встанет вопрос и о промышленном разведении цитрусовых и чая в Сакене.

— Таково наше общее мнение, — заключил Кесоу.

Надо отдать Мирбе должное: говорил он складно. На следующий день весь Сакен твердил о том, что из уст Кесоу вылетали не слова, но искры, как от кремня и кресала...

— Позвольте, — сказал Александр Иванович, обводя присутствующих лукавым взглядом, — насколько я понял, товарищи ставят вопрос о преобразовании природы. Так?

— Так точно, — по-военному ответил Кесоу.

Александр Иванович припомнил эти же самые слова, произнесённые в его кабинете почти три года тому назад.

— Ясно, товарищ Мирба.

— Мы, Александр Иванович, — продолжал Кесоу, — хотим прийти к коммунизму вместе со всей страной. Как вся страна — так и мы. А за порогом оставаться негоже.

Сакенцы поддержали заявление своего односельчанина одобрительными возгласами, иные заплодировали.

— Ну вот, — произнёс Александр Иванович, — у нас почти торжественное собрание. — Он взглянул на часы, помолчал, выжидая пока люди успокоятся, и продолжал: — Что же сказать вам, дорогие товарищи? Уже двенадцатый час, а мы с вами ведём речь, казалось бы, о несбыточных делах... Это неплохо. Я хочу сказать, вы правильно поступаете, когда ставите перед собой большие задачи. Умеёте мечтать, это значит замахиваться на большие дела. А наши большевистские мечты, как известно, имеют обыкновение сбываться. В этом можно убедиться хотя бы на примере вашего села... Морозостойкие лимоны — очень хорошо. — Александр Иванович остановил взгляд на Мирбе: — Вы знаете, сколько беды принесли морозы прошлой зимой? От них пострадала почти вся Грузия, и в особенности Западная. Мы двадцать лет растили лимоны — их как не бывало. Мы двадцать лет растили мандарины — они в большинстве своём пострадали от холода. Мы десять лет сажали эвкалипты — они тоже погибли. Вспомните, сколько времени держался мороз? Всего несколько часов. А сколько погибло труда?

Александр Ивановичу тяжело вспоминать об этом. В те памятные морозные дни он ездил из одного села в другое, он был готов своим телом прикрыть любой куст, чтобы согреть его. Но разве согреешь миллионы кустов?

Секретарь райкома в очень мягкой форме выразил сомнение в том, что облесение двух или трёх ущелий способно изменить климат. Эту проблему надо решать в общерайонном плане, а может, и в гораздо большем.

Он продолжал:

— Вопрос о лесонасаждении в общегосударственном масштабе — вот вам пример сталинского решения вопроса...

Кесоу было приуныл. И он полюбопытствовал: не торжествует ли Кама? Но нет, она сидела сосредоточенная и, казалось, чуть-чуть грустная (может быть, оттого, что намаялась за день и чертовски устала). Однако следующие слова Александра Ивановича приободрили Кесоу.

— Итак, — сказал Александр Иванович, — продолжайте мечтать, думать о большом, о главном, но не забывайте и мелочей, очень важных мелочей... Что же касается ваших опытов... — он обратился к Каме, — у меня на этот счёт такое предложение: мы поручим научно-исследовательскому институту организовать опорный пункт в Сакене. Я думаю, — продолжал Александр Иванович, улыбаясь, — что нам не придётся подыскивать кандидатуру на должность заведующего пунктом. Она уже имеется, эта кандидатура, — и он широким, торжественным жестом указал на Каму.

В это время кто-то тихонько приоткрыл дверь: сначала просунулась голова в башлыке, а потом показалась рука, державшая огромную деревянную шкатулку.

— Салуман! — крикнул Кесоу. — Ты словно угадал наше желание. — И он обратился к Александру Ивановичу: — Это наш фотограф. Мы просим вас сфотографироваться вместе с нами.

И, не дожидаясь согласия, Кесоу начал рассаживать людей. Всё произошло быстро, как и полагается в таких случаях. Салуман расставил треногу, водрузил на неё свою коробку с чёрным рукавом и зажёл лампу в тысячу свечей. Вся комната наполнилась ярчайшим светом, словно внесли перо сказочной жар-птицы.

— Выдержка большая будет, — зловеще предупредил Салуман.

И когда после томительной «выдержки», наконец, раздался щелчок в затворе объектива, Александр Иванович спросил:

— Что это за аппарат?

Вот когда хозяевам пришлось покраснеть! Сакенцы (те, кто не присутствовал при этом) говаривали впоследствии, что сельская власть не сразу пришла в себя. Будто только Кесоу не растерялся и накинудся на отовопевшего Салумана.

— Ну, что я тебе говорил?! — кричал Кесоу. — Когда ты выбросишь к чертям свою допотопную игрушку?

Одним словом, сакенцы проклинали и фотографа, и его дурацкий сундучок.

Мир словно молоком полит...

Я не знаю, достаточно ли точен этот сугубо сакенский образ. Но тот, кто бывал в горах в лунную августовскую ночь, едва ли упрекнёт меня в вычурности стиля. Голубоватый свет, что льётся с небес, вдруг превращается в лучи молочного цвета, и тогда вокруг становится

белым-бело. Лишь далёкие горные вершины, покрытые вечными снегами, голубеют среди земной белизны. А на сакенских дорогах то здесь, то там ложатся на землю желтоватые отсветы электрических фонарей.

Медленно бредут Кесоу и Кама по земле, политой молоком. Кесоу сбивает хворостиной веточки придорожных азалий, глубоко вдыхает ночную свежесть.

Кама наматывает на пальцы тонкий конец косы и снова разматывает его: это её любимое занятие в часы раздумья. Голова её склонилась на грудь, и Кесоу время от времени посматривает на шею девушки, отсвечивающую голубизной, как и те далёкие снежные вершины...

— Александр Иванович, по-моему, уехал в хоршем настроении, — говорит Кесоу.

— Возможно, — отвечает Кама.

Он не может удержаться, чтобы чуточку не прихвастнуть.

— А почему бы и нет! Разве мы сидим сложа руки? Или табака у нас меньше прошлогоднего? Или кукуруза не уродилась? А фосфоритов дадим району тонн тысячу или полторы... И тобой он остался доволен...

— Неправда.

— Подумай сама, — убеждает её Кесоу: — ты, можно сказать, заведующая опорным пунктом в Сакене. А знаешь, что это?

— Не знаю, — едва слышно выговаривает она, всё отлично понимая.

— Это значит, что ты возглавляешь большое дело. Раз. Это значит, что Сакен уже не тот. Два. Не тот! — возбуждённо повторяет Кесоу, довольный переменами в Сакене.

Его страстному воображению уже рисуется Сакен, каким он будет в ближайшие десять, а может быть, и пять лет. Сакен ошетинится лесами. На месте глубокого и мрачного Волчьего Яра раскинется чудесное озеро. Взамен чёрного провала — голубизна воды, вместо тлетворных испарений — чистая водная прохлада. А в садах, что раскинутся на сакенских крутых косогорах, зацветут прекрасные деревья. Кама соберёт первые плоды лимона, сорвёт первые чайные листья. И кто знает — может, Каме доведётся ехать на Украину или на Северный Кавказ, везти туда свои собственные, сакенские сорта растений. Всё может быть!..

Вот и заветный родник. «Ежели пройдёт мимо, — размышляет Кама, — с ним будет всё кончено...» Она отбрасывает косу за плечо и уныряет шаг...

Но тут Кесоу берёт её за руку.

— Кажется, родник? — спрашивает он.

Кама говорит, вырывая руку:

— Нет... — и пытается объяснить своё движение: дескать, ей надо торопиться домой, дескать, она...

Но Кесоу, преграждая ей путь, не слушает её и слегка посмеивается. Кесоу сильный, настойчивый, даже властный немного.

И Кама вынуждена подчиниться...

Да, друзья мои, видит бог — не могла не уступить Кама.

Тем более, что оба уже сидят рядышком на мшистом камне и прислушиваются к немолчному пению родника. Оба они собираются с мыслями, чтобы до конца понять и оценить это не совсем обычное и неожиданное положение...

А вокруг тихо. Слышно, как травинки переговариваются между собой, как величественно шелестят стоящие поодаль дубы, утихомиривая передравшихся птиц. И всё тог же голубоватый свет разлит

вокруг, те же звёзды на небе и предательски яркая электрическая лампочка на столбе...

Вот сейчас, в эту минуту, всё будет решено, всё будет досказано и, наконец, кончится эта томительная неопределённость...

Итак, друзья мои, нам остаётся одно: пожелать успехов и счастья будущей чете!

32

Я делаю последние наброски.

Передо мной огромный вывороченный пень — работа гусеничного трактора. Корни, словно руки, готовые схватить, вытянуты кверху; они поражают своей мощью.

Антон возится с кисетом. Это он обвязывал могучей цепью вековой ствол, это он скомандовал трактору — и тот одним рывком выдернул пень, словно гигантский зуб, крепко сидевший в сухой земляной десне.

Раннее утро. По низинам стелется туман. Из-за горы Гуагуа поднялось солнце; небо — сплошной ультрамарин. Где-то раздаётся пение. Шальной ветерок доносит слова:

Уж вы горы мои,
Горы вы кавказские...

— Слышишь? — говорит Антон.

Как под этой под горой
Течёт река быстрая...

— А я знаю, кто это поёт, — продолжает Антон, — это Галя и Смел. Но чей же ещё голос? — Антон озабоченно прислушивается и вдруг восклицает: — Узнал! Да это же Николай Айба, гробокопатель!

Антон непрочь беззлобно посмеяться над сакенской интеллигенцией. В душе, по его словам, он глубоко уважает людей учёных, но при этом отдаёт должное и крестьянскому труду. С неохотой преодолевая свою лень, он приписывает её тяжёлой физической работе, а к ней, дескать, не приспособлена его тщедушная натура. Эта самоуничижающая философия вовсе не угнетает дух Антона Рашба.

Но при всём этом необходимо отметить, что здорово всё-таки изменился наш Антон! Не тот уже Антон, каким я знавал его три года назад. Он, бесспорно, стал полезным для сельского общества человеком. А это обстоятельство отразилось, в первую очередь, на его хозяйстве: оно изменилось к лучшему...

— Фальшивит Николай, — говорит Антон, — плохой у него голос.

Постепенно Сакен наполняется шумом моторов: гудят дорожные машины за хутором Ореховая Балка, дробно шумит мотоплуг на косогорах, ухает высокой трубой фосфоритный завод, посылая в небо кольца чёрного дыма. И, как прежде, рокочет бурная река Сакен...

Этюд закончен. Я бреду сельской дорогой и думаю: прав Гудал, ратующий за асфальтовые дорожки на своём дворе. Едва ли сакенцы долго будут мириться с грязью и пылью, как не примирились они с низкими урожаями...

В полдень я повстречал Николая Айбу. Он шагал со своей неизменной киркой и заветным чемоданчиком.

— Что нового? — спросил я.

— Нашёл поразительные черепки, — сказал он.

— А что ваши древние всадники?

— Их оказалось пять. Они похоронены вместе с конями. Возможно,

это колхи. — И он продолжал, убеждённый в неоспоримом величии своего открытия: — Взволнован весь Сакен, а через месяц поразятся и многие археологи. Вы знаете Галю? Она в восторге от моих экспонатов. Смел не понимает... Впрочем, что требовать от электрика?

И он удалился лёгкой, прыгающей походкой, странно противоречащей его учёным рассуждениям...

Через час из Ореховой Балки уйдёт машина. Она увезёт и меня. Но путешествие, которое мне предстоит, не будет опасным — через перевалы и пропасти, через реки и ущелья — каким оно было недавно.

Я расстаюсь с Сакеном. Я подумываю о новых планах, и мне уже мерещатся новые папки, набитые волжскими, днепровскими, туркменскими зарисовками. С высоты сакенских гор я будто вижу Волгу и Днепр, просторы Сибири и пески Закаспия; вижу необозримые пространства — и везде и повсюду царят труд и мир. Во имя Труда и Мира живут наши Север и Юг, Запад и Восток. И среди их прекрасного, созидającego бытия маленький Сакен — пусть капля в океане, но капля чудесная...

Гора Клыч озарена солнцем с головы до ног. Гуагуа нежится в его тепле, словно огромная, добродушная дворняжка. Вокруг — горы, горы, горы... Солнце поднимается всё выше и выше, а река Сакен устремляется по долине всё дальше и дальше...



АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Старики ещё помнят счастливые дни —
Силой, хитростью, звоном монеты
Три столетья подряд диктовали они
Свой закон половине планеты.

Все цветные народы обширной земли,
По избитым дорогам страданий,
Повинуясь бичам, унижённо несли
К их ногам изобильные дани.

Их опора — пиратом основанный флот —
Триста лет бороздил океаны,
Чтобы жили банкиры, не зная забот,
Торгаши набивали карманы.

Но купец одряхлел, пошатнулись дела,
Притупилась наёмная шпага.
Потеряла цвета, поредела, сгнила
Ткань когда-то надменного флага.

И сегодня они от заморских гостей
Принимают подачки и взятки.
Языками умильных газетных статей
Полируют хозяйские пятки.

Гордый нрав паладина, заносчивый тон
Сэр Джон Буль позабыл понемногу.
Пилигримы из Сити бредут в Вашингтон
На поклон к самозванному богу.

Там они в исступленье, не зная стыда,
Пол трамбуют усердными лбами
И по старой привычке поют:

«Никогда

Англичане не будут рабами».

ВОСКРЕСЕНЬЕ В ВЕСТ-ЭНДЕ

Вопреки непреложным законам истории,
Исполняя давно устаревшую роль,
Как в далёком «блистательном веке Виктории»,
На охоту и в оперу ездит король.

По старинным аллеям, под липами зябкими,
Каждый день, как заведено из году в год,
Поражая зевак непомерными шапками
К Букингэму гвардейцы идут на развод.

Где каштаны столетние ветками тонкими
Отражаются в зеркале синих прудов,
Перезрелые леди гуляют с болонками,
Оскорбляя пейзаж Кенсингтонских садов.

И, посильно борясь с невесёлыми думами,
По традиции канувших в прошлое дней,
Амазонки и дэнди с учтивыми грумами
Объезжают в Гайд-парке красивых коней.

Будто рента старинных родов не размотана,
Не построена клетка британскому льву,
Будто «старая добрая Англия» — вот она —
Не в гравюрах, не в книгах — жива наяву!

Сбросьте пыльный парик обветшалой романтики!
Наготу не прикроете ширмой старья.
Из-за хмурых просторов туманной Атлантики
Продиктован вам новый закон бытия.

Раздавил ваши души пресс девальвации.
Планом Маршалла выжжена начисто спесь,
Отнял новый хозяин сокровища нации —
Независимость, гордость, достоинство, честь.

Всё равно вы утонете в чёрном неверии.
Декорации прочь! Не поможет игра.
Побрякушки, архивная пыль, мишура —
Вот и всё, что осталось от вашей империи.

ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО

Барьеры чёрной лжи преодолев,
Поговорим о дружбе и о братстве...

Пусть бог хранит в Вестминстерском аббатстве
Останки королей и королев;

Пусть Стюартов и Тюдоров гробницы
Надменно высят мраморную стынь.
Мы для иных реликвий и святынь
Пересекали страны и границы.

Благоговейно мы пройдем туда,
Где, в рыцарские латы не одеты,
Покоятся мыслители, поэты,
Чьим гением Британия горда.

В историю столетий и племён
Они вписали солнечные главы.
Тускнеет перед светом их имён
Фальшивый лоск викторианской славы.

Достоинство и честь родной земли
 Крылатой мыслью, дерзостью открытий
 Превыше спеси властелинов Сити
 Они над островами вознесли.

Их славная традиция жива
 В той Англии, что ныне вместе с нами
 Во имя мира поднимает знамя,
 Отринув лжи чугунные слова.

Пусть жёлтые писаки в сотый раз
 Плетут тенёта измышлений диких,
 С Британией, наследницей великих,
 Их злая воля не поссорит нас.

АНГЛИЙСКОМУ СВЯЩЕННИКУ

Сиянье благородной седины.
 По-юношески ясные глаза.
 Идеи мира как солдат верны,
 Вы говорите:

— Каждая слеза

Той корейки, что в сплошном огне
 Рыдает над разбитым очагом,
 Жжёт совесть и повелевает мне
 Её врага считать моим врагом...
 Вы говорите:

— В темени ночей

Меж мёртвыми блуждает сирота,
 А президент ораву палачей
 Благословляет именем Христа.
 Вы говорите:

— Волей мясника

Предательски убита тишина.
 Вновь кровью обогрëнная рука
 Над будущим Земли занесена...

Шахтёры, металлисты, моряки
 Внимают вам сквозь лондонскую мглу.
 Всем догмам и канонам вопреки
 Вы говорите им:

— Противьтесь злу!

Напрасно лже-вожди дают приказ
 Глушить ваш голос громкой клеветой.
 От клеветы обороняет вас
 Свет цели справедливой и святой.
 Кто совестью и помыслами чист,
 Тот честь не разменяет на гроши.
 И я, неисправимый атеист,
 Жму вашу руку крепко, от души.

НА «ЧАШКЕ ЧАЯ» В ПЕН-КЛУБЕ

Интеллигентные тётки и дяди,
Пыл истощая в словесном бою,
Мне говорили иронии ради:
— Трудно вам жить в большевистском «раю».
Как совместить с интересами личности
Тесный регламент и жёсткий приказ?..

Слушайте — в стиле учтивой тактичности
Я вам отвечу с глазу на глаз:
— Не обольщаясь мирами особыми,
Не прозябая в эстетской глуши,
Перед ленивыми, сытыми снобами
Мы не транжирим богатства души.
Мы не музейное племя, не мамонты
Доледниковых пещерных пород.
Мы не в обиде на то, что регламенты
Музам диктует хозяин-народ.
Комнатной мудрости рамками тесными
Не замыкает поэзию он.
В нашей стране над сердцами и песнями
Властвует высшей свободы закон.
Всё, что для взгляда открыто в окружии,
Щедрой эпохой подарено мне.
Другом строителя, родом оружия
Стала поэзия в нашей стране.
В жизнь, в человека, в солнце влюблёнными,
Вышли мы в мир героических дел.
Жить для людей, говорить с миллионами —
Наших желаний высокий предел.
Дерзкие наши желанья исполнены
В мире, где люди творят чудеса.
Ветром великого века наполнены
Нашей поэзии паруса.
Нежностью лирика, мужеством война
Мы одаряем отчизну свою.

Так наша жизнь на планете устроена.
Так мы живём в большевистском раю.



ДМИТРИЙ ОСИН

★

БОЛЬШОЙ ДНЕПР

Рассказ

Осьма шла из лесов; тёмные воды её долго не смешивались с мутно-жёлтыми полевыми, нёщими размытый песок и суглинок. Половодье расплеснулось выше берегов, угадывавшихся по одиноким, ещё не зазеленевшим берёзкам, да по золотым кустам вербы, возле которых медленно кружились щепки, разбухшая солома и всякий сор.

Васёнка хлопотала у костра, разведённого на большом железном листе с подогнутыми, как у противня, краями, где из окалны проступали какие-то слова — не то немецкие, не то английские — кто их разберёт после всего, что случилось здесь, на смоленской земле, в бельских лесах и водах. Костёр дышал жаром возле новой рубленой избушки с окнами на три стороны и распахнутой дверью, а сама избушка — сосновая, ладная — словно в забаву была поставлена на головном плоту, шедшем впереди каравана.

Печники предлагали сложить в избушке печку, самую настоящую, с трубой и лежаночкой, чтобы можно было греться Селивёрсту Петровичу, но тот сердито отказался, неизвестно почему почуяв насмешку над собой в этом предложении.

«А как хорошо, ловко было бы, — думает Васёнка, помешивая сухие, мелко наколотые чурочки, что заготавливались в лесу для газогенераторных машин и забстливо оказались припасёнными на плоту. — Обед бы в два счёта сготовила, настоящий, а не кулеш да крупеню, как сейчас. И лежанку натопила бы пожарче, чтобы дед, Селивёрст Петрович, греясь, не жаловался на поясницу и ревматизм!»

Чурочки истаявают, почти не дымя; солнце припекает совсем полегену. Кулеш сердито фыркает, бормочет что-то, как живой, вкусно дыша поджаренным лучком, салом и чем-то ещё — не то закипевшей сосновой смолкой, не то клейкой берёзовой почкой. И Васёнке весело варить его, весело, вытянув выпачканные мукой румяные губы, дуть на горячую металлическую ложку, весело глядеть на широкий под солнцем разлив и плыть, плыть в дальний, невиданный край, где строится большая, удивительная гидроэлектростанция и куда дед гонит плоты.

Васёнка давно знает: Селивёрст Петрович не любит, чтобы его называли дедом, но стесняется показывать это. Только ей разрешал он звать себя так; но она знала, как подойти к деду, и, надумав попроситься в поездку, схитрила, подольстилась:

- Селивёрст Петрович, родненький, возьми меня с собой!
- Зачем это?
- Кулеш тебе буду варить, уху рыбную...
- Вона! Кулеш я и сам умею, и уху тоже оборудую.

— Ну уж, оборудуешь, — обиделась Васёнка. — Дымом весь прокурится, махоркой. Есть противно!

— А тебе, может, и не придётся есть-то, — Селивёрст Петрович засмеялся, довольный, что поддел Васёнку, но та уловила: согласен, берёт, — и набросилась на него, как мартовский ветер.

— Придётся, придётся! Я тебе газеты буду читать по дороге. В Каховке, знаешь, на сколько киловатт гидростанция будет?

— Уймись, уймись. Знаю, — отбивался Селивёрст Петрович, мотая заокладившейся бородой, тёмной внизу и словно заиндевевшей повыше, у висков. — Так тебе там на каждом берегу газетные киоски понастроены. «Пожалуйте, Васёна Сергевна! «Правду»? «Известия»? Новый журнал «Моды сезона» прибыл!»

Отец Васёнки погиб в сорок третьем году. Подорвался на Дуровской, где партизаны свалили под откос эшелон с горючим. Васёнка помнит отца смутно. Теперь всё чаще он кажется ей кем-то вроде старшего брата, а отцом — дед Селивёрст Петрович. Тот и в самом деле больше похож на её отца, чем на деда, — и по возрасту, и по всему другому.

После гибели сына Селивёрст Петрович заметно сдал, чаще стал жаловаться на поясницу и ревматизм и привязался к внучке. Даже на делянку взял с собой, когда уходил в Красный Бор на всю зиму. Васёнка была похожа на мать — такая же синеглазая, краснощёкая, с подкупающим огоньком задора в некрупных и ясных чертах лица. Появжется низко по самые брови платочком — бабёнка, выпустит розовый незатейливый бантик в косах — девчушка.

Окончив семилетку в Игорььевской, где находился посёлок лесорубов и молочный совхоз, она поехала в Дорогобуж, но мест в техникуме уже не оказалось, а пока собралась в область — время ушло, приём уже везде закончился.

— Ничего, годы твои ещё невелики, — утешал её Селивёрст Петрович. — И не по молочному делу тебе итти надо, а по нашему, лесному. Лес не только валить, а и растить требуется!

Васёнка скоро утешилась, тем более, что молочное дело только спервоначала показалось ей интересным, а когда подумаешь да сравнишь — выращивать лес куда интереснее и нужнее для государства...

— Без молока ещё можно вытерпеть, — говорила она себе, убеждая в том, что лесное дело важнее молочного, — а без леса никак! Строиться после войны надо, города, заводы, электростанции ставить — везде лес, лес и лес...

Она была ещё в том возрасте, когда всё-всё кажется влекущим и интересным, вся жизнь открыта и не знаешь, что выбрать, на что её отдать без остатка.

— Сколько? — спрашивает, стоя у правила, Селивёрст Петрович и изо всей силы налегает на длинную, добела оструганную рукоятку.

И Алексаша Балыкин, что в высоких резиновых сапогах бегают по плотам, бесстрашно перепрыгивая со звенки на звенку, меряет длинным шестом слева и радостно отвечает:

— Глыбко! Наверно три таких уйдёт...

Алексаша знает наизубок все машины, с завязанными глазами разберёт и соберёт любой мотор, но нисколько не важничает, не пьёт, не курит и ко всем девчонкам на участке относится доверительно и добродушно. Васёнке он кажется лучше всех ребят в округе — высокий, сильный и с лица не то, чтобы красавец, а ничего не скажешь — приглядчивый.

Она оглядывается на Алексашу, покрасневшая от жара на открытом речном ветру, и весело щурится:

— Скоро Днепр... большой Днепр!

— А тут и совсем дна не достать, — бросает Алексаша, вытаскивая мокрый, играющий на солнце шест, и смеётся: — Днепровской рыбки скоро попробуем... верно?

— Если наловишь, — рассудительно отзывается Васёнка. — Идите есть, а то кулеш остынет!

Выправив плоты на середину Осьмы, Селивёрст Петрович укрепляет правило и, наклонившись над краем плота, ополаскивает большие, багровые от холодной воды, руки. Васёнка подаёт ему рушник.

Обветренное, успевшее загореть на жгучем весеннем солнце, лицо его задумчиво. Глаза глядят вдаль.

— От Смоленска чуть не девятьсот до Киева, — неторопливо произносит он. — Да там ещё до Каховки, наверно, пятьсот будет...

Алексаша садится на лавочку, пристроенную на двух невысоких обрубках, хлопает по коленкам.

— Если по пятидесяти километров в сутки итти, считай — к Первому Мая на месте будем.

— Хорошо бы, — неопределённо соглашается Селивёрст Петрович, принимая от Васёнки хлеб, ножик и ложку.

— И будем, — задорно подтверждает та.

— Ежели Днепрогэс не задержит, Васенька...

Селивёрст Петрович по праву старшинства режет хлеб, раздаёт его всем и принимается есть, черпая ложкой у самого края.

— А что там, на Днепрогэсе, Селивёрст Петрович? — тревожится Алексаша, махая дымящейся ложкой возле полуоткрытого рта.

— Шлюзы! Чуть поболее твоего рта будут, а всё равно тесно, — поддевает его плотовщик и продолжает есть как ни в чём не бывало.

Васёнка прыскает со смеху; горячая ложка обжигает губы, больно и смешно до слёз, а сердце переполнено солнцем и радостью.

Алексаша, смутившись, роняет ложку, вскакивает и, ополоснув её в реке, возвращается на своё место.

— Горяч кулеш! — врёт он, черпая из котла снова, и подмигивает Васёнке карим, доверчивым глазом.

— Липовой бы запаса, — сочувственно подсказывает Селивёрст Петрович. — Чтобы губы не обжигала...

— Да где у нас в Игорьевской липовые? — Алексаша вскидывает руки. — Мельхиоровых, вон, в магазине сколько хочешь... по двенадцать семьдесят, а деревянные к дедам да прадедам отправили.

— А ты бы сам вырезал, — напоминает Васёнка. — И мне тоже, а то вся пообожглась, пока кулеш варила. С железной и не распробуешь как следует.

Она глядит на Алексашу широко, открыто. Но тот почему-то сердится и небрежно отзывается сквозь зубы:

— Ладно, сделаю.

Весеннее солнце сыплет по воде жаркими золотыми стрелами, словно хочет согреть, осветить все глубины, виры и омуты. Воды Осьмы и безымянных полевых речушек давно слились, смешались; большое половодье стоит кругом насколько хватает глаз. Далеко по берегу бегут новенькие телеграфные столбы, спешит поезд. Серый дымок паровоза цепляется за ёлки, вагоны, сдаётся, можно уместить на ладошке.

— Запорожские шлюзы! — Селивёрст Петрович вздыхает, откладывая ложку на недоеденный кусок хлеба. — Думаешь, мы там одни с тобой будем пропуска ждать?

— Конечно, не одни, — соглашается Алексаша, опять помахивая полной ложкой.

— С Припяти, с Десны, с Сожка караваны идут. Лесу-то стройке мис-ого надо. А через шлюзы на Днепрогэсе — больше одного плота сразу не пропустишь. Вот и считай, сколько в очереди вытянется?

Васёнка представляет себе бесконечно длинную вереницу плотов, вытянувшихся на реке в ожидании пропуски, видит даже шлюзы, и только Днепрогэс вообразить и представить не может. То он видится ей, как огромный, до неба, дворец, залитый ослепительным электрическим сиянием, то кажется похожим на какой-то диковинный завод, где день и ночь, не переставая, гудят турбины и ухают по железу тяжкие, громopodobные молоты.

— А раньше что там было? — спрашивает она, тоже опрокидывая ложку на недоеденный кусок. — Когда ещё Днепрогэс не построили?

Селивёрст Петрович вытирает губы, свёртывает цыгарку.

— Раньше там пороги были. Ненасытец, Звонец, разные другие...

— И тогда плотам никакой задержки не было? — удивляется Алексаша.

— Задержки никакой: лети прямо к водяному в гости, — невесело усмехается плотовщик. — Выберешься — твоё счастье; не повезёт — пенять не на кого!

— А ты водил тогда плоты, дед?

— Водил, Васенька. С отцом своим плоты водил, в вирах купался, звенки по брёвнышку собирал — всего попробовал...

Набегающий ветер морщит речную гладь; тень от избушки едва накрывает порожек у двери. А плоты плывут, плывут по большой воде; манит, голубеет даль, и за нею — Днепрогэс, Каховка, которых Васёнка ещё не видала.

— Доверни-ка влево, — приказывает Селивёрст Петрович Алексаше. — Со стрежня сбились...

Алексаша с готовностью встаёт и идёт к правылу.

— Стрежень — главная жила в реке, — чуть подумав, объясняет плотовщик. — Его море сильнее всего к себе притягивает. И плотам по стрежню плыть сподручней. Быстрее втрое!

Навалившись на правыло, Алексаша надувает от натуги щёки, краснеет. Ноги его, кажется, вот-вот выскочат из широких резиновых сапог, портянки сбились, выехали наружу.

— А до моря ты ходил, дед? — Васёнка ставит на уголья плошку с водой для мытья посуды, поправляет косынку. Волосы она расчёсывает на прямой пробор, телогрейка расстёгнута, а под нею — розовая, в чёрную горошинку, кофточка, подстать румянцу на щеках.

Селивёрст Петрович следит за тем, как правит Алексаша, как стрежень снова подхватывает плоты, лишь крутые буравчики бегут, закипая сзади.

— Ходи-ил, — мечтательно отзывается он, затеняясь от солнца ладонью. — До самого Очакова...

И будто от моря поблёскивает тёмная синева его глаз — вся в мечтательных, неуловимых искорках.

Всда нагрелась. Васёнка моет ложки, котёл и думает о море, о большом Днепре и о маленькой своей жизни. Ей хочется, чтобы она тоже была, как Днепр, — большой, полной до краёв. Васёнке почти восемнадцать лет, а что она видела, что знает? Высочаны да Красный Бор, да разрушенный войной Дорогобуж, куда ездила поступать в техникум.

«Дед где ни побывал, — рассуждает она, прибирая посуду и хлопоча у костра. — И в Польше, и в Китае, и на плотах по всему Днепру ходил. Послушаешь его — ума наберёшься!»

А Васёнка хоть и знает все моря, реки, страны и города, но ничего не видала...

Алексаша оглядывается на неё. Круглое его лицо с небольшой родинкой на щеке тоже успело загореть от солнца и ветра, русая прядь выбилась из-под шапки. Он не из Высочан, а откуда-то из-за Холма и подружился с плотовщиком ещё в лесу, на делянке. Собираясь вести караван, Селивёрст Петрович взял Алексашу с собой на головной плот. Известно, то ли он хотел научить парня трудному своему делу, передать всё, что знал и умел сам, то ли мечтал о чём другом. Так думали люди, а Селивёрст Петрович с болью чувствовал, что ни Алексаша, ни Васёнка не могли заменить ему сына, Сергея, что только о нём, только о нём тосковала и мучилась осиротевшая его душа.

— Ходко плывём! — кричит Алексаша. — После кулеша чайку бы горяченького...

— Держи, держи по стрежню, — обрывает его плотовщик. — А то, неровен час, на мель, на косу загашит.

— Не затащи-ит, вода большая, — возражает, бодрясь, Алексаша. — Я тут на Осьме все места знаю!

— От большой воды жди большой беды, — Селивёрст Петрович подходит, берётся за правило, натужно, с трудом поворачивает его. — Опаска, брат, никогда не лишня. Держи вот так, а я пойду вздремну немного.

Выпрямившись, он зорко оглядывает караван и, приставив ладонь ко рту, кричит:

— Го-го! По стрежню держите! По стрежню...

Вода легко несёт окрик, словно течение, обрадовавшись, что, кроме гонки плотов, нашлось и другое дело, подхватило раскатистый голос плотовщика и, играя, стало перебрасывать от плота к плоту по всему каравану.

Плотовщики забегали, что-то закричали в ответ. Налетевший ветер сксмкал, смял их голоса и унёс в поле.

— Разбуди, когда к Спасу-на-Днепре подойдём, — приказывает Алексаше Селивёрст Петрович и, зябко поёжившись, идёт в избушку. Там, в одном углу, на застланных рядниной нарах торчмя стоит нарядная с широкими прошвами подушка Васёнки, а в другом — лежит его старый романовский тулуп рядом с ватником Алексаши.

А плоты плывут, плывут по Осьме, по разливу, всё дальше и дальше, среди затопленных, едва угадывающихся берегов. Солнце печёт; вербы на мелях колышутся, как золотые шары, и первые пчёлы, хлопотливо гудя, кружатся над ними, справляя свой праздник.

Алексаша дежурит у правила, широко, как заправский плотовщик, расставив ноги, и благодарно думает о парторге колхоза, помогшем ему попасть на делянку, о начальнике участка, о Селивёрсте Петровиче. Стонит караван, получит он деньги. Самому Алексаше ничего не надо, а матери и братьям он обязательно привезёт по обновке, как привозил бывало отец, когда жил с ними до войны.

Высоко в небе тянут цепочкой гуси. Они тоже, видно, держат путь по реке, от заводи к заводи, летя из тех далёких и тёплых краёв, куда плывут плоты.

— Гуси, погляди-ка, — Алексаша оглядывается на потерянно бродящую вокруг Васёнку. — К нам на Игорььевскую тянут...

— Вижу, — отзывается та и, запрокинув голову, останавливается у правила. — А давеча журавли клином летели, видал?

Потом Васёнка садится рядом, подбирает колени к подбородку. Алексаша оглядывает её удивлённым взглядом и неожиданно вздыхает.

Васёнка оборачивается, перехватывает этот взгляд, и оба они, непонятно смутившись, умолкают, не глядя друг на друга и боясь волнующего этого молчания больше, чем любого разговора.

— Хорошо бы в Дорогобуже газетку достать, — не без труда произносит, наконец, Алексаша. — Может, что новое о стройках коммунизма напечатано? Ты читала — в «Огоньке» обрисовка недавно была и снимки?

— Читала, — еле слышно отзывается Васёнка. — Не обрисовка, а очерк. Про Сталинград, про Волгу...

— А про Каховку не попадалось? Я, кроме песни, сказать по правде, ничего и не знаю. Каховка, Каховка, а дальше про винтовку для рифмы и про бронепоезд какой-то.

— На Каховском плацдарме в тысяча девятьсот двадцатом году Красной Армией разбиты войска барона Врангеля, — бойко начинает Васёнка, но Алексаша перебивает:

— Я больше песни люблю. Вот если бы Исаковский про Каховку написал — сразу б до души дошло. Верно?

Васёнка молчит, думая о чём-то своём. Косынка её будто нарочно сбилась с головы, уши — маленькие, розовые, со следами недавних проколов для серёг и красными шерстяными ниточками, чтобы не зарастало, — горят, просвечивая на солнце.

— Души нет. Саня, — самоотверженно говорит она, хотя явное сожаление и слышится в её голосе. — Есть только одни условные рефлекс...

— Ну, не знаю, — Алексаша несогласно шлёпает ладонью по правёйлу. — Если б не было, чем бы тогда люди уважали, любили друг друга, вот хоть, как я... Селивёрста Петровича.

Он не договаривает и смущается, чувствуя, что сказал, кажется, лишнее, о чём совсем не стоило говорить и о чём он даже не думал за минуту до этого.

— Ты бы подумал прежде, чем говорить такое, — вспыхивает Васёнка и накрывает волосы косынкой. Похоже, она обиделась, а за что — и сама толком не знает: не то потому, что Алексаша так неловко сказал об уважении и любви, не то из-за чего-то другого. Васёнка немного ревнует Алексашу к деду, но не показывает этого, боясь, как бы тот не угадал чего-то ещё, и, внезапно поднявшись, уходит на другой край плота.

Примостившись там, положив подбородок на колени, она безотчётно глядит на играющую под солнцем реку. А плоты плывут, плывут по ослепительно серебряной быстрине стрежня, по большой воде, мимо затопленных перелесков, лугов, мимо новых колхозных сёл и усадеб.

В голове плота сделано нечто вроде носа. Он испаривает воду, два косых, запенивающихся шва убегают под звенки, осыпая Васёнку мелкими тающими брызгами. Закрыв глаза, она подставляет им лицо, ловит губами и думает всё о том же — о Каховке, об удивительной этой поездке, об Алексаше и о себе.

Ни одна весна не казалась ей такой необыкновенной и волнующе радостной. Гола два назад Васёнка была совсем ещё наивной и простоватой девчушкой, никто на неё не обращал внимания, а мать не спускала ничего и походя ругала то за невымытую посуду, то за то, что не дала есть поросёнку. А нынче, после семилетки, Васёнка вдруг вытянулась, повзрослела, стала зорче и домовитее чисто по-женски. И соседки, заходя за чем-нибудь, удивлённо говорили:

— Гляди-ка, Варвара, дочка-то у тебя как заневестилась, а?

— Хоть в один день обеих вас замуж выдавай!

Мать отмахивалась, сердито краснея:

— Будет вам! Девчонке ещё учиться надо...

Они были похожи друг на дружку, и посторонние часто принимали их за сестёр. Даже Селивёрст Петрович, приходя из лесу по воскресеньям, оглядывал Васёнку, хмурился:

— Поглядеть бы Сергею, какая у него дочка выходилась. Всем взяла — и разумом, и красотой. Не пойму только — в кого? В меня, наверно...

Мать, всхлипывая, уходила куда-нибудь по хозяйству, а Васёнка топала деду баню и, глядишь, напевала уже какую-либо песенку или бралась за книжку. И хотя отец и не мог взглянуть, полюбоваться ею, Васёнку не трогало это так, как мать и деда.

Ярко светило солнце, зеленели травы, шумел ветер, и жизнь с каждым днём казалась всё заманчивей и интересней, как праздник, который, начавшись однажды, не кончится никогда. Васёнка сердито обзывала себя дурочкой, бессердечной пустельгой, старалась не думать о забавах и давала слово не ходить на танцы; но стоило только заиграть радиоле в клубе или запеть девчонкам, как она забывала обо всём и оказывалась среди подруг.

А этой весной голова у Васёнки и совсем вскружилась. Что бы сказала мать, если б узнала о том, что первая любовь не обошла и её дочку. Васёнка влюбилась сначала в заезжего лектора, выступавшего в клубе с докладом о дружбе, любви и семье, а немного погодя, словно в насмешку над тем, во что поверила после его лекции, — в районного агронома, постоянно озабоченного, семейного человека, которого знали и уважали все в округе.

Было от чего прийти в отчаяние, но любовь, как говорится, зла — полюбишь и того, кого не думаешь и не собираешься. Несколько дней Васёнка носила в себе эту занозу. Лектор, которого она отправилась послушать ещё раз в соседнее село, слово в слово повторил свой доклад и там, с теми же шуточками и многозначительными умолчаниями, и Васёнка, услышав всё это, оскорбилась, ушла подавленная и уязвлённая в самое сердце. Она словно разменяла большое своё чувство и неожиданно ощутила облегчение. А агронома жена увезла из лаборатории в больницу. Говорили, у него обострение язвы, и даже собирались делать операцию. Васёнка попробовала подбить девчонок пойти в район навестить его, но, оказалось, агронома увезли не в Холм, а в Смоленск и неизвестно, где положили.

Огонь, сжигавший её, не мог гореть сам по себе. Васёнка скоро забыла лектора и агронома и долго не давала воли сердцу. Но очутившись на плотках, она всё чаще взглядывала на Алексашу Балыкина и, дав себе обещанье быть взрослой, серьёзной и неподступной, в глубине души чувствовала: позови её Алексаша в Каховку, на Волго-Дон или куда ещё — не выдержит и пойдёт за ним хоть на край света.

Но Алексаша стоит у правила и не собирается звать её никуда. Васёнка обиженно поджимает губы, кладёт голову на колени.

«Ну и пускай, — решает она. — Пускай, пускай! Раз он так, то и я не заговорю с ним ни сегодня, ни завтра — никогда».

Справа, на высоком берегу бугре ослепительно блещет железными перьями сказочной птицы двигатель-ветряк. За ним в ряд выстраиваются новые дома, скотный двор, амбар и погреба.

— Спас-на-Днепре! — узнаёт Алексаша и велит Васёнке разбудить Селивёрста Петровича. — Днепр! Большой Днепр! — Он взглядывается вдаль, где среди голых, открытых полей ходят, постреливая синим дымком, тракторы, а по изумрудно-зелёным всходам разъезжают на запавших лошадёнках мальчишки, бороную озимь.

Селивёрст Петрович, широко зевая, показывается в дверях избушки. Лицо его заспано, красно; борода похожа на кудель.

— Только в самую охоту сон вошёл, — жалуется он, привычно и зорко оглядывая, всё ли в порядке на плотках и на реке. — Ишь ты, как спасовцы обстроились... не узнать!

Осьма становится ещё шире. Почти невозможно разглядеть, где она впадает в Днепр, разве только догадаешься по большому, как море, разливу, неоглядно расплеснувшемуся до дальних полей и лесов.

Плотовщик становится к правилу. Алексаша берёт шест, собиравсь мерять глубину на косе.

— Днепр! В Большой Днепр Осьма ушла, — возбуждённо машет он рукой, а Селивёрст Петрович выправляет плоты на середину реки, и солнце, светившее ему в глаза, передвигает тень от избушки вправо.

Сзади за плотом привязана лодка-душегубка. Васёнка молча оттягивает её, садится и, оттолкнувшись веслом, гребёт против течения к выходящим на Днепр плотам каравана.

— Васёнка, подожди-и, — кричит, оглядываясь, Алексаша. Но она не отзывается, режет веслом — только буравчики, пенясь, бегут из-под него и отстают по течению.

На втором плоту стоит выгоревшая от солнца брезентовая палатка; играет гармоника. Комсомольцы Стёпа Ермаков и Женька-Ефрем, разостлав на досках полотнище кумача, пишут разведённым мелом:

«Больше леса стройкам коммунизма!»

Стёпа Ермаков — хороший товарищ и колхозный активист. А Женька-Ефрем такой повеса и баламут, что лучше не связываться. Зовут его Ефремом; но знакомясь с девочками, он неизменно называет себя Евгением и требует, чтобы его звали только так. Второе имя, однако, не прилось, и в Высочанах все зовут его не Евгением, а Женькой-Ефремом.

Привязав лодку, Васёнка подходит к ним, опускается на колени. Стёпа Ермаков подвигается, сразу находит ей дело.

— Держи-ка, — глуховато говорит он, показывая, где следует прижать кумач, чтобы полотнище натянулось как можно туже. — Растягивай, растягивай! — и озабоченно оглядывает Васёнку умными, пронизательно серыми глазами. — Ну, как там у вас? Селивёрст Петрович ночевать в Дорогобуже не собирается?

— Не знаю. Пиши дальше, — негромко отвечает Васёнка, старательно растягивая полотнище.

— Не жалеешь, что поехала?

— Ну, что ты? Вот ещё выдумал!

А Женька-Ефрем ставит на доску баночку с мелом и пытается шутиливо обнять гостью.

— Перебирайся-ка лучше к нам, Васёнка! У нас тут ве-е-село, — нараспев говорит он. — В палатке потеснимся, место найдём!

Васёнка отталкивает его; баночка с мелом опрокидывается. Вода между брёвен сразу становится похожей на молоко, а Стёпа Ермаков вскакивает и сердито кричит Женьке-Ефрему:

— Вот дурила! Сколько раз тебе говорилось: не приставай к девочкам!

Глаза у Женьки-Ефрема виновато бегают.

— Ну уж, по-товарищески подойти нельзя. Подумаешь, какая!..

Подобрав баночку, он зачёрпывает между брёвен молоко, пальцем разбалтывает осевший на дне мел и как ни в чём не бывало предлагает:

— Давайте дописывать, что ли. А то пора подпуск проверять...

Стёпа Ермаков и Васёнка берутся дописывать полотнище, а Женька-Ефрем выносит из палатки ведро и отправляется проверять подпуски, заброшенные с плота.

— Может, поймалось что-нибудь? — усмехается он, обнажая некрупные, редковатые зубы. — Вечером тебя ухой угошу, Васёна.

— Не надо мне твоей ухи, — отказывается та, становясь пунцовой косынки, но Женьку-Ефрема не обескуражишь. Помахивая ведром в лад гармонике, он напевает:

— Спаси, господи, помилуй девчат маленьких любить! Целоваться нагибаться поясница заболит...

— Ох, и дурулом, — незло бросает Стёпа Ермаков. — Ты на него не обращаешь внимания, Васёнка. Комсомол не таких перевоспитывает, понимаешь!

Наконец всё дописано. Восклицательный знак, правда, больше похож на бутылку, перевёрнутую дном вверх, а точка — на толстую, жирную каплю, вылившуюся из неё, но это не имеет значения. По Дорогобужу караван пройдёт не просто так, а торжественно — с переходящим красным знаменем, которое присуждено участку за перевыполнение квартального плана заготовок, с полотнищем и музыкой, как полагается передовикам.

Подумав, Стёпа Ермаков решает:

— Знамя вы подымете у себя на плоту, а полотнище мы развернём здесь. Здорово получится! — и возбуждённо выпрямляется — худенький, невысокий, в накинутах на плечи полушубке и резиновых сапогах. — Вроде красного обоза, что с хлебом на станцию осенью отправляли!

— Плоты — это то же самое, — соглашается Васёнка. — Только не с хлебом, а с лесом...

— Васёна-гулёна! — задорно кричит Женька-Ефрем. — Разводи огонь, будем уху варить! Смотрите, вместо щук чего вытащил? — и снимает с подпуска двух фиолетово-поблёскивающих перьями окуньков и головастого, тёмного сомёнка.

Стёпа Ермаков выносит из палатки знамя, провожает Васёнку к лодке.

— Смотри же, как только Дорогобуж завиднеется — поднимайте повыше, чтобы ветром его распахнуло! — наказывает он, придерживая раскачивающуюся душегубку, пока Васёнка усаживается. — Пусть весь народ видит...

— Обязательно, — обещает она. — Мы его на крыше приберём!

Гармоника играет, разливаясь. Звуки её — то задорные, то грустные — витают над рекой и, как половодью, им нет ни конца, ни края.

Дорогобуж встречает караван почти перед вечером. Тихие его улочки, сады и огороды, сбегаящие к воде, затоплены; на новом, высоком мосту толпится народ. Праздник весны, праздник половодья выманил всех под вольно распахнувшееся в сиреневых сумерках небо, к разлившейся реке. Железнодорожная станция слева кажется островом, вода подступила к самому полотну; всё Заречье до дальних сторожевых ёлочек на горизонте горит и переливается на заходящем солнце, как огромная, полная живого, багряного пламени, чаша.

Предвечерний, свежий ветерок развернул знамя; сзади, на втором плоту, вспыхнуло кумачом полотнище.

Селивёрст Петрович, выпрямившись, как в строю, глядит на проплывающий город, на улицы и собравшихся на мосту людей. Мальчишки бегут по берегу вслед за караваном, крича на все голоса:

— Плоты! Плоты!

— Больше леса стройкам коммунизма...

— Из бельских лесов, должно. И хата, гляди-ка, настоящая, с окошками!

Стёпа Ермаков приказал гармонисту играть самые весёлые марши,

и людям на мосту, наверно, кажется, что плыть на плотах по вольной весенней реке очень весело и заманчиво. Они оживлённо машут плотовщикам, а когда караван проходит под мостом, кто-то кричит:

— Привет бельским лесорубам!

Алексаша Балыкин стоит по другую сторону правы́ла, взволнованный и гордый тем, что вместе со старым плотовщиком ведёт караван. На виду у всех он кажется ещё выше, сильнее; Васёнка против воли не сводит с него изумлённо-ликующего, восхищённого взгляда.

Город остаётся позади. В густеющих сумерках огни его провожают плотовщиков и гаснут один за другим. Высокий берег надвигается, заслоняет их; река неприятно темнеет, робкие звёзды, дрожа, загораются, поблёскивают в непроглядной её глубине.

На соседнем плсту Женька-Ефрем варит уху. Пламя костра, отражаясь в воде, мечется там, как большой багряный лескут, озаря лица сидящих возле палатки ребят. Дразнящий запах свежей рыбы разносится по реке.

Потом впотьмах слышится плеск весла, показывается острый нос душегубки. Женька-Ефрем, гремя цепью, выскакивает на плот с дымящимся бачком в руках.

— Ушицы, Селивёрст Петрович, — предлагает он почтительно. — Сомёнок небольшой попался сегодня да окуньков с десятков. Пробуй — хороша ли?

— Попробовать можно, — Селивёрст Петрович зажигает фонарь на носу плота, хотя вряд ли кто может итти навстречу вверх по реке, и возвращается к костру.

Васёнка уже достала ложки, хлеб.

— Лаврового листику положил? — интересуется плотовщик, прежде чем взяться за ложку. — Нужно, чтоб он сырость речную отбил...

Наклонившись, он пробует ложку, другую, удовлетворённо крошит в миску корки и ест.

— Ну как? — победительно встряхивает головой Женька-Ефрем. — Хороша?

— Дай доем, тогда похвалю, — отшучиваясь, бросает плотовщик. — Спроси лучше у нашего шеф-повара...

Женька-Ефрем обращается к Васёнке:

— А тебе нравится?

— Нравится! — задорно отзывается та. Она и сама не знает, почему решила вдруг забыть всё и заговорить с Женькой-Ефремом — то ли желая подразнить Алексашу, то ли просто такой уж у Васёнки характер, что не умеет она долго сердиться, помнить обиду.

Но Алексаша ест молча, ничем не выдавая себя. Ложка его изредка негромко позвякивает о край миски.

— Наведайся завтра, я ещё на всю ночь подпуск закинул, — приглашает Васёнку Женька-Ефрем и совсем тихо добавляет: — А за то, что пошутил давеча — не сердись, ладно?

— Ладно, — чуть подумав, соглашается Васёнка. Неизвестно отчего — от реки ли, от синих сумерек или отчего-то ещё — сладкая пронзительная боль впервые сжимает её сердце. Васёнке становится жаль себя, жаль всех, и, думая о своём, она понимает, что любит, кажется, одного только Алексашу, а Женьку-Ефрема — только так.

Но тот не догадывается об этом и снова просит её не сердиться, наведаться завтра.

— А то могу ещё печёной рыбой угостить — на угольях, — хвастается Женька-Ефрем, блестя на свету костра быстрыми, играющими, как

стрежень, глазами. — Селивёрст Петрович, ты когда-нибудь печёную рыбу ел?

— Угостишь, так съем, — посмеивается плотовщик. — На вертелке тоже неплохо её изжарить. А лучше — на сковородке, в масле!

— И-и, — восхищённо смакует Женька-Ефрем, притворяясь знатоком и любителем; но, по правде говоря, он охотнее ест мясо, хотя хвалит рыбу и знает тридцать три способа, как обмануть её в любое время года.

Алексаша сидит молча, строгая что-то перочинным ножом, и не принимает участия в разговоре. Бахвальство Женьки-Ефрема, похоже, не нравится ему, но он ничем не выказывает этого.

Совсем в темноте плоты прошли Соловьёв перевоз с яркими гроздьями электрических огней на правом берегу и чёрной, зубчатой каймой леса слева. Тонкий, ясный **молодичок-месяц** клонился над ним, отражаясь в воде, и на Васёнку веяло юностью, свежестью, чем-то таким, от чего сердце казалось переполненным до краёв и даже слегка покалывало.

Давно бы пора пристать к берегу, развести костры и заночевать. Но Селивёрст Петрович торопится поскорее пройти Кобеляцкий порог под Оршей, пока не спала вода.

Ночью он стоял у правыла сам, зорко вглядываясь в туманно-зыбкую речную даль, прислушиваясь к говору воды под звенками. Мели и перекаты были закрыты половодьем, и он не опасался их, стараясь только не сбиваться со стрежня, а воду упустишь — не догонишь, как потом ни старайся.

Ещё больше, чем днём, Васёнке нравилось сидеть на носу ночью, совсем-совсем одной, глядя, как тёмная туча плота накрывает одну за другой звёзды в реке, и мечтая о том, чему порой не подберёшь и названия. Словно ожидая чего-то, она сидела так, пока не озябла, и, не дождавшись, пошла спать.

В избушке было тепло, уютно, пахло смолой, овчиной; новые сапоги, что подарил ей в дорогу дед, тоже пахли резиной и скипидаром. Согрешись, Васёнка закрыла глаза. Всё поплыло-поплыло перед нею — река, берёзки в воде, улицы Дорогобужа, народ на мосту, — и она заснула крепко и счастливо, как спится только в восемнадцать лет.

А плоты всё так же плыли и плыли по большому Днепру, по разливу, мимо тихих затопленных берегов, на которых то дальше, то ближе мерцали огни сёл и колхозных усадеб, поднявшихся на обновлённой смоленской земле...

Утром Васёнка проснулась от крика. Селивёрст Петрович просил кого-то сердито и нараспев:

— Эй, кана-ат... канат отпусти! Дай слабину-у!

А Алексаша вторил ему откуда-то издали простуженным петушиным баском:

— Ворот разверни! Воро-от...

Потом по крыше избушки что-то тяжело шоркнуло; густо загудев на ветру. Васёнка торопливо оделась, распахнула дверь, но паромная переправа была уже далеко.

По обоим берегам Днепра стояли машины и подводы, толпились люди, а под канатом, перехлестнувшим реку, проходили плоты Стёпы Ермакова. Должно быть, там не рассчитали что-то, канат зацепил, повалил палатку, полотнище и сердито полоснул речную гладь посередине реки.

Васёнка оглянулась на знамя, но его не оказалось.

— Что? — перехватив её взгляд, усмехнулся Селивёрст Петрович, — не укараулила?

— Ты тоже не укараулил, — Васёнка рассердилась, представляя, как станет корить её Стёпа Ермаков, как будет издеваться Женька-Ефрем.

— И я не укараулил, — сознался Селивёрст Петрович. — Алексашке спасибо скажи!

Васёнку будто обдало варом. Она кинулась за угол избушки. Знамя лежало там, заботливо снятое, свёрнутое; даже гвозди на древке были выпрямлены.

Где-то, должно быть в верховье, подмыло на рюмах лес или растрепало плоты. По Днепру вереницей плывут брёвна, то сталкиваясь, то обгоняя друг дружку, сбиваясь на косах и у берегов. А в одном месте, где течение в заводи кружилось широким и медленным кругом, они, повернув обратно, тянули вверх по реке, пытаясь выбиться опять на дорогу и беспомощно тычась то туда, то сюда, как слепые.

Стёпа Ермаков разъезжает по разливу и собирает бродячие эти брёвна. Серьёзный, озабоченный, он похож на речного хозяина и, оглядываясь, покрикивает Женьке-Ефрему:

— Вяжи, вяжи их к плоту! Не бросать же лес без толку...

Немного погода Алексаша вернулся. Он тоже подобрал, привёл несколько брёвен, возбуждён и, несмотря на то, что не спал ночь, бодр и деятелен.

— Чуть не целую звенку собрали, — радостно рассказывает он Селивёрсту Петровичу, привязывая лес к плотам. — И газетку тебе у почтарей выпросил. Вот она!

— Хозяева, значит! Отдай Васёнке, почитает после. — Плотовщик снова оглядывается на переправу, на караван. — Как же они там с палаткой не убереглись?

— Расчёту нехватило, — сдержанно объясняет Алексаша. — Когда вы проходили, паромщик слабину дал, а потом сразу как закрутит ворот...

Васёнка берёт топор, собираясь снова поднимать знамя.

— Подожди, я помогу, — Алексаша останавливает её и, отобрав топор, прибывает древко к крыше. Руки у него холодные, шершавые от воды.

— Иди грейся, — шепчет ему Васёнка, невольно краснея. — Сейчас я яичницу сготовлю.

— Кипяточку бы, покруче...

— И чай вскипячу.

Знамя полыхнуло над головами. И почти тотчас же побороло туман солнце. Большое, багряное, оно выглянуло над рекой, разбудило жаворонков.

— Ох, и весна ж нынче! Золотая! — шуруется Алексаша и, обогретый не то солнцем, не то ласковой заботой Васёнки, сбрасывает ватник и идёт умываться.

Позже, когда Селивёрст Петрович дремал после завтрака, а Васёнка хлопотала у костра, обжигаясь и дуя на варево, Алексаша неожиданно подал ей подарок — лёгкую липовую ложку.

— Вот тебе, возьми, — решительно проговорил он. — Вчера весь день вырезал...

— Зачем?

— Чтоб губы не обжигала.

— А тебе какая забота — обжигают я или нет?

— Да уж такая...

— Спасибо, — вспыхнув от удовольствия, поблагодарила Васёнка. Ложка была как нельзя кстати. — Ну-ка, попробуй — картошка разварилась? — предложила она Алексаше, зачерпнув из котла, в котором готовился обед.

— Нет, ты первая, — отказался Алексаша. — Ты хозяйка...

Васёнка засмеялась:

— Не хочешь один, давай вместе!

Алексаша удивлённо и непонимающе поглядел на неё горячими заставшими глазами.

— Давай. Только как?

— А вот так... попробуй!

Они потянулись к ложке с двух сторон, смеясь отчего-то и близко-близко глядя друг другу в глаза. Кашель в избушке заставил их отскочить в стороны; ложка упала, раскололась.

— Ой, беда, — опомнившись, проговорила, вздрагивая, Васёнка. — Дед видел всё...

Алексаша вызывающе оглянулся на избушку.

— Видел, и пускай, — твёрдо, неторопливо проговорил он. — Не к беде, а к счастью!

Высокий железнодорожный мост невесомо держал над рекой узорное своё кружево. Тень от него, как вырезанная, лежала наискосок. Подплывая, было чудно глядеть, как поезд, отражаясь в воде, шёл по мосту, укутывая фермы ватным, цепляющимся дымком, будя на ветру железо и окликаая кого-то весёлым, пронзительно-заливистым гудком.

— Шейновка! — выглянув, объяснил Селивёрст Петрович. — Теперь Смоленск — рукой подать...

Стоя в голове плота, он глядел на реку, круто огибавшую высокую, поросшую кустарником, гору.

— Какой лес был, какой бор! Всё война свела...

Из-за горы внезапно открылась широкая, залитая до краёв пойма, а за ней на далёких и крутых холмах — зубцы и башни древней крепостной стены, голубой купол собора, вознёсшийся под облака, причудливые и неясные очертания большого города. Васёнка глядела на него и не могла оторваться. Как сказочное орлиное гнездо, высоко виднелся он в каменной своей опояске, и ни война, ни враги не могли уничтожить гордую его красоту.

Не так и не таким представляла себе Смоленск Васёнка, но даже и такой, разорённый и сожжённый, отстраивающийся и живой, он был дорог до боли и прекрасен, как всегда. По холмам, по оврагам лепились, взбегая наверх, новые дома, горели на солнце стёкла окон, железная дорога подходила почти к самой реке, пути веером раскрывались вдали.

А Селивёрст Петрович глядел на Смоленск и думал о большом Днепре, об электрических станциях, что скоро встанут на его берегах — здесь, под Смоленском, и ниже — в Белоруссии. Вода поднимется, наполнит берега почти как во время половодья. Не страшны тогда станут ни мели, ни перекаты, ни пороги, пойдут по всему Днепру большие быстроходные пароходы не только до Смоленска, а и выше — в Дорогобуж и Спас. Неоглядно разольются по берегам электрические огни, и до самого Чёрного моря зарево их осветит города и сёла, земли и леса.

Прошлогодней весной водил он плоты сюда, в Смоленск. А нынче — не обижайся, родной город, — Селивёрст Северьянов ведёт караван далеко-далеко на юг, туда, где на днепровских берегах строится невиданная гидроэлектростанция, одна из тех, что скоро омолодят старый Днепр от устья до верховьев.

Под трамвайным мостом вода неслась как бешеная. Течение стре-

мительно подхватило плоты, стало заносить хвост, норovia развернуть его поперёк реки. Селивёрст Петрович налёг изо всех сил на правило, стараясь удержаться на стрежне. Алексаша и Васёнка бросились с шестами к носу.

Мост они проскочили, даже не заметив. А на нём, как и в Дорогобуже, было полно народу, звонили, требуя дорогу, трамваи, гудели машины, и из больших, чёрных репродукторов на крепостной стене у разлома лилась музыка, заглушавшая напев гармоника на плотях.

Маленький, тесный садик за мостом был весь в воде. Базарную площадь залило до самых бань.

Дальше весь правый берег занимали пригнанные на лесопильный завод плоты. По широкому настилу, спускавшемуся с берега к воде, безостановочно ходили вверх и вниз цепи самотаски; подхватывавшие брёвна, а на разделочном дворе под навесом рассерженно визжала циркулярка-пила, как будто ей всё время нехватало чего-то и она жаловалась, что её обижают.

Под вторым, железобетонным мостом плоты прошли без особого труда. Пришлось только взять вправо, чтобы не наскочить на островок. А ещё дальше, на выходе из города, был пережат, и Селивёрст Петрович всё время не сводил глаз со стрежня.

За Смоленском прошли Серебрянку и Гнёздово, а к вечеру, под Катыню, по воде прокатился протяжный гудок. Невысоко над берегом из-за поворота показался красный околыш паровой трубы. Из неё равномерно попыхивал серый, прозрачный дымок.

Поравнявшись, пароход коротко прогудел ещё раз, приветствуя караван, потом из стеклянной рубки, где стоял штурвальный, в мегафон спросили:

— Куда идёте с лесом?

— В Каховку, — отозвался Селивёрст Петрович гордо и взволнованно.

— Добро!

Радиола заиграла марш, и пароход, изо всех сил работая колёсами против течения, скрылся за поворотом. Волны, вспугнутые им, долго шлёпали ладонками, набегая на плоты, словно им было весело от музыки и оживления на реке.

Высокие берега у Катыни походили на ворота. Глядя на них, Селивёрст Петрович задумчиво проговорил:

— Вот здесь наша гидростанция и встанет. Самое место для плотины!

— Когда, дед? — Васёнка загоревшимися глазами оглядывала крутой, в соснах, берег, огромную чашу поймы, луга и поля. Она пыталась представить себе гидроэлектростанцию, плотину, шлюзы — и не могла.

Селивёрст Петрович взял немного влево, чтобы течение не занесло плоты под обрыв.

— Теперь уж скоро. Вот закончит Сталин расчёты, посоветуется с учёными и даст приказ: «Стройте!» Видала в газете, как он над картой с карандашом планы государственные обдумывает?

— Видала. Картина такая есть. Художник какой-то нарисовал...

— Вот-вот, — Селивёрст Петрович оглядывается и говорит особенно душевно и доверительно: — Я так думаю: карандаш его сейчас как раз в этом месте на карте остановился. Нарисовал он тут, возле Катыни, кружок **красный** и обдумывает, когда новая гидростанция встанет, как она всю Смоленщину нашу электричеством **зальёт**, заводы, **колхозы** вооружит, **плуги на свой ход переведёт...**

Васёнка слушает деда заврожённо. Теперь она видит всё, о чём он рассказывает, видит как наяву и боится проронить хоть слово.

А Селивёрст Петрович увлётся, размечтался. Должно быть, он и вправду много думал о большом Днепре, о новой Смоленщине — и рассказывает взволнованно и горячо.

— Ни одна область за войну так не пострадала. А земля наша смоленская — не хуже других. Пески в пустынях и то, вон, оживают, а наши земли только враги да лодыри неродимыми считали. И нам уж, может, не дожить, а вы, молодые, своими глазами увидите: будут и на Смоленщине электрические тракторы пахать! Будет и у нас пшеница половодьем шуметь!

Лучась горячей, задорной улыбкой, Васёнка берёт его за тесёмочки распахнутого ватника, спрашивает:

— Дед, а если б Сталин вызвал тебя, спросил: «Товарищ Северьянов, как вы считаете, сколько леса потребуется для Каховской гидростанции?» — ты бы ответил?

— Сталин?

— Ну да, ну да, ты же всё знаешь...

— Сколько лесу?

— Что бы ты сказал?

— Не знаю, — откровенно признаётся плотовщик. — Не считал...

Добродушная, ласковая улыбка мелькает по его губам, прячется в бороде.

— Сказал бы: «Разрешите, мы с внучкой подсчитаем и в точности вам доложим, товарищ Сталин. Внучка у меня шибко грамотная, мастером леса в Игорььевской скоро будет...»

И оба улыбаются, глядя друг на друга и словно говоря, что есть на свете вещи понятные только им одним да ещё тому, о ком только что говорилось.

На ночь плоты останавливаются возле небольшого сельца, раскинувшегося на высоком, обрывистом берегу. Посреди него высится новое, недостроенное здание — не то клуб, не то магазин; окнами на реку глядят дома.

— Никак магазин в Белокоренье поставили? — удивляется Селивёрст Петрович. — Всё и тут разорено было, а теперь, погляди-ка!

Алексаша берёт колья, съезжает с Васёнкой на берег. Там они вбивают их в землю, накидывают канаты. Звенки подтягивают к берегу, привязывают расчалками.

Следом за ними причаливают Стёпа Ермаков и Женька-Ефрем, а потом подходят остальные плоты каравана. Селивёрст Петрович доволен. Самая трудная часть пути пройдена благополучно. Ни располтки, ни потерь не случилось, даже на мели никто не застрял; только на одном из плотов порвало связи при ударе о мостовую опору в Смоленске. На радостях можно отдохнуть, а завтра — плыть дальше.

В затишье под берегом разгораются костры, варится ужин. Плотовщики обсуждают дальнейший маршрут. Молодёжь с гармонистом собирается после ужина на вечеринку в Белокоренье.

На берегу оживлённо, шумно, как всегда во время остановок. Ребятишки прибегают из села, интересуясь — что тут такое?

— Плотогоны!

— Плотогоны! — возбуждённо кричат они наперебой, как будто на плотах прибыли какие-то невиданные люди из неведомых стран.

— Митька, беги Макарычеву скажи...

— Теперь бы только Кобелякский порог пройти, — озабоченно вздыхает Селивёрст Петрович. — Пока вода не спала...

— Завтра к обеду пройдем, — успокаивают его комсомольцы. — А там — вольная воля!

— К обеду обязательно успеем, — соглашаются плотовщики. — Ночью там лучше не соваться...

— А помните, как мы перед войной в Кобеляках этих рыбу штанами ловили? — усмехается Селивёрст Петрович. — Ох, и хватило меня тогда о камень да с плота в вир. Ну, думал, не выплыву!

— Один он только и остался теперь на Днепре, — вздыхая, рассуждают плотовщики.

— Последний!

— Скоро и ему конец. Как встанет плотина в Белоруссии, затопит и последыш этот навеки...

Селивёрст Петрович тоже собирается в Белокоренье, наказывает следить за водой и понемногу отпускать расчалки, чтобы плоты не положило на берег.

Наверху его встречает председатель колхоза Макарычев. Он невесел, кряжист, в выпачканных глиной сапогах, и держит объёмистый узелок, из которого словно невзначай выглядывает запечатанная сургучом головка.

— Здорово, Селивёрст Петрович! Здравствуйтесь, товарищи, — и представляется: — Макарычев, Егор Михалыч...

— Здравствуй, товарищ Макарычев, — Селивёрст Петрович неторопливо, с достоинством пожимает протянутую руку и невольно косится на узелок. «Человек как будто незнакомый, — думает он, — а зовёт по имени-отчеству, вроде знает... Ну да кто нас по Днепру не приметил!»

А Макарычев спрашивает:

— Зови в гости, Селивёрст Петрович. А то, может, к нам лучше?

— Не время вроде, — признаётся плотовщик. — Ну да уж раз такое дело — идём в избушку.

— Дело это верно, что дело, — неопределённо повторяет Макарычев, спускаясь за ним на плоты. Проходя к избушке, он косится на лес и не выдерживает: — Золотой лесок, бельский! В Киев, небось, гоните?

— Не угадал, брат. Немного подальше.

— В Днепропетровск?

— На стройку коммунизма, — не без гордости объясняет Селивёрст Петрович. — Читай, вон он — адрес наш: Ка-хов-ка!

Но на Макарычева всё это как будто не производит ожидаемого впечатления. Скорее даже, он немного сникает, растерянно оглядываясь по сторонам, и не знает, куда девать узелок.

В избушке они садятся друг против друга за шатким деревянным столиком, застланном прочитанной газетой. Селивёрст Петрович всё ещё не догадывается ни о чём и ждёт, что скажет гость.

Макарычев немного приободрится, угощает его папиросами, зажигает спичку.

— Богато живёте, — кивает он, затягиваясь. — На плоту и то целую избу поставили!

— В лесу не без дров, — соглашается плотовщик, всё ещё не представляя, что привело Макарычева. Он настолько захвачен думами о большом Днепре, о судьбах Смоленщины и будущем, что как-то не в состоянии сообразить ничего другого.

— А дельце моё вот какое, Селивёрст Петрович, — всё ещё не решаясь, начинает наконец Макарычев и будто приглашает плотовщика войти в его положение. — Не уступишь ли ты мне леску? Венца бы на два, на три, хату достроить!

Селивёрст Петрович не отвечает и насупил брови, точно обдумывает предложение. Макарычев, заметно осмелев, ставит на стол узелок.

— Я и могоарыч на этот случай прихватил, — обрадованно приговаривает он. — Такая у нас беда — близко лесу нет, весь война посвела. А за шестьдесят вёрст из-за Орши — не навозишься!

Он рад, что самое трудное пройдено, и хотя опасался, что плотовщик не пойдёт на сделку, когда узнает, для чего предназначен лес, но теперь чувствует — всё уладится.

— А это что у вас там недостроенное стоит? — спрашивает вдруг Селивёрст Петрович, стараясь не глядеть в глаза Макарычеву. — Клуб ли, магазин какой?

Ему нестерпимо неловко за Макарычева, за его предложение и угощение. Что-то подталкивает возмутиться, высказать всё начистоту и, гневно смахнув со стола могоарыч, выставить незваного гостя за дверь.

Но чувство душевной деликатности сильнее гнева. Селивёрст Петрович сдерживается и, стараясь не обидеть Макарычева сверх меры, осторожно, но твёрдо намекает:

— Клуб ли, магазин — всё едино нужно.

— Золотые слова, — поддакивает Макарычев. — В самую точку!

Молодёжь с гармоникой ушла в Белокоренье; костры догорели. Затихая на ночь, чуть слышно плещется река, воркует течение. Иногда с лёгким вздохом отвалится, сползёт в воду подмытый береговой пласт, всплеснёт в виру рыба, и снова тихо.

— Ну, так как же? — спрашивает Макарычев, внутренне кляня себя за то, что ввязался в неловкое это дело. — Поладим мы с тобой, Селивёрст Петрович, или...

— Подумать надо, прикинуть, — уклоняясь от прямого ответа, отзывается плотовщик. — Такое это дело...

— Тебе ж полагается сколько-то процентов на утоп, на потери, — подсказывает, напоминая, Макарычев. — Вот за счёт них и...

— Полагается-то полагается, да сам знаешь — дело это такое, вроде негосударственное.

Селивёрст Петрович пронизательно глядит на него и вдруг, точно найдя что-то, широко, открыто улыбается:

— Вот если б ещё колхозу вашему: на клуб там, скажем, или на этот самый магазин — с великой охотой помогли бы. Пожалуйста! И душа спокойна, и доброе дело сделал... чего лучше? — и, покосившись на угощение, решительно и освобождённо убирает руки со стола. — А так не могу! Забирай, брат, всё, что принёс, на ласке спасибо, но не могу. Душа не позволяет.

— Вот беда, ей-богу, — Макарычев растерянно умолкает, не зная, что ответить. Потом с досадой поднимается и, не прощаясь, забрав принесённое, выскакивает из избушки темнее тучи. Ему кажется, что вода смеётся под звенками, по которым он пробегает, досада саднит душу, а недоведённый под крышу сруб нового клуба снова бросается в глаза.

— Куда ж ты? Куда? — кричит, выскочив на порог, плотовщик. — Чего же тут обижаться, раз такая оказия...

Но Макарычев не слышит ничего и скрывается на берегу. Селивёрст Петрович бросает взгляд на реку, заметно обнажившую мокрый краснотал у обрыва, и идёт отпускать расчалки.

«Тоже, значит, совесть ещё не потерял, — удовлетворённо думает он, довольный тем, что всё окончилось по-хорошему. — Вот только угощение пропадёт занапрасно. Ну да что поделаешь, если такое недоразумение...»

Ему кажется, что он продрог, пока вёл караван от Коровников до Белокореня, становится неприятно и зябко.

Алексаша с Васёнкой тоже ушли в село. Селивёрст Петрович идёт к плотовщикам и рассказывает обо всём, что случилось. Костры разгораются жарче, а молодичок из-за берегового горба кажет светлые рожки и, отражаясь в воде, осторожно перебирается через речную быстрину.

Под утро молодёжь возвращается с гулянки. Гармонист заметно устал, едва перебирает лады. Стёпа Ермаков громко спорит с комсомольцами о том, может ли дружба заменить любовь, а Женька-Ефрем остался в Белокоренье, провожая какую-то молодку.

Алексаша с Васёнкой, стыдливо обнявшись, идут далеко позади, глядят на месяц, слушают, как затихает впотьмах село, как кричат на стойбище утки. Сердца бьются в лад, хочется сказать многое-многое, раскрыть душу. Но и молчать тоже невыразимо хорошо, словно так счастье, как песня без слов, звучит сильнее. И они молчат, целуются, смеялся с каждым разом, пока губам не становится больно и горячо.

— Чудное дело, Васюня, — Алексаша заглядывает Васёнке в глаза, бережно обнимает её. — Никого я не любил ещё, тебя первую. А ты?

— Я лектора нынче зимой любила, — с беззаботной откровенностью признаётся Васёнка. — А потом — агронома...

— Женатого?

— Я не думала, что он женатый, — Васёнка смеётся. — Совсем дурочка была, считала — он до тридцати лет в мальчиках ходит...

— А Женьку-Ефрема ты любишь? — решившись, вдруг спрашивает Алексаша.

— А что?

— Смотри, лучше не люби, — насупливается он. — И уху его не ешь...

Васёнка умолкает, соображая что-то. Глаза её счастливо светятся, грудь вздымается высоко, порывисто. Привстав на цыпочки, она обнимает Алексашу и целует ещё раз — крепко-крепко, не отрываясь, пока тот не задыхается.

— Глупенький ты, ревнущи-ий, — шепчет она, переводя наконец дыхание и снова прикивая к нему. — Тебя одного я люблю, первый-первый, самый первый раз, а его — только так...

— И так не надо, — несговорчиво бормочет Алексаша. — Я не хочу. Немного нужно первой любви. Не потому ли она так ранит сердце, что оно раскрывается впервые и ничем не защищено от пошлости и муки.

Забыв обо всём, Алексаша и Васёнка не слышат, как их нагоняет Женька-Ефрем, возвращающийся из села. Подкравшись поближе, он подслушал всё, что говорилось, хотел ухнуть филином, напугать их, но удержался, прилёг под золотой вербный куст у дороги и подождал, пока всё затихло.

Первый раз Васёнка виновато прокрадывалась на своё место в избушке, боясь потревожить, разбудить деда, первый раз засыпала, всем сердцем сознавая, что её любят. И ничего не нужно было этой первой любви, кроме неё самой, кроме этой переполненности, вины и счастья.

А Алексаше снился большой Днепр. Он был как дорога жизни и плыть по нему вдвоём с Васёнкой казалось радостнее всего, а сзади их догоняли приезжий лектор и агроном, тридцатилетний мужчина, прикидывавшийся не то мальчишкой, не то Женькой-Ефремом.

На рассвете река дымилась в тумане; берега замглились, пропали. Только утки крикали, будя солнце, да кашляли, умываясь, плотовщики.

Селивёрст Петрович командовал сборами и, обходя караван, напоминал плотовщикам об островах, перекатах и поворотах на пути, где тече-

ние перекидывается с одной стороны на другую и надо быть всё время настороже, чтобы плоты не ударило с разгона о кручу. Он был весел, бодр, подшучивал над вчерашним случаем и душевно радовался тому, что Макарычев понял, кажется, в чём дело и не обижается.

— Ну как вчера — не поладил с председателем? — спрашивает, подходя, Женька-Ефрем. — Что-то он скоро вернулся и зо-ол-зол сам на себя. «Перемудрил, — жаловался. — Сиротой прикинулся, а напрасно!»

— Хорош сирота, — довольно усмехается Селивёрст Петрович, не понимая ещё, о чём идёт речь, и сердито добавляет: — Дом строит, а лесу нехватало, так он пришёл нас за водку покупать!

— Какой там дом? Клуб у него в колхозе недостроен! Вон, погляди, — кивает Женька-Ефрем.

— Клу-уб? — переспрашивает Селивёрст Петрович. — Верно, — клуб... Да что ж он мне сразу напрямки не сказал, а всё водку подсовывал?

Лицо его жарко испятилось, борода спуталась.

— Думал, наверно, тебя на сочувствие поддеть, — Женька-Ефрем торжествующе хохочет, ожидая, что плотовщик рассмеётся тоже. — Как сома на жерлицу!..

Но против ожидания Селивёрст Петрович, сердито метнув глазами, приказывает:

— А ну-ка, позови его! Единым духом пускай сюда...

— Кого это? — не понял Женька-Ефрем.

— Его! — не на шутку рассердился плотовщик. — Председателя белокоренского... Макарычева!

И взяв топор, идёт к Стёпе Ермакову, на плоту которого прихвачены подобранные вчера брёвна.

— Сказал бы сразу, елова голова! — бормочет он добродушно. — Ребята ж ведь по Днепру лес собрали...

Когда Макарычев, не веря Женьке-Ефрему, подъехал к реке на полуторке с прицепом, последние плоты отчаливали от берега, а Селивёрст Петрович и Стёпа Ермаков были уже далеко.

— Эх ты, копун! — с сердцем обругал Макарычева Женька-Ефрем. — Говорил тебе — опоздаешь...

Сбежав по берегу, он успел вскочить на последнюю звенку, поскользнулся на мокрых брёвнах, но не упал и, подобрев, кивнул:

— Бери, вон, подарок наш, достраивай клуб! Да в другой раз сироту не прикидывайся, лучше на социалистическую выручку надейся...

Ветер отнёс его слова на середину Днепра, а там их подхватило течение, понесло вдогонку уходившему каравану.

Макарычев хозяйственно огляделся. Десятка два золотых сосновых брёвен покачивалось у берега, посвечивая мокрой, кое-где облупившейся корой. Тут же на обрыве лежали толстые берёзовые колья, словно нарочно оставленные для того, чтобы легче и сподручнее было выкатывать лес из воды.

— Кирюшка, иди помогай! — крикнул Макарычев шофёру, всё ещё не веря счастью. — А то вода унесёт...

Вдвоём они принялись выкатывать брёвна на берег, оживлённо делаясь соображениями о том, что теперь клуб будет непременно достроен и, может, даже открыт к Первому Мая.

А плоты были уже далеко и плыли своей дорогой. Алый огонёк знамени, разгораясь, пылал на солнце; туман, тая, поднимался, редел, и вода в реке голубела, будто открывавшееся небо подбавляло в неё ясной и бездонной своей голубизны.

Васёнка ещё спала, подобрал под одеялом ноги. Брови её шевелились как гусеницы, мохнатые, золотые от солнца; губы потрескались.

Зайдя в избушку взять махорки, Селивёрст Петрович взглянул на внучку и, невольно вздохнув, подумал:

«Эх, Серёга, Серёга, заневестилась твоя дочка! А ты, сынок, и не поглядишь на неё...»



ПЛАТОН ВОРОНЬКО
★
ВОЗРОЖДЕНИЕ

С украинского

1

Руины, руины, руины,
Железом изрезана грудь...
То — раны моей Украины,
То — кровью забрызганный путь,
То — память,
А память крылата,
Она не умрёт никогда.
Семь лет на могиле солдата
Лежит молчаливо плита.
Молчанье, молчанье, молчанье,
Сухие деревья у рва.
Но солнца не меркнет сиянье
И вновь зеленеет трава,
И дождь пролетает певучий,
И к морю стремятся ручьи,
Сады расцветают на круче,
Над пасекой вьются рои.
Ройтся, ройтся, ройтся
Та жизнь, что всегда молода.
А память времён не боится,
Она не умрёт никогда.

2

Свистя, упала бомба в сад,
И сад сгорел, пропал.
Но вот пришёл с войны солдат:
Он яму закопал,
Осколки вынул из земли,
Повыкорчевал пни —
И снова груши расцвели
У тополей в тени.
И дождь, как в прежние года,
Даёт плодам налив.
Земля — она жива всегда,
Когда хозяин жив!

3

Есть на Слободжанщине зелёной
Залитая солнцем слобода.
Это край войною опалённый —
Здесь недавно только лебеда
На полях росла и крутоярах,
Да следы вились меж лебеды.
А вокруг был пепел от пожара
И в колодцах не было воды.
И казалось — жизни здесь не будет,
Думалось — навек заглохла жизнь.
Но когда сюда явились люди,
Не рыданья —
Песни раздались!
Облетели песни даль и ширь —
И расцвёл заброшенный пустырь,
И в колодцах вновь звенит вода...

Наш народ за мир стоит всегда.
Красный флаг
И здесь, и над столицей
О труде и мире говорит...
Хочет море подпалить синица —
Из далёких стран заморских птица —
Только море — море не горит!

Перевод П. Железнова.



СЕРГЕЙ МУШНИК

★

НАД ПОЛЕВЫМ СТАНОМ

С украинского

В осеннем небе высоко, под солнцем золотым,
Летят журавки-журавли над станом полевым.
А за Днепром, а за Днестром присядут отдохнуть:
На юг, на юг лежит их путь, тяжёлый дальний путь.

Над Грецией придётся им лететь в глухую ночь:
В горах — огни концлагерей, в горах не отдохнёшь.
Да и в Египте, где конец далёкого пути,
Приюта мирным журавлям отныне не найти:
Куда ни глянь, где ни ступи — заметит сразу глаз
Ангары для заморских птиц, бетон авиабаз.

В осеннем небе высоко, под солнцем золотым,
Летят журавки-журавли над станом полевым.
Они летят, они кричат, да только птичий грай
Печален: трудно покидать широкий этот край,
Где пашни чёрные внизу колхоза «Коммунист»,
Где в радиатор воду льёт весёлый тракторист,
Где возле бочки бригадир намылил свой вихор,
Где с гаечным ключом шофёр забрался под мотор,
Где девочка бежит за птичьим косяком,
Задрала свой курносый нос и машет вслед платком.

Перевод Вл. Фёдорова



Н. НОСОВ

★

ВИТЯ МАЛЕЕВ В ШКОЛЕ И ДОМА

Повесть

Глава первая

Подумать только, как быстро время летит! Не успел я оглянуться, как каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Целое лето я только и делал, что бегал по улицам да играл в футбол, а о книжках даже позабыл думать. То есть я читал иногда книжки, только не учебные, а какие-нибудь сказки или рассказы, а так, чтоб позаниматься по русскому языку или по арифметике — этого не было. По русскому я и так хорошо учился, а арифметики не любил. Хуже всего было для меня — это задачи решать. Ольга Николаевна даже хотела дать мне работу на лето по арифметике, но потом сжалилась надо мной и перевела в четвёртый класс так, без работы.

— Не хочется тебе лето портить, — сказала она. — Я переведу тебя так, но ты дай обещание, что сам позанимаешься по арифметике летом.

Я, конечно, обещание дал, но как только занятия кончились — вся арифметика выскочила у меня из головы, и я, наверно, так и не вспомнил бы о ней, если б не пришла пора идти в школу. Стыдно мне было, что я не исполнил своего обещания, но теперь уж всё равно ничего не поделаешь.

Ну и вот, значит: пролетели каникулы! В одно прекрасное утро — это было первого сентября — я встал пораньше, сложил свои книжечки в сумку и отправился в школу. В этот день на улице, как говорится, царило большое оживление. Все мальчики и девочки, и большие и маленькие, как по команде высыпали на улицу и шагали в школу. Они шли и по одному, и по двое, и даже целыми группами по несколько человек. Кто шёл не спеша, вроде меня, кто мчался стремглав, как на пожар. Малыши тащили цветы, чтобы украсить класс. Девчонки визжали. И ребята тоже некоторые визжали и смеялись. Всем было весело. Только мне одному было не очень весело.

Мне было очень грустно, так как я знал, что не встречу среди старых школьных друзей Федю Рыбкина — моего самого лучшего друга, с которым мы в прошлом году сидели за одной партой. Он недавно уехал со своими родителями из нашего города, и теперь уж никто не знает, увидимся мы с ним когда-нибудь или нет. И ещё мне было грустно, так как я не знал, что скажу Ольге Николаевне, если она меня спросит, занимался ли я летом по арифметике. Ох, уж эта мне арифметика. Она мне поперёк горла стала! Из-за этой арифметики у меня настроение совсем испортилось, а ведь я был очень рад, что иду в школу. Я очень соскучился уже по школе.

Яркое солнышко сияло на небе по-летнему, но прохладный осенний ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья. Они кружились в воздухе

и падали вниз. Ветер гнал их по тротуару, и казалось, что листочки тоже куда-то спешили.

Ещё издали я увидел над входом в школу большой красный плакат. Он был увит со всех сторон гирляндами из цветов, а на нём было написано большими белыми буквами: «Добро пожаловать!». Я вспомнил, что такой же плакат висел в этот день здесь и в прошлом году, и в позапрошлом, и в тот день, когда я совсем ещё маленьким пришёл первый раз в школу. Какая-то радость встрепенулась у меня в груди, будто случилось что-то хорошее-хорошее! Ноги мои сами собой зашагали быстрее, и я еле удержался, чтоб не пуститься бегом. Но это было мне не к лицу. Ведь я не какой-нибудь первоклассник. Как-никак всё-таки четвёртый класс!

Во дворе школы уже было полно ребят. Ребята собирались группами. Каждый класс отдельно. Я быстро разыскал свой класс. Ребята увидели меня и с радостным криком побежали навстречу. Все набросились на меня, стали тискать и мять, хлопать по плечам и по спине. Я и не думал, что все так обрадуются моему приходу.

— А где же Федя Рыбкин? — спросил Гриша Васильев.

— Правда, где Федя? — закричали ребята. — Вы всегда вместе ходили. Где ты его потерял?

— Нету Феде, — ответил я. — Он не будет больше у нас учиться.

— Почему?

— Он уехал из нашего города со своими родителями.

— Как так?

— Очень просто.

— А ты не врешь? — спросил Алик Сорокин.

— Вот ещё! Стану я врать!

Ребята смотрели на меня и недоверчиво улыбались.

— Ребята, и Вани Пахомова нет, — сказал Лёня Астафьев.

— И Серёжи Букатина! — закричали ребята.

— Может быть, они тоже уехали, а мы и не знаем, — сказал Толя Дёжкин.

Тут как будто в ответ на это отворилась калитка, и мы увидели, что к нам приближается Ваня Пахомов.

— Ура! — закричали мы.

Все бросились навстречу Ване, стали тискать его и мять.

— Пустите! — отбивался от нас Ваня. — Человека никогда в жизни не видели, что ли?

Но каждому хотелось похлопать его по плечу или по спине. Я тоже хотел хлопнуть его по спине, но по ошибке попал по затылку.

— А, так вы ещё драться! — рассердился Ваня и изо всех сил принялся вырываться от нас, но мы ещё плотней окружили его.

Не знаю, чем бы всё это кончилось, но тут пришёл Серёжа Букатин. Все бросили Ваню на произвол судьбы и накинулись на Букатина.

— Вот теперь, кажется, уже все в сборе, — сказал Женя Комаров.

— Все, если не считать Феде Рыбкина, — ответил Игорь Грачёв.

— Как же его считать, если он уехал?

— А может, это ещё и неправда. Вот мы у Ольги Николаевны спросим.

— Хотите верить, хотите нет. Очень мне нужно обманывать, — сказал я.

Ребята принялись разглядывать друг друга и рассказывать, кто как провёл лето. Все мы за лето выросли, загорели. Но больше всех загорел Глеб Скамейкин. Лицо у него было такое, будто его над костром коптили, только светлые брови сверкали на нём.

— Где это ты загорел так? — спросил его Толя Дёжкин. — Небось, целое лето в пионерлагере жил?

— Нет. Сначала я был в пионерлагере, а потом в Крым поехал.

— Как же ты в Крым попал?

— Очень просто. Папе на заводе дали путёвку в дом отдыха, вот он и придумал, чтоб мы с мамой тоже поехали.

— Значит, ты в Крыму побывал?

— Побывал.

— А море видел?

— Видел и море. Всё видел.

Ребята обступили Глеба со всех сторон и стали разглядывать, как какую-нибудь диковинку.

— Ну, так рассказывай, какое море. Чего ж ты молчишь? — сказал Серёжа Букатин.

— Море, оно большое, — начал рассказывать Глеб Скамейкин. — Оно такое большое, что если на одном берегу стоишь, то другого берега даже не видно. С одной стороны есть берег, а с другой стороны никакого берега нет. Вот как много воды, ребята! Одним словом, одна вода. А солнце там печёт так, что с меня сошла кожа.

— Врёшь!

— Честное слово! Я сам даже испугался сначала, а потом оказалось, что у меня под этой кожей есть ещё одна кожа. Вот я теперь и хожу в этой второй коже.

— Да ты не про кожу, а про море рассказывай.

— Сейчас расскажу... Море, оно громадное! А воды в море пропасть! Одним словом — целое море воды!

Неизвестно, что ещё рассказал бы Глеб Скамейкин про море, но тут к нам подошла Ольга Николаевна. Все очень обрадовались, увидев её.

— Здравствуйте, Ольга Николаевна! — закричали мы хором.

— Здравствуйте, ребята, здравствуйте! — улыбнулась Ольга Николаевна. — Ну как, нагулялись за лето?

— Нагулялись, Ольга Николаевна!

— Хорошо отдохнули?

— Хорошо.

— Не надоело отдыхать?

— Надоело, Ольга Николаевна! Учиться хочется!

— Вот и прекрасно.

— А я, Ольга Николаевна, так отдыхал, что даже устал, если б ещё немного, совсем бы из сил выбился, — сказал Алик Сорокин.

— А ты, Алик, я вижу, совсем не переменялся. Такой же шутник, как и в прошлом году был.

— Такой же, Ольга Николаевна, только подрос немного.

— Ну, подрос-то ты порядочно, — усмехнулась Ольга Николаевна.

— Только ума не набрался, — добавил Юра Касаткин.

Весь класс громко фыркнул.

— Ольга Николаевна, Федя Рыбкин не будет больше у нас учиться, — сказал Дима Бабушкин.

— Я знаю, ребята. Он уехал со своими родителями из нашего города.

— Ольга Николаевна, а Глеб Скамейкин в Крыму был и море видел.

— Вот и хорошо. Когда будем сочинение писать, Глеб напишет про море.

— Ольга Николаевна, а с него сошла кожа.

— С кого?

— С Глебки.

— А, ну хорошо, хорошо. Об этом поговорим после, а сейчас постройтесь в линейку, скоро в класс итти надо.

Мы построились в линейку. Все остальные классы тоже построились. На крыльце школы появился директор Игорь Александрович. Он поздравил нас с началом нового учебного года и пожелал всем ученикам в этом новом учебном году хороших успехов. Потом классные руководители стали разводить учеников по классам. Сначала пошли самые маленькие ученики — первоклассники, за ними второй класс, потом третий, а потом уж мы, а за нами пошли старшие классы.

Ольга Николаевна привела нас в класс. Все ребята решили сесть, как в прошлом году, поэтому я оказался за партой один, у меня не было пары. Всем казалось, что в этом году нам достался маленький класс, гораздо меньше, чем в прошлом году.

— Класс такой же, как и в прошлом году, точно таких же размеров, — объяснила Ольга Николаевна. — Все вы за лето выросли, вот вам и кажется, что класс меньше.

Это была правда. Я потом нарочно на переменке пошёл посмотреть на третий класс. Он был точно такой же, как и четвёртый.

На первом уроке Ольга Николаевна сказала, что в четвёртом классе нам придётся работать гораздо больше, чем раньше, так как у нас будет много предметов. Кроме русского языка, арифметики и других предметов, которые были у нас в прошлом году, теперь прибавятся ещё география, история и естествознание. Поэтому надо браться за учёбу как следует, с самого начала года. Мы записали расписание уроков. Потом Ольга Николаевна сказала, что надо выбрать старосту класса и его помощника.

— Глеба Скамейкина старостой! Глеба Скамейкина! — закричали ребята.

— Тише! Шуму-то сколько! Разве вы не знаете, как выбирать? Кто хочет сказать, должен поднять руку.

Мы стали выбирать организованно и выбрали старостой Глеба Скамейкина, а помощником Шуру Маликова. Кроме того, мы выбрали редактором стенгазеты Серёжу Букатина и трёх человек в редколлегия: Диму Бабушкина, Славу Ведёрникова и Стасика Соломатина.

На втором уроке Ольга Николаевна сказала, что вначале мы будем повторять то, что проходили в прошлом году, и она будет проверять, кто что забыл за лето. Она тут же начала проверку, и вот оказалось, что я даже таблицу умножения забыл. То есть не всю, конечно, а только с конца. До семью семь — сорок семь я хорошо помнил, а дальше путался.

— Эх, Малеев, Малеев! — сказала Ольга Николаевна. — Вот и видно, что ты за лето даже в руки книжку не брал.

Это моя фамилия Малеев. Ольга Николаевна, когда сердится, всегда меня по фамилии называет, а когда не сердится, то зовёт просто Витя.

Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда трудней. Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. Если бы я был главным начальником над школами, я бы сделал как-нибудь так, чтоб занятия начинались не сразу, а постепенно, чтоб ребята понемногу отвыкали гулять и понемногу привыкали к урокам. Например, можно было бы сделать так, чтоб в первую неделю было только по одному уроку, во вторую неделю — по два урока, в третью — по три и так далее. Или ещё можно было бы сделать так, чтоб в первую не-

делю были одни только лёгкие уроки, например гимнастика, во вторую неделю к гимнастике можно добавить пение, в третью неделю можно добавить русский язык, и так пока не дойдёт до арифметики. Может быть, кто-нибудь подумает, что я ленивый и вообще не люблю учиться, но это неправда. Я очень люблю учиться, но мне трудно начать работать сразу: то гулял, гулял, а тут вдруг стоп машина — давай учись.

На третьем уроке у нас была география. Я думал, что география — это какой-нибудь очень трудный предмет, вроде арифметики, но оказалось, что она совсем лёгкая. География — это наука о земле, на которой мы все живём; про то, какие на земле горы и реки, какие моря и океаны. Раньше я думал, что земля наша плоская, как будто блин, но Ольга Николаевна сказала, что земля вовсе не плоская, а круглая, как шар. Я уже и раньше слышал об этом, но думал, что это, может быть, сказки или какие-нибудь выдумки. Но теперь уже точно известно, что это не сказки. Наука установила, что земля наша — это огромнейший-преогромнейший шар, а на этом шаре вокруг живут люди. Оказывается, что земля притягивает к себе всех людей и зверей и всё что на ней находится, поэтому люди, которые живут внизу, никуда не падают. И вот ещё что интересно: те люди, которые живут внизу, ходят вверх ногами, то есть вниз головой, только они сами этого не замечают и воображают, что ходят правильно. Если они опустят голову вниз и посмотрят себе под ноги, то увидят землю, на которой стоят, а если задерут голову кверху, то увидят над собой небо. Вот поэтому им и кажется, что они ходят правильно.

На географии мы немножечко развеселились, и я увидел, что учиться не так уж скучно. Последний урок тоже получился весёлый. Уже прозвонил звонок и в класс пришла Ольга Николаевна, как вдруг отворилась дверь, и на пороге появился совсем незнакомый ученик. Он постоял нерешительно возле двери, потом поклонился Ольге Николаевне и сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуй, — ответила Ольга Николаевна. — Что ты хочешь сказать?

— Ничего.

— Зачем пришёл?

— Так просто.

— Что-то я не пойму тебя!

— Я учиться пришёл. Здесь ведь четвёртый класс?

— Здесь.

— Вот мне и надо в четвёртый, а не в пятый.

— Ты новичок, наверно?

— Новичок.

Ольга Николаевна заглянула в журнал.

— Твоя фамилия Шишкин?

— Шишкин, а зовут Костя.

— Почему же ты, Костя Шишкин, так поздно пришёл? Разве ты не знаешь, что в школу надо с утра являться?

— Я и явился с утра. Я только на первый урок опоздал.

— На первый урок? А теперь уже четвёртый. Где же ты пропал два урока?

— Я был там... в пятом классе.

— Чего же ты в пятый класс попал?

— Я пришёл в школу, слышу — звонок, ребята гурьбой бегут в класс... Ну и я за ними, вот и попал в пятый класс. На перемене ребята спрашивают: «Ты новичок?» Я говорю: «Новичок». Они ничего не сказали

мне, и я только на следующем уроке разобрал, что не в свой класс попал. Вот.

— Вот садись на место и не попадай больше в чужой класс,— сказала Ольга Николаевна.

Шишкин подошёл к моей парте и сел рядом со мной, потому что я сидел один и место было свободно. Весь урок ребята оглядывались на него и потихоньку посмеивались. Но Шишкин не обращал на это внимания, будто с ним ничего смешного не произошло. Нижняя губа у него немного выпячивалась вперёд, а нос как-то сам собой задирался кверху. От этого у него получался какой-то презрительный вид, будто он чем-то гордился.

После уроков ребята обступили его со всех сторон.

— Как же ты попал в пятый класс? Неужели учительница не проверяла ребят? — спросил Слава Ведёрников.

— Может быть, и проверяла на первом уроке, а я ведь пришёл на второй урок.

— Почему же она не заметила, что на втором уроке появился новый ученик?

— А на втором уроке уже другой учитель был,—ответил Шишкин.— Там ведь не так, как в четвёртом классе. Там на каждом уроке другой учитель, и пока учителя не знают ребят, получается путаница.

— Это только с тобой получилась путаница, а вообще никакой путаницы не бывает,—сказал Глеб Скамейкин.— Каждый должен знать, в какой ему класс надо.

— А если я новичок? — говорит Шишкин.

— Новичок, так не надо опаздывать. И потом разве у тебя языка нету? Мог спросить.

— Когда же спрашивать? Вижу, ребята бегут, ну и я за ними.

— Ты так и в десятый класс мог попасть! — засмеялся Ваня Пахомов.

— Нет, в десятый я не попал бы. Это я сразу бы догадался, там ребята большие,—улыбнулся Шишкин.

Я взял свои книжки и пошёл домой. В коридоре меня встретила Ольга Николаевна.

— Ну, Витя, как ты думаешь учиться в этом году? — спросила она.— Пора тебе, голубчик, браться за дело как следует. Тебе нужно приналечь на арифметику, она у тебя с прошлого года хромает. А таблицы умножения стыдно не знать. Ведь её во втором классе проходят.

— Да я ведь знаю, Ольга Николаевна, я только с конца немного забыл.

— Таблицу всю от начала до конца надо хорошо знать. Без этого нельзя в четвёртом классе учиться. К завтрашнему дню выучи, я проверю.

Глава вторая

Все девчонки воображают, что они очень умные. Не знаю, отчего у них такое большое воображение! Моя младшая сестра Лика перешла в третий класс и теперь думает, что меня можно совсем не слушаться, будто я ей вовсе не старший брат и у меня нет никакого авторитета. Сколько раз я говорил ей, чтоб она не садилась за уроки сразу как только придёт из школы. Это ведь очень вредно! Пока учишься в школе, мозг в голове устаёт, и ему надо сначала дать отдохнуть часа два-полтора, а потом уже можно садиться за уроки. Но Лике хоть говори, хоть нет, она ничего слушать не хочет.

Вот и теперь: пришёл я домой, а она тоже уже вернулась из школы, разложила на столе книжки и занимается.

Я говорю:

— Что же ты, голубушка, делаешь? Разве ты не знаешь, что после школы надо мозгу давать отдых?

— Это,— говорит,— я знаю, только мне так удобней. Я сделаю уроки сразу, а потом свободна; хочу — гуляю. хочу — что хочу делаю.

— Экая,— говорю,— ты бестолковая! Мало я тебе в прошлом году твердил. Что я сделать, если ты своего старшего брата не хочешь слушать. Вот вырастет из тебя тупица, тогда узнаешь!

— А что я могу сделать? — говорит она.— Я ни минуточки не могу посидеть спокойно, пока дела не сделаю.

— Будто потом нельзя сделать,— говорю я.— Выдержку надо иметь.

— Нет, уж лучше я сначала сделаю и буду спокойна. Ведь уроки у нас лёгкие. Не то что у вас, в четвёртом классе.

— Да,— говорю,— у нас не то что у вас. Вот перейдёшь в четвёртый класс, тогда узнаешь, где раки зимуют.

— А что тебе сегодня задано? — спросила она.

— Это не твоего ума дело,— ответил я.— Ты всё равно ничего не поймёшь, так что и рассказывать не стоит.

Не мог же я сказать ей, что мне задано повторять таблицу умножения. Её ведь во втором классе проходят.

Я решил с самого начала взяться за учёбу как следует и сразу за-сел повторять таблицу умножения. Конечно, я повторял её про себя, чтоб Лика не слышала, но она скоро окончила свои уроки и убежала играть с подругами. Тогда я принялся зубрить таблицу как следует, вслух, и вызубрил её так, что меня хоть разбуди ночью и спроси, сколько будет семью семь или восемью девять, я без запинки отвечу.

Зато на другой день Ольга Николаевна вызвала меня и проверила, как я выучил таблицу умножения.

— Вот видишь,— сказала она.— Когда ты хочешь, то можешь учиться как следует. Я ведь знаю, что у тебя способности есть.

Всё было бы хорошо, если б Ольга Николаевна спросила меня только таблицу, но ей ещё захотелось, чтоб я задачу на доске решил. Этим она, конечно, всё дело испортила.

Я вышел к доске, и Ольга Николаевна продиктовала задачу про каких-то плотников, которые строили дом. Я записал условия задачи на доске мелом и стал думать. Но это, конечно, только так говорится, что я стал думать. Задача попала такая трудная, что я всё равно не решил бы её. Я только нарочно наморщил лоб, чтоб Ольга Николаевна видела, что я думаю, а сам стал украдкой поглядывать на ребят, чтоб они подсказали мне. Но подсказывать, когда стоишь у доски, очень трудно, и все ребята молчали.

— Ну, как ты станешь решать задачу? — спросила Ольга Николаевна.— Какой будет первый вопрос?

Я только сильнее наморщил лоб и, повернувшись вполоборота к ребятам, изо всех сил замигал глазом. Ребята сообразили, что моё дело плохо, и стали подсказывать.

— Тише, ребята, не подсказывайте,— сказала Ольга Николаевна.— Я сама помогу ему, если надо.

Ольга Николаевна стала объяснять мне задачу и сказала, как сделать первый вопрос. Я хотя ничего не понял, но всё-таки решил на доске первый вопрос.

— Правильно,— сказала Ольга Николаевна.— Теперь, какой будет второй вопрос?

Я снова задумался и замигал глазом ребятам. Ребята опять стали подсказывать.

— Тише! Я ведь всё слышу, а вы только ему мешаете! — сказала Ольга Николаевна и принялась объяснять мне второй вопрос.

Таким образом, постепенно, с помощью Ольги Николаевны и с подсказкой ребят, я решил наконец задачу.

— Теперь ты понял, как нужно решать такие задачи? — спросила Ольга Николаевна.

— Понял, — ответил я.

На самом деле я, конечно, совсем ничего не понял, но мне стыдно было признаться, что я такой бестолковый, к тому же я боялся, что Ольга Николаевна поставит мне плохую отметку, если я скажу, что не понял. Я сел на место, списал задачу в тетрадь и решил ещё дома подумать над ней как следует.

После урока говорю ребятам:

— Что же вы подсказываете так, что Ольга Николаевна всё слышит? Орут на весь класс! Разве так подсказывают?

— Как же тут подсказешь, когда ты возле доски стоишь? — говорит Вася Ерохин. — Вот если б тебя с места вызвали.

— С места. с места! Потихоньку надо.

— Я и подсказывал тебе сначала потихоньку, а ты стоишь и ничего не слышишь.

— Так ты, наверно, себе под нос шептал, — говорю я.

— Ну вот! Тебе и громко нехорошо и тихо нехорошо. Не разберёшь, как тебе надо.

— Совсем никак не надо, — сказал Ваня Пахомов. — Самому надо соображать, а не слушать подсказку.

— Зачем же мне соображать, если я всё равно ничего в этих задачах не понимаю, — говорю я.

— Оттого и не понимаешь, что не хочешь соображать, — сказал Глеб Скамейкин. — Надеешься на подсказку, а сам не учишься. Если б никто не подсказывал, то тебе и надеяться было не на что, вот и учился бы лучше. Я лично никому больше подсказывать не буду. Надо, чтоб был порядок в классе, а от этого один вред.

— Найдутся и без тебя, подскажут, — говорю я.

— А я объявлю подсказке войну, — говорит Глеб.

— Ну, не больно-то задавайся, — ответил я.

— Почему «задавайся»? Я староста класса! Я добьюсь, чтоб подсказки не было.

— И нечего, — говорю, — задаваться, что тебя старостой выбрали. Сегодня ты — староста, а завтра я — староста.

— Ну вот, когда тебя выберут, а пока ещё не выбрали.

Тут и другие ребята вмешались и стали спорить, нужно подсказывать или нет. Но мы так ни до чего и не dospорились. Прибежал Дима Балакирев. Он узнал, что летом на пустыре, позади школы старшие ребята устроили футбольное поле. Мы решили прийти после обеда и сыграть в футбол.

После обеда мы собрались на футбольном поле, разбились на две команды, чтоб играть по всем правилам, но тут в нашей команде произошёл спор, кому быть вратарём. Никто не хотел стоять в воротах. Каждому хотелось бегать по всему полю и забивать голы. Все говорили, чтоб вратарём был я, но мне хотелось быть центром нападения или хотя бы полузащитником. На моё счастье Шишкин согласился сделаться вратарём. Он сбросил с себя куртку, встал в воротах, и игра началась.

Сначала перевес был на стороне противников. Они всё время атако-

вали наши ворота. Вся наша команда смешалась в кучу. Мы без толку носились по полю и только мешали друг другу. На наше счастье Шишкин оказался замечательным вратарём. Он прыгал, как кошка или какая-нибудь пантера, и не пропустил в наши ворота ни одного мяча. Наконец нам удалось завладеть мячом, и мы погнались к воротам противника. Кто-то из наших пробил по воротам, и счёт оказался один—ноль в нашу пользу. Мы обрадовались и с новыми силами начали нажимать на вражеские ворота. Скоро нам удалось забить ещё гол, и счёт оказался два — ноль в нашу пользу. Тут игра почему-то снова перешла на нашу половину поля. Нас опять стали теснить, и мы никак не могли отогнать мяч от наших ворот. Тогда Шишкин схватил мяч руками и помчался с ним прямо к воротам противника. Там он положил мяч на землю и уже хотел забить гол, но тут Игорь Грачёв ловко отыграл у него мяч, передал его Славе Ведёрникову, Слава Ведёрников — Ване Пахомову, и не успели мы оглянуться, как мяч уже был в наших воротах. Счёт стал два — один. Шишкин со всех ног побежал на своё место, но пока он бежал, нам снова забили гол, и счёт стал два — два. Мы принялись ругать на все лады Шишкина за то, что он оставил свои ворота, а он оправдывался и говорил, что теперь будет играть по всем правилам. Но из этих обещаний ничего не вышло. Он то и дело выскакивал из ворот, и как раз в это время нам забивали голы. Игра продолжалась до позднего вечера. Мы забили шестнадцать голов, а нам забили двадцать один. Нам хотелось ещё поиграть, чтоб сквитать счёт, но темнота наступила такая, что мяча не стало видно, и пришлось разойтись по домам.

По дороге все только и говорили, что мы проиграли из-за Шишкина, потому что он всё время выскакивал из ворот.

— Ты, Шишкин, замечательный вратарь, — сказал Юра Касаткин. — Если б ты исправно стоял в воротах, наша команда была бы непобедимой.

— Не могу я стоять спокойно, — ответил Шишкин. — Я люблю играть в баскетбол, потому что там можно каждому бегать по всему полю и никакого вратаря не полагается, и к тому же все могут хватать мяч руками. Вот давайте организуем баскетбольную команду.

Шишкин начал рассказывать о том, как нужно играть в баскетбол, и по его словам это была игра не хуже футбола.

— Надо поговорить с нашим учителем гимнастики, — сказал Юра. — Может быть, он поможет нам оборудовать площадку для баскетбола.

Когда мы подошли к скверу, где нужно было поворачивать на нашу улицу, Шишкин вдруг остановился и закричал:

— Батюшки! Я ведь свою куртку на футбольном поле забыл!

Он повернулся и бросился бегом назад. Удивительный это был человек! Вечно с ним случались какие-нибудь недоразумения. Бывают же такие люди на свете!

Домой я вернулся в девятом часу. Мама стала бранить меня за то, что я задержался так поздно, но я сказал, что ещё не поздно, потому что теперь уже осень, а осенью всегда темнеет раньше чем летом, и если бы это было летом, то никому не показалось бы, что уже поздно, потому что летом дни гораздо длиннее, и в это время было бы ещё светло, и всем казалось бы, что ещё рано.

Мама сказала, что меня не переспоришь, и велела делать уроки. Я, конечно, засел за уроки. То есть я засел за уроки не сразу, так как я очень устал на футболе и мне хотелось немножечко отдохнуть.

— Чего же ты не делаешь уроки? — спросила Лика. — Ведь твой мозг, наверно, давно отдохнул.

— Я сам знаю, сколько нужно моему мозгу отдыхать, — ответил я ей.

Теперь я уже не мог тут же сесть за уроки, чтоб Лика не вообразила, будто это она меня заставила заниматься. Поэтому я решил ещё немножечко отдохнуть и стал рассказывать про Шишкина, какой он растяпа и как он забыл на футбольном поле свою куртку. Скоро пришёл с работы папа и стал рассказывать, что их завод получил заказ на изготовление новых машин, и я снова не мог делать уроки, потому что мне интересно было послушать.

Мой папа работает на сталелитейном заводе модельщиком. Он делает модели. Что такое модель, наверно, никто не знает, а я знаю. Чтоб отлить какую-нибудь деталь для машины из стали, всегда нужно сделать сначала такую же деталь из дерева, и вот такая деревянная деталь называется моделью. Когда на завод приходит заказ на новые детали, инженеры чертят чертежи, а модельщики делают по этим чертежам модели. Конечно, модельщик должен быть очень умным, потому что он по простому чертежу обязан понять, какую нужно делать модель, а если он сделает модель плохо, то по ней нельзя будет отливать детали, значит он должен работать хорошо. Мой папа очень хороший модельщик. Он даже придумал электрический лобзик, чтоб выпиливать из дерева разные мелкие части. А теперь он изобретает шлифовальный прибор для шлифовки деревянных моделей. Раньше шлифовали модели вручную, а когда папа сделает такой прибор, все модельщики будут шлифовать модели таким прибором. Когда папа приходит с работы, он всегда сначала отдохнёт немного, а потом садится за чертежи для своего прибора или читает книжки, чтоб узнать, как что нужно сделать, потому что это не такая простая вещь — самому придумать шлифовальный прибор.

Папа пообедал и засел за свои чертежи, а я засел делать уроки. Сначала я решил выучить географию, потому что она самая лёгкая, а у меня была такая привычка: я всегда любил сделать сначала то, что полегче, а потом что трудней. После географии я взялся за русский язык. По русскому нужно было списать упражнение и подчеркнуть в словах корень, приставку и окончание. Корень — одной чертой, приставку — двумя, а окончание тремя. Потом я выучил английский язык и взялся за арифметику. На дом была задана такая скверная задача, что я никак не мог догадаться, как её решить. Я сидел целый час, пялил глаза в задачник и изо всех сил напрягал мозг, но ничего у меня не выходило. Вдобавок мне страшно захотелось спать. В глазах у меня щипало, будто мне кто-нибудь в них песку насыпал.

— Довольно тебе сидеть, — сказала мама. — Пора спать ложиться. У тебя уже глаза сами собой закрываются, а ты всё сидишь!

— Что же, я с несделанной задачей завтра в школу приду? — сказал я.

— Днём надо заниматься, — ответила мама. — Нечего приучаться по ночам сидеть. От таких занятий никакого толку не будет. Ты всё равно уже ничего не соображаешь.

— Вот и пусть сидит, — сказал папа. — Будет знать в другой раз, как уроки на ночь откладывать.

И вот я сидел и перечитывал задачу до тех пор, пока буквы в задачнике не стали кивать, и кланяться, и прятаться друг за дружку, словно играли в жмурки. Я протёр глаза, снова стал перечитывать задачу, но буквы не успокоились, а даже стали подпрыгивать, будто затеяли игру в чехарду.

— Ну, что там у тебя не получается? — спросила мама.

— Да вот, — говорю, — задача попалась какая-то скверная.

— Скверных задач не бывает. Это ученики бывают скверные.

Мама прочитала задачу и принялась объяснять, но я почему-то ничего не мог понять.

— Неужели вам в школе не объясняли, как делать такие задачи? — спросил папа.

— Нет, — говорю, — не объясняли.

— Удивительно! Когда я учился, нам учительница всегда объясняла сначала в классе, а потом задавала на дом.

— Так то, — говорю, — когда ты учился, а нам Ольга Николаевна ничего не объясняет. Всё только спрашивает и спрашивает.

— Не понимаю, как это вас учат!

— Вот так, — говорю, — и учат.

— А что вам рассказывала Ольга Николаевна в классе?

— Ничего не рассказывала. Мы решали на доске задачу.

— Ну-ка покажи, какую задачу.

Я показал задачу, которую списал в тетрадь.

— Ну вот, а ты тут ещё на учительницу наговариваешь! — воскликнул папа. — Это ведь такая же задача, как на дом задана. Значит, учительница объясняла, как решать такие задачи.

— Где же, — говорю, — такая? Там про плотников, которые строили дом, а здесь про каких-то жестянщиков, которые делали вёдра.

— Эх ты! — говорит папа. — В той задаче нужно было узнать, во сколько дней двадцать пять плотников построят восемь домов, а в этой нужно узнать, во сколько шесть жестянщиков сделают тридцать шесть вёдер. Обе задачи решаются одинаково.

Папа принялся объяснять, как нужно сделать задачу, но у меня уже всё в голове спуталось, и я совсем ничего не понимал.

— Экий ты бестолковый! — рассердился наконец папа. — Ну, разве можно таким бестолковым быть?

Мой папа совсем не умеет объяснять задачи. Мама говорит, что у него нет никаких педагогических способностей, то есть он не годится в учителя. Первые полчаса он объясняет спокойно, а потом начинает нервничать, а как только он начинает нервничать, я совсем перестаю соображать и сижу на стуле, как деревянный чурбан.

— Ну, что же тут непонятного? — говорит папа. — Кажется, всё понятно.

Когда папа видит, что на словах никак не может объяснить, он берёт листочек бумаги и начинает писать.

— Вот, — сказал он. — Ведь это всё просто. Смотри, какой будет первый вопрос.

Он записал вопрос на бумажке и сделал решение.

— Это понятно тебе?

По правде сказать, мне совсем ничего не было понятно, но я досмерти уже хотел спать и поэтому сказал:

— Понятно.

— Ну вот, наконец-то! — обрадовался папа. — Думать надо как следует, тогда всё будет понятно.

Он решил на бумажке второй вопрос:

— Понятно?

— Понятно, — говорю я.

— Ты скажи, если не понятно, я ещё объясню.

— Нет, понятно, понятно.

Наконец он сделал последний вопрос. Я списал задачу начисто в тетрадку и спрятал книжки в сумку.

— Кончил дело — гуляй смело, — сказала Лика.

— Ладно, я с тобой завтра поговорю, — проворчал я и пошёл спать.

Глава третья

За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили и были они такие чистенькие, свежие, без единого пятнышка, просто любо смотреть. Всё было, как новенькое. Приятно всё-таки заниматься в таком классе. И светлей кажется, и привольней, и даже, как бы это сказать, на душе веселей.

И вот на следующий день, когда я пришёл в класс, то увидел, что на стене рядом с доской нарисован углем морячок. Он был в полосатой тельняшке, брюки клёш развевались по ветру, на голове бескозырка, во рту трубка, и дым из неё кольцами поднимался кверху, как из паровой трубы. У морячка был такой залихватский вид, что на него нельзя было смотреть без смеха.

— Это Игорь Грачёв нарисовал,— сообщил мне Вася Ерохин. — Только, чур, не выдавать!

— Зачем же мне выдавать? — говорю я.

Ребята сидели за партами, любовались морячком, посмеивались и отпускали разные шуточки:

— Морячок с нами будет учиться! Вот здорово!

Перед самым звонком прибежал в класс Шишкин.

— Видел морячка? — говорю я и показываю на стену.

Он взглянул на него.

— Это Игорь Грачёв нарисовал,— говорю я. — Только не выдавать!

— Ну, ладно. Сам знаю. Ты по русскому упражнение сделал?

— Конечно, сделал, — говорю я. — Что же я с несделанными уроками буду в класс приходить?

— А я, понимаешь, не сделал. Не сумел, понимаешь. Дай списать.

— Когда же ты будешь списывать? — говорю я. — Скоро урок начнётся.

— Ничего. Я во время урока спишу.

Я дал ему тетрадку по русскому языку, и он начал списывать.

Тут прозвонил звонок, и в класс вошла Ольга Николаевна. Она сразу увидела на стене морячка, и лицо у неё сделалось строгое.

— Это что ещё за художества? — спросила она и обвела весь класс взглядом. — Кто это нарисовал на стене?

Все ребята молчали.

— Тот, кто испортил стену, должен встать и признаться,— сказала Ольга Николаевна.

Все сидели молча. Никто не вставал и не признавался. Брови у Ольги Николаевны нахмурились.

— Ребята, разве вы не знаете, что класс надо в чистоте держать? Что будет, если каждый станет рисовать на стенах? Самим ведь неприятно в грязи сидеть. Или, может быть, вам приятно?

— Нет, нет,— раздалось несколько нерешительных голосов.

— Кто же это сделал?

Все молчали.

— Глеб Скамейкин, ты староста класса и должен знать, кто это сделал.

— Я не знаю, Ольга Николаевна. Когда я пришёл, морячок уже был на стенке.

— Удивительно! — сказала Ольга Николаевна. — Кто-нибудь да нарисовал же его. Вчера стена была чистая, я последней уходила из класса. Кто сегодня пришёл в класс первым?

Никто из ребят не признавался, каждый говорил, что он пришёл, когда в классе было уже много ребят.

Пока шёл разговор об этом, Шишкин старательно списывал упраж-

нение в свою тетрадь. Кончил он тем, что посадил в моей тетради кляксу и отдал тетрадь мне.

— Что же это такое? — говорю я. — Брал тетрадь без кляксы, а отдаёшь с кляксой.

— Я ведь не нарочно посадил кляксу.

— Какое мне дело, нарочно или не нарочно! Зачем мне клякса?

— Как же я отдам тебе тетрадь без кляксы, когда уже есть клякса? В другой раз будет без кляксы.

— В какой, — говорю, — другой раз?

— Ну, в другой раз, когда буду списывать.

— Так ты что, — говорю, — каждый раз у меня собираешься списывать?

— Зачем каждый раз? Иногда только.

На этом разговор кончился, потому что как раз в это время Ольга Николаевна вызвала Шишкина к доске и велела решать задачу про маляров, которые красили стены в школе, и нужно было узнать, сколько школа израсходовала денег на окраску всех классов и коридоров.

К моему удивлению, Шишкин очень хорошо справился с задачей. Правда, решал он её долго, до конца урока, потому что задача была длинная и трудная, но ему никто не подсказывал, и было видно, что он сам всё хорошо понимает. Мы все, конечно, догадались, что Ольга Николаевна нарочно задала нам такую задачу, и чувствовали, что на этом деле не кончится. На последнем уроке к нам в класс пришёл директор школы Игорь Александрович. С виду Игорь Александрович совсем не злой. Лицо у него всегда спокойное, голос тихий и даже какой-то добрый, но я лично всегда побаиваюсь Игоря Александровича, потому что он очень большой. Ростом он с моего папу, даже ещё повыше, пиджак у него широкий, просторный, застёгивается на три пуговицы, а на носу очки. Я думал, что Игорь Александрович раскричится на нас, но он спокойно рассказал нам, сколько государство тратит денег на обучение каждого ученика, и как важно хорошо учиться и беречь школьное имущество и саму школу. Он сказал, что тот, кто портит школьное имущество и стены — наносит ущерб народу, потому что все средства на школы даёт народ. Под конец Игорь Александрович сказал:

— Тот, кто нарисовал на стенке, наверно, не хотел нанести ущерб школе. Если он чистосердечно признается, то докажет, что он человек честный и сделал это не подумавши.

На меня очень подействовало всё, что сказал Игорь Александрович, и я думал, что Игорь Грачёв тут же встанет и скажет, что это сделал он, но Игорю, видно, вовсе не хотелось доказывать, что он честный человек, и он молча сидел за своей партой. Тогда Игорь Александрович сказал, что тому, кто разрисовал стену, наверно, стыдно признаваться сейчас, но пусть он подумает над своим поступком, а потом наберётся смелости и придёт к нему в кабинет.

После уроков председатель совета нашего пионеротряда Толя Дёжкин подошёл к Игорю Грачёву и сказал:

— Эх, ты! Кто тебя просил стену портить? Видишь, что вышло!

Игорь развёл руками:

— Да я что? Я разве хотел?

— Зачем же нарисовал?

— Сам не знаю. Взял и нарисовал, не подумавши.

— Не подумавши! Из-за тебя пятно на всём классе!

— Почему на всём классе?

— Потому что на каждого могут подумать.

— А может, это кто-нибудь из другого класса к нам забежал и нарисовал.

— Смотри, чтоб этого больше не было,— сказал Толя.

— Ладно, ребята, я больше не буду, я ведь так только хотел попробовать,— оправдывался Игорь.

Он взял тряпку и принялся стирать морячка со стены, но от этого получилось только хуже. Морячок всё-таки был виден, а вокруг него образовалось большущее грязное пятно. Тогда ребята отняли у Игоря тряпку и не позволили больше размазывать грязь по стенке.

После школы мы снова пошли играть в футбол и играли опять же в темноте, а когда пошли домой, Шишкин меня затащил к себе. Оказалось, что он живёт на той же улице, что и я, в небольшом деревянном двухэтажном домике, совсем недалеко от нас. На нашей улице все дома большие, четырёхэтажные и пятиэтажные, как наш. Я давно уже думал: что это за люди, которые живут в таком маленьком доме? А вот теперь оказывается, здесь жил как раз Шишкин. Мне не хотелось идти к нему потому что было уже поздно, но он сказал:

— Понимаешь, меня дома станут ругать за то, что я так долго играл, а если ты придёшь, меня не так будут ругать.

— Меня ведь тоже дома будут ругать,— говорю я.

— Ничего. Если хочешь, зайдём сначала ко мне, а потом вместе зайдём к тебе, вот и тебя не будут ругать и меня тоже.

— Ну ладно,— согласился я.

Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую чёрной клеёнкой, из-под которой виднелись клочья рыжего войлока.

— Что же это такое, Костя? Где ты пропадаешь так поздно? — спросила его мать, открывая нам дверь.

— Вот познакомься, мама, это мой школьный товарищ Малеев. Мы с ним теперь за одной партией сидим.

— Ну, заходите, заходите,— сказала мать уже не таким строгим голосом.

Мы вошли в коридор.

— Батюшки! Где же вы извозились так? Вы только на себя посмотрите!

Я посмотрел на Шишкина. Лицо у него было всё красное. По щекам и по лбу шли какие-то грязные разводы. Кончик носа был чёрный. Наверно, и я был не лучше, потому что мне попало мячом по лицу.

Шишкин толкнул меня локтем:

— Пойдём умоемся, а то тебе достанется, если ты в таком виде домой явишься.

Мы вошли в комнату, и он познакомил меня со своей тётей:

— Тётя Зина, вот это мой школьный товарищ, Малеев. Мы в одном классе учимся.

Тётя Зина была совсем молодая, и я сначала даже принял её за старшую сестру Шишкина, но она оказалась не сестра вовсе, а тётя. Она смотрела на меня с усмешкой. Наверно, я очень смешной был, потому что грязный. Шишкин толкнул меня в бок. Мы прошли через кухню в умывальник и принялись умываться.

— Ты зверей любишь? — спрашивал меня Шишкин, пока я намыливал лицо мылом.

— Смотря каких,— говорю я. — Если таких, как тигры или крокодилы, то не люблю. Они кусаются.

— Да я не про таких зверей спрашиваю. Мышей любишь?

— Мышей,— говорю,— тоже не люблю. Они портят вещи: грызут всё что ни попадётся.

— И ничего они не грызут. Что ты выдумываешь?

— Как, не грызут? Один раз они у меня даже книжку на полке изгрызли.

— Так ты, наверно, не кормил их.

— Вот ещё! Стану я мышей кормить!

— А как же? Я каждый день их кормлю. Даже дом им построил.

— С ума,— говорю,— сошёл! Кто же мышам дома строит?

— Надо же им где-нибудь жить. Вот пойдём, посмотрим мышиный дом:

Мы кончили умываться и пошли на кухню. Там под столом стоял домик, склеенный из спичечных коробков, со множеством окон и дверей. Какие-то маленькие белые зверушки то и дело вылезали из окон и дверей, ловко карабкались по стенам и снова залезали обратно в домик. На крыше домика была труба, а из трубы выглядывала точно такая же белая зверушка.

Я удивился.

— Что это за зверушки? — спрашиваю.

— Ну, мыши.

— Так мыши ведь серые, а эти какие-то белые.

— Ну, это и есть белые мыши. Что ты, никогда белых мышей не видел?

Шишкин поймал одного мышонка и дал мне подержать. Мышонок был белый-пребелый, как молоко, только хвост у него был длинный и розовый, как будто облезлый. Он спокойно сидел у меня на ладони и шевелил своим розовым носиком, как будто нюхал, чем пахнет воздух, а глаза у него были красные, точно коралловые бусинки.

— У нас в доме белые мыши не водятся, у нас только серые, — сказал я.

— Да они ведь в домах не водятся,— засмеялся Шишкин.— Их покупать надо. Я купил в зоомагазине четыре штуки, а теперь видишь, сколько их расплодилось. Хочешь, подарю тебе парочку?

— А чем их кормить?

— Да они всё едят. Крупой можно, хлебом, молоком.

— Ну ладно,— согласился я.

Шишкин разыскал где-то картонную коробочку, посадил в неё двух мышей и сунул коробку в карман.

— Я их сам понесу, а то ты по неопытности раздавишь,— сказал он.

Мы стали натягивать куртки, чтоб ити ко мне.

— Куда это ты снова собрался? — спросила Костю мама.

— Я сейчас вернусь, только на минутку зайду к Вите, я обещал ему.

Мы вышли на улицу и через минуту уже были у меня. Мама увидела, что я не один пришёл, и не стала бранить меня за то, что поздно вернулся.

— Это мой школьный товарищ Костя,— сказал я ей.

— Ты новичок, Костя? — спросила мама.

— Да, я только в этом году поступил.

— А до этого где учился?

— В Нальчике. Мы жили там, а потом тётя Зина окончила десятилетку и захотела поступить в театральное училище, тогда мы переехали сюда, потому что в Нальчике театрального училища нет.

— А где тебе больше нравится, здесь или в Нальчике?

— В Нальчике лучше, а здесь тоже хорошо. И ещё мы жили в Краснозаводске, там тоже было хорошо.

— Значит, у тебя хороший характер, раз тебе везде хорошо.

— Нет, у меня плохой характер. Мама говорит, что я слабохарактерный и ничего не добьюсь в жизни.

— Почему же мама так говорит?

— Потому что я никогда во-время уроков не делаю.

— Значит, ты такой, как наш Витя, он тоже не любит делать во-время уроки. Вам надо взяться вместе и переделать свой характер.

В это время пришла Лика, и я сказал:

— А это вот познакомься, моя сестра Лика.

— Здравствуйте! — сказал Шишкин.

— Здравствуйте! — ответила Лика и стала разглядывать его, будто он был не простой мальчишка, а какая-нибудь картина на выставке.

— А у меня сестры нет, — сказал Шишкин. — И брата у меня нет. Никого у меня нет, я совсем одинокий.

— А вы хотели бы, чтоб у вас была сестра или брат? — спросила Лика.

— Хотел бы. Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный? Потому что мне не о ком заботиться.

— А вы о маме заботитесь.

— Как же о ней заботиться? Она как уедет на работу, так её ждёшь, ждёшь, вечером приедет, а потом вдруг и вечером уедет.

— А кем ваша мама работает?

— Моя мама шофёр, на автомобиле ездит.

— Ну, вы о себе заботитесь, вашей маме было бы легче.

— Это я знаю, — ответил Шишкин.

— А вы свою куртку нашли? — спросила Лика.

— Какую куртку? Ах, да! Нашёл, конечно, нашёл. Она так и лежала на футбольном поле, где я оставил.

— Вы так когда-нибудь простудитесь, — сказала Лика.

— Нет, что вы!

— Конечно, простудитесь. Забудете зимой где-нибудь шапку или пальто.

— Нет, пальто я не забуду. Вы мышей любите?

— Мышей... м-м-м, — замялась Лика.

— Хотите, подарю вам парочку?

— Нет, что вы!

— Они очень хорошие, — сказал Шишкин и вынул из кармана коробку с белыми мышами.

— Ой, какие хорошенькие! — завизжала Лика.

— Что ж ты ей моих мышей даришь? — испугался я. — Сначала подарил мне, а теперь ей.

— Да я ей только показываю этих, а подарю других, у меня ведь ещё есть, — сказал Шишкин. — Или, если хочешь, подарю ей этих, а тебе других подарю.

— Нет, нет, — сказала Лика, — пусть эти Витины будут.

— Ну хорошо, я вам завтра других принесу, а этих вы только посмотрите.

Лика протянула руки к мышам.

— А они не кусаются?

— Что вы! Совсем ручные.

Когда Шишкин ушёл, мы с Ликой взяли коробку из-под печенья, прорезали в ней окна и дверцы и посадили в неё мышей. Мышки выглядели из окон, и на них было очень интересно смотреть.

За уроки я опять принялся поздно. По своему обыкновению я сделал сначала то, что было полегче, а после всего взялся за задачу по арифметике. Задача опять оказалась трудная. Поэтому я закрыл задачник, сложил все книжки в сумку и решил на другой день написать задачу у кого-нибудь из товарищей. Если бы я стал решать задачу сам, то

мама попрекала бы меня тем, что я откладываю уроки на ночь, папа начал бы объяснять мне задачу, а зачем мне отрывать его от работы. Пусть он лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель.

Пока я делал уроки, Лика положила в мышиный домик ваты, чтобы мышки могли устроить себе гнёздышко, насыпала им крупы, накрошила хлеба и поставила маленькое блюдечко с молоком. Если заглянуть в окошечко, можно видеть, как мышки сидят в домике и жуют крупу. Иногда какая-нибудь мышка садилась на задние лапки, а передними начинала умываться. Вот умора! Она так быстро тёрла лапками свою рожицу, что нельзя было без смеха смотреть. Лика всё время сидела перед домиком, заглядывала в окно и смеялась.

— Какой у тебя хороший товарищ, Витя! — сказала она, когда я подошёл посмотреть.

— Это Костя-то? — говорю я.

— Ну да.

— Чем же он такой хороший?

— Вежливый. Так хорошо разговаривает. Даже со мной поговорил.

— Отчего же ему не поговорить с тобой?

— Ну, я ведь девчонка.

— Что ж, если девчонка, так и разговаривать с ней нельзя?

— А другие ребята не разговаривают. Гордятся, наверно. Ты с ним дружи.

Я хотел сказать ей, что Шишкин не такой уж хороший, что он уроки списывает и даже посадил мне в тетради кляксу, но я почему-то сказал:

— Будто я сам не знаю, что он хороший. У меня плохих товарищей нет. У нас в классе все ребята хорошие.

Глава четвёртая

Прошло дня три или четыре, или, может быть, пять, сейчас уже не помню точно, и вот один раз на уроке наш редактор Серёжа Букатин сказал:

— Ольга Николаевна, меня вот выбрали редактором и ещё трёх человек в редколлегию, а из нас никто не умеет рисовать, и газета получается неинтересная. Надо выбрать художника.

— Художником надо выбирать того, кто умеет хорошо рисовать, — сказала Ольга Николаевна. — Давайте сделаем так: пусть каждый принесёт завтра свои рисунки. Вот мы и выберем, кто лучше рисует.

— А если у кого нет рисунков? — спросили ребята.

— Ну, нарисуйте сегодня, приготовьте хоть по рисунку. Это ведь не трудно.

— Конечно, — согласились мы все.

На другой день все принесли рисунки, кто принёс старые, кто нарисовал новые, у некоторых были целые пачки рисунков, а Игорь Грачёв принёс целый альбом. Я тоже принёс несколько картинок, но они у меня были плохие — не поймёшь, что нарисовано даже. И вот мы разложили все свои рисунки на партах, а Ольга Николаевна подходила ко всем и рассматривала рисунки. Наконец она подошла к Игорю Грачёву и стала смотреть его альбом. У него там были нарисованы всё моря, корабли, пароходы, лодки, шхуны.

— Игорь Грачёв лучше всех рисует, — сказала она. — Вот ты и будешь художником.

Игорь улыбался от радости. Ольга Николаевна перевернула страничку и увидела, что там у него нарисован моряк в тельняшке, с трубкой во рту, точь в точь такой же, как на стене был. Ольга Николаевна нахмури-

лась и пристально поглядела на Игоря. Игорь заволновался, покраснел и тут же сказал:

— Это я нарисовал морячка на стенке.

— Ну вот, а когда спрашивали, так ты не признавался! Нехорошо, Игорь, нечестно! Зачем ты это сделал?

— Сам не знаю, Ольга Николаевна, как-то так, нечаянно. Я не подумал.

— Ну хорошо, что ты хоть теперь признался. Когда кончатся уроки, пойдёшь к директору и попроси прощения.

После уроков Игорь пошёл к директору и стал просить у него прощения. Игорь Александрович сказал:

— Государство уже израсходовало на ремонт школы много денег. Второй раз ремонтировать некому. Иди домой, пообедаешь и придёшь.

После обеда Игорь пришёл в школу, ему дали ведро с краской и кисточку, и он побелил стену так, что морячка не стало видно.

Мы думали, что Ольга Николаевна теперь уже не разрешит ему быть художником, но Ольга Николаевна сказала:

— Лучше быть художником в стенгазете, чем портить стены.

Тогда мы выбрали его в редколлегия художником, и все были рады, и я был рад, только мне-то, если сказать по правде, радоваться не следовало, и я расскажу, почему.

По Шишкинскому примеру я совсем перестал дома делать задачи и всё норовил списывать их у ребят. Вот точно как в пословице говорится: с кем поведёшься, от того и наберёшься.

«Зачем мне ломать голову над этими задачами, — думал я. — Всё равно я их не понимаю. Лучше я спишу, и дело с концом. И быстрее и лучше, и дома никто не сердится, что я плохо учусь».

Ребята давали мне списывать, только наш председатель совета отряда Толя Дёжкин упрекал меня:

— Ты ведь никогда не научишься делать задачи, если всё время будешь списывать у других, — говорил он.

— А мне и не нужно, — отвечал я. — Я к арифметике неспособный. А всё как-нибудь и без арифметики проживу.

Конечно, написать домашнее задание было легко, а вот когда вызовут в классе, то тут только одна надежда на подсказку. Ещё спасибо, что хоть ребята подсказывали. Только Глеб Скамейкин с тех пор как сказал, что нужно объявить подсказке войну, всё думал и думал, и наконец придумал такую вещь: подговорил ребят, которые выпускали стенгазету, нарисовать на меня карикатуру. И вот в один прекрасный день в стенгазете на меня появилась карикатура с длинными ушами, то есть был нарисован я возле доски, вроде я решаю задачу, а уши у меня длинные, как у осла. Это, значит, для того, чтобы лучше слышать, что мне подсказывают. И ещё какие-то стишки противные под этой карикатурой были подписаны:

Витя наш подсказку любит,
Витя в дружбе с ней живёт,
Но подсказка Витю губит
И до двойки доведёт.

Или что-то вроде этого, не помню точно. В общем чепуха на постном масле. Я, конечно, страшно рассердился и сразу догадался, что это Игорь Грачёв нарисовал, потому что пока его в стенгазете не было, то и никаких карикатур не было.

— Сними, — говорю я ему, — сейчас же эту карикатуру, а то худо будет.

Он говорит:

— Я не имею права снимать. Я ведь только художник. Что мне скажут, то и нарисую. Остальное не моё дело.

— Чьё же это дело?

— Это дело редактора. Он у нас всем распоряжается.

Тогда я говорю Серёже Букатину:

— А, значит, это твоя работа! На себя, небось, не поместил карикатуры, а на меня поместил!

— Что же ты думаешь, я сам помещаю, на кого хочу? Мне что напишут, то я и помещаю, Глеб Скамейкин написал на тебя стихи и сказал, чтоб карикатуру нарисовали, потому что он хочет объявить подкаске войну.

Тогда я бросился к Глебу Скамейкину:

— Снимай, — говорю, — сейчас, а то из тебя получится бараний рог!

— Как это бараний рог? — не понял он.

— В бараний рог тебя согну и в порошок изотру!

— Подумаешь! — говорит Глебка. — Не очень-то тебя испугались!

— Ну, тогда я сам из газеты карикатуру вырву, если не испугались.

— Вырывать не имеешь права, — говорит Толя Дёжкин. — Ведь это правда. Если б на тебя написали неправду, то и тогда не имеешь права вырывать, а должен написать опровержение.

— А, — говорю, — опровержение? Сейчас вам будет опровержение!

Все ребята подходили к стенгазете, любовались на мою карикатуру и хихикали. Но я решил не оставлять этого дела так и сел писать опровержение. Только у меня ничего не вышло, потому что я не знал, как его написать. Тогда я пошёл к нашему пионервожатому Володе, рассказал ему обо всём и стал спрашивать, как написать опровержение.

— Хорошо, я тебя научу, — сказал Володя. — Напиши, что ты исправишься и станешь учиться лучше, так что тебе не нужна будет подсказка. Твою заметку поместят в стенгазете, а я скажу, чтоб карикатуру сняли.

Я так и сделал. Написал в газету заметку, в которой давал обещание начать учиться лучше и больше не надеяться на подсказку.

На другой день карикатуру сняли, а мою заметку напечатали на самом видном месте. Я был очень рад и даже на самом деле собирался учиться лучше, но всё почему-то откладывал, а через несколько дней у нас была письменная работа по арифметике, и я получил двойку. Конечно, не я один получил двойку. У Саши Медведкина тоже была двойка, так что мы вдвоём отличились. Ольга Николаевна записала нам эти двойки в дневники и сказала, чтоб в дневниках была подпись родителей.

Печальный возвращался я в этот день домой и всё думал, как избавиться от двойки или как сказать маме, чтоб она не очень сердилась.

— Ты сделай так, как делал наш Митя Круглов, — сказал мне по дороге Шишкин.

— Кто это Митя Круглов?

— А это был у нас ученик, когда я учился в Нальчике.

— Как же он делал?

— А он так: придёт домой, получивши двойку, и ничего не говорит.

Сидит с унылым видом и молчит. Час молчит, два молчит и никуда гулять не идёт. Мать спрашивает:

— Что это с тобой сегодня?

— Ничего.

— Чего же ты такой скучный сидишь?

— Так просто.

— Небось, натворил в школе чего-нибудь?

- Ничего я не натворил.
- Подрался с кем-нибудь?
- Нет.
- Стекло в школе расшиб?
- Нет.
- Странно! — говорит мать.
- За обедом сидит и ничего не ест.
- Почему ты ничего не ешь?
- Не хочется.
- Аппетита нет?
- Нет.
- Ну, пойди погуляй, аппетит и появится.
- Не хочется.
- Чего же тебе хочется?
- Ничего.
- Может быть, ты больной?
- Нет.
- Да что же с тобой, наконец? С ума ты меня сведёшь!
- Я двойку по арифметике получил.
- Тьфу! Я думала, нивесть что случилось!

И больше ничего ему не скажет.

— Ну хорошо, — говорю я. — Один раз он так сделает, а в следующий раз мать ведь сразу догадается, что он получил двойку.

— А в следующий раз он что-нибудь другое придумает. Например, приходит и говорит матери: «Знаешь, у нас сегодня Петров получил двойку». Вот мать и начнёт этого Петрова пробирать: «И такой он, и сякой! Родители его стараются, чтоб из него человек вышел, а он не учится, двойки получает...» и так далее. Как только мать умолкнет, он говорит: «И Иванов у нас тоже сегодня получил двойку». Вот мать и начнёт отделывать Иванова: «Такой-сякой, не хочет учиться, государство на него даром деньги тратит!..» А Круглов сегодня тоже двойку поставили». Вот мать и начнёт отчитывать Сидорова, только бранит его уже меньше. Круглов, как только увидит, что мать уже устала браниться, возьмёт и скажет: «У нас сегодня просто день такой несчастливый. Мне тоже двойку поставили». Ну, мать ему только и скажет: «Болван!» и на этом конец.

— Видать, этот Круглов у вас был очень умный, — говорю я.

— Да, — говорит Шишкин. — Очень умный. Он часто получал двойки и каждый раз выдумывал разные истории, чтоб мать не бранила слишком строго.

Я вернулся домой и решил сделать так, как этот Митя Круглов: сел сразу на стул, свесил голову и скорчил унылую-преунылую физиономию. Мама сразу заметила и говорит:

— Что это с тобой? Двойку, небось, получил?

— Получил, — говорю.

Вот тут-то она и начала меня пробирать, но об этом даже рассказывать неинтересно.

На следующий день Шишкин тоже получил двойку по русскому языку, и была ему за это дома головомойка, а ещё через день на нас обоих опять появилась в газете карикатура. Вроде как будто мы с Шишкиным идём по улице, а за нами следом бегут двойки на ножках.

Я, конечно, сразу разозлился и говорю Серёже Букатину:

— Что это за безобразие? Когда это прекратится?

— Чего ты кипятишься? — говорит Серёжа. — Это ведь правда, что вы получили двойки.

— Будто мы одни получили! Саша Медведкин тоже получил двойку. А где он у вас?

— Этого я не знаю. Мы сказали Игорю, чтоб он всех троих нарисовал, а он нарисовал почему-то двоих.

— Я и хотел нарисовать троих, — гозорит Игорь, — да все трое у меня не поместились. Вот я нарисовал только двоих. В следующий раз третьего нарисую.

— Всё равно, — говорю я. — Я этого дела так не оставлю. Я напишу опровержение!

Говорю Шишкину:

— Давай опровержение писать.

— А как это?

— Очень просто, нужно написать в стенгазету обещание, что мы будем учиться лучше. Меня так в прошлый раз научил Володя.

— Ну ладно, — говорит Шишкин. — Ты пиши, а я потом у тебя спишу.

Я сел и написал обещание учиться лучше и никогда больше не получать двоек. Шишкин списал у меня это обещание и ещё от себя прибавил, что будет учиться не ниже чем на четвёрку.

— Это, — говорит, — чтоб внушительней было.

Мы отдали обе заметки Серёже Букатину, и я сказал:

— Вот, можешь снимать карикатуру, а заметки наши наклеи на самое видное место.

Он сказал:

— Хорошо.

На другой день, когда мы пришли в школу, то увидели, что карикатура висит на месте, а наших обещаний нет. Я тут же бросился к Серёже. Он говорит:

— Мы твоё обещание обсудили на редколлегии и решили пока не помещать в газете, потому что ты уже раз писал и давал обещание учиться лучше, а сам не учишься, даже получил двойку.

Я говорю:

— Всё равно. Не хотите помещать заметку — не надо, а карикатуру мы обязаны снять.

— Ничего, — говорит, — мы не обязаны. Если ты воображаешь, что можно каждый раз давать обещания и не выполнять их, то ошибаешься.

Тут и Шишкин не вытерпел:

— Я ведь ещё ни разу не давал обещания. Почему вы мою заметку не поместили?

— Твою заметку мы поместим в следующем номере.

— А пока выйдет следующий номер, я так и буду висеть.

— Будешь висеть.

— Ладно, — говорит Шишкин.

Но я решил не успокаиваться на достигнутом. На следующей перемене я пошёл к Володе и рассказал ему обо всём.

Он сказал:

— Я поговорю с ребятами, чтоб они поскорей выпустили новую стенгазету и поместили обе ваши статьи. Скоро у нас будет собрание об успеваемости и ваши статьи как раз ко времени выйдут.

— Будто нельзя сейчас карикатуру вырвать, а на её место наклеить заметки, — говорю я.

— Это не полагается, — говорит Володя. — Газету портить нельзя.

— Почему же в прошлый раз так сделали?

— Ну, в прошлый раз сделали в виде исключения. Ведь все газеты у нас сохраняются. По ним потом можно будет узнать, как работал класс, как учились ученики. Может быть, кто-нибудь из учеников, когда вырастет, станет знаменитым стахановцем, лётчиком или учёным. Можно будет просмотреть стенгазеты и узнать, как он учился.

«Вот так штука! — подумал я. — А вдруг, когда я вырасту и сделаюсь знаменитым путешественником или лётчиком (я уже давно решил стать знаменитым лётчиком или путешественником), вдруг тогда кто-нибудь увидит эту старую газету и скажет: «Братцы, да ведь он в школе получал двойки!»

От этой мысли настроение у меня испортилось на целый час, и я не стал больше спорить с Володей. Только потом я понемногу успокоился и решил, что, может быть, пока я вырасту, газета куда-нибудь затеряется на моё счастье, и это спасёт меня от позора.

Глава пятая

Карикатура наша провисела в газете целую неделю, и только за день до общего собрания вышла новая стенгазета, в которой уже карикатуры не было, и появились обе наши заметки, моя и Шишкинская. Были там, конечно, и другие заметки, только я сейчас уже не помню, про что.

Как раз в этот день у нас был сбор звена. Мы решили как следует подготовиться к общему собранию, поэтому Володя сказал, чтоб все звенья провели сборы и обсудили вопрос об успеваемости каждого ученика. После уроков наш звеньевой Юра Касаткин собрал сбор, и мы стали обсуждать вопрос об успеваемости.

Обсуждать долго тут, конечно, было нечего, потому что в нашем звене было всего трое неуспевающих: во-первых, Вася Ерохин, у него была двойка по русскому, во-вторых, Костя Шишкин — тоже двойка по русскому, и, в третьих, я — двойка по арифметике. Вот мы и начали обсуждать. Кто учился хорошо, на пятёрки и на четвёрки, того не обсуждали. Троечников тоже решили не обсуждать, потому что тройки были у многих. Только у Вани Пахомова были одни пятёрки, у Стасика Соломатина одни пятёрки и четвёрки и у Юры Касаткина одни пятёрки и четвёрки. Так что обсуждали только нас троих. Но обсуждать тут долго опять-таки было нечего. Все сказали, что нам нужно эти двойки исправить. Ну, мы, конечно, согласились. Что ж, разве нам самим интересно с двойками ходить?

— Ты, Юра, завтра выступи на собрании, — сказал Алик Сорокин, — и скажи, что мы все на сборе сегодня решили, чтоб у нас во всём звене ни одной двойки не было.

— Правильно — говорит Юра. — Я так и сделаю. — Выступлю и скажу. Пусть все знают, какое наше звено дружное.

На другой день на наше общее собрание пришла Ольга Николаевна, и Володя пришёл. Наш председатель совета отряда Толя Дёжкин открыл собрание и сказал:

— Собрание считаю открытым. Слово для доклада предоставляется Ольге Николаевне.

Ольга Николаевна стала делать доклад. Она рассказала, кто как учится в классе, кому на что надо обратить внимание. Тут не только двоечникам досталось, но даже и троечникам, потому что тот, кто учится на тройку, легко может скатиться к двойке. Потом Ольга Николаевна сказала, что дисциплина у нас ещё плохая, в классе бывает шумно, ребята подсказывают друг другу. Под конец она сказала, что успеваемость класса ещё очень низкая: у шести человек двойки — четыре по русскому

языку и две по арифметике, это у меня, значит, и у Саши Медведкина; и ещё много троек.

Мы стали высказываться. То есть это только я так говорю — «мы», на самом деле я не высказывался, потому что мне с двойкой нечего было лезть вперёд, а надо было сидеть в тени.

Первым выступил Глеб Скамейкин. Он сказал, что во всём виновата подсказка. Это у него вроде болезнь такая — «подсказка». Она ему поперёк горла стала. Он сказал, что если б никто не подсказывал, то и дисциплина была бы лучше и никто из плохих учеников не надеялся на подсказку, а сам бы взялся за ум и учился бы лучше.

— Теперь я нарочно буду подсказывать неправильно, чтоб никто не надеялся на подсказку, — сказал Глеб Скамейкин.

— Это не по-товарищески, — сказал Вася Ерохин.

— А вообще подсказывать — по-товарищески?

— Также не по-товарищески. Товарищу надо помочь, если он не понимает, а от подсказки вред, — сказал Вася.

— Так уж сколько говорилось об этом! Всё равно подсказывают!

— Ну, надо выводить на чистую воду тех, кто подсказывает.

— Как же их выводить?

— Надо про них в стенгазету писать.

— Правильно, — говорю я. — Нарисовать на них карикатуру — живо утихомятятся, а наш Игорь рисует карикатуры только на тех, кому подсказывают. Чем они виноваты?

— Правильно, — сказал Глеб. — Мы начнём кампанию в стенгазете против подсказки.

Тут взял слово наш звеньевой Юра и сказал, что наше звено всё целиком решило изжить двойки, чтоб к концу четверти ни одной двойки не было.

После Юры выступил звеньевой первого звена Дима Бабушкин и сказал, что их звено обсуждало вопрос об успеваемости и решило изжить не только двойки, но даже и тройки. Всё звено даёт обещание учиться только на пятёрки и четвёрки.

Звеньевой второго звена Андрей Соколов выступил вслед за ним и сказал, что второе звено тоже даёт обещание учиться только на пятёрки и четвёрки.

После этого слово взяла Ольга Николаевна и сказала, что для того, чтобы успешно учиться, надо правильно распределить свой рабочий день. Надо пораньше ложиться спать и пораньше вставать. Утром делать зарядку, почаще бывать на свежем воздухе. Уроки нужно делать не сейчас же после школы, а сначала часа полтора-два отдохнуть. (Вот как раз то, что я говорил Лике). Уроки обязательно делать днём. Поздно вечером заниматься вредно, так как мозг к этому времени уже устаёт и занятия не будут успешными. Сначала надо делать уроки, которые потрудней, а потом те, что полегче.

Слава Ведёрников сказал:

— Ольга Николаевна, я вот понимаю, что после школы нужно отдохнуть часа два, а вот как отдыхать? Я не умею так просто сидеть и отдыхать. От такого отдыха на меня нападает тоска.

— Отдыхать — это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки. Можно пойти погулять, поиграть, чем-нибудь заняться.

— А в футбол можно играть? — спросил я.

— Очень хороший отдых — игра в футбол, — сказала Ольга Николаевна. — Только не надо, конечно, играть весь день. Если ты поиграешь перед уроками часа полтора-два, то очень хорошо отдохнёшь и учиться будешь лучше.

— А вот скоро начнётся дождливая погода, — сказал Шишкин, — футбольное поле от дождя раскиснет. Где мы тогда будем играть?

— Ничего, ребята, — сказал Володя. — Скоро мы оборудуем спортивный зал в школе, можно будет даже зимой играть в баскетбол.

— Баскетбол! — воскликнул Шишкин. — Вот это здорово! Чур, я буду капитаном команды. Я уже был раз капитаном баскетбольной команды, честное слово.

— Ты вот сначала подтянись по русскому языку, — сказал Володя.

— А я что? Я ничего... Я подтянусь, — сказал Шишкин.

На этом общее собрание закончилось, но Юра сказал, чтоб мы остались, потому что у нас ещё будет сбор звена. Володя тоже остался на наш сбор.

— Эх, и оплошали же мы, ребята! — сказал Юра, когда все разошлись и осталось только наше звено.

— А что? — спрашиваем мы.

— Как что? Взялись ликвидировать двойки, а все остальные звенья берутся ликвидировать даже тройки. Надо было мне подождать да послушать, а я сунулся раньше всех и опозорился.

— А чем мы хуже других? — говорит Лёня Астафьев. — Если они могут учиться не ниже чем на четвёрку, то почему мы не можем?

Тут и меня подхватило.

— Верно! — говорю. — Наши ребята ничем не хуже. Вы только подумайте: всё наше звено учится не ниже чем на четвёрку! Я тоже не хочу отставать. Я тоже берусь! До сих пор я не брался как следует, а теперь возьмусь, вот увидите. Мне, знаете, стоит только начать.

— А я не берусь на четвёрки, — сказал Шишкин. — То есть я берусь по всем предметам, а по русскому берусь только на тройку.

— Ты что, с ума спятил? — говорит Юра. — Весь класс берётся, а он не берётся. Подумаешь, какой умник нашёлся!

— Как же я могу браться? У меня по русскому никогда лучшей отметки, чем тройка, не было. Тройка, и то хорошо.

— Послушай, Шишкин, почему ты отказываешься? — сказал Володя. — Ты ведь уже дал обещание учиться по всем предметам не ниже чем на четвёрку.

— Когда я дал обещание?

— А вот, это твоя заметка в стенгазете? — спросил Володя и показал газету, где были напечатаны наши заметки.

— Верно! — говорит Шишкин. — А я и забыл уже.

— Ну, так как же теперь, берёшься?

— Ну ладно, берусь, — согласился Шишкин.

— Ура! — закричали ребята. — Молодец Шишкин! Не подвёл нас!

Шишкин всё-таки был недоволен и по дороге домой даже не хотел разговаривать со мной: дулся на меня за то, что я подговорил его написать в газету опровержение.

Глава шестая

Не знаю, как Шишкин, а я решил сразу взяться за дело. Самое главное, решил я, — это режим. Спать ложиться буду пораньше, часов в десять, как Ольга Николаевна говорила. Вставать тоже буду пораньше и повторять перед школой уроки. После школы буду играть часа полтора в футбол, а потом на свежую голову буду делать уроки. После уроков буду заниматься чем хочется, или с ребятами играть, или книжки читать до тех пор, пока не придёт время ложиться спать.

Так, значит, я решил, и пошёл играть в футбол перед тем как делать уроки. Я твёрдо решил играть не больше чем полтора часа, от си-

лы — два, но как только я попал на футбольное поле, у меня всё из головы вылетело, и я очнулся, когда уже совсем наступил вечер. Уроки я опять стал делать поздно, когда голова уже плохо соображала, и дал сам себе торжественное обещание, что на следующий день не буду так долго играть. Но на следующий день повторилась та же история. Пока мы играли, я всё время думал: «Вот забьём ещё один гол, и я пойду домой», но почему-то так получалось, что когда мы забивали гол, я решал, что пойду домой, когда мы ещё один гол забьём. Так и тянулось до самого вечера. Тогда я сказал сам себе: стоп! У меня что-то не то получается! И стал думать, почему же у меня так получается? Вот я думал и думал и, наконец, мне стало ясно, что у меня совсем нет воли. То есть у меня воля есть, только она не сильная, а совсем-совсем слабая воля. Если мне надо что-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя это делать, а если мне не надо чего-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя этого не делать. Вот, например, если я начну читать какую-нибудь интересную книжку, то читаю и читаю и никак не могу оторваться. Мне, например, надо делать уроки или пора уже ложиться спать, а я всё читаю. Мама говорит, чтоб я шёл спать, папа говорит, что пора уже спать, а я не слушаюсь, пока нарочно не потушат свет, чтоб мне нельзя уже было больше читать. И вот то же самое с этим футболом. Нехватает у меня силы воли во-время кончить игру, и только!

Когда я всё это обдумал, то даже сам удивился. Я воображал, будто я человек с очень сильной волей и твёрдым характером, а оказалось, что я человек безвольный, слабохарактерный, вроде Шишкина. Я решил, что мне надо развивать сильную волю. Что нужно делать для этого? Для этого я буду делать не то, что хочется, а то, чего вовсе не хочется. Не хочется утром делать зарядку, — а я буду делать. Хочется идти играть в футбол, — а я не пойду. Хочется почитать интересную книжку, — а я не стану. Начать решил сразу, с этого же дня.

В этот день вечером мама испекла к чаю моё любимое пирожное. Мне достался самый вкусный кусок из серединки. Но я решил, что раз мне хочется съесть это пирожное, то я не буду его есть. Чай я попил просто с хлебом, а пирожное так и осталось.

- Почему же ты не стал есть пирожного? — спросила мама.
- Пирожное будет лежать здесь до послезавтрашнего вечера — ровно два дня, — сказал я. — Послезавтра вечером я его съем.
- Что это, ты зарок дал? — говорит мама.
- Да, — говорю, — зарок. Если не съем раньше назначенного срока это пирожное, значит у меня сильная воля.
- А если съешь? — спрашивает Лика.
- Ну, если съем, тогда, значит, слабая, будто сама не понимаешь.
- Мне кажется, ты не выдержишь, — говорит Лика.
- А вот посмотрим.

На утро я встал — мне очень не хотелось делать зарядку, — но я всё-таки сделал, потом пошёл под кран обливаться холодной водой, потому что обливаться мне тоже не хотелось. Потом позавтракал и пошёл в школу, а пирожное осталось лежать на тарелочке. Когда я пришёл, оно так и лежало, только мама накрыла его стеклянной крышечкой от сахарницы, чтоб оно не засохло до завтрашнего дня. Я открыл его и посмотрел, но оно даже ещё ничуть не начало сохнуть. Мне очень захотелось тут же его съесть, но я поборол в себе это желание.

В этот день я решил в футбол не играть, а просто отдохнуть часика полтора и тогда уже взяться за уроки. И вот после обеда я стал отдыхать. Но как отдыхать? Просто так отдыхать ведь не станешь. Отдых —

это игра или какое-нибудь интересное занятие. Чем же заняться? — думаю, — во что поиграть? Потом думаю:

«Пойду-ка поиграю с ребятами в футбол».

Не успел я этого подумать, как ноги сами вынесли меня на улицу, а пирожное так и осталось лежать на тарелке. Иду я по улице и вдруг думаю: «Стоп! Что же это я делаю? Раз мне хочется играть в футбол, то не нужно. Разве так воспитывают сильную волю?» Я тут же хотел повернуть назад, но подумал: «Пойду и посмотрю, как ребята играют, а сам играть не буду». Пришёл, смотрю, а там игра в самом разгаре. Шишкин увидел меня, кричит:

— Где же ты ходишь? Нам десять голов насажали! Скорей выручай! И тут уж я сам не заметил, как ввязался в игру.

Домой снова вернулся поздно и думаю:

«Эх, безвольный я человек! С утра так хорошо начал, а потом из-за этого футбола всё испортил!»

Смотрю — пирожное лежит на тарелке. Я взял его и съел.

«Всё равно, — думаю, — у меня никакой силы воли нет». Лица пришла, смотрит — тарелка пустая.

— Не выдержал? — спрашивает.

— Чего не выдержал?

— Съел пирожное?

— А тебе что? Съел, ну и съел. Не твоё ведь я пирожное съел.

— Чего же ты сердисься? Я ничего не говорю. Ты и то слишком долго терпел. У тебя большая сила воли. А вот у меня никакой силы воли нет.

— Почему же это у тебя нет?

— Сама не знаю. Если б ты не съел до завтрашнего дня этого пирожного, то я сама бы, наверно, его съела.

— Значит, ты считаешь, что у меня есть сила воли?

— Конечно, есть.

Я немножко утешился и решил с завтрашнего дня снова приняться за воспитание воли, несмотря на сегодняшнюю неудачу. Не знаю, какой бы получился из этого результат, если бы погода была хорошая, но как раз в этот день с утра зарядил дождь, футбольное поле, как и ожидал Шишкин, раскисло, и играть было нельзя. Раз играть было нельзя, то меня и не тянуло. Удивительно, как человек устроен! Вот бывает: сидишь дома, а ребята в это время в футбол играют; ты, значит, сидишь и думаешь: «Бедный я, бедный, несчастный-разнесчастный! Все ребята играют, а я дома сижу!» А вот если сидишь дома и знаешь, что все остальные ребята тоже сидят по домам и никто не играет, то ничего такого не думаешь.

Так и на этот раз. За окном моросил мелкий осенний дождь, а я сидел себе дома и спокойно занимался. И очень успешно у меня занятия шли, пока я не дошёл до арифметики. Но тут я решил, что не стоит мне самому особенно ломать голову, а лучше просто пойти к кому-нибудь из ребят, чтоб мне помогли арифметику сделать. Я быстро собрался и пошёл к Алику Сорокину. Он в нашем звене лучше всех по арифметике учился. У него всегда по арифметике пять.

Прихожу я к нему, а он сидит за столом и сам с собой играет в шахматы.

— Вот хорошо, что ты пришёл, — говорит. — Сейчас мы с тобой сыграем в шахматы.

— Да я не затем пришёл, — говорю я. — Вот помоги мне лучше арифметику сделать.

— Ага, хорошо, сейчас. Только знаешь что? Арифметику мы успеем

сделать. Я тебе всё объясню в два счёта. Давай сначала сыграем в шахматы. Тебе всё равно надо научиться играть в шахматы, потому что шахматы развивают способности к математике.

— А ты не врешь? — говорю.

— Нет, честное слово! Ты думаешь, почему я хорошо по арифметике занимаюсь? Потому что играю в шахматы.

— Ну, если так, тогда ладно, — согласился я.

Расставили мы фигуры и стали играть. Только я тут же увидел, что играть с ним совсем невозможно. Он не мог спокойно относиться к игре, и если я делал неверный ход, он почему-то сердился и всё время кричал на меня.

— Ну кто так играет? Куда ты полез? Разве так ходят? Тьфу! Что это за ход?

— Почему же это не ход? — говорю я.

— Да потому, что я съем твою пешку.

— Ну и ешь, — говорю, — на здоровье, только не кричи, пожалуйста.

— Как же на тебя не кричать, когда ты так глупо ходишь!

— Тебе же, — говорю, — лучше, скорее выиграешь.

— Мне, — говорит, — интересно у умного человека выиграть, а не у такого игрока, как ты.

— Значит, по-твоему, я не умный?

— Да, не очень.

Так он оскорблял меня на каждом шагу, пока не выиграл партию, и говорит:

— Давай ещё.

А я и сам уже раззадорился и очень хотел обыграть его, чтоб он не задавался.

— Давай, — говорю, — только так, чтоб без крика, а если будешь кричать на меня, брошу всё и уйду.

Стали мы снова играть. На этот раз он не кричал, но и молча играть он не умел, видно, и потому всё время болтал, как попугай, и строил насмешки:

— Ага! Так вот как вы пошли! Ага! Угу! Вот какие вы вумные стали! Скажите, пожалуйста!

Просто противно было слушать.

Я проиграл и эту партию, и ещё не помню сколько.

Потом мы стали заниматься по арифметике, но и тут проявился его скверный характер. Ничего-то он спокойно не мог объяснить:

— Да это ведь просто, ну как ты не понимаешь? Да это ведь малые ребята понимают. Что же тут непонятного? Эх, ты! Вычитаемого от уменьшаемого не может отличить. Мы это ещё в третьем классе проходили. Ты что, с луны, что ли, свалился?

Я говорю:

— Если тебе трудно объяснить просто, то я к кому-нибудь другому могу пойти.

— Да я ведь объясняю просто, а ты не понимаешь!

— Где же, — говорю, — просто? Объясняй, что надо. Какое тебе дело, с луны я свалился или не с луны.

— Ну ладно, ты не сердись, я буду просто.

Но просто у него никак не выходило. Пробился я с ним до вечера и всё-таки мало что понял. Но обиднее всего было то, что я ни разу не обыграл его в шахматы. Если б он не так задавался, то мне и обидно бы не было. Теперь мне обязательно хотелось обыграть его, и с тех пор я каждый день ходил к нему заниматься по арифметике, и мы по целым часам сражались в шахматы.

Постепенно я подучился играть, и мне иногда удавалось выиграть у него партию. Это, правда, случалось редко, но доставляло мне большое удовольствие. Во-первых, когда он начинал проигрывать, то переставал болтать, как попугай, во-вторых — страшно нервничал: то вскочит, то сядет, то за голову схватится. Просто смешно было смотреть! Я, например, не стану так нервничать, если буду проигрывать, но и не стану радоваться, если проигрывает товарищ. А вот Алик наоборот: он не может сдерживать своей радости, когда выигрывает, а когда проигрывает, то готов на себе волосы рвать от досады.

Для того, чтобы научиться играть как следует, я играл в шахматы дома с Ликой, а когда дома был папа, то даже и с папой. Однажды папа сказал, что у него когда-то была книжка — учебник шахматной игры, и если я хочу научиться играть хорошо, то мне следует почитать эту книжку. Я сейчас же принялся искать этот учебник и нашёл его в корзине, где лежали разные старые книжки. Сначала я думал, что ничего не пойму в этой книге, но когда начал читать, то увидел, что она написана очень просто и понятно. В книге говорилось, что в шахматной игре как на войне нужно стараться поскорей захватить инициативу в свои руки, поскорей выдвинуть свои фигуры вперёд, ворваться в расположение противника и атаковать его короля. В книжке рассказывалось, как нужно начинать шахматные партии, как подготавливать нападение, как защищаться и другие разные полезные вещи. Я читал книжку весь вечер, а когда пришёл на другой день к Алику, то стал выигрывать у него партию за партией. Алик просто недоумевал и не понимал, в чём дело. Теперь положение переменялось. Через несколько дней я играл уже так, что ему даже случайно не удавалось меня обыграть.

Из-за этих шахмат на арифметику у нас оставалось мало времени, и Алик объяснял мне всё наспех, как говорится — на скорую ручку, комком да в кучку. В шахматы играть я научился, а вот не заметил, чтоб это улучшило мои способности к арифметике. С арифметикой у меня попрежнему обстояло плохо, и я решил бросить шахматную игру. К тому же шахматы мне уже надоели. С Аликом неинтересно было играть, потому что он всё время проигрывал. Я сказал, что больше не буду играть в шахматы.

— Как? — сказал Алик. — Ты решил бросить шахматы! Да у тебя ведь замечательные шахматные способности. Ты станешь знаменитым шахматистом, если будешь продолжать играть.

— Никаких у меня способностей нет, — говорю я. — Ведь я вовсе не своим умом обыгрывал тебя. Всему этому я научился из книжки.

— Из какой книжки?

— Есть такая книжка — учебник шахматной игры. Если хочешь, я тебе дам почитать эту книжку и ты станешь играть не хуже меня.

Алику захотелось поскорей прочесть эту книжку. Мы пошли ко мне. Я дал ему учебник шахматной игры, и он сейчас же убежал с ним домой. А я решил не играть больше в шахматы до тех пор, пока не подтянусь по арифметике.

Глава седьмая

Наш вожатый Володя придумал устроить в школе вечер самодеятельности. Некоторые ребята решили выучить наизусть стихи и прочитать их на сцене. Другие решили показать на сцене физкультурные упражнения и сделать пирамиду. Гриша Васильев сказал, что будет играть на балалайке, а Павлик Козловский будет танцевать гопак. Но самую интересную вещь придумали Ваня Пахомов и Игорь Грачёв. Они решили поставить отрывок из сказки Пушкина «Бой Руслана с головой». Этот отрывок

был напечатан в нашей книге для чтения «Родная речь» для четвёртого класса. Мы как раз недавно его читали. Игорь Грачёв сказал, что голову великана он вырежет из фанеры и разрисует её пострашней, а сам, спрятавшись позади неё, будет говорить, что надо. А Ваня сыграет Руслана. Он сделает себе деревянный меч и будет драться с головой.

Шишкину тоже очень захотелось выступить на сцене, и он уговорил меня попросить у Ольги Николаевны, чтоб нам тоже разрешили участвовать в представлении. Но Ольга Николаевна не разрешила нам.

— Вам сначала надо исправить свои отметки, — сказала она, — а потом можно будет и на сцене играть.

И вот все ребята принялись разучивать свои роли и репетировать на сцене, а мы с Шишкиным толклись в зале и с завистью смотрели на всех. Игорь вырезал из целого фанерного листа голову великана. Нижнюю челюсть он сделал из фанеры отдельно и прикрепил гвоздём так, что голова могла открывать рот. Потом он разрисовал голову красками и сделал ей вытарашенные глаза. Когда он прятался за нею и шевелил фанерной челюстью, а сам в это время рычал и разговаривал, то казалось, что голова сама рычит и разговаривает. А как интересно было смотреть, когда Руслан, то есть Ваня, насакивал на голову с мечом, а голова дула на него, и его как будто бы ветром относило в сторону.

И вот один раз Шишкину пришла на ум очень хорошая мысль.

— Я, — говорит, — вчера читал «Руслана и Людмилу», там написано, что Руслан ездил на коне, а у нас он ходит по сцене пешком.

— Где же ты возьмёшь коня? — говорю я. — Даже если бы и был конь, всё равно его на сцену не втащишь.

— У меня есть замечательная идея, — говорит он. — Мы с тобой будем представлять коня.

— Как же мы будем представлять коня?

— У меня есть журнал «Затейник», там написано, как двое ребят могут изобразить на сцене коня. Для этого делается из материи такая шкура, вроде лошадиная. Впереди приделывается лошадиная голова, сзади хвост, а внизу четыре ноги. Я, понимаешь, залезаю в эту шкуру спереди и просовываю свою голову в лошадиную голову, а ты залезаешь в шкуру сзади, нагибаешься и держишься руками за мой пояс, так что твоя спина получается вроде лошадиная спина. У лошади четыре ноги, и у нас с тобой тоже четыре ноги. Куда я иду, туда и ты, вот и получится лошадь.

— Как же мы сошьём такую шкуру? — говорю я. — Если бы мы были девчонки, то, может быть, сумели бы сшить. Девчонки всегда шить умеют. У них в школе проходят рукоделие.

— А ты попроси свою сестру Лику, она нам поможет.

Мы рассказали обо всём Лике.

— Ладно, — говорит Лика. — Я вам помогу, но для этого ведь надо достать материи.

Мы долго думали, где бы достать материи, а потом Шишкин нашёл на чердаке какой-то старый никому не нужный матрац. Мы вытряхнули из матраца всю начинку и показали его Лике. Лика сказала, что из него, пожалуй, что-нибудь выйдет. Она распоролa матрац, так что получилось два больших куска материи. На одном куске она нарисовала мелом большую лошадь. Потом сложила оба куска и вырезала ножницами, так что сразу получились две лошадиные выкройки из материи. Эти две выкройки она стала сшивать по спине и по голове. Мы с Костей тоже вооружились иголками и принялись помогать ей шить. Особенно много возни было с ногами, потому что каждую ногу нужно было сшить отдельно трубочкой. Когда всё было сшито, мы напихали в голову сена,

чтоб она лучше держалась, под бока подложили ваты, сделали из мочалы гриву и хвост. После этого мы с Костей залезли в эту лошадиную шкуру через дырку, которая была оставлена на животе, и попробовали ходить. Лика стала смеяться и сказала, что лошадь получилась очень хорошая, только её надо покрасить, так как видно, что она сделана из материи. Шишкин сбежал домой и принёс коричневую мастику, которой натирают полы. Мы покрасили шкуру этой мастикой, потом взяли краски, нарисовали на голове глаза, рот, ноздри. На ногах нарисовали копыта. Лика пришила к голове уши и вставила внутрь пружинки, чтоб уши не висели, как лопухи, а торчали кверху, как настоящие. Костя придумал привязать к ушам ниточки и сказал:

— Я буду незаметно за ниточки дёргать, и лошадь будет шевелить ушами.

После этого мы снова залезли в лошадиную шкуру.

— И-го-го-го! — заржал по-лошадиному Костя.

Лика захлопала в ладоши и чуть не захлебнулась от смеха.

— Прямо настоящая лошадь получилась! — кричала она.

Мы попробовали ходить по комнате и брыкаться ногами. Наверно, это очень интересно получалось, потому что Лика всё время смеялась. Потом пришла мама и тоже очень смеялась, глядя на нашу лошадь. Тут вернулся с работы папа, и он тоже смеялся.

— Для чего вы сделали такое чучело? — спросил он нас.

Мы рассказали, что у нас в школе будет представление, и мы с Костей будем на сцене представлять коня.

— Это хорошо, что у вас в школе придумывают для ребят такие развлечения. Ребята приучаются заниматься полезным делом. Вы скажите, когда будет представление, я тоже придумосмотреть, — сказал папа.

Потом мы пошли к Шишкину, чтоб показать лошадь его маме и тёте.

— Ну вот, — сказал я. — Папа придёт, а вдруг нам не позволят играть.

— Ты молчи, — говорит Шишкин. — Никому ничего говорить не надо. Мы придём заранее и спрячемся за сценой, а Ваню Пахомова предупредим, чтоб он перед тем как выходить на сцену, сел на лошадь.

— Правильно, — говорю я. — Так и сделаем.

С тех пор мы с нетерпением ждали представления и даже заниматься не могли из-за этого как следует.

Наконец наступил долгожданный день. Мы незаметно принесли лошадиную шкуру и спрятали позади сцены. Потом мы увидели Ваню Пахомова. Костя отозвал его в сторону и говорит:

— Слушай, Ваня, перед тем как выходить на сцену и биться с головой, ты зайди за кулисы. Там будет стоять приготовленная для тебя лошадь. Ты на эту лошадь садись и выезжай на сцену.

— А что это за лошадь? — спрашивает Ваня.

— Это не твоя забота. Лошадь хорошая. Садись на неё, и она повезет тебя куда надо.

— Не знаю, — говорит Ваня. — Мы ведь без лошади репетировали.

— Чудак! — говорит Шишкин. — С лошадью ведь гораздо лучше. Даже у Пушкина написано: «Я еду, еду, не свишу, а как наеду, не спущу!» На чём же он едет, если не на лошади. И в «Родной речи» у нас есть картинка, там Руслан нарисован на лошади.

— Ну ладно, — согласился Ваня. — Мне и самому неловко ходить по сцене пешком. Витязь, и вдруг без лошади.

— Только ты никому не говори, а то весь эффект пропадёт, — сказал Костя.

— Хорошо.

И вот, когда публика начала собираться, мы незаметно пробрались за кулисы, приготовили лошадиную шкуру и стали ждать. Ребята суетились, бегали по сцене, проверяли декорации. Наконец раздался последний звонок и начались выступления ребят. Нам всё хорошо было видно и слышно, и как читали стихи и как делали физкультурные упражнения. Мне очень понравились физкультурные упражнения. Ребята делали их под музыку, чётко, ритмично, все как один. Недаром тренировались две недели подряд. Потом занавес закрылся, на сцене быстро установили фанерную голову с шамкающим ртом, Игорь Грачёв спрятался за нею. Тут появился Ваня. На голове у него был блестящий шлем, сделанный из картона, в руках деревянный меч, выкрашенный серебряной краской. Ваня подошёл к нам и говорит:

— Ну, где же ваша лошадь?

— Сейчас, — говорим мы.

Быстро влезли в лошадиную шкуру, и перед ним появилась лошадь.

— Садись, — говорю я.

Ваня залез мне на спину и уселся. Тут я почувствовал, что коням не сладко живётся на свете. Под тяжестью Вани я согнулся в три погибели и крепче вцепился в пояс Шишкина, чтоб была опора. Тут как раз и занавес открылся.

— Но! Поехали! — скомандовал Ваня, то есть Руслан.

Мы с Шишкиным затопали прямо на сцену. Ребята в зале встретили нас дружным смехом. Видно, наш конь понравился. Мы поехали прямо к голове.

— Тпру! Тпру! — зашипел Руслан. — Куда вас понесло? Чуть на голову не наехали! Осади назад!

Мы попятились назад.

В зале раздался громкий смех.

— Да не пятьтесь задом! Вот чудачки! — ругал нас Валя. — Повернитесь и выезжайте на середину сцены. Мне монолог надо читать.

Мы повернулись и выехали на середину сцены. Тут Ваня заговорил замогильным голосом:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мёртвыми костями?

Он долго читал эти стихи, завывая на все лады, а Шишкин в это время дёргал за ниточки и конь наш шевелил ушами, что очень веселило зрителей. Наконец, Ваня кончил свой монолог и прошептал:

— Ну, теперь к голове подъезжайте.

Мы вернулись к голове и поехали к голове. Не доезжая до неё шагов пяти, Шишкин начал хрипеть, упираться ногами и становиться на дыбы. Я тоже стал брыкаться, чтоб показать, будто конь испугался головы великана. Тут Руслан стал пришпоривать коня, то есть, попросту говоря, бить меня каблуками по бокам. Тогда мы подъехали к голове. Руслан принялся щекотать ей ноздри копыём. Тут голова как раскрсет рот да как чихнёт! Мы с Шишкиным отскочили, завертелись по всей сцене, будто нас отнесло ветром. Руслан даже чуть не свалился с коня. Шишкин наступил мне на ногу. От боли я запрыгал на одной ноге и стал хромать. Ваня снова стал пришпоривать меня. Мы опять поскакали к голове, а она принялась на нас дуть и нас снова понесло в сторону. Так мы налетали на неё несколько раз, наконец я взмолился:

— Кончайте, — говорю, — скорей, а то я не выдержу. У меня и так уже нога болит!

Тогда мы подскакали к голове в последний раз, и Ваня треснул её

мечом с такой силой, что с неё посыпалась краска. Голова упала, представление окончилось и конь, хромя, уехал со сцены. Ребята дружно захлопали в ладоши. Ваня соскочил с лошади и побежал кланяться публике, как настоящий актёр.

Шишкин говорит:

— Мы ведь тоже представляли на сцене. Надо и нам поклониться публике.

И тут все увидели, что на сцену выбежал конь и стал кланяться, то есть просто кивать головой. Всем это очень понравилось, в зале поднялся шум. Ребята принялись ещё громче хлопать в ладоши. Мы поклонялись и убежали, а потом снова выбежали и опять стали кланяться. Тут Володя сказал, чтоб скорей закрывали занавес. Занавес сейчас же закрыли. Мы хотели убежать, но Володя схватил коня за уши и сказал:

— Ну-ка вылезайте! Кто это тут дурачится?

Мы вылезли из лошадиной шкуры.

— А, так это вы! — сказал Володя. — Кто вам разрешил здесь дурачиться?

— Разве плохой конь получился? — удивился Шишкин.

— Коня-то вы хорошо смастерили, — сказал Володя. — А сыграть как следует не смогли: на сцене серьёзный разговор происходит, а конь стоит, ногами шаркает, то отставит ногу, то приставит. Где вы видели, чтоб лошади так делали?

— Ну, устанешь ведь спокойно на одном месте стоять, — говорю я. — И ещё Ваня на мне верхом сидит. Знаете, какой он тяжёлый. Где уж тут спокойно стоять.

— Надо было стоять, раз на сцену вышли. И ещё: Руслан читает стихи: «О поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» И вдруг в публике смех. Я думаю, почему смеются? Что тут смешного? А оказывается, конь в это время ушами захлопал.

Из-за этого представления да ещё из-за шахмат я так и не взялся как следует за учёбу, и когда через несколько дней нам выдали за первую четверть табели, я увидел, что у меня там стоит двойка по арифметике. Я и раньше знал, что у меня будет в четверти двойка, но всё думал, что четверть ещё не скоро кончится и я успею подтянуться, но четверть так неожиданно кончилась, что я и оглянуться не успел. У Шишкина тоже была в четверти двойка по русскому.

— И зачем это выдают табели перед самым праздником? Теперь у меня будет весь праздник испорчен! — сказал я Шишкину, когда мы возвращались домой.

— Почему? — спросил Шишкин.

— Ну, потому что придётся показывать дома двойку.

— А я не буду перед праздником показывать двойку, — сказал Шишкин. — Зачем я буду маме праздник портить.

— Но после праздника ведь всё равно придётся показывать, — говорю я.

— Ну, что ж, после праздника, конечно, а на праздник все весёлые, а если я покажу двойку, все будут скучные. Нет, пусть лучше весёлые будут. Я всегда табель показываю после праздника. Зачем я буду огорчать маму напрасно. Я люблю маму.

— Если б ты любил, то учился бы получше, — сказал я.

— А ты-то учишься, что ли? — ответил Шишкин.

На этом наш разговор окончился, и я решил по Шишкинскому примеру показать табель потом, когда праздники кончатся. Ведь бывают же такие случаи, когда табели ученикам выдают после праздника. Ничего тут такого нету.

Глава восьмая

И вот наступил день, которого мы все уже давно с нетерпением ждали — день седьмого ноября, праздник Великой Октябрьской Революции. Я проснулся рано-рано и сразу подбежал к окну. Солнышко ещё не взошло, но уже было совсем светло. Небо было чистое, голубое. На всех домах развевались красные флаги и висели портреты Ленина и Сталина. На душе у меня стало радостно, будто снова наступила весна. Почему-то так светло, так замечательно на душе в этот праздник! Почему-то вспоминается всё самое хорошее и приятное. Мечтаешь о чём-то чудесном и хочется поскорей вырасти, стать очень сильным и смелым, совершать разные подвиги и геройства.

Вот какие мечты у меня. И ничего в этом удивительного нету, я думаю. Папа говорит, что в нашей стране каждый человек всего добьётся, если только захочет и станет как следует учиться, потому что уже много лет тому назад, как раз в этот день седьмого ноября мы прогнали капиталистов, которые угнетали народ, и теперь у нас всё принадлежит народу. Значит, мне тоже принадлежит всё, потому что я тоже народ.

В этот день папа подарил мне волшебный фонарь с картинками, а мама подарила мне коньки, а Лика подарила мне компас, а я подарил Лике разноцветные краски для рисования. А потом мы с папой и Ликой пошли на завод, где папа работал, а оттуда пошли на демонстрацию вместе со всеми рабочими с папиного завода. Вокруг гремела музыка, и все пели песни, и мы с Ликой пели, и нам было очень весело, и папа купил нам воздушные шарики, мне красный, а Лике зелёный. А когда мы шли через площадь мимо трибуны, мне разрешили нести красный флаг, и я пронёс флаг через всю площадь.

А потом мы вернулись домой, и скоро к нам стали собираться гости. Первый пришёл дядя Шура. В руках у него было два свёртка, и мы сразу догадались, что это он принёс нам подарки. Но дядя Шура сначала спросил, хорошо ли мы ведём себя. Мы сказали, что хорошо.

— Маму слушаетесь?

— Слушаемся, — говорим.

— А учитесь как?

— Хорошо, — говорит Лика.

И я тоже сказал:

— Хорошо.

Тогда он подарил мне металлический конструктор, а Лике — строительные кубики.

Потом пришла тётя Надя и дядя Серёжа, потом тётя Лида и дядя Юра, и ещё тётя Нина. Все спрашивали меня, как я учусь. Я всем говорил — хорошо, и все дарили мне подарки, так что под конец у меня собралась целая куча подарков. У Лики тоже была целая куча подарков. И вот я сидел и смотрел на свои подарки, и постепенно у меня на душе сделалось грустно. Меня начала мучить совесть, потому что у меня была по арифметике двойка, а я всем говорил, что учусь хорошо. И к тому же я обманул маму — не показал ей табель.

Я долго думал над этим и в конце концов дал сам себе торжественное обещание, что теперь возьмусь учиться как следует, и тогда такие случаи больше уже не будут повторяться. После того как я это решил, грусть моя стала понемногу проходить, и я постепенно развеселился.

Восьмого ноября тоже был праздник. Я побывал в гостях у многих ребят из нашего класса, и многие ребята побывали у нас. Мы только и делали, что играли в разные игры, а вечером смотрели на стене картины от волшебного фонаря. Когда я ложился спать, то сложил все

свои подарки возле своей кровати на стуле. Лика тоже сложила свои подарки на стуле, а под потолком над нами красовались два воздушных шарика, с которыми мы ходили на демонстрацию. Так приятно было смотреть на них!

На следующий день, проснувшись, я увидел, что воздушные шарики лежали на полу. Они сморщились и стали меньше. Лёгкий газ из них вышел, и они уже не могли больше взлетать кверху. А когда в этот день я вернулся из школы, то не знал, как сказать маме про двойку, но мама сама вспомнила про табель и велела показать ей. Я молча вытащил табель из сумки и отдал маме. Мама стала проверять, какие у меня отметки, и, конечно, сразу увидела двойку.

— Ну вот, так я и знала! — сказала она, нахмурившись. — Всё гулял да гулял, а теперь в четверги двойка. А всё почему? Потому что ничего слушать не хочешь! Сколько раз тебе говорилось, чтоб ты вовремя делал уроки, но тебе хоть говори, хоть нет — всё, как об стену горохом. Может быть, ты хочешь на второй год остаться?

Я сказал, что теперь буду учиться лучше и что теперь у меня двойки ни за что на свете не будет, но мама только усмехнулась в ответ. Видно было, что ничутьюшки не поверила моим обещаниям. Я просил маму подписать табель, но она сказала:

— Нет уж, пусть папа подпишет.

Это было хуже всего! Я надеялся, что мама подпишет табель и тогда можно будет не показывать его папе, а теперь мне предстояло ещё выслушивать упреки папы. Настроение у меня стало такое плохое, что не хотелось даже делать уроки.

«Пускай,— думаю,— папа уж отругает меня, тогда я буду заниматься».

Наконец папа пришёл с работы. Я подождал, когда он пообедает, потому что после обеда он всегда бывает добрей, и положил табель на стол так, чтоб папа его увидел. Папа скоро заметил, что на столе возле него лежит табель, и стал смотреть отметки.

— Ну вот, достукался! — сказал он, увидевши двойку. — Неужели тебе перед товарищами не стыдно, а?

— Будто я один получаю двойки? — ответил я.

— У кого же ещё есть двойки?

— У Шишкина.

— Почему же ты берёшь пример с Шишкина? Ты бы брал пример с лучших учеников. Или Шишкин у вас такой авторитет?

— И совсем не авторитет,— говорю я.

— Вст ты и стал бы учиться лучше, да ещё Шишкину помог. Неужели вам обоим нравится быть хуже других?

— Мне,— говорю,— вовсе не нравится. Я уже сам решил начать учиться лучше.

— Ты и раньше так говорил.

— Нет, раньше я так просто говорил, а теперь я твёрдо решил взяться.

— Что ж, посмотрим, какая у тебя твёрдость.

Папа подписал табель и больше ничего не сказал. Мне даже обидно стало, что он так мало укорял меня. Наверно, он подумал, что со мной долго и разговаривать нечего, раз я всегда только обещаю, а ничего не выполняю. Поэтому я решил на этот раз доказать, что у меня есть твёрдость, и начать учиться как следует. Жаль только, что в этот день по арифметике ничего не было задано, а то бы я, наверно, задачу сам решил.

На другой день я спросил Шишкина:

— Ну как, досталось тебе от мамы за двойку?

— Досталось! И от тётки Зины досталось. Тоже ещё! Уж лучше б она молчала! У ней только одни слова: «Вот я за тебя возьмусь как следует!» А как она за меня возьмётся? Когда-то она сказала: «Вот я за тебя возьмусь: буду каждый вечер проверять, как ты сделал уроки». А сама раза два проверила, а потом записалась в драмкружок, и как только вечер — фьють! и её нету. «Я тебя,— говорит,— завтра проверю». И так каждый раз: завтра да завтра, а потом и вовсе забыла. И вдруг: «Ну-ка показывай тетрадки, отвечай, что на завтра задано». А у меня как раз ничего не сделано, потому что я уже отвык, чтоб меня проверяли. Словом, что ни вечер, то её дома нет. Если на занятия драмкружка не надо идти, то в театр пойдёт.

— Ей ведь надо в театр ходить, раз она в театральном училище учится,— говорю я.

— Это я понимаю,— говорит Шишкин. — Я, может быть, жду, когда тётка Зина за меня возьмётся, и сам ничего не делаю. Такой у меня характер.

— Это ты просто вину с себя на другого перекладываешь,— говорю я. — Переменил бы характер.

— Вот ты бы и переменил. Будто ты лучше моего учишься!

— Я буду лучше учиться,— говорю я.

— Ну и я буду,— ответил Шишкин.

В этот день наш учитель гимнастики Григорий Иванович сказал, что спортивный зал у нас уже оборудовали для игры в баскетбол, и кто желает, может записаться в баскетбольную команду. Все ребята обрадовались и стали записываться. Мы с Шишкиным, конечно, тоже хотели записаться, но Григорий Иванович не записал нас.

— В баскетбольной команде может играть только тот, кто хорошо учится,— сказал он нам.

Шишкин очень расстроился. Он давно уже ждал, когда можно будет играть в баскетбол, и вот теперь, когда другие ребята будут играть, нам, как говорится, приходилось оставаться за бортом. Я лично не очень огорчился, потому что решил начать учиться лучше и во что бы то ни стало добиться, чтоб меня приняли в баскетбольную команду.

После уроков у нас в классе было собрание по итогам учёбы за первую четверть. И вот оказалось, что все ребята уже подтянулись, а хуже всего дело обстояло в нашем звене, так как у нас было две двойки — моя и Шишкинская. Когда собрание окончилось, Юра устроил сбор звена и сказал:

— Вот! Мы с вами в хвосте оказались! Надо что-нибудь придумать, как из этого положения выпутаться.

— Это всё они, вот эти двое! — сказал Лёня Астафьев и показал на нас с Шишкиным. — Что ж это вы, а? Всё звено позорите! Все ребята стараются, а им хоть кол на голове теши, ничего не помогает! Ты, Малеев, почему плохо учишься?

Тут все на меня набросились:

— Ты что, не понимаешь, что надо учиться лучше?

— Не понимаю, о чём разговор? — говорю я. — Я уже сам решил учиться лучше, а тут снова-наново разговор происходит.

— Решил, так надо учиться, а у тебя какие отметки? — говорит Алик Сорокин.

— Так отметки у меня за прошлое, а решил я только вчера или позавчера,— говорю я.

— Эх ты! Будто не мог раньше решить!

— Постойте, ребята, не надо ссориться,— сказал Юра. — Мы с вами

тоже виноваты. Надо было выделить отстающим помощников, чтоб они помогли им заниматься.

— Хотите, я буду помогать Малееву,— предложил Ваня Пахомов.

— А я буду помогать Шишкину,— сказал Алик Сорокин. — Хотите?

— Хотим,— говорю я. — Почему не хотим?

Шишкин тоже сказал:

— Хотим.

— Вот и хорошо,— сказал Юра. — Смотрите, чтоб теперь двойки были исправлены. Помощники у вас есть.

После сбора Ольга Николаевна позвала меня и Шишкина к себе в учительскую и долго беседовала с нами. Она сказала, что мы мало занимаемся дома, делаем уроки наспех, не продумывая того, над чем работаем. От этого усвоение у нас получается слабое. Мы мало запоминаем, а то, что запоминаем, не держится у нас в памяти и мы скоро забываем. Шишкину она советовала делать задания по русскому языку не спеша, продумывая каждое слово, которое он пишет, велела наизусть выучивать правила, побольше читать, и сказала, что будет внимательнее следить, как он выполняет домашние задания.

— А тебе, Витя, надо самому побольше работать,— сказала Ольга Николаевна мне. — Ты, небось, если у тебя задача не выходит, сейчас же спрашиваешь папу или маму?

— Нет,— говорю я. — Я теперь папу никогда не спрашиваю. Зачем я буду отрывать его от работы. Я просто иду к товарищу и спрашиваю.

— Ну это всё равно. Нужно самому добиваться. Если посидишь над задачей как следует, да разберёшься сам, то кое-чему научишься, а если каждый раз за тебя задачи будет кто-нибудь другой делать, то сам их решать ты никогда не научишься. Для того и задают задачи, чтоб ученик приучался самостоятельно думать.

— Хорошо,— говорю я. — Теперь я буду сам.

— Вот, вот, постарайся. Только в крайнем случае, если увидишь, что задачи тебе никак не осилить, обращай за помощью к товарищу.

— Нет,— говорю я. — Мне кажется, теперь я осилю сам, а уж если никак не осилю, тогда пойду к Ване.

— Если желание будет, то осилишь,— сказала Ольга Николаевна.

Глава девятая

Пришёл домой и сразу взялся за дело. Такая решимость меня ододела, что я даже сам удивился. Сначала я задумал сделать самые трудные уроки, как Ольга Николаевна нас учила, а потом взяться за то, что полегче. Как раз в этот день была задана задача по арифметике. Не долго думая, я раскрыл задачник и принялся читать задачу:

В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше. Одной бригаде плотников продали половину топоров и три пилы за 84 рубля. Оставшиеся топоры и пилы продали другой бригаде плотников за 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила?

Сначала я совсем ничего не понял, и начал читать задачу во второй раз, потом в третий... Постепенно я понял, что тот, кто составляет задачи, нарочно запутывает их, чтоб ученики ничего не могли разобрать. Написано: «В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше». Ну и написали бы просто, что топоров было двадцать четыре штуки. Нечего тут и огород городить! И ещё: «Одной бригаде плотников продали половину топоров и три пилы за 84 рубля». Сказали бы просто: «Продали двенадцать топоров». Будто не ясно, раз топоров было двадцать четыре, то половина будет двенадцать. И вот всё это продали, значит, за восемьдесят четыре руб.я. Дальше опять говорится, что оставшиеся пилы и

топоры продали другой бригаде плотников за сто рублей. Какие это оставшиеся? Будто нельзя сказать по-человечески? Если всего было двадцать четыре топора, а продали двенадцать, то и осталось, значит, двенадцать. А пил было всего-навсего восемь; три продали одной бригаде, значит другой бригаде продали пять. Так бы и написали, а то запутают, запутают, а потом, небось, говорят, что ребята бестолковые — не умеют задачи решать!

Я переписал задачу по-своему, чтоб она выглядела попроще, и вот что у меня получилось:

В магазине было 8 пил и 24 топора. Одной бригаде плотников продали 12 топоров и 3 пилы за 84 рубля. Другой бригаде плотников продали 12 топоров и 5 пил за 100 рублей. Сколько стоит одна пила и один топор?

Переписавши задачу, я снова прочитал её и увидел, что она стала немножко короче, но всё-таки я не мог додуматься, как её сделать, потому что цифры путались у меня в голове и мешали мне думать. Я решил как-нибудь подсократить задачу, чтоб в ней было поменьше цифр. Ведь совершенно неважно, сколько было в магазине этих пил и топоров, если в конце концов их все продали. Я сократил задачу, и она получилась вот такая:

Одной бригаде продали 12 топоров и 3 пилы за 84 рубля. Другой бригаде продали 12 топоров и 5 пил за 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила?

Задача стала короче, и я стал думать, как бы её ещё сократить. Ведь неважно, кому продали эти пилы и топоры. Важно только, за сколько продали. Я подумал-подумал, и задача получилась такая:

12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля.

12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей.

Сколько стоит один топор и одна пила?

Сокращать больше было нельзя, и я стал думать, как решить задачу. Сначала я подумал, что если 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля, то надо сложить все топоры и пилы вместе и 84 поделить на то, что получилось. Я сложил 12 топоров и 3 пилы, получилось 15. Тогда я стал делить 84 на 15, но у меня не поделилось, потому что получился остаток. Я понял, что произошла какая-то ошибка, и стал искать другой выход. Другой выход нашёлся такой: я сложил 12 топоров и 5 пил, получилось 17, и тогда я стал делить 100 на 17, но у меня опять получился остаток. Тогда я сложил все 24 топора между собой и прибавил к ним 8 пил, а рубли тоже сложил между собой и стал делить рубли на топоры с пилами, но деление всё равно не вышло. Тогда я стал отнимать пилы от топоров, а деньги делить на то, что получилось, но всё равно у меня ничего не получилось. Потом я ещё пробовал складывать между собой пилы и топоры по отдельности, а потом отнимать топоры от денег, и то что осталось делить на пилы, и чего я только ни делал, никакого толку не выходило. Тогда я взял задачу и пошёл к Ване Пахомову.

— Слушай,— говорю,— 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля, а 12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила? Как по-твоему нужно сделать эту задачу?

— А как ты думаешь? — спрашивает он.

— Я думаю, нужно сложить двенадцать топоров и три пилы, и восемьдесят четыре поделить на пятнадцать.

— Постой, зачем тебе складывать пилы и топоры?

— Ну, я узнаю, сколько было всего, потом восемьдесят четыре разделю на сколько всего и узнаю, сколько стоила одна.

— Что одна? Одна пила или один топор?

- Пила,— говорю,— или топор.
- Тогда у тебя получится, что они стоили одинаково.
- А они — разве не одинаково?
- Конечно, не одинаково. Ведь в задаче не говорится, что они стоили поровну. Наоборот, спрашивается, сколько стоит топор и сколько пила отдельно. Значит, ты не имеешь права их складывать.
- Да их,— говорю,— хоть складывай, хоть не складывай, всё равно ничего не выходит.
- Вот поэтому и не выходит.
- Что же делать? — говорю я.
- А ты подумай.
- Да я уже два часа думал.
- Ну, присмотришься к задаче,— говорит Ваня.— Что ты видишь?
- Вижу,— говорю,— что 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля, а 12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей.
- Ну, ты замечаешь, что в первый раз и во второй топоров куплено одинаковое количество, а пил на две больше?
- Замечаю,— говорю я.
- А замечаешь, что во второй раз уплатили на шестнадцать рублей больше?
- Тоже замечаю. В первый раз уплатили 84 рубля, а во второй 100 рублей. Сто минус восемьдесят четыре будет шестнадцать.
- А как ты думаешь, почему во второй раз уплатили на шестнадцать рублей дороже?
- Это каждому ясно,— говорю я.— Купили две лишних пилы, вот и пришлось уплатить лишних шестнадцать рублей.
- Значит, шестнадцать рублей заплатили за две пилы?
- Да,— говорю,— за две.
- Сколько же стоит одна пила?
- Раз две шестнадцать, то одна,— говорю,— восемь.
- Вот ты и узнал, сколько стоит одна пила.
- Тьфу! — говорю.— Совсем простая задача! Как это я сам не догадался!
- Постой, тебе ещё надо узнать, сколько стоит топор.
- Ну, это уже пустяк,— говорю я.— 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля. 3 пилы стоят 24 рубля. 84 отнять 24 будет 60. Значит 12 топоров стоят 60 рублей, а один топор — 60 поделить на 12, будет 5 рублей.
- Я пошёл домой, и очень мне было досадно, что я не сделал эту задачу сам. Но я решил в следующий раз обязательно сам сделать задачу. Хоть пять часов буду сидеть, а сделаю.
- На следующий день нам по арифметике ничего не было задано, и я был рад, потому что это не такое уж большое удовольствие — задачи решать.
- «Ничего,— думаю,— хоть один день отдохну от арифметики».
- Но всё вышло совсем не так. Только я сел за уроки, вдруг Лика говорит:
- Витя, нам тут задачу задали, я никак не могу решить. Помогите мне.
- Я только поглядел на задачу, и сразу подумал:
- «Вот будет история, если я не смогу решить! Сразу весь авторитет пропадёт».
- И говорю ей:
- Мне сейчас очень некогда. У меня тут своих уроков полно. Ты походи погуляй часика два, а потом придёшь, я помогу тебе.

Думаю:

«Пока она будет гулять, я тут разберусь в задаче, а потом объясню ей».

— Ну, я пойду к подруге,— говорит Лика.

— Иди, иди,— говорю,— только не приходи слишком скоро. Часа два можешь гулять или три. В общем гуляй сколько хочешь.

Она ушла, а я взял задачник и стал читать задачу:

Мальчик и девочка рвали в лесу орехи. Они сорвали всего 120 штук. Девочка сорвала в два раза меньше мальчика. Сколько орехов было у мальчика и у девочки?

Прочитал я задачу — и даже смех меня разобрал. Вот так задача! — думаю. — Чего тут не понимать? Ясно, 120 надо поделить на 2, получится 60. Значит девочка сорвала 60 орехов. Теперь нужно узнать, сколько мальчик: 120 отнять 60, тоже будет 60. Только как же это так? Получается, что они сорвали поровну, а в задаче сказано, что девочка сорвала в два раза меньше орехов. «Ага! — думаю,— значит, 60 надо поделить на два, получится 30». Значит, мальчик сорвал 60, а девочка 30 орехов. Посмотрел в ответ, а там: мальчик 80, а девочка 40!

— Позвольте! — говорю. — Как же это так? У меня получается 30 и 60, а тут 40 и 80. Стал проверять: всего сорвали 120 орехов. Если мальчик сорвал 60, а девочка 30, то всего получается 90. Значит, неправильно! Снова стал делать задачу. Опять у меня получается 30 и 60! Откуда же в ответе берутся 40 и 80? Прямо какой-то заколдованный круг получается! Вот тут-то я и задумался. Читал задачу раз десять подряд и никак не мог найти, в чём здесь загвоздка.

«Ну,— думаю,— это третьеклассникам задают такие задачи, что и четвероклассник не может решить! Как же они учатся, бедные?»

Стал я думать над этой задачей. Стыдно мне было не решить её. Вот, скажет Лика, в четвёртом классе, а для третьего класса задачу не смог решить. Стал я думать ещё усиленнее. Ничего не выходит. Прямо затмение на меня нашло! Сижу и не знаю, что делать. В задаче говорится, что всего орехов было 120, и вот надо разделить их так, чтобы у одного было в два раза больше, чем у другого. Если б тут были какие-нибудь другие цифры, то ещё можно было бы что-нибудь придумать, а тут сколько ни дели 120 на два, сколько ни отнимай от 120 два, сколько ни умножай 120 на два, всё равно 40 и 80 не получится.

С отчаяния я нарисовал в тетрадке ореховое дерево, а под деревом мальчика и девочку, а на дереве 120 орехов. И вот я рисовал эти орехи, рисовал, а сам всё думал и думал. Только мысли мои куда-то не туда шли, куда надо. Сначала я думал, почему мальчик нарвал вдвое больше, а потом догадался, что мальчик, наверно, на дерево влез, а девочка снизу рвала, вот у неё и получилось меньше. Потом я стал рвать орехи, то есть просто стирал их резинкой с дерева и отдавал мальчику и девочке, то есть пририсовывал орехи у них над головой. Потом я стал думать, что они складывали орехи в карманы. Мальчик был в курточке, я нарисовал ему по бокам два кармана, а девочка была в передничке. Я на этом передничке нарисовал один карман. Тогда я стал думать, что может быть, девочка нарвала орехов меньше потому, что у неё был только один карман. И вот я сидел и смотрел на них: у мальчика два кармана, у девочки один карман, и у меня в голове стали появляться какие-то проблески. Я стёр орехи у них над головами и нарисовал им карманы оттопыренные, будто в них лежали орехи. Все 120 орехов теперь лежали у них в трёх карманах, в двух карманах у мальчика и в одном кармане у девочки, а всего, значит, в трёх. И вдруг у меня в голове будто молния блеснула мысль: «Все сто двадцать орехов надо де-

лить на три части! Девочка возьмёт себе одну часть, а две части останутся мальчику, вот и будет у него вдвое больше!» Я быстро поделил 120 на 3, получилось 40. Значит одна часть 40. Это у девочки было 40 орехов, а у мальчика две части, значит 40 помножить на два, будет 80! Точно как в ответе. Я чуть не подпрыгнул от радости и скорей побежал к Ване Пахомову, рассказать ему, как я сам додумался решить задачу.

Выбегаю на улицу, смотрю — навстречу Шишкин. Я ему говорю: — Слушай, Костя, мальчик и девочка рвали в лесу орехи, нарвали сто двадцать штук, мальчик взял себе вдвое больше, чем девочка. Что делать, по-твоему?

— Надавать, — говорит, — ему по шее, чтоб не обижал девочек!

— Да я не про то спрашиваю! Как им разделить, чтоб у него было вдвое?

— Пусть делят, как сами хотят. Чего ты ко мне пристал? Пусть поровну делят.

— Да нельзя поровну. Это задача такая.

— Какая ещё задача?

— Ну, задача по арифметике.

— Тьфу! — говорит Шишкин. — У меня морская свинка подохла, я её только позавчера купил, а он тут с задачами лезет!

— Ну, прости, — говорю, — я не знал, что у тебя такое горе.

И побежал дальше.

Прибегаю к Ване.

— Слушай, — говорю, — вот такая задача мудрёная: мальчик и девочка сорвали сто двадцать орехов. Мальчик взял себе вдвое больше. Надо делить на три части. Правильно я догадался?

— Правильно, — говорит Ваня. — Одну часть возьмёт девочка, две части — мальчик, вот у него и будет вдвое больше.

— Это я сам догадался, — говорю я. — Понимаешь, замудрили задачу, думали, никто не догадается, а я всё-таки догадался.

— Ну, молодец!

— Теперь я всегда буду задачи решать, — сказал я.

— Самому всегда лучше. Больше толку, — говорит Ваня.

Побежал я обратно домой. Вдруг навстречу Юра Касаткин.

— Слушай, Юра, — говорю я, — один мальчик и одна девочка рвали в лесу орехи...

— Да ну тебя с твоими орехами! Ты лучше скажи, почему ты не занимаешься, а всё по улицам бегаешь?

— Я занимаюсь, честное слово!

— Ты это оставь! Весь класс назад тянешь! Ты и ещё этот твой Шишкин.

— Честное слово, я занимаюсь, а у Шишкина морская свинка сохла. А ты куда идёшь?

— Я шёл к тебе, хотел посмотреть, как ты занимаешься, а тебя дома нет, вот я и вижу, как ты уроки делаешь.

— Ну, честное-пречестное слово, я делал задачу, а она у меня вышла, и я только на минуточку пошёл к Ване, чтоб рассказать. Вот идём ко мне, посмотришь.

Мы пошли ко мне, и я стал показывать ему задачу про мальчика и девочку.

— Да ведь это для третьего класса задача, — говорит Юра.

— А это я нарочно повторяю прошлогодние задачи, — говорю я. — В прошлом году я неважно по арифметике учился, вот и хочу теперь наверстать.

— Это ты хорошо придумал. Будешь знать предыдущее, дальше легче будет учиться.

Юра ушёл. Скоро вернулась Лика, я сейчас же принялся объяснять ей задачу. Нарисовал дерево с орехами и мальчика с двумя карманами, и девочку с одним карманом.

— Вот, — говорит Лика, — как ты хорошо объясняешь. Я сама ни за что не догадалась бы!

— Ну, это пустяковая задача. Когда тебе надо, ты мне говори, я тебе всё объясню в два счёта.

Глава десятая

На другой день, когда я проснулся, то увидел в окно, что уже наступила зима. На дворе выпал снег. Всё побелело вокруг: и земля, и крыши, а деревья стояли как кружевные — все веточки облепило снегом. Я хотел сейчас же пойти покататься на конёчках, которые подарила мне мама, но нужно было идти в школу, а после школы я сначала засел за уроки, а потом стал делать задачи по Ликиному задачнику. Я задумал перерешать все задачи для третьего класса. Там было много простых задач, и я щёлкал их как будто семечки, но попадались и такие, над которыми приходилось поломать голову. Только это теперь меня не пугало. Я поставил себе за правило не двигаться дальше, пока не решу задачи. Конечно, я в один день не решил всех задач, а сидел над ними недели две или три. На конёчках я ходил кататься только по вечерам, когда становилось совсем темно. Зато когда я перерешал все задачи для третьего класса, то я очень поумнел и уже мог без посторонней помощи решать задачи для четвёртого класса, которые задавала нам Ольга Николаевна. В задачнике для четвёртого класса было много задач, которые были похожи на задачи для третьего класса, только они были сложнее, но теперь я уже умел распутывать сложные задачи. Мне даже интереснее было решать те задачи, которые посложней. Я уже не боялся арифметики, как раньше. С меня как будто свалилась какая-то тяжесть, и жить мне стало легко. Ольга Николаевна была довольна моими успехами, и я получал хорошие отметки. Ребята больше не упрекали меня. И мама и папа были рады, что я стал хорошо учиться. Меня приняли в баскетбольную команду, и я через день тренировался с ребятами по два часа. А когда тренировки не было, я катался на конёчках, ходил на лыжах, играл с ребятами в хоккей — было, что делать!

А Шишкин, вместо того, чтобы взяться как следует за учёбу, накопил разных морских свинок, белых крыс, черепах. Одних ежей у него было три штуки! И он с ними по целым дням возился, кормил их, ухаживал за ними, а они у него часто болели и дохли. И ещё он достал где-то Лобзика. Этот Лобзик был обыкновенный бездомный щенок, то есть, если сказать по правде, то совсем не щенок, а уже довольно большая собака, но ещё, видно, молодая, не совсем ещё взрослая; мохнатая такая, чёрного цвета, и уши у неё висели, как лопухи. Он её встретил где-то на улице и поманил за собой, и привёл домой, и выдумал ей имя Лобзик, хотя Лобзик — это совсем неподходящее для собаки имя, потому что лобзик — это такая маленькая пилочка для выпиливания по дереву. Но Шишкин не знал, что такое лобзик, и вообразил, будто это собачье имя.

Понятно, что со всеми этими делами Шишкину вовсе не до занятий было, и он садился делать уроки после того, как мама ему раз двадцать напомнит. Вот мать придёт с работы и спросит:

— Ты уроки сделал?

— Нет ещё. Сейчас буду делать.

— Садись сейчас же.

— Сейчас, сейчас, мамочка, вот только покормлю черепаху.

Мать займётся своими делами, а он покормит черепаху и вспомнит, что хотел смастерить клетку для морской свинки, и начнёт возиться с клеткой. Через некоторое время мать опять про уроки вспомнит:

— Когда же ты будешь делать уроки?

— Сейчас.

— Когда же сейчас? Ты всё время говоришь сейчас и всё время ни с места.

— Ну сейчас. Надо же клетку сделать.

— Клетку? Да тут тебе на три дня работы. Прекрати это и садись делать уроки.

— Ладно,—с сожалением говорит Шишкин.—Завтра клетку доделаю. Сейчас только принесу ежам водички и буду делать уроки.

Он берёт кружку и отправляется за водой для ежей. Потом начинает проверять, есть ли вода у других животных. Потом обнаруживается, что один из ежей куда-то исчез, и Шишкин начинает искать его по всему дому. Через полчаса мать опять про уроки спросит.

— Сейчас,—говорит Шишкин.—Вот только найду ежа. Ёж куда-то запропастился.

И так всё время. То одно, то другое, то третье. Если мать уйдёт куда-нибудь, он и не подумает за уроки взяться, а ждёт, когда время придёт уже ложиться спать, тогда он только начинает что-нибудь делать. Конечно, у него всё получалось на скорую руку, кое-как, он ничего не выучивал как следует, но всё-таки умудрялся получать как-то тройки, иногда даже четвёрки, впрочем это бывало редко. Больше всего он боялся русского языка и почти всегда выезжал на подсказке. В классе у нас ребята совсем перестали подсказывать друг другу, потому что никому не хотелось попасть в стенгазету, но я всё-таки Шишкину подсказывал по дружбе исправно. Правда, пользы ему от этого было мало. Когда в классе должны были писать диктант или сочинение, то Шишкин заранее был уверен, что напишет на двойку, и он решил в такие дни совсем не приходить в школу. И вот однажды, когда Ольга Николаевна объявила, что завтра мы будем писать диктант, Шишкин на следующее утро притворился больным, сказал маме, что у него болит голова. Мама разрешила ему не ходить в этот день в школу и пообещала позвать врача, как только вернётся с работы. Но когда она вернулась, Шишкин сказал, что голова у него уже не болит, так что никакого врача не нужно было вызывать. Мама написала в школу записку, что Костя пропустил по болезни, и всё обошлось благополучно. В другой раз, когда мы в классе должны были писать сочинение, Шишкин снова придумал, что у него болит голова, и мама опять разрешила ему не ходить в школу, но когда она вернулась с работы, ей показалось странным, что Костя и на этот раз быстро выздоровел. Но тогда она ещё ни о чём не догадалась и снова написала в школу записку, что он был болен. Когда же это случилось в третий раз, она стала догадываться, что Костя её обманывает, чтоб не ходить в школу. Костя сначала не признавался, но мама сказала, что сама пойдёт в школу и выяснит, в чём дело. Костя увидел, что мать всё равно своего добьётся, и во всём ей признался.

Когда мама услышала, что он всё это придумывал для того, чтобы увильнуть от занятий, она страшно рассердилась. Это случилось как раз в тот день, когда Шишкин привёл домой Лобзика. Мама всегда бранила Костю за то, что он приносит домой разных животных и во-

зится с ними, вместо того, чтоб делать уроки. Поэтому Костя заранее спрятал Лобзика в чулане, чтоб мама не заметила его сразу. И вот как раз, когда Костя признался и мама рассердилась, Лобзик вылез из чулана и пришёл прямо в комнату.

— А это ещё что такое? — закричала мама, увидев Лобзика.

— Это ничего... Это так просто, собака, — пролепетал Шишкин.

— Собака? — закричала мама. — Вон её! Развёл целый зверинец в доме! Только и делаешь, что с разными зверями возишься, заниматься совсем не хочешь! Сейчас же уноси всех зверей отсюда! И крыс, и мышей, и ежей — всех уноси. И собаку эту гони, довольно я с тобой намучилась.

Шишкин стал просить, чтоб мама разрешила оставить ему хоть Лобзика, но мама и слышать об этом не хотела.

— Ты меня обманываешь! — сказала она. — Больным притворяться вздумал, и у тебя ещё хватает совести просить. Уноси сейчас же, или я сама их всех выброшу.

Нечего делать, Костя тут же пошёл раздавать своих зверей знакомым ребятам, и роздал всех, только Лобзика и одного ежа у него никто не хотел брать. Тогда он пришёл ко мне с этим ежом и Лобзиком и рассказал, что у него произошло дома. Я тоже не хотел брать Лобзика, потому что он был очень мохнатый, ежа я тоже не хотел брать, потому что он был какой-то вялый, наверно больной. Но Шишкин сказал, что ёж совсем не больной, а находится в оцепенении, так как ежи обычно погружаются на зиму в спячку, и вот этот ёж, значит, тоже уже погружался в спячку. Тогда я согласился взять ежа, а Шишкин сказал, что весной, когда ёж пробудится от спячки, он заберёт его обратно к себе.

Так как Лобзика никто не хотел брать, Костя спрятал его на чердак. Он устроил ему подстилку на дымоходе, а чтоб Лобзик не убежал, привязал его за ошейник верёвкой к стропилу. На чердаке было холодно, но дымоход был тёплый, и Лобзик не очень мёрз, хотя, если сказать по правде, ему иногда сильно доставалось и от жары и от холода в одно и то же время. В сильный мороз дымоход почему-то всегда был очень горячий, поэтому с одной стороны Лобзика пробирал холод, а с другой стороны он поджаривался как будто на сковородке. Костя очень беспокоился, как бы Лобзик не отморозил себе уши или не схватил воспаление лёгких. Он тайком приносил Лобзику на чердак еду, и сам пропадал на чердаке всё свободное время, чтобы Лобзику не было скучно. Когда мамы не было дома, он приводил Лобзика домой и играл с ним, а к тому времени, когда мама должна была прийти с работы, он уводил его обратно на чердак. Сначала всё шло хорошо, но однажды он забыл увести Лобзика из дому вовремя, или, может быть, мама вернулась с работы раньше обычного, не знаю точно, только Шишкин, как говорится, попался на месте преступления. Мама увидела Лобзика.

— Опять эта собака здесь! — закричала она. — Так вот почему у тебя не хватает времени заниматься! Я ведь тебе велела прогнать её, а ты снова привёл.

Тут Шишкин признался, что не послушался маму, и Лобзик всё это время жил у него на чердаке, а он заботился о нём и кормил его, потому что он его очень любит и не может выгнать его на мороз, так как Лобзик совсем одинокий бездомный пёс.

— Если бы ты стал делать уроки исправнее, я разрешила бы тебе оставить Лобзика, но ты ведь ничего слушать не хочешь, — сказала мама.

— Как же я могу делать уроки? — ответил Шишкин. — Я вот сяду

заниматься, а сам думаю, как там Лобзик на чердаке сидит. Ему, небось, одному скучно. Вот мне и не лезут уроки в голову.

Тогда мама сжалилась над ним и сказала:

— Если обещаешь выполнять аккуратно все уроки днём после школы, то так и быть — разрешу тебе оставить эту собаку.

Костя сказал, что обещает.

— Посмотрим, как ты сдержишь своё обещание,— сказала мама.— Я теперь буду проверять тебя ежедневно после работы.

Обо всём этом мне рассказал Костя, когда мы возвращались на другой день из школы.

— Зайдём ко мне, посмотришь, как я буду дрессировать Лобзика,— предложил Костя.— Увидишь, какой это умный пёс. Он уже умеет палку в зубах держать.

— По-моему, для того, чтоб держать палку в зубах, большого ума не надо,— ответил я.

— Смотри для кого,— говорит Шишкин.— Тебе, конечно, для того чтоб держать палку в зубах, совсем не надо ума, а Лобзику надо.

Пришли мы к нему. Шишкин достал из буфета сахарницу и позвал Лобзика. Лобзик увидел сахарницу, подскочил и весело замахал хвостом. Видно было, что этот предмет ему уже хорошо знаком. Костя сунул ему под нос палку и сказал:

— Вот поддержи палку, получишь сахару.

Лобзик отвернулся от палки и покосился на сахарницу.

— Да ты не смотри на сахарницу, держи, говорят тебе, палку! — прикрикнул Костя.

Лобзик всё-таки не хотел брать палку. Тогда Костя насильно раскрыл ему пасть и сунул в неё палку, но как только он опустил руки, Лобзик разжал зубы, и палка упала на пол.

— Ну вот, уже забыл, чему я его вчера учил! — проворчал Костя.— Придётся повторять всё сначала.

Он снова сунул палку в пасть Лобзику, а мне велел держать Лобзика за нос, так чтоб он не мог раскрыть рот. Таким образом Лобзик подержал во рту некоторое время палку, и мы дали ему за это кусок сахару. Это упражнение мы проделали несколько раз. Лобзик постепенно понял, что после того, как он подержит в зубах палку, ему дают сахар, и стал держать палку в зубах сам, без посторонней помощи. Правда, он норовил поскорей бросить палку и получить сахар, но в таких случаях Костя не давал ему сахару и снова заставлял держать палку.

Домой в этот день я вернулся поздно и увидел, что нарушил весь свой режим. Я решил, что летом, когда наступят каникулы, тоже заведу себе собаку и займусь дрессировкой, а сейчас, пока идут занятия, этого делать не стоит, так как дрессировка отнимает очень много времени. Я только начал учиться по арифметике как следует, и вдруг снова начну получать двойки. В первую очередь нужно самому учиться, а потом уже можно учить собак.

А Шишкин всё свободное время возился с Лобзиком и выучил его не только держать палку в зубах, но и таскать её за собой. Правда, всё это Лобзик делал не даром, а за сахар, но трудился очень усердно. За какой-нибудь маленький кусочек сахару он мог тащить палку или даже целое полено, как отсюда до Тяпкина переулка.

Шишкин говорил, что выучит Лобзика не только этому, но и многому другому, но больше пока ничему не выучил, потому что ему надоело, и вообще он долго не умел заниматься одним делом, а всегда перескакивал с одного на другое и ничего не доводил до конца.

Глава одиннадцатая

Мы давно уже собирались пойти всем классом в цирк, и вот, наконец, наше желание исполнилось. Если б я был взрослым, я каждый день ходил бы в цирк. Ну, если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. Мне это никогда не надоело бы! Мы видели в цирке и наездников, и акробатов, и медведей на велосипедах, и жонглёров, которые жонглировали тарелками, и эквилибристов, которые подбрасывали и вертели ногами какие-то разноцветные деревянные тумбы. Но больше всего мне понравилась учёная собака, которая умела считать. Ей покажут цифру три — собака пролает три раза, покажут цифру пять — собака пролает пять раз. И ещё там был клоун в клетчатых брюках и рыжем пиджаке. У него был большой красный нос. Он выступал и после жонглёров, и после эквилибристов, и после наездников, и после акробатов и делал всё то же, что и они, только гораздо хуже. Словом, это был такой человек: он всё пытался делать, но ничего у него не выходило. Он только людей даром смешил.

Когда представление окончилось, мне было так жалко уходить из цирка, так жалко, что и сказать нельзя!

На другой день я зашёл к Шишкину, чтоб узнать, чем кормить ежа, потому что ёж раздумал погружаться в спячку. Ночью он проснулся и принялся бродить по комнате, шуршал какими-то бумажками и никому не давал спать. Когда я пришёл, то увидел, что Шишкин лежит на полу посреди комнаты, ноги задрал кверху, а в руках у него чемодан.

— Ты чего на полу валяешься? — спрашиваю я.

— Это я решил делаться эквилибристом, — говорит он. — Сейчас буду вертеть чемодан ногами.

Он поднял чемодан руками и старался подхватить его ногами, но это ему никак не удавалось.

— Мне бы, — говорит, — его только ногами подхватить. Ну-ка, помоги, возьми чемодан и положи мне на ноги.

Я взял чемодан и положил ему на ноги. Некоторое время он держал его на вытянутых ногах, потом стал потихоньку поворачивать, но тут чемодан соскользнул и полетел на пол.

— Нет, — говорит Шишкин. — Так ничего не выйдет. Надо разуться, а то ботинки слишком скользкие.

Он снял ботинки, снова лёг на спину и поднял ноги кверху. Я опять положил ему чемодан на ноги.

— Вот теперь, — говорит, — совсем другое дело!

Он опять стал пытаться повернуть его ногами, но тут чемодан снова полетел вниз и больно стукнул его по животу, Шишкин схватился за живот и заохал.

— Ох, ох! — говорит. — Так и убиться можно! Этот чемодан слишком тяжёлый. Лучше я что-нибудь другое буду вертеть, полегче.

Стали мы искать что-нибудь другое, полегче. Ничего не нашли. Тогда он снял с дивана подушку, свернул её, как будто трубку, и обвязал потуже верёвкой, словно любительскую колбасу.

— Ну вот, — говорит, — подушка мягкая, если и упадёт, то не ударит больно.

Он снова лёг на пол, и я подал ему эту «колбасу» на ноги. Он опять попробовал её вертеть, но у него всё равно ничего не вышло.

— Нет, — сказал он, — лучше я сначала буду учиться ловить её ногами, как тот эквилибрист в цирке. Ты бросай её издали, а я буду подхватывать её на ноги.

Я взял подушку, отошёл в сторону — и как брошу! Подушка полетела, но не попала ему на ноги, а попала по голове.

— Ах ты, растяпа! — закричал Шишкин. — Не видишь, куда бросаешь? На ноги надо бросать!

Тогда я взял подушку и бросил ему на ноги. Костя задрыгал ногами, но всё-таки не смог её удержать. Так я бросал подушку раз двадцать, и ему удалось один раз её подхватить ногами и удержать.

— Видал? — закричал он. — Прямо как у настоящего эквилибриста вышло!

Я тоже решил попробовать, лёг на спину и стал ловить подушку ногами. Только мне ни разу не удалось её поймать. Наконец я выбился из сил. Спина у меня болела, будто на мне кто-нибудь верхом ездил.

— Ну ладно, — говорит Шишкин. — На сегодня упражнений с подушкой довольно. Давай упражняйся со стульями.

Он сел на стул и стал постепенно наклонять его назад, чтоб он стоял только на двух задних ножках. Вот он наклонял его, наклонял, наконец стул опрокинулся, Шишкин полетел на пол и больно ушибся. Тогда я стал пробовать, не получится ли что-нибудь у меня. Но у меня получилось то же самое. Я полетел вместе со стулом на пол и набил на затылке шишку.

— Нам ещё, видно, рано такие упражнения делать, — сказал Костя. — Давай лучше учиться жонглировать.

— Чем же мы будем жонглировать?

— А тарелками, как жонглёры в цирке.

Он полез в шкаф и достал две тарелки.

— Вот, — говорит. — Ты бросай мне, а я тебе. Как только я брошу свою тарелку, ты сейчас же бросай свою мне, а мою лови, а я твою буду ловить.

— Постой, — говорю, — мы ведь сразу разобьём тарелки и ничего не выйдет.

— Это правда, — говорит он. — Давай вот что: будем сначала одной тарелкой жонглировать. Когда научимся как следует одну ловить, начнём двумя, потом тремя, потом четырьмя, и так у нас пойдёт, как у настоящих жонглёров.

Мы стали бросать друг другу одну тарелку и сейчас же разбили её. Потом взяли другую и тоже разбили.

— Нет, это не годится, — сказал Шишкин. — Так мы перебьём всю посуду, и ничего не выйдет. Надо достать что-нибудь железное.

Он разыскал на кухне небольшой эмалированный тазик. Мы стали жонглировать этим тазиком, но нечаянно попали в окно. Ещё хорошо, что мы совсем не высадили стекло, на нём только получилась трещина.

— Вот так неприятность, — говорит Костя. — Надо что-нибудь придумать.

— Может быть, заклеить трещину бумагой? — говорю я.

— Нет, так ещё хуже будет. Давай вот что: вынем в коридоре стекло и вставим сюда, а это стекло вставим в коридоре. Там никто не заметит, что оно с трещиной.

Мы отковыряли от окна замазку и стали вытаскивать стекло с трещиной. Трещина увеличилась, и стекло распалось на две части.

— Ничего, — говорит Шишкин. — В коридоре может быть стекло из двух половинок.

Потом мы пошли и вынули стекло из окна в коридоре, но это стекло оказалось немного больше и не влезало в оконную раму в комнате.

— Надо его подрезать, — сказал Шишкин. — Не знаешь, у кого-нибудь из ребят есть алмаз?

Я говорю:

— У Васи Ерохина есть, кажется.

Пошли мы к Васе Ерохину, взяли у него алмаз, вернулись обратно и стали искать стекло, но его нигде не было

— Ну вот,— ворчал Шишкин. — Теперь стекло потерялось!

Тут он наступил на стекло, которое лежало на полу. Стекло так и затрещало.

— Это какой же дурак стекло положил на пол?—закричал Шишкин,

— Кто же его положил? Ты же и положил,— говорю я.

— А разве не ты?

— Нет,— говорю,— я к нему и не прикасался. Не нужно тебе было его на пол класть, потому что на полу оно не видно, и на него легко наступить.

— Чего ж ты мне этого не сказал сразу?

— Я и не сообразил тогда.

— Вот, из-за твоей несообразительности мне теперь от мамы нагоняй будет. Что теперь делать? Стекло разбилось на пять кусков. Лучше мы его склеим и вставим обратно в коридор, а сюда вставим то, что было, всё-таки меньше кусков получится.

Мы начали вставлять стекло из кусков в коридоре, но куски не держались. Мы пробовали их склеивать, но было холодно и клей не застывал. Тогда мы бросили это и стали вставлять стекло в комнате из двух кусков, но Шишкин уронил один кусок на пол и он разбился вдребезги. Как раз в это время вернулась с работы мать. Шишкин стал ей рассказывать, что тут у нас случилось.

— Ты прямо хуже маленького! — сказала мать. — Тебя страшно одного оставлять дома. Того и гляди чего-нибудь натворишь!

— Я вставляю. вот увидишь,— говорил Шишкин. — Я всё из кусочков сделаю.

— Ещё чего нехватало! Из кусочков! Придётся позвать стекольщика. А это ещё что за осколки? Ты и тарелку разбил?

— Две,— сказал Шишкин.

— О-о-о! — только сказала мама.

Она закрыла глаза и приложила обе руки к вискам, будто у неё заболела вдруг голова. Потом она опустила руки и сказала:

— Убери это сейчас же — и марш заниматься. Уроки, небось, и не думал учить!

Мы с Костей собрали с полу осколки и отнесли их в мусорный ящик.

— У тебя мама добрая,— сказал я Косте. — Если бы я такого натворил дома, то разговору было бы на целый день.

— Не беспокойся, ещё разговор будет. Вот подожди, скоро придёт тётя Зина, она мне намылит голову. Ещё и тебе попадёт.

Я не стал дожидаться прихода тёти Зины и поскорее ушёл домой.

На другой день я встретил Шишкина на улице утром, и он сказал, что не пойдёт в школу, а пойдёт в амбулаторию, потому что ему кажется, будто он болен. Я пошёл в школу, и когда Ольга Николаевна спросила, почему нет Шишкина, я сказал, что он сегодня, наверно, не придёт, так как я его встретил на улице и он сказал, что идёт в амбулаторию.

— Проведай его после школы,— сказала Ольга Николаевна.

В классе в этот день у нас был диктант. После школы я сделал сначала уроки, а потом пошёл к Шишкину. Его мама уже вернулась с работы. Шишкин увидел меня и стал делать какие-то знаки: прижимать палец к губам, мотать головой. Я понял, что мне нужно о чём-то молчать, и вышел с ним в коридор.

— Ты не говори маме, что я не был сегодня в школе, — сказал он.
 — А почему ты не был? Что тебе в амбулатории сказали?
 — Ничего не сказали.
 — Почему?
 — Да там врач какой-то бездушный. Я ему говорю, что я болен, а он говорит: «Нет, ты здоров». Я говорю: «Я сегодня так чихал, что у меня чуть голова не оторвалась», а он говорит: «Почихаешь и перестанешь».

— А может, ты и на самом деле не был болен?

— Да, ну конечно, не был.

— Зачем же в амбулаторию пошёл?

— Ну, я утром сказал маме, что болен, а она говорит: «Если болен, то иди в амбулаторию, а я больше не буду тебе в школу записок писать, ты и так много пропустил».

— Зачем же ты сказал маме, что болен, если вовсе не болен? — говорю я.

— Ну, как ты не понимаешь! Ведь Ольга Николаевна сказала, что сегодня будет диктант. Чего же я пойду? Очень мне интересно опять получить двойку.

— Что же ты теперь будешь делать? Ведь завтра Ольга Николаевна спросит, почему ты не пришёл в школу.

— Не знаю, что и делать! Я, наверно, и завтра не пойду в школу, а если Ольга Николаевна спросит, ты скажи, что я заболел.

— Слушай, — говорю я. — Это ведь глупо. Лучше ты признайся маме и попроси, чтоб она написала записку.

— Ну, уж не знаю... Мама сказала, что больше не будет писать никаких записок, чтоб я не приучался прогуливать.

— Что же, — говорю я, — если такой случай вышел. Ты и завтра не пойдёшь и послезавтра. Что же это получится? Скажи маме, она поймёт.

— Ну ладно, я скажу, если смелости хватит.

На следующий день он снова не пришёл в школу, и я понял, что у него нехватило смелости признаться маме. Когда Ольга Николаевна спросила меня о Шишкине, я сказал, что он болен, а когда она спросила, чем он болен, я придумал, что у него грипп.

Вот как по милости Шишкина я сделался обманщиком, но тогда я ещё не понимал, что поступил плохо, а воображал, что выручил товарища из беды, и думал, что поступил хорошо.

Глава двенадцатая

После занятий я пришёл к Шишкину и рассказал, что мне пришлось из-за него Ольге Николаевне соврать, а он стал рассказывать, как таскался целое утро по городу, вместо того, чтоб пойти в школу, потому что он побоялся признаться маме, а без записки тоже не мог явиться в школу.

— Что же ты будешь делать? — спрашиваю я. — Ты и сегодня не скажешь маме?

— Не знаю. Я вот что думаю, лучше я в цирк поступлю.

— Как в цирк? — удивился я.

— Ну, поступлю в цирк и буду артистом.

— Что же ты будешь делать в цирке?

— Ну, что? Что и все артисты делают. Выучу Лобзика считать и буду с ним выступать, как та артистка.

— А вдруг тебя не возьмут?

— Возьмут.

— А как же со школой?

— В школу совсем не буду ходить. Только ты, пожалуйста, не выдавай меня Ольге Николаевне, будь другом!

— Так мама ведь всё равно в конце концов узнает, что ты в школу не ходишь.

— Ну, пока она не узнает, а потом, когда я поступлю в цирк, я сам ей скажу, и всё в порядке будет.

— А вдруг тебе не удастся выучить Лобзика?

— Почему не удастся? Удастся. Вот мы сейчас попробуем. Лобзик! — закричал он.

Лобзик подбежал и принялся юлить вокруг.

Шишкин достал из буфета сахарницу и сказал:

— Сейчас, Лобзик, ты будешь учиться считать. Если будешь считать хорошо, получишь сахар. Будешь плохо считать — ничего не получишь.

Лобзик увидел сахарницу и облизнулся.

— погоди облизываться. Облизываться будешь потом.

Шишкин вынул из сахарницы десять кусков сахара и сказал:

— Будем сначала учиться считать до десяти, а потом и дальше пойдём. Вот у меня десять кусков сахара. Смотри, я буду считать, а ты постарайся запомнить.

Он начал выкладывать перед Лобзиком на табурет куски сахара и громко считал: «Один, два, три...» И так до десяти.

— Вот видишь, всего десять кусков. Понял?

Лобзик завил хвостом и потянулся к сахару. Костя щёлкнул его по носу и сказал:

— Научись сначала считать, а потом тянись к сахару.

Я говорю:

— Как же он может научиться сразу до десяти? Этому и ребята не сразу учат.

— Тогда, может, научить его сначала до пяти или до трёх?

— Конечно, -- говорю. — До трёх ему будет легче.

— Ну, давай тогда сначала до двух, — говорит Костя. — Ему тогда совсем легко будет.

Он убрал со скамейки весь сахар и оставил только два кусочка.

— Смотри, Лобзик, сейчас здесь только два куса — один, два, вот видишь? Если я заберу один, то останется один. Если положу обратно, то опять будет два. Ну, отвечай, сколько здесь сахара?

Лобзик привстал, помахал хвостом, потом сел на задние лапы и облизнулся.

— Как же ты хочешь, чтоб он ответил, — сказал я. — Кажется, он у нас ещё говорить не выучился по-человечески.

— Зачем по-человечески, пусть говорит по-собачьи, как та собака в цирке. Гау! Гау! Понимаешь, Лобзик, гау-гау — это значит два. Ну, говори — гау-гау!

Лобзик молча поглядывал то на меня, то на Шишкина.

— Ну, чего ж ты молчишь? — сказал Шишкин. — Может быть, не хочешь сахару?

Вместо ответа Лобзик снова потянулся к сахару.

— Нельзя! — закричал Шишкин строго.

Лобзик в испуге попятился и принялся молча облизываться.

— Ну, говори: гау-гау! Говори: гау-гау! — приставали мы к нему оба.

— Не понимает! — воскликнул с досадой Шишкин. — Надо его как-нибудь раззадорить. Слушай, сейчас я буду дрессировать тебя, а он пусть смотрит и учится.

— Как это ты будешь дрессировать меня? — удивился я.
 — Очень просто. Ты становись на четвереньки и лай пс-собачьи. Он посмотрит на тебя и выучится.

Я опустился рядом с Лобзиком на четвереньки.

— Ну-ка, отвечай, сколько здесь сахару? — спросил меня Шишкин.

— Гау! Гау! — ответил я громко.

— Молодец! — похвалил меня Шишкин и сунул мне в рот кусок сахару.

Я принялся грызть сахар и нарочно громко хрустел зубами, чтоб Лобзiku стало завидно. А Лобзик с завистью смотрел на меня и у него даже потекли слюнки.

— Ну, смотри, Лобзик, теперь здесь остался один кусок сахару. Гау — один, понимаешь? Ну, отвечай, сколько здесь сахару?

Лобзик нетерпеливо фыркнул, зажмурился и стал стучать по полу хвостом.

— Ну, отвечай, отвечай, — твердил Шишкин.

Но Лобзик никак не мог догадаться, что ему нужно лаять.

— Эх, ты, бестолковый! — сказал ему Шишкин и снова обратился ко мне: — Ну, отвечай ты!

— Гау! — закричал я, и опять кусок сахару очутился у меня во рту. Лобзик только облизнулся и фыркнул.

— Сейчас мы его раззадорим, — сказал Шишкин.

Он снова положил на табурет кусок сахару и сказал:

— Вот, кто первый ответит, тот и получит сахар. Ну, считайте.

— Гау! — закричал я.

— Вот молодец, — похвалил Шишкин, — а ты остолоп!

Он взял кусок сахару, медленно поднёс к носу Лобзика, пронёс мимо и сунул мне в рот. Я опять громко зачавкал и захрустел сахаром. Лобзик облизнулся, чихнул и счужённо затряс головой.

— Ага, завидно стало! — обрадовался Шишкин. — Кто лает, тот и сахар получает, а кто не лает, тот сидит без сахару.

Он снова положил перед Лобзиком кусок сахару и сказал:

— Считай теперь ты.

Лобзик облизнулся, затряс головой, встал, потом сел, фыркнул.

— Ну, считай, считай, иначе не получишь сахару!

Лобзик как-то напрягся, подался назад и вдруг как залает.

— Понял! — закричал Шишкин и бросил ему кусок сахару.

Лобзик на лету подхватил сахар и проглотил в два счёта.

— Ну-ка, считай ещё раз! — закричал Шишкин.

— Гаф! — ответил Лобзик.

И снова кусок сахару полетел ему в рот.

— Ну-ка, ещё разочек!

— Гаф!

— Понял! — обрадовался Шишкин. — Теперь у нас пойдёт наука.

В это время вернулась мать Шишкина.

— Почему сахарница на столе? — спросила она.

— Это я взял немного сахару, чтоб выучить считать Лобзика.

— Ещё что выдумал!

— Да ты только послушай, как он умеет считать.

Шишкин положил перед Лобзиком кусок сахару и сказал:

— Ну-ка, покажи, Лобзик, маме, как ты умеешь считать.

— Гаф! — ответил Лобзик.

— И это всё? — спросила мама.

— Всё, — сказал Шишкин.

— Не многому же он у вас научился.

— А что ты хочешь? Ведь Лобзик не человек. Сейчас он научился до одного считать, потом мы научим его до двух, затем — до трёх, а там, глядишь, он и все цифры выучит.

— Глядишь, придётся мне от тебя сахарницу прятать, — сказала мама.

— Я ведь не для себя беру, — обиделся Шишкин. — Я для науки.

— Для науки! — усмехнулась мама. — А свои уроки ты сделал?

— Нет ещё, сейчас буду делать.

— Ты ведь обещал, что к моему приходу у тебя всегда будут уроки сделаны.

— Будут, будут! Это я только сегодня забыл из-за Лобзика.

— Ну смотри же! Если не будешь уроки делать во-время, то не разрешу тебе брать сахар, и сахарницу спрячу.

Мы с Костей засели делать уроки вместе, потому что он ведь даже не знал, что задано, а потом стали продолжать обучение Лобзика.

— Надо учить его не только сахар считать, а чтоб он понимал цифры, — сказал Костя.

Мы взяли кусочек картона, написали на нём цифру «один» и показали Лобзику.

— Вот это, Лобзик, цифра один. Всё равно, что один кусок сахара, — сказал Шишкин. — Ну, говори, какая это цифра?

— Гаф! — ответил Лобзик.

— Молодец! Это он сразу понял, — обрадовался Шишкин. — Теперь перейдём к цифре два.

Он положил перед Лобзиком два куска сахара и сказал:

— Считай!

— Гаф! — ответил Лобзик.

— Неправильно! Ты говоришь — один, а тут два. Что нужно ответить?

— Гаф! — снова ответил Лобзик.

— Гаф! — передразнил его Костя. — Где же тут «гаф», когда здесь «гаф-гаф»? У тебя на плечах что, голова или кочан капусты?

— Гаф! — ответил Лобзик.

— Заладила сорока Якова, твердит про всякого! Где ты тут видишь один? — закричал Шишкин.

Лобзик в испуге даже попятился.

— Ты не кричи, — говорю я. — С собакой надо вежливо обращаться, потому что она будет бояться и ничему не научится.

Шишкин снова принялся объяснять Лобзику, что один — это один, а два — это два.

— Ну, считай, — приказал он ему.

— Гаф, — снова тявкнул Лобзик.

— Ещё раз! Ещё! — подсказал я.

Лобзик покосился на меня. Я закивал головой и заморгал глазами. Тогда он несмело тявкнул ещё раз.

— Вот теперь — два! — обрадовался Шишкин и бросил ему кусок сахара. — Ну-ка, считай ещё раз.

Лобзик снова пролаял один раз.

— Ещё раз! Ещё! — зашептал я снова.

— А ты не подсказывай ему! — говорит Шишкин. — Он сам должен знать. Отвечай, Лобзик!

Лобзик пролаял ещё раз.

— Правильно! — сказал Шишкин. — Только ты должен лаять два раза подряд.

Он снова заставил его считать. Лобзик и на этот раз пролаял раз,

а потом увидел, что мы от него ещё чего-то ждём, и пролаял во второй раз. Постепенно мы добились, чтоб он лаял два раза подряд, и перешли к цифре три. Занятия пошли так успешно, что в этот день мы выучили все цифры до десяти, но когда стали на другой день повторять, то оказалось, что у Лобзика всё в голове перепуталось. Когда показывали ему цифру три, он отвечал, что это четыре, или пять, или десять. Когда показывали десять, он говорил, что это два, короче говоря, молол разную чепуху. Костя злился, кричал на Лобзика и воображал, что это он назло ему отвечает неправильно. Иногда Лобзик отвечал правильно, но, наверно, это получалось случайно, а Костя говорил:

— Вот видишь, ответил правильно, — значит знает, какая это цифра, а спроси его в другой раз, ни за что не ответит.

Он подозревал, что Лобзику просто надоело учиться, и он нарочно даёт неправильные ответы, чтоб к нему не приставали. Вот, например, Костя показывает ему цифру пять, а Лобзик отвечает, что это четыре.

— Да не четыре, Лобзик, посмотри хорошенько, — говорит ласково Костя.

Лобзик снова отвечает, что это четыре.

— Ну, не глупи, Лобзик, ты же сам видишь, что это не четыре, — уговаривает его Костя.

— Четыре, — упрямо твердит Лобзик.

— Дурак! — начинает сердиться Костя. — Считаю правильно, тебе говорят!

— Четыре, — отвечает Лобзик.

— Вот я дам тебе четыре раза по шее, тогда узнаешь, как злить человека. Вот скажи ещё раз четыре, я тебе покажу!

— Четыре, — опять повторяет Лобзик.

— Ты видишь, что он со мной делает! — кипятится Костя.

Он берёт цифру четыре и показывает Лобзику:

— Ну, а это, по-твоему, какая цифра?

Лобзик отвечает, что это пять.

— Вот видишь! — кричал Костя. — Когда ему показывали пять, так он всё время твердил, что это четыре, а когда показали четыре, он заявляет, что это пять. А ты говоришь, что он это не назло мне делает! Я знаю, почему он на меня злится. Утром я нечаянно наступил ему на лапу, так он запомнил и теперь мстит мне.

Я не знал, хитрил Лобзик или не хитрил, но было ясно, что из нашей дрессировки никакого толку не вышло. Может быть, мы с Шишкиным были плохие учителя, а может быть, сам Лобзик был никудышный ученик, неспособный к арифметике.

Глава тринадцатая

Костины мама и тётя вовсе не догадывались, что он в школу не ходит. Когда мама приходила с работы, она первым делом проверяла его уроки, а у него всё оказывалось сделано, потому что каждый раз я приходил к нему и говорил, что задано. Шишкин так боялся, чтоб мама не догадалась о его проделках, что стал делать уроки даже исправнее, чем когда ходил в школу. Утром он брал сумку с книжками и вместо школы отправлялся бродить по городу. Дома он не мог оставаться, так как тётя Зина занималась во второй смене и уходила в училище поздно. Но шататься без толку по улицам тоже было опасно. Однажды он чуть не встретился с нашей учительницей английского языка и поскорей свернул в переулок, чтоб она не увидела его. В другой раз он увидел на улице соседку и спрятался от неё в чужое парад-

ное. Он стал бояться ходить по улицам и забирался куда-нибудь в самые отдалённые кварталы города, чтоб не встретить кого-нибудь из знакомых. Ему всё время казалось, что все прохожие на улице смотрят на него и подозревают, что он нарочно не пошёл в школу. Дни в это время были морозные и шататься по улицам было холодно, поэтому он иногда заходил в какой-нибудь магазин, отогревался немножко, а потом шёл дальше.

Я чувствовал, что всё это получилось как-то нехорошо, и мне было не по себе. Шишкин ни на минуту не выходил у меня из головы. В классе пустое место за нашей партией всё время напоминало мне о нём. Я представлял себе, как он крадётся по городу совсем один, точно вор, как он прячется от людей в чужие подъезды, как заходит в какой-нибудь магазин, чтобы согреться. От этих мыслей я стал рассеянным в классе и плохо слушал уроки. Дома я тоже всё время думал о нём. Ночью никак не мог уснуть, потому что мне в голову лезли разные мысли, и я старался найти для Шишкина какой-нибудь выход. И главное, мне посоветоваться было не с кем. Я боялся доверить ребятам тайну Шишкина, так как он просил меня никому не говорить, а у меня такой характер: раз что обещал товарищу, то выполняю, хоть с меня кожу сдери. Мне всё время хотелось посоветоваться с мамой, но я боялся, что мама сообщит сейчас же об этом в школу — и тогда всё пропало. А мама и сама уже заметила, что со мной что-то неладное творится. Она так внимательно поглядывала на меня иногда, будто знала, что я о чём-то хочу поговорить с ней. Мама всегда знает, когда мне нужно что-то сказать ей, но она никогда не требует, чтоб я говорил, а ждёт, чтоб я сам сказал. Она говорит: если что-нибудь случилось, то гораздо лучше, если я сам признаюсь, чем если меня заставят это сделать. Не знаю, как это мама догадывается. Наверно, у меня просто лицо такое, что на нём всё как будто написано, что у меня в голове. И вот однажды я так сидел и всё поглядывал на маму и думал: сказать ей или не сказать, а мама тоже, нет-нет да и взглянет на меня, будто ждёт, чтоб я сказал. И мы долго так переглядывались с ней и оба только делали вид: я — будто книжку читаю, а она — будто рубашку шьёт. Это, наверно, было бы смешно, если бы мне в голову не лезли грустные мысли о Шишкине. Наконец-таки мама не вытерпела и, усмехнувшись, сказала:

— Ну, докладывай, что у тебя там?

— Как это, докладывай? — притворился я, будто не понимаю.

— Ну, говори, о чём хочешь сказать.

— О чём же я хочу сказать? Ни о чём я не хочу сказать, — стал я выкручиваться, а сам уже чувствую, что сейчас же обо всём расскажу, и рад, что мама сама об этом заговорила, потому что легче сказать, когда тебя спрашивают, чем когда не спрашивают вовсе.

— Будто я не вижу, что ты о чём-то хочешь сказать. Ты уже три дня ходишь как в воду опущенный и воображаешь, что никто этого не замечает. Ну, говори, говори! Всё равно ведь скажешь. Что-нибудь в школе случилось?

— Нет, не в школе, — говорю. — Да нет, — говорю, — в школе.

— Что, опять, небось, получил двойку?

— Ничего я не получил.

— Что же с тобой случилось?

— Да это не со мной вовсе. Со мной ничего не случилось.

— С кем же?

— Ну, с Шишкиным.

— А с ним что же?

— Да не хочет учиться.

— Как, не хочет?

— Ну, не хочет и всё!

Тут я увидел, что проговорился, и подумал: «Батюшки, что же я делаю? А вдруг мама завтра же пойдёт в школу и скажет учительнице!»

— Что же, Шишкин уроков не делает? — спросила мама. — Двойки получает?

Я увидел, что не совсем ещё проговорился, и сказал:

— Не делает. По русскому у него двойка. Совсем не хочет по русскому учиться. У него с третьего класса запущено.

— Как же он в четвёртый-то класс перешёл?

— Ну, не знаю, — говорю. — Он к нам из другой школы перевёлся. В третьем классе у нас не учился.

— Почему же учительница не обратит на него внимания? Его подтянуть надо.

— Так он, — говорю, — хитрый, как лисица! Что на дом задано, спит, а когда в классе диктант или сочинение, не придёт вовсе, вот Ольга Николаевна, может быть, и думает, что у него не так уж и плохи дела.

— Но ты-то знаешь, что у него дела плохи?

— Знаю, — говорю.

— Вот и занялся бы с ним. Ведь думаешь о товарище, огорчаешься из-за него, а помочь не хочешь.

— Поможешь, — говорю, — ему, когда он сам не хочет заниматься.

— Ну, ты растолкуй ему, что учиться надо, подействуй на него. Взрослых он может быть, и не послушается, а своего товарища послушается. Бывают такие ребята. Ты вот сумел взяться за дело сам, а ему помощь нужна. Попадётся ему хороший товарищ, и он выправится, и из него настоящий человек выйдет.

— Разве я ему плохой товарищ? — говорю я.

— Значит не плохой, если думаешь о нём.

Мне стало очень стыдно, что я не сказал маме всей правды, поэтому я поскорей оделся и пошёл к Шишкину, чтоб поговорить с ним как следует.

Странное дело! Почему-то именно в эти дни я по-настоящему подружился с Шишкиным и по целым дням думал о нём. Шишкин тоже изо всех сил привязался ко мне. Он скучал по школьным товарищам и говорил, что теперь, кроме меня, у него никого не осталось.

— Может быть, лучше признаться маме да итти в школу, — сказал я ему.

— Нет, нет! Я не могу! Теперь я уже столько прогулял. Мама как узнает, так я не знаю, что с нею будет. Шуточка — дело! Если б я один день прогулял.

— Тогда, может быть, рассказать Ольге Николаевне и посоветоваться с ней? — предложил я.

— Нет, мне стыдно говорить Ольге Николаевне.

— Ну, если тебе стыдно, то, может быть, я расскажу ей?

— Ты? Выдавать меня пойдёшь? Знать тебя не хочу больше!

— Зачем, — говорю, — выдавать. Вовсе я не собираюсь тебя выдавать. Ты сам говоришь, что тебе стыдно, ну, я бы и сказал, чтоб тебе стыдно не было.

— Стыдно не было, — передразнил меня Шишкин. — Да мне в двадцать раз стыдней будет, если ты скажешь. Молчал бы лучше, если ничего не можешь придумать умней.

— Что же делать? — говорю я. — С Лобзиком ничего не вышло. В цирк тебе всё равно не поступить. Или ты, может быть, ещё надеешься Лобзика выучить?

— Нет, на него я не надеюсь. По-моему, Лобзик — это или отчаянный плут или круглый осёл. Всё равно из него никакого толку не будет. Мне надо другую собаку достать. Или вот что: лучше я акробатом стану.

— Как же ты акробатом станешь?

— Ну, буду кувыркаться и на руках ходить. Я уже пробовал и у меня немножко получается, только я не могу всё время вверх ногами стоять. Надо, чтоб сначала меня кто-нибудь за ноги держал, а потом я и сам смогу. Вот поддержи меня за ноги, я попробую.

Он встал на четвереньки, я поднял его за ноги кверху, и он стал ходить на руках по комнате, но скоро руки у него устали и подогнулись. Он упал и стукнулся головой о пол.

— Это ничего, — сказал Шишкин, поднявшись и потирая ушибленную голову. — Постепенно руки у меня окрепнут, и тогда я смогу ходить без посторонней помощи.

— Но ведь на акробата долго учиться надо, — говорю я.

— Ничего, скоро зимние каникулы. Я как-нибудь дотяну до каникул.

— А после каникул что будешь делать? Ведь зимние каникулы скоро кончатся.

— Ну, а там как-нибудь дотяну до летних каникул.

— Это долго тянуть придётся.

— Ничего, — говорит.

Странный это был человек. На всё у него был один ответ: «Ничего». Стоило ему придумать какое-нибудь дело, и он уже воображал, что дело сделано. Но я-то видел, что всё это пустая затея и все его мечты через несколько дней разлетятся как дым.

В школе я говорил всем, что Шишкин болен, и вот всё наше звено решило навестить больного товарища. Сейчас же после уроков я помчался к Шишкину, чтоб предупредить его. Прибегаю к нему, он увидел меня и говорит:

— Знаешь, я могу уже вверх ногами стоять. Нужно встать у стенки, перевернуться и держаться ногами за стенку.

— Некогда, — говорю, — сейчас вверх ногами стоять. Ложись скорее в постель.

— Зачем?

— Ну, ты ведь болен.

— Как болен?

— Да я ведь всем говорил в школе, что ты болен. Сам ведь просил.

— Ну, просил.

— А теперь вот сейчас к тебе ребята придут.

— Да что ты!

Тут он моментально нырнул в постель, как был, в одежде, в ботинках, и накрылся одеялом.

— Что же мне говорить ребятам? — спрашивает.

— Что ж говорить? Говори, что болен. Больше говорить нечего.

Скоро пришли ребята. Они разделись в коридоре и вошли в комнату. Шишкин натянул одеяло до самого подбородка и с беспокойством поглядывал на ребят.

Ребята говорят:

— Здравствуй, Шишкин!

— Здравствуйте, ребята! — говорит он.

А голос у него такой слабый-слабый! Ну, прямо настоящий больной!

— Вст зашли тебя навестить, — сказал Юра.

— Спасибо, ребята, садитесь.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил Ваня.

- Да так...
- Лежишь?
- Лежу вот.
- Скучно тебе, небось, лежать всё время? — спрашивает Лёня.
- Скучно.
- Ты один весь день?
- Один. Мама на работе. Тётя в училище.
- Мы теперь будем к тебе приходить почаще. Ты извини, что мы не приходили, думали, что ты скоро выздоровеешь и сам придёшь.
- Ничего, ребята, ко мне Витя каждый день приходит.
- Мы к тебе тоже будем каждый день приходить, хочешь? — предложил Слава.
- Хочу, — говорит Шишкин.
- Не мог же он сказать — не хочу.
- А что у тебя болит? — спросил Юра.
- Всё болит, и руки и ноги...
- Что ты? И даже ноги?
- Да. И голова.
- И что? Всё время болит?
- Нет, не всё. То пройдёт, пройдёт, а потом как заболит, заболит!
- У нас в квартире у одного мальчика тоже вот так всё болело. У него ревматизм был, — говорит Вася Ерохин. — Может быть, и у тебя ревматизм?
- Может быть, — говорит Шишкин.
- А доктор что говорит? — спросил Ваня.
- Ну, что он говорит?.. Что ему говорить? Ну, высунь язык, говорит. Скажи «а», говорит.
- А чем тебя лечат?
- Лекарством.
- Каким?
- Не знаю как называется. Микстура.
- Горькая или сладкая?
- Горькая, — сказал Шишкин и скорчил такую физиономию, будто на самом деле микстуры попробовал.
- Когда я был больной, мне тоже микстуру давали. Ох, и горькую! Я не хотел пить, — сказал Дима Балакирев.
- Я тоже не хочу.
- Нет, ты лучше пей, скорее поправишься.
- Я и то пью.
- Это ничего, что горькая, — сказал Лёня. — Ты выпей микстуры, а потом ложку сахару в рот.
- Хорошо.
- А об уроках не беспокойся. Вот начнёшь поправляться, мы тебе будем уроки носить и будем помогать учиться. Ты нагонись.
- Ничего, нагоню, — говорит Шишкин.
- Тут я заметил, что из-под одеяла высовывается нога Шишкина в ботинке. Я испугался. Думаю, вдруг кто-нибудь из ребят заметит. Но ребята разговаривали с ним и не замечали ботинка. Я подошёл потихоньку и накрыл одеялом ботинок.
- Ну, ребята, — говорю. — Он пока ещё слабый, так что вы не утомляйте его. Идите себе домой.
- Ребята стали прощаться:
- Ну, до свиданья. Выздоровливай, поправляйся. Мы к тебе завтра зайдём.
- Ребята ушли. Шишкин вскочил с постели и запрыгал по комнате.

— Вот как всё хорошо вышло! — закричал он. — Никто не догадался. Всё в порядке!

— Да, — говорю, — в порядке. Теперь ребята будут приходить каждый день.

— И что ж, пусть приходят. Я очень рад. Я уж по ним соскучился.

— Соскучился, — говорю, — а сам в постель прятаться.

— Ну и что ж, и буду прятаться. Ничего.

— Вот и будешь всё утро по улицам шататься, а остальную часть дня будешь в постели валяться, разыгрывать больного.

— Ничего.

— У тебя всё ничего, а тут из-за тебя волнуйся. Хоть бы накрылся как следует, а то лежит, ногу в ботинке выставил. Хорош больной!

— Ничего. В следующий раз я аккуратней буду. Вот посмотри, как я научился вверх ногами стоять.

Он подошёл к стенке и встал вверх ногами.

— Заметь по часам, сколько я буду на руках стоять, — сказал он мне.

Тут отворилась дверь и вошёл Лёня.

— Послушай, — говорит, — я перчатки забыл... А это что? Послушай, ты чего вверх ногами стоишь?

Шишкин вскочил на ноги и растерянно остановился.

— Так вот ты какой больной! — воскликнул Лёня.

— Честное слово, больной, — сказал Шишкин и покраснел как варёный рак.

Он заохал и заковылял к постели.

— Брось притворяться! Говорил руки-ноги болят, а сам тут вверх ногами ходишь.

— Честное слово, болят!

— Ну, не ври, не ври! И когда ты успел одеться? Ты, значит, одетый в постели лежал?

— Ну ладно, я тебе открою секрет, только ты поклянись, что никому не скажешь.

— Зачем я буду клясться?

— Ну, тогда я ничего не скажу.

— Ладно, клянусь.

— Я, понимаешь, не больной вовсе. Я решил циркачом стать.

— Как циркачом?

— Поступлю в цирк и буду цирковым акробатом.

— Ты что, рехнулся?

— И ничуть не рехнулся.

— Кто же тебя возьмёт в цирк?

— А откуда, ты думаешь, цирковые артисты берутся?

— Почему же ты в школу не ходишь?

— Не хочу больше учиться. Я и так уже всё знаю.

— Как, всё?

— Ну всё, что нужно цирковому артисту.

— Что же ты думаешь, цирковой артист может неучем быть?

— Зачем неучем? Кое-чему я уже выучился.

— Где же ты будешь учиться на акробата?

— Сам буду, дома.

— Будто нельзя в школу ходить и учиться на акробата?

— Нельзя. Акробату надо развивать мускулы, а школа засоряет мозги.

— Ещё что выдумал! Надо сначала окончить школу, а потом итти учиться на акробата. Ты бы сначала посоветовался с Ольгой Николаевной.

- Будто я не знаю, что Ольга Николаевна скажет.
 — А зачем ты скрываешь? Если дело хорошее, то и скрывать нечего.
 Тут мы увидели, что Лёня не отстанет от нас, и рассказали ему всё без утайки.
 — Да, сложное у тебя положение! — сказал ему Лёня.
 — Только ты не выдавай меня -- ты ведь честное слово дал, — сказал Шишкин.
 — Зачем же я стану выдавать. Только, по-моему, тебе лучше вернуться в школу. Ты всё равно сам скоро увидишь, что не дело затеял.
 — Ну что ж, увижу, так вернусь.
 Когда Лёня ушёл, я сказал:
 — По-моему, это дело скоро наружу вылезет. Я чувствую.

Глава четырнадцатая

В тот же вечер ко мне пришли Толя Дёжкин и Игорь Грачёв и говорят:

- Послушай, Малеев, что это с нашим Шишкиным происходит?
 — Как, что происходит? Ничего не происходит. Человек болен.
 — Болен! Скажи лучше, что у него голова не в порядке.
 — Да, — говорю, — и голова, и ноги...
 — Ну, довольно тут про ноги рассказывать. Мы уже знаем, что он вовсе не болен.
 — А! — говорю. — Значит, вам Лёня уже всё рассказал. Вот какой он двуличный.
 — Почему двуличный?
 — А потому, что поклялся молчать, а сам сейчас же всё рассказал.
 — Что ж тут такого? Если б он учительнице рассказал. Он рассказал своим товарищам. Не каждый же такой скрытный, как ты.
 — Почему это я скрытный?
 — Потому что ты уже давно знаешь, почему Шишкин в школу не ходит, и никому из ребят ничего не сказал.
 — Как же я могу сказать, если Шишкин просил меня не говорить?
 — Вот вы и наделали со своим Шишкиным такого, что и не распутаешь.
 — Что же мы такого наделали? Что тут ещё распутывать?
 — А по-твоему, хорошо, что Шишкин в школу не ходит и обманывает родителей?
 — Каких, — говорю, — родителей? У него и родителей-то нет! Одна мать да ещё тётка.
 — Ну, мать, не всё ли равно. По-твоему, мать можно обманывать?
 — Да что вы ко мне пристали? — говорю я. — Будто это я свою мать обманываю.
 — Не ты, а Шишкин. А ты помогаешь ему.
 — Чем же я ему помогаю?
 — Тем, что скрываешь от всех, а в школе говоришь, что он болен, когда он вовсе не болен.
 — Чем же я виноват? Я ему сам говорил. Я ему каждый день твержу, что надо в школу вернуться.
 — А он что?
 — Не хочет. Да теперь ему и нельзя.
 — Почему?
 — Как же он пойдёт в школу? Прогулял целых пять дней. Ольга Николаевна скажет, чтоб он записку от матери принёс или справку из амбулатории. Где он возьмёт такую справку?
 — Ну, пусть мама напишет.

- Так мама ведь ничего не знает.
- Он должен сказать ей.
- А он не хочет. Боится.
- Всё равно мама когда-нибудь узнает, и тогда ещё хуже будет.
- Он совсем запустит уроки и останется на второй год.
- Но он ведь не хочет матери говорить.
- Мы знаем, что не хочет. Надо уговорить его.
- Вот и попробуйте, уговорите.
- Да мы уже уговаривали. Не хочет.
- А! — говорю. — Значит, вы уже были у него?
- Были.
- Чего ж вы ко мне пришли?
- Потому что ты дружишь с ним. Ты должен сказать ему, чтоб он вернулся в школу.
- Так он ведь меня не слушается.
- Ты поговори с ним серьёзно. Объясни ему, что если он тебя не послушает, то ты скажешь учительнице.
- Это чтоб я ещё учительнице стал ябедничать! — говорю я. — Небось, когда ты, Игорь, на стенке морячка нарисовал, тебя никто не выдал. И ты, Толя, тоже молчал.
- Тогда было другое дело, — говорит Толя. — А теперь, если мы будем молчать, то Шишкин с каждым днём всё больше и больше будет отставать от школы, и неизвестно, чем это всё кончится. Мы все, кто знает об этом, можем оказаться виноваты.
- Ну идите и говорите Ольге Николаевне. Почему я должен говорить?
- А потому, что ты с Шишкиным заодно. Это вы вместе придумали. Значит, если Шишкин не хочет признаться, то ты должен сделать это.
- И не стану я товарища выдавать, — ответил я.
- Вот завтра мы соберём сбор и поговорим об этом, — ответил Толя. — А ты пока подумай хорошенько, правильно ты поступаешь или нет.
- Толя и Игорь ушли. Тут Лика пришла откуда-то. Я спрашиваю:
- Слушай, Лика, у вас девочки выдают друг дружку?
- Как это выдают?
- Ну, если какая-нибудь ученица чего-нибудь натворит, то другая ученица скажет учительнице? Был у вас в школе такой случай?
- Был, — говорит Лика. — Недавно Петрова сломала на окне гортензию, а Антонина Ивановна подумала на Сидорову и хотела наказать её, сказала, чтоб родители пришли в школу. Но я видела, что это Петрова сломала гортензию, и сказала об этом Антонине Ивановне.
- Зачем же ты сказала? Значит, ты у нас ябеда!
- Почему ябеда? Я ведь правду сказала. Если б не я, Антонина Ивановна наказала бы Сидорову, которая совсем не виновата.
- Всё равно ябеда, — говорю я. — У нас ребята не выдают друг друга.
- Значит, ваши ребята сваливают один на другого.
- Почему сваливают?
- Ну, если б ты в классе сломал гортензию, а учительница подумала на другого...
- У нас, — говорю, — гортензии не растут. У нас в классе кактусы.
- Всё равно. Если бы ты сломал кактус, а учительница подумала на Шишкина. И все бы молчали, и ты бы молчал, значит, ты свалил бы на Шишкина.
- А у Шишкина разве языка нету? Он бы сказал, что это не он, — говорю я.

— Он мог сказать, а его всё-таки подозревали бы.

— Ну и пусть подозревали бы. Никто же не может доказать, что это он, раз это не он.

— У нас в школе не такой порядок, — говорит Лика. — Зачем нам, чтоб кого-нибудь напрасно подозревали. Если кто виноват, сам должен признаться, а если не признаётся, каждый имеет право сказать.

— Значит, у вас там все ябеды.

— Совсем не ябеды. Разве Петрова поступила честно? Антонина Ивановна хочет вместо неё другую наказать, а она сидит и молчит, рада, что на другую подумали. Если б я тоже молчала, значит я с ней заодно. Разве это честно?

— Ну ладно, — говорю я. — Этот случай совсем особенный. А не было у вас в школе такого случая, чтоб какая-нибудь девочка не являлась в школу, а дома говорила, что в школе была.

— Нет, у нас такого случая не было.

— Конечно, — говорю я. — Разве у вас, девчонок, такое может случиться! У вас там всё примерные ученицы.

— Да, — говорит Лика. — У нас класс хороший. А разве у вас был такой случай?

— Нет. У нас, — говорю, — нет. Такого случая ещё не было.

— А почему ты спрашиваешь?

— Так просто. Интересно узнать.

Я перестал разговаривать с Ликей и стал думать о том, что мне сказали Толя и Игорь. В голове у меня получилась какая-то путаница, и я совсем не понимал, что нужно делать. Почему-то я решил, что нужно пойти к Шишкину и поговорить с ним. Я совсем не знал, о чём буду говорить, но всё-таки пошёл, хотя уже было довольно поздно.

Когда я пришёл, Костя, его мама и тётя Зина сидели за столом и пили чай. Над столом горела электрическая лампочка под большим голубым абажуром, и от этого абажура вокруг было как-то сумрачно, как бывает летним вечером, когда солнышко уже зашло, но на дворе ещё не совсем стемнело. Все очень обрадовались моему приходу. Меня тоже усадили за стол и стали угощать чаем с баранками. Костина мама и тётя Зина принялись расспрашивать меня о моей маме и папе, о том где он работает и что делает. Костя молча слушал наш разговор. Он опустил в стакан с чаем половину баранки. Баранка постепенно разбухла в стакане и становилась всё толще и толще. Наконец она раздулась почти во весь стакан, а Костя о чём-то задумался и как будто совсем позабыл о ней.

— О чём это ты так задумался? — спросила его мама.

— Так просто. Я думаю о моём папе. Расскажи о нём что-нибудь.

— Что же рассказывать? Я тебе уже всё рассказывала.

— Ну, ты ещё расскажи.

— Вот любит, чтоб ему об отце рассказывали, а сам ведь и не помнит его, — сказала тётя Зина.

— Нет, я помню.

— Что же ты можешь помнить? Ты был грудным младенцем, когда началась война и твой папа ушёл на фронт.

— Вот помню, — упрямо повторил Шишкин. — Я помню: я лежал в своей кровати, а папа подошёл, взял меня на руки, поднял и поцеловал.

— Не можешь ты этого помнить, — ответила тётя Зина. — Тебе тогда три недели отроду было.

— Нет. Папа ведь приходил с войны, когда мне уже год был.

— Ну, тогда он забежал на минутку домой, когда его часть проходила через наш город. Тебе про это мама рассказывала.

— Нет, я сам помню, — обиженно сказал Костя. — Я спал, потом проснулся, а папа взял меня на руки и поцеловал, а шинель у него была такая шершавая и колючая. Потом он ушёл, и я больше ничего не помню.

— Ребёнок не может помнить, что с ним в год было, — сказала тётя Зина.

— А я помню, — чуть ли не со слезами на глазах сказал Костя. — Правда, мама, я помню? Вот пусть мама скажет!

— Помнишь, помнишь, — успокоила его мама. — Уж если ты запомнил, что шинель была колючая, значит всё хорошо помнишь.

— Конечно, — сказал Шишкин. — Шинель была колючая, и я помню и никогда не забуду, потому что это был мой папа, который на войне погиб.

Шишкин весь вечер был какой-то задумчивый. Я так и не поговорил с ним о чём хотел и скоро ушёл домой.

В эту ночь я долго не мог заснуть, всё думал о Шишкине. Как было бы хорошо, если бы он учился исправно, ничего бы такого с ним не произошло. Вот я, например: я ведь тоже неважно учился, а потом взял себя в руки и добился, чего хотел. Всё-таки мне было, конечно, легче, чем Шишкину. У меня есть отец. Я всегда люблю брать с него пример. Я вижу, с каким упорством он добивается чего-нибудь по своей работе, и тоже хочу быть таким, как он. А у Шишкина отца нет. Он погиб на войне, когда Костя был совсем маленьким. Мне очень хотелось посмотреть Косте, и я стал думать, что если бы начать с ним как следует заниматься, то он может выправиться по русскому языку и тогда учёба у него пойдёт успешно. Я размышлял об этом и решил, что буду заниматься с ним каждый день, но тут же вспомнил, что о занятиях нечего и мечтать, пока он не вернётся в школу. Я стал думать, как бы уговорить его, но мне стало понятно, что уговоры тут не помогут, так как Костя слабохарактерный и теперь уже не решится признаться матери. Я вспомнил, о чём говорили Игорь и Толя, и для меня стало ясно, что с Костей надо действовать твёрдо. Поэтому я решил зайти к нему завтра после школы и поговорить серьёзно. Если он не вернётся в школу по своей воле, то я сам скажу Ольге Николаевне и больше не буду его выгораживать. Вот что я ему скажу, и если он не поймёт, что это для его же пользы, то пусть обижается на меня. Ничего! Я перетерплю, а потом он сам увидит, что так нужно было сделать, и мы снова подружимся с ним. Как только я это решил, у меня на душе стало легче, и мне стало стыдно, что я до сих пор ничего не сказал маме. Я тут же хотел встать и рассказать обо всём, но было поздно и все уже давно спали.

На следующий день в классе уже все знали про Шишкина. Как только я пришёл в школу, на меня сейчас же набросился Юра.

— Что же ты, — говорит, — про Шишкина мне не сказал? В классе уже все знают, а я — звеньевой — и ничего не знаю.

— А кто тебе сказал? — спрашиваю.

— Толя. Да ещё укоряет! Ты, говорит, звеньевой, а не знаешь, что в твоём звене делается. А откуда я могу знать, если вы все молчите и от меня скрываете?

— И мне ничего не сказал, — говорит Глеб Скамейкин. — Мне-то, как старосте класса, ты мог сказать?

— Ну вот, — говорю, — Толя — председатель совета отряда, Юра — звеньевой, Глеб — староста класса, Шура — помощник старосты, что ж я всем должен был говорить, если Шишкин просил не говорить?

В общем в этот день у нас только и разговору было, что о Шишкине.

Одни говорили, что надо сказать Ольге Николаевне, другие говорили, что не надо говорить, третьи говорили, что надо сказать Шишкину, чтоб он сам в школу вернулся, четвёртые говорили, что это совсем какой-то случай особенный, и тут нельзя не сказать Ольге Николаевне, но нельзя и сказать, и что лучше, может быть, ничего не говорить, а сделать как-нибудь так, чтоб Ольга Николаевна сама догадалась. Словом, говорили, говорили, так ни до чего и не договорились, но я про себя уже твёрдо решил, что если Шишкин меня сегодня не послушается, то я завтра обязательно скажу Ольге Николаевне.

На первом уроке Ольга Николаевна, как всегда, спросила о Шишкине.

— Что-то Шишкин у нас долго болеет,— сказала она.— Ты, Малеев, навещаешь его? Как он себя чувствует?

— Да так,— замылся я.— Теперь он, кажется, хорошо чувствовать начинает.

— Если он немного поправился, то ему надо помочь, чтоб он не очень отстал. Надо, чтоб кто-нибудь из ребят носил ему уроки. Пусть он хоть понемногу занимается.

— Да он понемножечку занимается,— говорю я.

Тут Толя Дёжкин поднялся со своего места и сказал:

— Ольга Николаевна, это неправда!

— Что неправда?

— Он вовсе не болен.

— Как, не болен?

— Не болен, и всё!

— Почему же ты, Малеев, говоришь, что он болен? — спросила Ольга Николаевна меня.

От стыда я не знал, куда деваться.

— Почему же ты молчишь? Что с Шишкиным?

— Ничего,— пролепетал я.

— Почему он в школу не ходит?

— Боится.

— Чего он боится?

Заикаясь и путаясь, я объяснил, как он не пошёл в школу, когда был диктант, а потом боялся, что Ольга Николаевна спросит, почему он пропустил, и поэтому опять не пошёл в школу, а потом и вовсе решил не ходить.

— Значит, ты мне неправду сказал, что он болен? — спросила Ольга Николаевна.

— Это не я сказал. Это он сказал, чтоб я сказал. Я и сказал.

— Значит, он просил обмануть меня?

— Да.

— И ты обманул?

— Обманул.

— И ты думаешь, хорошо сделал?

— Но ведь он просил меня.

— Ты думаешь, что оказал ему хорошую услугу, обманывая меня?

— Нет. Я теперь сам вижу, что нет.

— Почему же ты это сделал?

— Ну, я думал, что нельзя же товарища выдавать.

— Как выдавать? Выдавать можно кого-нибудь врагу, а я разве ваш враг?

Я не знал, что сказать, и молча смотрел на пол. Разве я мог считать Ольгу Николаевну врагом? Как она могла подумать об этом!

— Чего же ты не отвечаешь? — спросила она.

— Я думаю.— сказал я.
 — Ну что ж, подумай, подумай! А сейчас садись, надо учиться.
 — А как же с Шишкиным будет?— спросил Серёжа Букатин.
 — С Шишкиным я сегодня же поговорю, и он завтра вернётся в школу,— сказала Ольга Николаевна.

Я сел на своё место, и мне было так стыдно, что если бы под партой образовалась дырка, я с удовольствием провалился бы под пол в эту дырку. Заварил этот Шишкин кашу, а мне вот приходилось её расхлёбывать!

Глава пятнадцатая

В этот день у нас в классе было много волнений. Ольга Николаевна вела уроки, будто ничего особенного не произошло, но как только наступала перемена, все сейчас же начинали обсуждать этот случай. После уроков к нам пришёл Володя, и ребята наперебой стали рассказывать ему о том, что у нас вышло.

— Постойте, ребята, не все сразу,— остановил ребят Володя.— Расскажи по порядку, Малеев, как это всё случилось?

И я рассказал всё: и как Шишкин пропустил в первый раз, а потом боялся, что Ольга Николаевна спросит, почему он не был в школе, и совсем перестал ходить, как мы вместе учили Лобзика и ничему не выучили, как Шишкин задумал сделаться акробатом и поступить в цирк, и как об этом узнал Лёня и всё разоблачилось.

— А как ты считаешь, правильно поступил Шишкин?— спросил Володя, когда я кончил рассказывать.

— Да где уж правильно!— говорю я.— Всё равно из него никакого акробата не вышло бы, и в цирк бы его не взяли, потому что он ещё маленький, и ему надо в школе учиться.

— А вот ты поступил правильно, что ничего не сказал об этом в школе?

— Не знаю,— говорю.— Я ведь не ябеда, чтоб на товарища наговаривать.

— Значит, по-твоему, Толя ябеда?

— А что я должен был делать?— ответил Толя.— Пионер прогуливает, а я должен молчать? Я с Шишкиным говорил. Я ему сказал, что если он не вернётся в школу, то Ольге Николаевне всё будет известно. Он ведь не послушался. Я и сегодня не хотел говорить, а решил ещё раз побеседовать с ним, но когда Ольга Николаевна стала спрашивать, а Малеев продолжал врать, я не выдержал и сказал, потому что я не хотел, чтоб Ольгу Николаевну обманывали.

— Хорошо. Но тебя ведь теперь все будут считать ябедой.

— Не будут,— ответил Толя.

— Ребята, будете считать его ябедой?— спросил Володя.

— Нет, нет, не будем,— стветили некоторые из ребят.

— Мы не будем,— сказал Серёжа Букатин.— Он поступил правильно. Он ведь предупредил Шишкина. А Шишкину нечего гулять. Ему надо в школе учиться. Ишь, что ещё выдумал! Теперь Ольга Николаевна заставит его в школу вернуться.

— Я тоже считаю, что Толя не ябеда,— сказал Глеб Скамейкин.— Ябеда— это тот, кто говорит тайком, так чтоб никто не слышал, а Толя сказал при всех. Он не боялся.

— Правильно, ребята! Когда я учился в младших классах, у нас был один мальчишка, вот это был ябеда. Он придёт утром в школу и вдруг ни с того ни с сего говорит учительнице: «Нина Михайловна, вчера

Петров и Егоров снежками друг в друга бросали». Если его товарищ на уроке нечаянно заденет локтем, он сейчас же поднимет руку: «Нина Михайловна, Смирнов толкается». И так он надоел Нине Михайловне, что она даже внимания на него не обращала. Для чего же он это делал? Ему хотелось показать, какой вот он хороший и какие плохие товарищи. Этим он, конечно, хотел повредить своим товарищам. А разве Толя хотел повредить Шишкину?

— Нет, нет! — загудели мы все.

— Нет, Толя не хотел повредить, он хотел помочь Шишкину, — сказал Ваня Пахомов. — Ведь надо же было заставить Шишкина в школу вернуться. Он, может быть, и сам уже хотел, да так запутался, что никак не мог. А если бы мы все молчали, он бы ещё прогулял неделю или, может быть, две и запустил бы уроки так, что остался бы на второй год.

— Верно, — сказал Володя. — Вы не подумайте, ребята, что я вас учу наговаривать друг на друга. Надо быть чуткими и внимательными друг к другу. Вы вот все учитесь, а ваш товарищ сбился с правильного пути, оставил школу. Разве вас не тревожит его судьба? Я считаю, что Толя поступил правильно, по-товарищески, он позаботился, чтоб его товарища вернули в школу, и не побоялся, что на него могут подумать, будто он ябеда. А вот Витя Малеев поступил нехорошо. Он не чутко отнёсся к своему другу. Это дружба ненастоящая. Это ложная дружба. Если бы он как следует заботился о своём друге, то не помогал бы ему прогуливать, а помог бы поскорее вернуться в школу.

— Да я ведь ему всё время твердил, — сказал я.

— Но он ведь тебя не слушался, а ты не посоветовался со старшими, даже товарищам ничего не сказал в школе. Ты отнёсся к нему невнимательно. Бери пример с Толи.

— Что ж, — говорю я. — Толя у нас председатель совета отряда, а я что... я простой человек.

— Почему ты простой человек? Ты пионер! Завтра тебя выберут председателем совета отряда.

— Меня, — говорю, — не выберут. У меня нет никакого авторитета.

— Почему у тебя нет авторитета?

— Так просто... Меня никуда не выбирают. Я не веду никакой общественной работы.

— А ты хочешь вести общественную работу?

— Хочу.

— Ну хорошо, — сказал Володя. — Мы дадим тебе общественную работу, и если ты будешь вести её хорошо, у тебя тоже будет авторитет.

На этом наша беседа кончилась, и я пошёл домой. Мне очень хотелось зайти к Шишкину и рассказать ему обо всём, но я знал, что к нему должна прийти Ольга Николаевна, и я боялся встретиться с ней у него. Мне очень было перед ней стыдно.

И вот на другой день Шишкин явился в класс. Я не видел его с вчерашнего дня, так что даже соскучился по нём и чуть не бросился навстречу ему из-за парты. Шишкин растерянно улыбался и смущённо поглядывал на ребят, но видя, что его никто не стыдит, он успокоился и сел рядом со мной. Пустое место за нашей партией заполнилось, и я почувствовал облегчение, будто у меня в груди тоже что-то заполнилось и встало на своё место.

Ольга Николаевна ничего не сказала Шишкину, но когда уроки кончились, она послала нас вместе с ним к директору. Директор целый час разговаривал с нами, то есть он разговаривал с Шишкиным, а я просто сидел, нервничал и волновался. Меня всё время терзала мысль: «Зачем

Игорь Александрович меня вызвал?». И вот Игорь Александрович всё объяснил Шишкину, а потом сказал мне:

— Ты, Малеев, ведь друг Шишкина?

— Да, — говорю я. — Я его ложный друг.

— Почему ложный? Ах, да! Я ведь хотел сказать тебе, что ты хорошо поступил, но вижу, что тебе это объяснили уже. Тебе что, нравится такое название — ложный друг?

— Нет, но все говорят, что я ложный, значит я ложный.

— Ты, наверно, не совсем понимаешь выражение — ложная дружба?

— Не совсем, — признался я.

— Бывает дружба настоящая, то есть правильная, а бывает ненастоящая, то есть неправильная, когда человек только говорит, что он друг, а на самом деле вовсе не друг. Вот такую ненастоящую дружбу и называют ложной дружбой. Понял теперь?

— Понял, — говорю я. — Но я не хочу быть ложным. Я хочу быть настоящим другом Шишкину.

— В таком случае помоги ему подтянуться по русскому языку. Он очень запустил этот предмет, и ему одному не справиться.

— Это я могу, — говорю, — потому что сам был отстающим, и теперь знаю, с какого конца браться за дело.

— Хорошо. У тебя общественная работа есть?

— Нету, — говорю.

— Вот это и будет твоя общественная работа на первое время. Отнесись к ней серьёзно.

— Я буду серьёзно, — ответил я.

— Что же ты делал, голубчик, пока не ходил в школу? — спросил Игорь Александрович Костю.

Мы рассказали, как учили Лобзика считать.

— Да разве можно научить собаку считать, как человека? — сказал Игорь Александрович.

— А как же считала та собака в цирке? — спросили мы.

— Та собака вовсе не умела считать. Её выучили только лаять и останавливаться по сигналу. Когда собака пролает столько раз, сколько нужно, дрессировщик даёт ей незаметный для публики сигнал, и собака перестаёт лаять, а публике кажется, что собака сама лает сколько нужно.

— Какой же сигнал даёт дрессировщик?

— Ну, он незаметно кивает головой, или машет рукой, или потихоньку щёлкает пальцами.

— Но наш Лобзик иногда считает правильно и без сигнала, — сказал Костя.

— Собаки очень наблюдательны, — сказал Игорь Александрович. — Ты сам, незаметно для себя, можешь кивать головой или делать какое-нибудь телодвижение как раз в то время, когда Лобзик пролает столько раз, сколько нужно, вот он подмечает это и старается угадать. Но так как твои телодвижения очень неуловимы, то он и ошибается часто. Для того чтоб он лаял правильно, приучите его к какому-нибудь определённомu сигналу, например щёлкайте пальцами.

— Я возьмусь за это, — сказал Костя. — Только я сначала подтянусь по русскому языку, а потом буду учить Лобзика.

— Вот правильно! А когда у нас будет вечер в школе, можете выступить со своей дрессированной собакой.

Мы так боялись, что Игорь Александрович придумает для нас какое-нибудь наказание, но он ничего не придумал, и мы ушли от него очень довольные.

Глава шестнадцатая

Когда мы вышли из кабинета директора, то увидели, что всё наше звено дожидается в коридоре. Ребята моментально окружили нас.

— Ну что? Что вам Игорь Александрович сказал? Что вам будет? Простил вас Игорь Александрович? — забрасывали нас ребята вопросами.

— Ничего не будет. Простил, — сказал я.

— Ну вот и хорошо! — обрадовался Юра. — Пойдёмте в пионерскую комнату, поговорим. Надо поговорить.

Мы все гурьбой пошли в пионерскую комнату. Шишкин вошёл последним.

— Иди, иди, Шишкин, не бойся, — говорил Юра. — Тебя никто ругать не будет.

Мы сели вокруг стола, и Юра сказал:

— Ребята, давайте поговорим, как помочь Шишкину. Он плоховато учился, поэтому всё и произошло, а мы все тоже отчасти виноваты в этом. Мы не обращали внимания на то, как он учится, и не помогли ему. Ты не обижайся, Шишкин, мы это, как бы сказать, тоже виноваты.

— Мы, конечно, виноваты, — сказал Ваня Пахомов. — Но и Шишкин должен понять, что нужно учиться лучше, и если он не возьмётся теперь, то это опять может плохо кончиться.

— Правда, Шишкин, только ты не обижайся, это опять может плохо кончиться, — сказал Юра. — А мы поможем тебе, честное слово! Всё что надо сделаем.

— А как помогать? — сказал Лёня Астафьев. — Мы ведь ему и помощника выделили. Видно, Алик Сорокин плохо занимался с ним, раз такие результаты.

— Да они, наверно, и не занимались совсем, — сказал Слава.

— Как так не занимались? Мы занимались, — ответил Алик.

— Сколько же вы раз занимались?

— Ну, я не помню, — замялся Алик. — Раза два или три.

— Раза два или три? — удивился Юра. — Да ты должен был каждый день заниматься с ним, а не раза два или три. Тебя звено выделило, а ты не оправдал доверия.

— Как же я мог оправдать доверие? — сказал Алик. — К нему придёшь, а его дома нет. Или придёшь, а он говорит: «Я сегодня не в настроении заниматься». Ну, я и бросил.

— Ишь ты! Бросил! Ты должен был на звене поставить вопрос, чтоб звено помогло. Шишкин у нас неорганизованный. Ты вот хорошо учишься, о себе позаботился, а о товарище позаботиться не захотел. Ну, ладно, я тоже виноват, что не проверил тебя.

— Я буду теперь хорошо заниматься с Шишкиным, — сказал Алик. — Я шахматами увлёкся, поэтому так и вышло.

— Нет, — сказал Юра. — Больше мы тебе этого дела не доверим. Лучше кого-нибудь другого выделим.

— Выделите меня, — сказал я. — Мне Игорь Александрович велел, чтоб я с Шишкиным занимался.

— Вот и правильно, — сказал Юра. — Выделим его, ребята?

— Выделим. Пусть занимается, раз Игорь Александрович сказал.

— Только смотри, — сказал Юра. — Ты теперь перед всем звеном за Шишкина отвечаешь.

Сбор звена кончился, и мы вышли на улицу. Шишкин по дороге долго молчал, всё думал о чём-то, потом сказал:

— Вот какой я скверный! Никакой у меня силы воли нет! Ни к чему я не способный. Ничего из меня путного не выйдет!

— Нет, почему же! Ты не такой уж скверный, — попробовал я утешить его.

— Нет, не говори, я знаю. Безвольный я человек! Но я не хочу быть таким. Я исправлюсь. Вот ты увидишь. Честное слово, исправлюсь. Только ты уж, пожалуйста, помоги мне! Тебе ведь Игорь Александрович велел. Ты не имеешь права отказываться.

— Да я и не отказываюсь, — говорю я. — Только ты меня слушайся. Давай начнём заниматься с сегодняшнего же дня. После обеда я приду к тебе, и начнём заниматься.

После обеда я сейчас же отправился к Шишкину и ещё на лестнице услышал собачий лай. Захожу в комнату, смотрю: Лобзик уже сидит на стуле и лает, а Костя щёлкает пальцами у него перед самым носом.

— Это, — говорит, — я его приучаю к сигналу, как Игорь Александрович учил. Давай немножко позанимаемся с Лобзиком, а потом начнём делать уроки. Всё равно ведь Лобзика надо учить.

— Э, брат! — говорю я. — Ты ведь собирался развивать сильную волю. Сам сказал, что с Лобзиком начнёшь заниматься после того как справишься по русскому языку, и уже передумал.

— Кончено! — закричал Шишкин. — Пошёл вон, Лобзик! Вот, даже смотреть на него не стану, пока не исправлюсь по русскому. Скажи, что я тряпка, если увидишь, что я занимаюсь с Лобзиком. Ну, с чего мы начнём?

— Начнём, — говорю, — с русского.

— А нельзя ли с географии или хотя бы с арифметики?

— Нет, нет, — говорю. — Я уж на собственном опыте знаю, кому с чего начинать надо. Что нам по русскому задано?

— Да вот, — говорит, — суффиксы «очк» и «ечк», и ещё мне отдельно Ольга Николаевна задала повторить правило на безударные гласные и сделать упражнение.

— Вот с этого ты и начнёшь, — сказал я.

— Ну ладно, давай начнём.

— Вот и начинай. Или, может быть, ты думаешь, что я с тобой буду это упражнение делать? Ты всё будешь делать сам. Я только проверять тебя буду. Надо приучаться всё самому делать.

— Что ж, хорошо, — вздохнул Шишкин и взялся за книгу.

Он быстро повторил правило и принялся делать упражнение. Это упражнение было очень простое. Нужно было списать примеры и вставить в словах пропущенные буквы. Вот Шишкин писал, писал, а я в это время учил географию и делал вид, что не обращаю на него внимания. Наконец он говорит:

— Готово!

Я посмотрел... Батюшки! У него там ошибок целая куча! Вместо «тяжёлый» написал «тижёлый», вместо «весёлый» написал «висёлый», вместо «гора» написал «гара».

— Ну-ну! — говорю. — Нарботал же ты тут!

— Что, очень много ошибок сделал?

— Да, если сказать по правде, порядочно.

— Ну вот! Я так и знал! Мне никогда удачи не будет! — расстроился Костя.

— Здесь не в удаче дело, — говорю я. — Надо знать, как писать. Ты ведь учил правило?

— Учил.

— Ну, скажи, что в правиле говорится?

— В правиле? Да я уж и не помню.

— Как же ты учил, если не помнишь?

Я заставил его снова прочитать правило, в котором говорится, что безударные гласные проверяются ударением, и сказал:

— Вот теперь возьми и сделай упражнение снова, потому что ты делал его, совсем не думая, а от этого никакой пользы не может быть. Всегда надо думать, какую букву писать.

— Ну ладно, в другой раз я буду думать, а сейчас пусть так остаётся.

— Э, братец! — говорю. — Так не годится. Уж если обещал меня слушаться, так слушайся.

Шишкин со вздохом принялся делать упражнение снова. На этот раз он очень спешил. Буквы у него лепились в тетрадке и вкривь и вкось, валялись набок, подскакивали кверху и заезжали вниз. Видно было, что ему уже надоело заниматься. Тут к нам пришёл Юра. Он увидел, что мы занимаемся, и сказал:

— А, занимаетесь! Вот это хорошо! Что вы тут делаете?

— Упражнение, — говорю. — Ему Ольга Николаевна задала.

Юра заглянул в тетрадь.

— Что же ты тут пишешь? Надо писать «зуб», а ты написал «зуп».

— А какое тут правило? — спрашивает Шишкин.

— Тут, — говорю, — такое правило, что надо внимательно списывать. Смотри, что в книжке написано? «Зуб»!

В это время пришёл Ваня. Он увидел, что мы занимаемся, и тоже сказал:

— А, занимаетесь!

— Занимаемся, — говорим.

— Молодцы! За это вам весь класс скажет спасибо.

— Ещё чего нехватало! — ответил Шишкин. — Каждый ученик обязан заниматься как следует, так что спасибо тут не за что говорить.

— Ну, это я так просто сказал. Весь класс хочет, чтоб все хорошо учились, а раз вы учитесь, значит всё будет хорошо.

Тут опять отворилась дверь, и вошёл Вася Ерохин.

— А, занимаетесь! — говорит.

— Что это такое? — говорю я. — Каждый приходит и говорит: «А, занимаетесь», будто мы первый раз в жизни занимаемся, а до этого и не учились вовсе.

— Да я не про тебя говорю, я про Шишкина.

— А Шишкин что? Будто он совсем не учился? У него по всем предметам не такие уж плохие отметки, только по русскому...

— Ну, не сердись, я так просто сказал. Я думал, что он не занимается, а он занимается, вот я и сказал.

— Мог бы хоть что-нибудь другое сказать.

— Откуда же я знал, что это вас так обидит?

Тут снова отворилась дверь, и на пороге появился Алик Сорокин.

— Сейчас тоже, наверно, скажет: «а, занимаетесь», — прошептал Шишкин.

— А, занимаетесь! — улыбнулся Алик Сорокин.

Мы все чуть от смеха не лопнули.

— Чего вы смеётесь? Что я такого смешного сказал? — смутился Алик.

— Да ничего. Мы не над тобой смеёмся, — ответил я. — А ты чего пришёл?

— Так просто. Думал, может, моя помощь понадобится.

— Может быть, и шахматы с собой захватил?

— Ах я, растяпа! Забыл шахматы захватить. Вот бы мы и сыграли тут!

— Нет, ты уж с шахматами лучше уходи отсюда подальше, — сказал Юра. — Пойдѣмте домой, ребята, не будем им мешать заниматься.

Ребята ушли.

— Это они приходили проверить, учимся мы или нет, — сказал Костя.

— Ну и что ж, — говорю я. — Ничего тут обидного нету.

— Что же тут обидного? Я и не говорю. Ребята хорошие, заботливые.

— А что тебе вчера Ольга Николаевна сказала? — спросил я Костю.

— Ох, и накричала на меня! Главное, маме всё рассказала и тѣте Зине. И уж стыдила, стыдила меня! «Все ребята учатся, а ты один такой умник нашѣлся, которому не надо учиться. Тебе-то как раз и надо учиться больше чем кому-нибудь другому. Ты ещё молод, — говорит. — Старших должен слушаться. Вот вырастешь, тогда будешь своим умом жить, а сейчас, пока ещё маленький, старайся набраться ума побольше. Завтра чтоб был в школе и не воображай, что я тебе буду поблажки делать. Теперь я с тебя буду вдвойне спрашивать». Много чего такого говорила, а потом после всего сказала: «Ну, теперь довольно, и больше не будем говорить об этом». Даже маму просила, чтоб она не бранила меня. Ну, мама всё-таки, конечно, побранила меня, но это ничего. Я и то рад, что всё теперь кончилось. Как будто буря надо мной пронеслась, а теперь снова всё тихо, спокойно. Мне только надо стараться и учиться пблучше.

— Вот и старайся, — сказал я.

— Я и то уже начал стараться.

Глава семнадцатая

На следующий день Ольга Николаевна проверила упражнение, которое задала Косте на дом, и нашла у него ошибки, каких даже я не заметил. Пропущенные буквы в словах он написал, в конце концов, правильно, потому что я за этим следил, а ошибок наделал просто при списывании. То букву пропустит, то не допишет слово, то вместо одной буквы другую напишет. Вместо «кастрюля» у него получилась «карюля», вместо «опилки» — «окилки».

— Это у тебя от невнимательности, — сказала Ольга Николаевна. — А невнимательность от того, что ещё нет, видно, большой охоты заниматься как следует. Сразу видно, что ты очень торопишься. Спешись, как бы поскорей отделаться от уроков.

— Да нет, я не очень спешу, — сказал Костя.

— Как же не спешись? А почему у тебя буквы такие некрасивые? Посмотри: и косые, и кривые, так и валяются на стороны. Если б ты старался, то и писал бы лучше. Когда ученик делает урок прилежно, с усердием, то обращает внимание не только на ошибки, но и на то, чтобы было аккуратно, красиво написано. Вот и сознайся, что охоты у тебя ещё нет.

— У меня есть охота, только вот нехватает силы воли, чтоб заставить себя усидчиво заниматься. Мне всё хочется сделать поскорей почему-то. Сам не знаю, почему!

— А потому, что ты ещё не понял, что всё достигается лишь упорным трудом. Без упорного труда не будет у тебя и силы воли, и недостатков своих не исправишь, — сказала Ольга Николаевна.

С тех пор по Костиной тетрадке можно было видеть, как он боролся со своей слабой волей. Иногда упражнение у него начиналось красивыми ровными буквами, на которые просто приятно было смотреть.

Это значило, что вначале воля у него была сильная, и он садился за уроки с большим желанием учиться как следует. Но потом воля его слабела, буквы начинали приплясывать, налезать друг на дружку, валиться из стороны в сторону и постепенно превращались в какие-то непонятные кривульки, даже трудно было разобрать, что написано. Иногда бывало наоборот: упражнение начиналось кривульками. Сразу было видно, что Косте хотелось как можно скорее покончить с этим неинтересным делом, но потом воля его крепла, буквы становились ровнее и стройнее, и кончалось упражнение с такой сильной волей, что казалось, будто начал писать один человек, а кончил совсем другой.

Но всё это было полбеды. Главная беда была — это ошибки. Он по-прежнему делал много ошибок, и когда был диктант в классе, он опять получил двойку. Все ребята надеялись, что Костя на этот раз получит хоть тройку, так как все знали, что он взялся за учёбу серьёзно, и поэтому все были очень огорчены. По этому случаю Юра даже собрал сбор звена.

— Ну-ка расскажи, Витя, как вы занимаетесь с Костей, — сказал Юра на сборе.

— Как занимаемся? Мы хорошо занимаемся, — говорю я.

— Где же хорошо? Почему он до сих пор не исправился?

— Я же не виноват, что так получается. Я с ним каждый день занимаюсь.

— Почему же до сих пор нет никаких сдвигов?

— Я же не виноват, что нет сдвигов. Просто, ещё мало времени прошло.

— Как, мало времени? Уже две недели прошло. Просто, ты не умеешь заставить Шишкина работать по-настоящему. Придётся тебя сменить. Вот мы назначим вместо тебя Ваню Пахомова. Он сумеет заставить Шишкина работать побольше.

— Ну, уж это, извините! — говорю я. — Меня сам Игорь Александрович назначил. Вы не имеете права меня сменять.

— Ничего. Завтра мы поговорим с Ольгой Николаевной. Думаешь, если тебя Игорь Александрович назначил, так на тебя и управы нет?

— Уступи, Малеев, — сказал Лёня Астафьев. — Всё равно Ольга Николаевна сменит тебя. Ты не справился. Ваня лучше тебя будет заниматься.

— Конечно, лучше, — сказал Юра.

— Это ещё неизвестно, — говорю я.

— Ну, что ты споришь? Сам видишь, какие результаты.

Тут и другие ребята стали говорить, чтоб я уступил, но я заупрямился, как козёл:

— Нет, пусть меня Ольга Николаевна сменяет, а сам я не уступлю.

— Ну и сменит тебя Ольга Николаевна. Тебе же хуже будет, — сказали ребята.

Не знаю, почему меня такое упрямство одолело. Я и сам чувствовал, что не надо настаивать, раз вышло такое дело и Шишкин получил двойку. Если б на моём месте был кто-нибудь другой, может быть, всё было бы совсем не так, а иначе. Ну что ж, ничего не поделаешь!

В этот день мы с Шишкиным были очень огорчены.

— Мы занимаемся с тобой сегодня в последний раз. Завтра Ольга Николаевна, наверно, сменит меня, — сказал я, когда пришёл к нему после школы.

— А может быть, Ольга Николаевна и не сменит, — сказал Костя.

— Да нет, — говорю. — Всё равно от меня, видно, мало толку. Наверно, я неспособный учить. Мне только обидно, что Игорь Александро-

вич будет недоволен. Я обещал ему подтянуть тебя, а тут видишь, что вышло. И ещё он сказал, что это мне как общественная работа. Значит, я с общественной работой не справился, и не будет у меня никакого автритета.

— А может быть, это вовсе и не ты виноват? Может быть, это я сам виноват? — сказал Костя. — Надо мне было лучше учиться. Ты знаешь, я тебе открою секрет: это я сам виноват. Я всегда спешил, торопился, вот и писал плохо и делал много ошибок. Если бы я не торопился, то учился бы лучше.

— Почему же ты торопился?

— Ну, я тебе открою секрет: мне хотелось каждый раз поскорей окончить уроки и учить Лобзика.

— И ты его учил?

— Учил.

— А! — говорю. — То-то у тебя буквы то такие, то этикие. Значит, ты писал, а сам думал не о том, что пишешь, а о своём Лобзике.

— Ну, вроде этого. Я и о том думал, и о другом. Поэтому, наверно, такие и результаты.

— Результаты! — говорю я. — Никаких результатов нет. За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Надо было одного зайца ловить.

— Ну, одного зайца-то я поймал.

— Какого?

— Ну, Лобзика-то я выучил. Сейчас увидишь. Лобзик, иди сюда!

Лобзик подбежал к нему. Костя показал ему табличку с цифрой три.

— Ну-ка, скажи, Лобзик, какая это цифра?

Лобзик пролаял три раза.

— А это?

Костя показал ему цифру пять. Лобзик пролаял пять раз.

— Видишь, я потихонечку щёлкаю пальцами, и он знает, когда надо останавливаться.

— Как же ты этого добился? — спросил я.

— Сначала он никак не хотел понимать сигнала. Тогда я стал делать так: как только он пролает столько раз, сколько нужно, я бросаю ему сахар или кусочек колбасы или хлеба и в то же время щёлкаю пальцами. Лобзик бросается ловить подачку и перестаёт лаять. Так я приучал его целую неделю, потом попробовал только щёлкать пальцами и ничего не давал. Лобзик всё равно останавливался, так как привык, что вместе со звуком щёлканья получает что-нибудь вкусное. Как услышит щелчок, так сейчас же перестаёт лаять и ждёт, чтоб я ему чего-нибудь дал. Сначала я щёлкал громко, но постепенно приучил к тихим щелчкам.

— Ну вот, — говорю, — значит ты, вместо того, чтоб самому выучиться, собаку выучил!

— Да, — говорит, — у меня всё как-то шиворот-навыворот получается. Безвольный я человек! Ну, теперь уже всё равно, я его выучил и буду сам как следует заниматься. Больше ничего мне мешать не будет, вот увидишь!

— Увижу, — говорю. — Только теперь уже не я это увижу, а Ваня.

На другой день Костя собрал все упражнения, которые ему задавала на дом Ольга Николаевна, и пошёл в школу. Он принёс всё это Ольге Николаевне и сказал:

— Ольга Николаевна, вот это все упражнения, которые вы мне задавали. Тут вот смотрите — хорошие, а вот тут все плохие. Это если

я делал упражнение плохо, Витя заставлял меня переделывать снова. Скажите, разве он плохо со мной занимался?

— Я знаю, что Витя хорошо с тобой занимается, — сказала Ольга Николаевна. — Но ты и сам должен быть старательнее. Нужно отнестись к делу ещё серьёзнее. Витя тебе помогает, но учиться за тебя ведь он не может. Ты сам должен учиться.

— Я сам буду учиться, Ольга Николаевна, только разрешите, чтоб Витя помогал мне. Он уже столько времени потратил со мной.

— Хорошо, пусть помогает. Я вижу, что Витя добросовестно занимается с тобой. Скоро зимние каникулы, вот вы вместе зайдите ко мне в первый же день. Я тебе дам задание на каникулы, а Вите расскажу, как заниматься с тобой, чтоб были лучшие результаты.

Мы обрадовались, когда услышали, что Ольга Николаевна согласна, чтоб я продолжал заниматься с Костей, а Костя сказал:

— Ольга Николаевна, у нас ещё есть дрессированная собака Лобзик. Разрешите нам выступить с этой собакой на новогоднем вечере.

— А что ваша собака умеет делать?

— Она арифметику знает. Умеет считать, как та собака, которую мы видели в цирке.

— Кто же её выучил?

— Мы сами.

— Ну хорошо. Приводите её на новогодний вечер. Я думаю, ребятам будет интересно посмотреть на учёную собаку.

Мы ещё больше обрадовались и пошли домой очень довольные.

Глава восемнадцатая

Мне было очень досадно, что Костя без меня выучил Лобзика, так как мне тоже было интересно его учить, но теперь уж всё равно ничего не поделаешь.

— Ты не горюй, — сказал Костя. — Когда-нибудь я встречу на улице ещё какую-нибудь бездомную собаку и подарю тебе, тогда ты сам сможешь её выучить.

— Самому мне неинтересно, — ответил я. — Я люблю всё в компании делать, а один я возиться не стану.

— Ну, я ведь буду помогать тебе учить её. Мы вместе будем дрессировать, и у тебя тоже будет учёная собака.

— Нет, — говорю, — это не годится. Как только появится новая собака, ты начнёшь с ней заниматься, вместо того чтобы делать уроки. Лучше отложим это дело до лета.

— Ну ладно, если не хочешь, отложим. А ребятам скажем, что Лобзик — это наш с тобой ученик. Мы ведь начали учить его вместе. И будем вместе выступать с ним на новогоднем вечере.

— А вдруг он испугается, когда попадёт на сцену? — говорю я. — Надо заранее приучить его, чтоб он не пугался людей.

— Как же его приучить?

— Надо повести его куда-нибудь, где побольше людей. Вот окончим уроки и поведём его к нам, покажем нашим, как он умеет считать.

Когда мы кончили делать уроки, Костя надел на Лобзика ошейник, привязал поводок, и мы отправились ко мне. Как раз в это время к нам пришли тётя Надя и дядя Серёжа.

— Сейчас мы покажем вам учёную собаку, — сказал я. — Садитесь все на места, как в театре, и смотрите внимательно.

Мы посадили Лобзика на табурет. Костя достал из кармана таблички с цифрами и стал приказывать Лобзику считать. Лобзик лаял

исправно. Тут мне в голову пришла замечательная мысль. Я не стал показывать Лобзику никакой цифры, а просто спросил:

— Ну-ка, Лобзик, сколько будет дважды-два?

Лобзик пролаял четыре раза. Конечно, я во-время щёлкнул пальцами. Лика обрадовалась:

— Ого! Он даже таблицу умножения знает.

Все хвалили нас за то, что мы так хорошо собаку выучили, а мы сказали, что будем выступать с Лобзиком на новогоднем вечере в школе.

— А у вас костюмы для выступления есть? — спросила Лика.

— Ну, уж будто нельзя без костюмов? — говорю я.

— Без костюмов не так интересно. Я вам сделаю разноцветные колпаки. В этих колпаках вы будете, как два клоуна в цирке.

— А нельзя ли Лобзику тоже сделать колпак? — спросил Костя.

— Нет, Лобзик будет очень смешной в колпаке. Лучше я ему сделаю воротничок из золотой бумаги.

— Ладно, делай, что хочешь, — говорю я.

— Теперь пойдём к Ване Паховому и покажем ему Лобзика, — предложил Костя.

Мы пошли к Ване, от Вани к Юре, от Юры к Толе. Везде мы показывали искусство Лобзика, и за это Лобзик получал разные вкусные вещи. Наконец мы отправились к Глебу Скамейкину, а у родителей Глеба как раз были гости. Мы обрадовались и решили, что у нас получится настоящая репетиция. Но напрасно мы радовались. Мы оскандалили так, что не знали, куда от стыда деваться. Лобзик, вместо того чтоб отвечать правильно, всё время путал и врал и даже совсем не хотел отвечать. Ни одной цифры он не назвал правильно, а мы-то расхвастались, что привели учёную собаку-математика. Так мы с позором и ушли от Глеба.

— Что ж это случилось? — сказал Костя, когда мы вышли на улицу.

Он дал Лобзику кусочек сахара, но Лобзик только разгрыз его и тут же выплюнул.

— Теперь понятно, — сказал я. — Мы просто обкормили его. Он объелся, поэтому и не хотел лаять.

— А вдруг во время представления такая штука случится? — сказал Костя. — Вот будет позор на всю школу! Может быть, нам лучше не выступать?

— Нет, — говорю. — Теперь уже поздно отказываться. Раз взялись, так надо до конца довести.

Целый день накануне Нового года Костя волновался и всё принимался дрессировать Лобзика.

— Оставь его в покое, — сказал я. — Опять ты ему надоешь за день, а когда будет нужно, он не захочет отвечать.

— Ладно, не буду его больше трогать. Иди отдыхай, Лобзик!

Мы оставили Лобзика в покое, а сами стали готовиться к представлению. Лика склеила нам два колпака: мне синий с серебряными звёздочками, а Косте зелёный с золотыми звёздами. Кроме того, она сделала нам серебряные воротники и золотые манжеты на рукава. Мы всё это примерили и остались очень довольны. Получились прямо как два настоящих клоуна в цирке. Лобзику тоже был сделан золотой воротничок.

Наконец время пришло, и мы отправились с Лобзиком в школу. Пока шло первое отделение концерта, мы сидели с Лобзиком в зале, чтоб он привыкал к публике, а потом пошли за кулисы и стали ждать своей очереди. Так мы посмотрели выступления всех ребят и ничего не пропустили. Мы заранее нарядились в свои колпаки, надели Лобзику на шею воротничок. И вот занавес открылся, и все увидели, как мы с Костей вышли на сцену в своих разноцветных колпаках. Костя шёл впереди, за

ним бежал на поводке Лобзик, а я шёл сзади, и в руках у меня был чемоданчик, в котором лежали все вещи, приготовленные для представления. Костя посадил Лобзика на стул посреди сцены и сказал:

— Дорогие ребята, сейчас перед вами выступит учёная собака-математик по имени Лобзик. Пока она выучилась считать до десяти, но она будет учиться дальше, и тогда мы вам её снова покажем. Мы просим, чтоб вы вели себя тихо, потому что наш Лобзик выступает на сцене впервые и может испугаться шума.

Костя, видно, очень волновался, и голос у него дрожал. Я тоже волновался, и если бы мне пришлось говорить, то я, наверно, не смог бы сказать ни одного слова.

— Ну, начинаем представление, — закончил Костя.

Я достал из чемодана три деревянные чурки и поставил их рядышком на столе, так, чтоб было всем видно.

— Сейчас Лобзик сосчитает, сколько на столе чурок, — объявил Костя. — Ну, считай, Лобзик!

Лобзик пролаял три раза.

Ребята громко захопали в ладоши и закричали от радости. Лобзик испугался, соскочил со стула и бросился бежать. Костя догнал его, сунул в рот ему кусок сахара и посадил обратно на стул. Лобзик принялся грызть сахар. Ребята постепенно утихли. Я достал из чемодана ещё одну чурку и поставил рядом с остальными.

— Ну, а теперь сколько чурок? — спросил Костя.

Лобзик пролаял четыре раза.

Ребята снова дружно захопали. Лобзик опять хотел соскочить со стула, но Костя вовремя подхватил его и сунул в рот кусок сахара.

Я поставил на стол ещё три чурки.

— А теперь сколько стало чурок? — спросил Костя.

Лобзик пролаял семь раз.

Я достал из чемодана табличку с цифрой два и показал публике.

— Какая это цифра? — спросил Костя.

Лобзик пролаял два раза.

Мы стали показывать Лобзику разные цифры, потом Костя спрашивал:

— Сколько будет дважды-два? Сколько будет дважды-три? Сколько будет три плюс четыре?

Лобзик всё время отвечал правильно. Ребята всё время хлопали в ладоши, но Лобзик постепенно привык к аплодисментам и уже не пугался. Я тоже перестал волноваться и сказал:

— Ребята, наш Лобзик умеет даже задачи решать. Кто хочет, может задать какую-нибудь задачку, чтоб были небольшие числа, и Лобзик решит.

Тут встал один мальчик и задал такую задачу: «Бутылка и пробка стоят десять копеек. Бутылка на восемь копеек дороже пробки. Сколько стоит бутылка, и сколько пробка?»

— Ну, — говорю, — Лобзик, подумай и реши задачу.

Конечно, Лобзику нечего было думать. Это я говорил так, чтоб самому подумать. Я быстро решил задачу: пробка стоила две копейки, бутылка — восемь копеек, а вместе десять копеек.

— Ну, Лобзик, говори, сколько стоит пробка? — спросил я.

Лобзик пролаял два раза.

— А бутылка?

Лобзик пролаял восемь раз.

Ну и крик тут поднялся!

— Неправильно! — кричали ребята. — Собака ошиблась!

— Почему неправильно? — говорю я. — Вместе ведь стоят десять копеек. Значит, бутылка восемь копеек, а пробка две.

— Как же? Ведь в задаче сказано, что бутылка на восемь копеек дороже пробки. Если пробка стоит две копейки, то бутылка должна стоять десять копеек, а они вместе стоят десять копеек, — объяснили ребята.

Тут я сообразил, что ошибся, и говорю:

— Слушай, Лобзик, ты ошибся. Подумай хорошенько и реши задачу правильно.

Конечно, это мне самому надо было подумать, а не Лобзику, но я сказал:

— Подождите, ребята, сейчас он подумает и решит правильно.

— Пусть думает! — закричали ребята. — Не надо его торопить. Для собаки эта задача, конечно, трудная!

Я стал думать: «Если бутылка на восемь копеек дороже пробки, то пробка, значит, стоит две копейки, а бутылка десять, но тогда вместе они будут стоять двенадцать копеек, а в задаче сказано, что вместе они стоят десять копеек. Что ж это за задача такая? Не задача, а какой-то заколдованный круг! Если пробка две, а бутылка восемь, то, выходит, бутылка всего на шесть копеек дороже». Прямо затмение на меня нашло.

— Подождите ещё, ребята, — говорю я. — Ему ещё немного надо подумать. Сейчас он решит.

— Ничего, пусть думает, собака ведь не человек. Не может же она сразу.

«Да, — думаю, — тут и человек не может решить, не то что собака!»

Стал снова думать.

— Вот чудак! — прошептал Костя. — Пробка ведь стоит копейку!

Тут я сообразил, в чём дело.

— Ну, отвечай, Лобзик, сколько стоит пробка?

Лобзик пролаял один раз.

— Правильно, — говорю. — Пробка стоит копейку. А бутылка сколько?

Лобзик пролаял девять раз.

— Верно! — говорю я.

Ребята громко захлопали.

— Вот так собака! — говорили они. — Хоть ошиблась, но в конце концов решила задачу правильно.

На этом представление окончилось.

Глава девятнадцатая

И вот наступил Новый год, и начались зимние каникулы. Во всех домах красовались нарядные ёлки. Настроение у всех было весёлое, праздничное. У нас с Костей тоже было праздничное настроение, но мы решили не только гулять во время каникул, а и заниматься. В первый же день мы пошли к Ольге Николаевне и получили у неё задание на каникулы. У Кости появилась такая охота к учению, что он согласен был заниматься по целым дням, но я решил, что мы будем заниматься по два часа в день, остальное время гулять, отдыхать или книжки читать. Так мы занимались с ним каждый день, и Костя начал понемногу выправляться. Когда каникулы кончились, у нас вскоре был диктант, и Костя получил за него тройку. Он был так рад, будто это была не тройка, а самая настоящая пятёрка.

— Чего ты так радуешься? — сказал я ему. — Тройка не такая уж замечательная отметка.

— Ничего, сейчас для меня хороша и тройка. Я уже давно тройки по письму не получал. Но я на этом не успокоюсь. Вот увидишь, в следующий раз получу четвёрку, а там и до пятёрки доберусь.

— Конечно, доберёшься, — сказал ему Юра. — Но ты сейчас ещё о пятёрке не думай, а скорей получай четвёрку, тогда у нас в классе ни одного троечника не будет. Уже у всех ребят только одни четвёрки и пятёрки.

— Не беспокойся, — ответил Костя. — Всё будет в порядке. Теперь уже класс не будет за меня краснеть. Я теперь понял, что каждый должен бороться за честь своего класса. Я и то уже поборолся как следует, а теперь уже совсем немножко осталось.

Ольга Николаевна тоже была рада, что Шишкин стал лучше учиться.

— Пора вам, ребята, включаться в общественную работу, — сказала она нам. — Все что-нибудь делают на общую пользу, только вы ничем не заняты.

— Теперь мы тоже возьмём какую-нибудь работу, — говорю я.

— Возьмём, — говорит Костя. — Я уже давно хочу работать в стенгазете, да меня всё не выбирают в редколлегию.

— Правда, — говорю я. — Пусть нас выберут в редколлегию стенгазеты.

— В редколлегию вам ещё рано. Там должны работать самые авторитетные ребята, — сказала Ольга Николаевна.

— Ну, всё равно, мы и на какую-нибудь другую работу согласны, — говорит Костя. — Если хотите, пусть нас выберут в санкомиссию. Я уже был в санкомиссии, когда учился во втором классе. Мне очень нравилось ходить и всем приказывать, чтоб мыли руки и чтоб у всех были чистые уши.

— Санкомиссия у нас уже выбрана. Если хотите, я вам дам очень интересную работу. Нужно организовать классную библиотечку. Будете выдавать ребятам книги.

— А где взять книги? — спрашиваю я.

— Книги возьмёте в школьной библиотеке. А шкаф я вам достану.

— Я возьмусь, — говорит Костя. — Я люблю книги читать.

— Я тоже, — говорю, — возьмусь.

— Вот и хорошо. Постарайтесь быть хорошими библиотекарями. Берегите книги, следите, чтоб ребята тоже бережно обращались с книгами.

Мы пошли к нашей библиотекарше Софье Ивановне, сказали, что мы теперь тоже будем библиотекарями в четвёртом классе, и нам нужны книги.

— Вот и хорошо, — сказала Софья Ивановна. — Книги для четвёртого класса у меня есть. Вы сейчас их возьмёте?

Она дала нам целую стопку книг, и мы перетащили их в наш класс. Книг было много, штук сто, но когда мы поставили их в шкаф на полки, то нам показалось мало, потому что они заняли всего две полки, а две полки остались пустые.

— Может быть, нам из дому принести ещё книжек, чтоб было побольше, — сказал Костя. — Я могу штук пять принести или шесть.

— Я тоже, — говорю, — могу принести штук пять, но этого мало. На две полки нехватит.

— А что если у ребят попросить? Может быть, у кого-нибудь есть старые книжки, которые уже прочитали. Пусть принесут для библиотеки.

Мы поговорили об этом с Ольгой Николаевной.

— Что же, скажите ребятам, может быть, ребята откликнутся на вашу просьбу, — сказала Ольга Николаевна.

На другой день мы объявили ребятам, что теперь у нас будет своя классная библиотечка, только книг у нас ещё не очень много, и кто хочет, пусть принесёт для библиотечки хоть по одной книжке.

На эту просьбу откликнулись все ребята, и каждый принёс — кто книгу, кто две, а многие принесли и больше.

Книг получилось так много, что весь шкаф целиком заполнился. Мы хотели тут же начать выдавать книги ребятам, но Ольга Николаевна сказала, что нужно сначала сделать журнал. Мы взяли толстую тетрадь и в эту тетрадь записали каждую книгу под номером. Теперь, если нужно было отыскать какую-нибудь книгу, то можно было не рыться на полках, а посмотреть по журналу. В этом же журнале мы решили отмечать, кто и когда взял книгу, так что, заглянув в журнал, можно было сказать, у кого книга находится.

Костя радовался, что теперь в нашей библиотечке такой порядок. Особенно ему нравилось, что все полки заняты книгами.

— Теперь как раз хорошо! — говорил он. — Ни прибавить ничего нельзя, ни убавить.

Он то и дело отворял шкаф и любовался на книги.

Некоторые книжки были уже старенькие. У некоторых еле держались переплёты или оторвались страницы. Мы решили взять такие книжки домой, чтоб починить. И вот, сделавши все уроки, мы пошли с Костей ко мне, потому что у меня дома был клей, и взялись за дело. Лика увидела, что мы починяем книжки, и захотела нам помочь.

Особенно много возни у нас было с переплётами. Костя всё время ворчал:

— Ну вот! — говорил он. — Не знаю, что ребята делают с книжками. Бьют друг друга по голове, что ли?

— Кто же это дерётся книжками? — говорит Лика. — Вот ещё выдумал. Книги вовсе не для того.

— Почему же переплёты отрываются? Ведь если я буду сидеть спокойно и читать, разве переплёт оторвётся?

— Конечно, не оторвётся.

— Вот об этом я и говорю. Или вот смотрите: страница оторвалась! Почему она оторвалась? Наверно, кто-то сидел да дёргал за листик вместо того, чтоб читать. А зачем дёргал, скажите, пожалуйста? Вот дёрнуть бы его за волосы, чтоб не портил книг! Теперь страничка выпадет и потеряется, кто-нибудь станет читать и ничего не поймёт. Куда это годится, спрашиваю я вас?

— Верно, — говорим, — никуда не годится.

— А вот это куда годится? — продолжал кричать он. — Смотрите, собака на шести ногах нарисована! Разве это правильно?

— Конечно, неправильно, — говорят Лика. — Собака должна быть на четырёх ногах.

— Эх ты! Да разве я о том говорю?

— А о чём?

— Я говорю о том, что разве правильно в книжках собак рисовать?

— Неправильно, — согласилась Лика.

— Конечно, неправильно, а на четырёх она ногах или на шести, — в этом разношты нет, то есть для книжки, конечно, нет, а для собаки есть. Вообще в книжках ничего не надо рисовать: ни собак, ни кошек, ни лошадей, а то один нарисует собаку, другой кошку, третий ещё что-нибудь придумает, и получится в конце концов такая чепуха, что и книжку невозможно будет читать.

Он взял резинку и принялся стирать собаку. Потом вдруг как закричит:

— А это что? Рожу какую-то нарисовали, да ещё чернилами!

Он принялся стирать рожу, но чернила въелись в бумагу, и кончилось тем, что он протёр в книге дырку.

— Ну, если б я знал, кто это нарисовал! — кипятился Шишкин. — Я бы ему показал! Я бы его этой книжкой да по голове!

— Ты ведь сам говорил, что книжками нельзя бить по голове, — сказала Лика. — От этого переплёты отскакивают.

Костя осмотрел книгу со всех сторон.

— Нет, — говорит. — Эта книжка выдержит, у неё переплёт хороший!

— Ну, — говорю я, — если все библиотекари будут бить читателей по головам книжками, то и переплётов не напасёшься!

— Надо же учить как-нибудь, — говорит Костя. — Если у нас будут такие читатели, то я и не знаю, что будет. Я не согласен, чтоб они государственное имущество портили.

— Надо будет объяснить ребятам, чтоб они бережно обращались с книжками, — говорю я.

— А вы напишите плакат, — говорит Лика.

— Вот это дельное предложение! — обрадовался Костя. — Только что написать?

Лика говорит:

— Можно написать такой плакат: «Осторожней обращайся с книгой! Книга не железная!»

— Где же это ты видела такой плакат? — спрашиваю я.

— Нигде, — говорит, — это я сама выдумала.

— Ну и не очень умно, — говорю я. — Каждый без плаката знает, что книга железная не бывает.

— Может быть, написать просто: «Береги книгу, как глаз». Коротко и ясно, — говорит Костя.

— Нет, — говорю. — Мне это не нравится. При чём тут глаз? И потом не сказано, почему нужно беречь книгу.

— Тогда нужно написать: «Береги книгу, она дорого стоит», — говорит Костя.

— Тоже не годится, — говорю я. — Есть книжки дешёвые, так их рвать нужно, что ли?

— Давайте напишем так: «Книга — твой друг. Береги книгу», — сказала Лика.

Я подумал и согласился:

— По-моему, это подойдёт. Книга — друг человека, потому что книга учит человека хорошему. Значит, её нужно беречь, как друга.

Мы взяли бумагу, краски и написали плакат.

На другой день мы повесили этот плакат на стене рядом с книжным шкафом и начали выдавать ребятам книжки.

Выдавая кому-нибудь из учеников книгу, Костя говорил:

— Смотри, чтоб никаких собак, ни рож, ни чертей в книге не было!

— Как это?

— Ну, возьмёшь да нарисуешь в книге какую-нибудь загогулину.

— Зачем же я стану рисовать?

— Будто я знаю? Моё дело предупредить, чтоб ни рож, ни собак. Это книжка общественная. Если б это была твоя собственная книга, тогда, пожалуйста, рисуй, но даже в собственной книжке не надо ничего рисовать, потому что после тебя она достанется твоему младшему брату или сестре, или товарищу дашь почитать. Так что моё дело предупредить, а если ты не будешь слушаться, то потом я не так с тобой буду разговаривать.

— Ну ладно, сказал — и хватит.

Но Костя не унимался, и каждому, кто брал книжки, он растолковывал в отдельности, почему надо бережно обращаться с книжками.

После уроков он, пригорюнившись, сидел возле шкафа и с грустью смотрел на поредевшие ряды книг на полках.

— Эх! — говорил он. — Снова книг мало стало! Так хорошо было. Шкаф был полнѐхонек, а теперь хоть бери и опять где-нибудь доставай книги!

— Что ж тут такого, — говорю я. — Ведь ребята прочитают и принесут книги обратно.

— Принесут! Принести-то они принесут, да что толку, — говорит Костя. — Они одни книжки принесут, а другие взамен их возьмут. Вот никогда и не соберѐшь всех книг обратно.

— Зачем же их собирать? Ведь книги для того, чтоб читать, а не для того, чтоб на полках стоять.

Я взял и себе книжку, чтоб почитать дома.

— Как? — говорит Костя. — И ты берѐшь? И так книжек мало осталось!

— Да я, — говорю, — быстренько прочитаю и принесу.

Тогда и он взял себе книжку.

— Ну, ничего, — утешал он сам себя. — Будет на одну книжку меньше. Всё равно их мало осталось.

С тех пор мы с Костей имели свободный доступ к книгам и стали много читать. Костя так увлѐкся, что читал даже на улице. Возьмѐт из библиотечки книжку, идѐт по улице и читает. Кончилось это тем, что он налетел на фонарный столб и набил на лбу шишку. После этого он перестал читать на улице и стал читать только дома.

Постепенно у Кости даже характер переменялся. Он стал аккуратным, более организованным и не таким рассеянным, как был раньше. К ребятам он относился требовательно. Если кто-нибудь приходил за книжкой с грязными руками, он начинал «пилить» его:

— Как тебе не стыдно? Почему у тебя такие грязные руки?

— Ну, испачкались. Тебе-то какое дело?

— Как какое дело? Ты ведь за книжкой пришѐл?

— За книжкой.

— И ты такими руками будешь брать книжку?

— Какими же мне её ещё брать руками?

— Чистыми надо брать руками. Ты ведь своими руками книжку испачкаешь!

— Ну, я приду домой, вымою.

— Нет, голубчик, иди-ка ты лучше под кран и вымой руки, а потом я тебе дам книжку.

Если кто-нибудь брал книжку и долго не приносил, Костя делал ему выговор:

— И тебе не стыдно так долго книжку держать? Другим ребятам тоже хочется почитать, а ты держишь и держишь. Если неохота читать, то отдай книжку обратно, а потом снова возьмѐшь.

— Я ведь не прочитал. Прочитаю и принесу.

— Так ты, может, до скончания веков будешь читать!

— Зачем до скончания веков? Книжка ведь выдаѐтся на десять дней.

— Ну, на десять дней. А ты когда взял?

— А я взял неделю назад. Ещё не прошло десяти дней.

— А тебе обязательно надо, чтобы все десять дней прошли? Десять дней — крайний срок. А ты прочитал раньше и приноси раньше, никто тебе не велит все десять дней держать.

— Так говорят же тебе, что ещё не прочитал.

— Ну так читай быстрее!

Если кто-нибудь слишком быстро приносил книгу — ему это тоже не нравилось.

— Послушай, когда же ты успел прочитать? Вчера только взял книжку, а сегодня уже обратно принёс. Может быть, ты и не читал её?

— Зачем бы я тогда брал?

— Откуда же я знаю, зачем ты берёшь? Может быть, ты только картинки рассматриваешь.

— Что я, маленький?

— Ну, ладно, рассказывай, о чём здесь написано.

— Что это ещё за экзамен?

— Ну, мне нужно проверить, читал ты или не читал.

— Не твоё это дело! Твоё дело выдавать книжки, а не проверять.

— Нет, уж если меня назначили библиотекарем, то я должен про- верить. Если ты не читаешь, то тебе, может быть, не нужно и давать книг. Пусть лучше кто-нибудь другой берёт, кто читает.

Приходилось ребятам рассказывать.

И ещё Костя придумал, чтоб ребята писали отзывы о книгах.

— Вы вот всё читаете, читаете, а нет того, чтоб написать отзыв!

— Да зачем тебе отзыв понадобился?

— А мы поместим в стенгазете. Если книжка хорошая, то другие ребята заинтересуются и тоже прочтут. Вот в последний раз даю тебе книжку. Если не напишешь отзыва, в следующий раз не получишь.

И он приучил ребят писать отзывы о книжках, так что отзывоз стало такое множество, что все их невозможно стало помещать в стенгазете. Тогда мы организовали свою газету «Юный читатель», в которой помещали все отзывы о книгах.

Глава двадцатая

С тех пор как Костя исправил свою двойку по русскому и мы с ним стали вести общественную работу, наш авторитет среди ребят очень повысился. Косте разрешили играть в баскетбольной команде, и он оказался очень способным игроком. Мы выбрали его капитаном своей команды. Костя очень хорошо натренировал всю команду, и мы выиграли первенство в школьном соревновании. От этого наш авторитет ещё больше увеличился, и о нашей команде написали в школьной стенгазете.

Но ещё не всё было у нас благополучно. Мы с Костей упорно продолжали заниматься по русскому языку, но он как застрял на тройке, так и не мог сдвинуться с места. Ему казалось, что после тройки он тут же сразу получит четвёрку, а потом и пятёрку, но не тут-то было! Ольга Николаевна упорно продолжала ставить ему тройки, так что в конце концов Костя даже начал приходить в отчаяние.

— Ты понимаешь, — говорил он. — Мне теперь уже нельзя учиться на тройку. Я библиотекарь в классе и капитан команды. Про меня в школьной стенгазете написано. А я учусь на тройку! Куда это годится?

— Потерпи ещё немного, — говорил я. — Надо продолжать заниматься.

— А я разве к тому говорю, чтоб не заниматься? Я всё равно буду заниматься, только мне Ольга Николаевна никогда не поставит отметки лучше, чем тройка. Она уже привыкла, что я плохо учусь. Так я и буду ехать всё время на тройке!

— Нет, — говорю я. — Ольга Николаевна справедливая. Когда ты будешь знать на четвёрку, она поставит тебе четвёрку.

— Ах, скорей бы она поставила! — говорил Костя. — Во всём классе

один я троечник. Если б не я, весь класс учился бы только на четвёрки и пятёрки. Я всему классу дело порчу.

Мы снова решительно брались за дело. Ольга Николаевна тоже занималась с Костей отдельно после уроков, и он, хотя медленно, но зато верно продвигался вперёд. Прошло полтора месяца с тех пор, как Костя получил тройку, и вот у него, наконец, появилась четвёрка. Это было радостное событие для всего класса.

В тот же день у нас было собрание, и Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости.

— Теперь у нас в классе нет плохих отметок, — сказала она. — Мы изжили не только двойки, но даже и тройки.

Она сказала, что мы с Костей очень хорошо поработали, и Костя подтянулся так, что в дальнейшем сможет хорошо учиться.

— В нашей школе есть очень хорошие классы, где много отличников и хороших учеников, но такого дружного класса, как наш, где все как один учатся только хорошо и отлично, пока больше нет, — сказала Ольга Николаевна. — Думаю, что и другие классы последуют хорошему примеру наших учеников и добьются в своих классах хорошей успеваемости. А вам, ребята, не нужно успокаиваться на достигнутом. Если вы успокоитесь и станете меньше работать, то опять можете снизить отметки.

Потом выступил вожатый Володя и сказал:

— Ребята, я напишу о вашем классе статью в школьную стенгазету, чтобы вся школа знала, как вы работаете, и чтоб другие классы могли брать с вас пример. Я только хочу узнать, что вам помогло добиться хороших результатов в учёбе.

— Я думаю, это оттого, что Ольга Николаевна нас хорошо учила, — сказал Ваня Пахомов.

— Ольга Николаевна у нас очень хорошая, вот это и потому, — сказал Вася Ерохин.

— В классе не всё зависит от учительницы, — сказала Ольга Николаевна. — И у хороших учителей бывают такие классы, где не все ученики учатся одинаково хорошо.

— Мы добились успехов потому, что Ольга Николаевна нас хорошо учила, и ещё потому, что все как один захотели хорошо учиться, — сказал Толя Дёжкин.

— Вот я и хочу узнать, почему же все захотели? — спросил Володя.

— Можно мне сказать? — сказал Костя. — Мне кажется, это потому, что у нас в классе между ребятами настоящая дружба. Каждый думает не только о себе, но и о своих товарищах. Это я на себе испытал. Когда я плохо учился, все ребята думали обо мне. Только я тогда был ещё очень глупый и даже обижался. А теперь я вижу, что ребята хотели мне помочь и боролись за честь всего класса.

— Ты правильно сказал, Костя. Дружба помогла вашему классу добиться успехов, — ответил Володя. — В вашем классе ребята поняли, что настоящая дружба состоит не в том, чтобы прощать слабости своих товарищей, а в том, чтобы быть требовательным к своим друзьям.

— Позвольте мне сказать, — попросил я. — Вот я теперь знаю, что настоящий друг должен быть требовательным. Это я тоже на себе испытал. Костя сначала поступал неправильно, а я помогал ему в этом, и от этого получился один только вред. А потом я стал требовательным к нему, и теперь я ему настоящий друг.

— Ты рассудил правильно, — ответил Володя.

Так мы разговаривали долго и задавали разные вопросы, а потом разошлись по домам.

Мы с Костей вышли из школы, и я заметил, что, пока мы сидели в классе, на дворе стало теплей. Мороз отпустил. С утра ещё было холодно, а теперь под крышами заплакали сосульки. Они сверкали на солнышке, как блестящие украшения на новогодней ёлке. В лицо нам дул ветер. Он был какой-то мягкий, тёплый, ласковый. От него пахло вот как пахнет водой у реки в жаркий день. Казалось, что этот ветер примчался к нам прямо с юга, из широких степей Казахстана, где уже наступила весна и начался сев. На душе у меня стало так хорошо, так радостно! Сердце громко стучало в груди и рвалось на простор. Хотелось куда-то мчаться или лететь. В голове теснились какие-то чудесные мысли, от которых захватывало дух, хотелось быть добрым, хорошим; хотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы все удивились и чтобы всем стало так хорошо, как было мне.

Вот какие мысли были у меня в голове. А Костя шёл и ничего не замечал. Потом он остановился, вынул из сумки дневник и полюбовался на свою четвёрку.

— Вот она, четвёрка! — улыбнулся он. — Сколько я мечтал о ней! Сколько раз думал: вот получу четвёрку и покажу маме, и мама будет довольна мной. Я знаю, что не для мамы учусь, мама всегда говорит об этом, но всё-таки я хоть немножечко, а и для мамы учусь. Ведь ей хочется, чтоб её сын был хорошим. Я буду хорошим, вот увидишь. И мама будет гордиться мною. Ещё поднажму, и у меня будет пятёрка. Пусть тогда мама гордится. И тётя Зина пусть тоже гордится. Пусть, мне не жалко. Ведь тётя Зина тоже хорошая, хотя и пробирает меня иногда.

Он остановился, спрятал в сумку дневник и огляделся по сторонам. Потом вздохнул полной грудью и сказал:

— Ты чувствуешь? Это весенний ветер! Скоро весна. Ведь сейчас уже конец февраля, а февраль — последний месяц зимы. Скоро наступит март, и придёт весна, и потекут ручейки, и зазеленеет трава, в лесах проснутся ежи и ужи и другие разные звери, и запоют птички, и зацветут цветы.

И он начал ещё что-то рассказывать про весну и про птичек, но я не запомнил, потому что как раз в это время мне в голову пришла мысль написать про всё, что с нами случилось, чтобы получилась настоящая книга. С тех пор я начал писать и писал чуть ли не каждый день понемногу. Это оказалось совсем не такое уж лёгкое дело, и хотя я писал не обо всём, а только самое главное, я подошёл к концу уже когда занятия в школе окончились и мы с Костей перешли в следующий класс с похвальными грамотами.

Вот и всё, о чём мне хотелось сказать.



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

МАЛЬЧИШКА

Он был грозой нашего района,—
Мальчишка из соседнего двора,
И на него с опаской, но влюблённо
Окрестная смотрела детвора.

Она к нему пристрастие имела,
Поскольку он командовал везде,
А плоский камень так бросал умело,
Что тот, как мячик, прыгал по воде.

В дождливую и ясную погоду
Он шёл к пруду, бесстрашный, как всегда,
И посторонним не было прохода
Едва он появлялся у пруда.

В сопровожденье преданных матросов,
Коварный, как пиратский адмирал,
Мальчишек бил, девчат таскал за косы
И чистые тетрадки отбирал.

В густом саду устраивал засады,
Играя там с ребятами в войну.
И как-то раз увидел он из сада
Девчонку незнакомую одну.

Забор вокруг сада был довольно ветхий —
Любой мальчишка в дырки проходил,—
Но он, как кошка, прыгнул прямо с ветки
И девочке дорогу преградил.

Она пред ним в нарядном платье белом
Стояла на весеннем ветерке
С коричневым клеёнчатым портфелем
И маленькой чернильницей в руке.

Сейчас мелькнут разбросанные книжки
(Не зря ж его боятся, как огня).
И вдруг она сказала: «Там — мальчишки,
Ты проводи, пожалуйста, меня».

И он, от изумления немея,
Совсем забыв, насколько страшен он,

Шагнул вперёд и замер перед нею,
Её наивной смелостью сражён.

А на заборе дряхлом повисая,
Грозя сломать немедленно его,
Ватага адмиральская босая
Глядела на героя своего.

...Легли на землю солнечные пятна.
Ушёл с девчонкой рядом командир.
И подчинённым было непонятно,
Что это он из детства уходил.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

В ГЕРМАНИИ

1

Где состоится заседание Совета Мира? Пока неизвестно. Какую новую страну, какие новые города и деревни мы увидим? С какими людьми, с какими проблемами предстоит познакомиться? Женева? Брюссель? Пекин? Любое название пробуждает вполне определённые ассоциации, вызывает в памяти имена литературных героев, улицы, пейзажи. Так же, как вызывали их в памяти Париж, Рим, Стокгольм. И, наверно, опять окажется, что созданную в воображении картину придётся изменить, дополнить, а иногда — отбросить некоторые из составленных суждений. Но самое основное, существенное — почти всегда именно таково, каким представлялось издали. Приезжаешь в незнакомый город, и он оказывается знакомым. Ищешь известные улицы, переулки, останавливаешься перед знакомыми картинами, и кажется, что лишь освежаешь в памяти поблёкшие, но живые воспоминания далёкого детства. Иногда просто не верится, что видишь всё это впервые.

Но вот нас извещают: Берлин.

И невольное смятение в мыслях. Сердце слегка сжимается. Берлин — это уж не литературные воспоминания. Не улицы, знакомые по романам, не имена литературных героев. Иные, совсем иные ассоциации.

...Под нами — почти незаснеженная равнина ещё изрезанных на клочки, расположенных в шахматном порядке крестьянских полей Польши. Чётко рисуется извилистая линия Вислы.

Варшава. С небольшой высоты, на которой мы летим, можно легко различить все контуры города. Центр остаётся в стороне, под нами Мокотов. Казалось бы, нет ничего странного в том, что по пути в Берлин мы пролетаем над Варшавой. И всё же — снова сжимается сердце.

Но не успевает ещё смутное ощущение сложиться в сознательную мысль, как Варшава исчезает, будто её смахнуло широкое крыло нашего «ИЛ'а». Поля, потом — всё чаще лесные массивы, подёрнутые местами голубоватым туманом.

Среди лесов — круглые и продолговатые пятна озёр. Неясные очертания местечек, тянущиеся вдоль дорог посёлки. И снова река.

— Пролетаем над Одером, — говорит лётчик.

Одер? Значит, скоро уже и Берлин. Никогда прежде не виданный Берлин. Ни до, ни после войны. Глаза напряжённо всматриваются в проносящуюся под крылом самолёта равнину. Обычная. Совершенно такая же, как по ту сторону Одера. Только смотришь на неё иначе — в полном смятении чувств. И вдруг одна мысль подавляет все остальные. Мысль, что это путешествие может оказаться не только самым трудным, но и самым удивительным из всех, какие пришлось совершить в последние годы.

И всё же в момент, когда самолёт описывает круг над берлинским аэродромом, охватывает ощущение странной пустоты — никаких воспоминаний, никаких привычных представлений, никаких воображаемых картин виднеющегося вдали города. Да, это будет для меня совершенно новый город, и все чувства поглощены одним — ожиданием. Не тем радостным, полным любопытства ожиданием, которое я испытывала над парижским, над римским аэродромами. Нет, напряжённым, мучительным ожиданием.

Аэродром расположен довольно далеко от центра города. Мы едем по широкой асфальтированной дороге. По сторонам мелькают цветные плакаты, лозунги, знамена всех наций — признак, что город готовится к приёму членов Совета Мира. Позади слышится гул следующего самолёта — летит китайская делегация, она приземлилась в Минске за несколько минут до нашего отлёта. И теперь уж весь день — самолёт за самолётом! Со всех концов света, со всего земного шара слетаются сотни людей, работающих на дело мира.

Справа и слева — крытые красной черепицей домики. Деревья в садах ещё обнажены, но на грядках и клумбах уже пробивается свежая зелень. Высокие столбики брюссельской капусты, сохранившиеся с осени, свидетельствуют о том, что зима здесь не морозная. Рассматриваю уютные домики. Где же пресловутые берлинские развалины?

— Ведь это только предместье, — объясняет шофёр. — Дальше сами увидите.

Мы и впрямь увидели. Увидели по пути с аэродрома, увидели из окон нашей гостиницы, которая, словно одинокая башня, высится среди моря руин. Напротив была канцелярия Гитлера. Под развалинами погребены её бомбоубежища, последний приют штаба преступления, который ещё отсюда обрушивал на мир смерть и ужас и здесь же нашёл свой чёрный конец.

— Ужасное впечатление от этих развалин, — говорит кто-то из иностранцев, глядя на усыпанную щебнем пустыню с вздымающимися кое-где уродливыми скалами. Мрачный, фантастический пейзаж, смутно напоминающий что-то виденное на картинках в далёком детстве.

Меня берлинские развалины оставляют холодной. Слишком много более страшных, более близких сердцу руин пришлось мне увидеть. Руин городов, на которые вероломно напал, которые разгромил и разрушил враг, стремившийся стать хозяином чужих земель, господином других народов.

Какая-то наглядность связи между причинами и следствиями ощущается в этом зрелище руин Унтер-ден-Линден, откуда церемониальным маршем двигались на завоевание Европы гитлеровские армии. Вот почему при виде их не сразу приходит в голову мысль об уничтоженных культурных ценностях, о погибших результатах труда целых поколений.

Всё это так. Но вместе с тем всё это не так уж просто.

На грудах щебня, цемента, кирпичей, что были когда-то домами, с сухим шелестом раскачиваются на ветру уже увядшие венки, поблёкшие ленты. Сотни венков на развалинах.

— Что это?

— В феврале мы справляли траурную годовщину американских бомбёжек. Годовщину дня, когда в течение часа погибло под развалинами несколько десятков тысяч гражданского населения.

Верно. В феврале сорок пятого года, когда уже догорала гитлеровская держава, когда в кровавых победоносных боях неудержимо двигалась вперёд Советская Армия, — американская авиация дала образец того, на что она способна. В течение часа сотни тяжёлых бомбардиров-

щиков засыпали бомбами жилые районы Берлина и Дрездена, районы, где не было ни казарм, ни заводов, ни каких бы то ни было военных объектов. Противовоздушная оборона Германии была к этому времени полностью дезорганизована, самолёты безнаказанно волнами пронесли над городом, сбрасывая всё новый и новый смертоносный груз. В Дрездене за этот час погибло сорок тысяч человек гражданского населения, в Берлине около тридцати. Уже не борьба, нет — просто варварское, бессмысленное убийство и разрушение. Причём подвергались этому разрушению как раз те районы, которые впоследствии должны были оказаться в советской оккупационной зоне.

Яркий образец американских методов «борьбы» — разрушение театра в Веймаре. Над не имеющим никакого военного значения городком, где не было даже военного гарнизона, появился американский самолёт. Спокойно присмотрел себе цель и сбросил бомбу на гордость Тюрингии — на исторический театр, где ещё при жизни Гёте и Шиллера ставились их пьесы. Об ошибке тут не могло быть и речи, ибо это был единственный самолёт и единственная бомба, сознательно и точно сброшенная именно на театр. Американский варвар боролся не с варварством фашистов, он кинулся разрушать в Германии то, что в ней осталось самого лучшего, что являлось достоянием всего человечества, — огромной ценности памятник культуры.

Целиком перенятый гитлеровский метод — уничтожать всё лучшее, что есть у той или иной нации, но усовершенствованный и проводимый в ещё более массовом масштабе.

Кто-то из бывших гитлеровских генералов заявил, что американские методы в Корее полностью реабилитировали нацистов, ибо приказы Макартура ничем не отличаются от приказов Манштейна и Франка. Гитлеровский генерал делает отсюда вывод, что следует прекратить все нацистские процессы, аннулировать все приговоры, освободить из тюрем всех военных преступников, признать, что они никогда и не были преступниками.

Всякий нормальный человек приходит к иному выводу, а именно: Макартур такой же преступник, как и гитлеровские палачи. Любой империализм, будь то империализм немецкий или американский, — носит те же преступные черты, выливается в те же чудовищные формы.

И вот немцам пришлось увидеть воочию, на себе испытать методы, которые гитлеровская армия и её воздушные силы применяли в стольких странах, городах и деревнях.

А между тем простирающиеся перед нами развалины были когда-то домами, где жили, радовались и печалились люди, где раздавался детский смех. Эти разрушенные улицы и площади были близки и дороги множеству сердец. В них вложены и труд, и радости, и заботы, с ними связана история города, история страны, история десятков поколений. Германский фашизм открыл американским лётчикам путь для удара в самое сердце страны, в её столицу.

— На то и война! — возразит кто-нибудь.

Но ответ на такое возражение дают сами немцы.

— Ваши самолёты бомбили военные объекты. Ваши самолёты не стремились убивать женщин и детей. Ваши лётчики не искали больниц, школ, театров, чтобы снести их с лица земли. Ваши лётчики сражались, а американские — просто убивали.

Видимо, и войну можно вести по-разному.

Перед Дсом печати, где должно состояться заседание Совета Мира, ожидая появления делегатов, толпится молодёжь.

— Товарищи, расступитесь, дайте дорогу, дайте дорогу! — тшечно зовет кто-то из охраняющих порядок рабочих с повязкой на рукаве. Молодёжь, стремясь как можно больше увидеть, напирает всё сильнее. Тогда вмешивается рослая пожилая женщина. Одним энергичным движением она хватает за шиворот какого-то подростка и толкает его так, что тот валится на соседей.

Если бы вот так же оттолкнули кого-нибудь в Стокгольме, Париже, Варшаве, вероятно, единственной реакцией была бы мысль: не мешало бы быть повежливей. Но здесь в любом ничего не значащем жесте, движении мерещатся черты жестокости, видишь отражение того, что было, доискиваешься следов недавнего прошлого, терзаешься вопросом: вправду ли тот период канул в прошлое? Я изо всех сил борюсь с этим чувством, мне хочется наблюдать действительность непредубеждёнными глазами.

Но трудно просто позабыть о событиях, которые годами сверлили в сердце кровавые раны. Трудно просто перейти к очередным делам, сказав себе: «Всё это — прошлое и не имеет ничего общего с нынешним днём»...

Заседание открыто. Первым выступает ректор берлинского университета, председатель Немецкого комитета борцов за мир. За ним приветствует прибывших на сессию бургомистр Берлина. Корреспондентские ложи набиты битком. Чувствуется, что даже варшавский Конгресс сторонников мира не возбудил такого интереса, как эта берлинская сессия Совета Мира.

Один за другим выступают представители борющихся за мир народов. Впервые за всё время сидит среди нас представитель Японии, которому удалось прорваться сюда вопреки запретам американцев, стремящихся железным занавесом отгородить Японию от всего остального мира. Выступает представитель Филиппин, рисуя перед нашими глазами ужасающие картины гнёта, преследований, рабства, навязанных народу этой страны прожорливым американским капитализмом.

Но меня мучит всё тот же вопрос: «Каковы немцы сегодня? Кто они и кем были раньше все эти так радушно принимающие нас люди?»

У входа в зал заседаний книжный киоск. Отбирая книги, я беру маленькую, переплетённую в серовато-зелёное полотно, книжечку, даже не подозревая, что именно благодаря ей я ещё сегодня познакомлюсь со многими, многими немцами, смогу заглянуть в их сердца, прочесть их заветнейшие мысли.

На сегодня заседания сессии закончены. Я чувствую страшную усталость, словно целый день тащила на себе непосильную тяжесть. Хочется отдохнуть от терзавших весь день мучительных мыслей.

В гостинице тихо. Умолкли шаги в коридоре. Проекторы за окном освещают транспаранты с изображением голубя мира. Качаются на ветру уличные фонари, бросая подвижные пятна света на простирающееся вокруг гостиницы море руин. Где-то, по другую сторону огромной площади, образовавшейся на месте бывших улиц, скверов, площадей, скрежещет машина, грузящая в вагонетки обломки и щебень. Мокрая, ветренная, серая ночь над Берлином. Шаги редких прохожих гулким эхом отдаются на площади.

Нет, не на что глядеть в окно. И сон не смежает усталые глаза. Вот

теперь-то и почитать небольшую, оправленную в зеленоватое полотно книжечку — «Письма германских антифашистов перед казнью».

Август Лютгенс, рабочий из Гамбурга. Остались слова, сказанные им на суде: «Смертная казнь, к которой приговорили меня и моих товарищей, не удержит рабочих от борьбы против фашизма». Осталось письмо, написанное детям перед самой казнью.

«Дорогие дети! Когда вы получите это письмо, вашего отца уже не будет в живых... Так что мы больше не увидимся. Но когда вы подрастёте и станете изучать историю, вы поймёте, кем был ваш отец, за что он боролся и умер. И поймёте также, почему он должен был поступить так, а не иначе. Будьте здоровы и будьте борцами».

Я ищу дату. Август Лютгенс погиб 1 августа 1933 года. Давно, в самом начале. Он был одним из первых, кто погиб от руки гитлеровских палачей.

Фамилии, фамилии, даты. И каждая подпись — имя борца, павшего в борьбе с гитлеризмом. И из-за каждого прощального письма возникает лицо человека, погибшего за свою великую правду, за общее великое дело. Погибшего сознательно, смело глядя в глаза смерти...

«...Да, наступит когда-нибудь для вас счастье, за которое я боролся и теперь погибаю! Пусть я умру, но знамя водружено прочно. Все, кто до меня пошли по этому пути, — шли как мужчины. Так же поступлю и я. Идея, которая кровью своих поборников окупает единство и высокие идеалы рабочего класса, осуществится на всём земном шаре», — писал 19 мая 1934 года Герман Фишер, рабочий из Гамбурга.

«Почему ты не хочешь понять, что я умираю ради того, чтобы другим больше не приходилось умирать преждевременной, насильственной смертью? Этого ещё нет, но моя жизнь и смерть помогут осуществить это... Никому не вернуть вспять колесо истории. Люди вскоре поймут, что этого нельзя делать безнаказанно».

Это письмо Фите Шульце, портового рабочего из Гамбурга, написанное 6 июня 1935 года.

«Но итти по этому пути (просьбы о помиловании. — В. В.) я считал бы позором. Я предпочитаю взойти на голгофу, на которую взойшло до меня столько рабочих, чем просить о помиловании. Ибо знаю, что жертва, которую я готов принести, не будет напрасной. Все эти массовые казни немецких рабочих, все эти жертвы — это славные предвестники нового социального строя, верные признаки приближающейся победоносной пролетарской революции», — писал 12 июля 1935 года Иоганн Бекер, рабочий из Касселя.

Тридцать третий, тридцать четвёртый, тридцать пятый год. Уже не было в живых ни Лютгенса, ни Фишера, ни Бекера, ни Шульце, когда Гитлер победным маршем прошёл по Европе, когда миллионы одетых в военную форму немцев двинулись, сокрушая всё на своём пути, по колону в крови идя сквозь чужие земли и страны.

Тридцать четвёртый, тридцать пятый год... Как мужественно боролись, как храбро умирали немецкие рабочие во времена, отдалённые от нынешнего времени войной и всеми её ужасами.

Но где был немецкий рабочий, где была совесть немецкого народа, когда обращалась в руины Варшава, когда пылал Смоленск, когда над всей Европой удушающей, чёрной тучей навис дым от печей смерти?

И вдруг мне бросаются в глаза новые даты. Сороковой, сорок первый, сорок второй годы. Дни, когда опьянённый победами Гитлер безумствовал в лихорадке разрушения. Киев, Курск. Страшная, морозная зима. Сожжённые дотла деревни. Горы трупов вдоль дорог. Снова возвращается скорбная мысль к этим горьким путям отступления, снова

вспоминается трескучий мороз беспощадной зимы, мерещатся грудные дети, лежащие на снегу с разбитыми о мёрзлую землю головёнками. Дети из колхоза имени Димитрова.

И вот я в городе Берлине, где изо дня в день гремели в это время победные фанфары и где...

...И где как раз тогда — даже и тогда — появлялись на стенах официальные извещения о казнённых по приговорам гитлеровского суда. Кто-то получил последнее письмо. Кто-то другой найдёт его лишь годы спустя спрятанным в щели смертной камеры...

В то самое время, когда фашистская солдатня обращала в пепел города и деревни, когда солдат Советской Армии собственной грудью защищал от ударов отечество — за то же великое дело умерли в Берлине пекарь Конрад Бленке, строительный техник Вильгельм Тевс, служащая Кэте Тухолля, скульптор Курт Шумахер.

Передо мною их письма.

«Это написано в наручниках, под непрерывным наблюдением. Я знаю, что моё, наше мировоззрение победит, если даже мы, немногочисленный авангард, погибнем. Мы хотели бы предохранить немецкий народ от самого худшего. Наша небольшая группа боролась честно и мужественно. Мы не могли быть трусами» (Курт Шумахер, Берлин, 22 декабря 1942 года).

«...Я жил как борец и умру как борец. Погибнуть за идею — это великая и почётная задача... Мой последний завет тебе: всегда действуй с чувством ответственности, непрерывно работай над самосовершенствованием, никогда не щади себя, когда надо пожертвовать жизнью ради великого дела» (Конрад Бленке, Берлин, 22 января 1943 года, письмо к ребёнку).

«...И когда теперь, перед своим концом, я устремляю взор в будущее, грудь моя ширится, ибо я вижу ваш сияющий новый мир, за который мы боролись... Я вступаю на этот последний путь с радостной улыбкой, так как знаю, что исполнилась мера времён, мы умираем, чтобы завтрашний день принадлежал вам. Только с Востока свет! Вот как должны вы обо мне думать» (Вильгельм Тевс, Берлин, 8 февраля 1943 года).

«Видишь ли, бедняжка, жизнь моя была богата, и я буду жить во множестве сердец. Будь мужественна, как и я. Я посвятила свою жизнь страдающему человечеству. Это должно быть твоим утешением. Правда, ты ничего не знаешь об этом, но придёт время и ты услышишь всё... Мне предстоит великое событие, и я счастлива, так как жила ради будущего человечества» (Кэте Тухолля, Берлин, 28 сентября 1943 года).

Невозможно оторваться от этой небольшой книжечки, переплетённой в зеленоватое, как мох, полотно. Сколько изумительной душевной красоты, сколько трагизма заключают в себе эти строки, позволяющие заглянуть в минувшее, и оно словно живое проходит перед глазами. Из брошенных мимоходом слов вдруг становится ясно, как трудна, как трагична была борьба этих людей. Как часто они бывали одиноки, непоняты самыми близкими. Что должен был чувствовать, умирая, кондитер Отто Гаазе, если написал в последнем письме: «Придёт время, когда и вы меня поймёте, когда я буду реабилитирован». В глазах собственной жены, матери его детей, он был преступником, знал, что она будет стыдиться его памяти, и ожидал «реабилитации» от будущего. И всё же мы находим в этом письме слова: «Займись детьми, скажи им, что всё, что я делал, я делал для них и для будущего. Я всегда стремился к добру, красоте и благородству. Я любил вас, наше отечество и немецкий народ. Многие ушли из жизни, но ни один не отправился в этот путь понапрасну».

Предсмертная просьба Елизаветы Шумахер, казнённой в сорок втором году вместе с Куртом Шумахером: «Не стыдитесь за нас!»

Девятнадцатилетний Горст Геильман, прощаясь с родигелями, пишет: «Если бы я знал, что вы можете простить меня и хоть немного гордиться мной, я бы умер счастливым».

Как в приоткрытую дверь, гляжу я сквозь письма казнённых в страшную чёрную ночь гитлеризма в Германии.

Шумит за окнами ветер, шуршат, осыпаются руины. Мимолётный свет скользит по стенам комнаты от раскачивающихся на ветру фонарей. За стенами ночь. И невозможно оторваться от этой книги. Каждая биографическая справка — огромная, сложная, захватывающая и прекрасная жизнь человека.

Длинной вереницей проходят передо мной тени людей, о которых я ещё сегодня вечером ничего не знала и которые вдруг стали такими близкими сейчас.

Евгений Видмайер из Штуттгарта. Редактор. В 1934 году приговорён к пятнадцати годам тюрьмы, где его и убили в 1940 году. Его жена, десять лет просидевшая в тюрьмах и лагерях. Арвид Гарнак, казнённый вместе с женой. Лётчик Гарре Шульце-Бойзен и его жена. Вильгельм Тевс, борец за свободу Испании, заключённый затем в концентрационный лагерь Франции, выданный Францией гестапо и казнённый в феврале 1943 года. «Жизнь была хороша и стоило прожить её», — как эхо раздаются слова его предсмертного письма.

Гильда Коппи. Её мальчику был всего месяц, когда казнили её мужа, а когда она взошла на эшафот, её крошке было восемь месяцев. Кэте Тухолля, девять лет работавшая с мужем в подполье и вместе с ним погибшая на эшафоте. Шарлотта Гаршке с мужем. Матиас Тезен, ткач, после одиннадцатилетнего заключения расстрелянный в 1944 году вместе с 26 другими членами подпольной организации лагеря Саксенгаузен.

Начинаю разыскивать в биографических справках сведения не только об отдельных людях, но организациях и группах, к которым они принадлежали. Группа Урига, группа Сэфкова, группа Бойзен-Гарнак. Принадлежность к одной из этих групп то и дело повторяется в связи с той или иной фамилией.

Последняя страница. И я вновь возвращаюсь к письму Вальтера Гуземана, казнённого в мае 1943 года.

«Умираю как и жил — классовым борцом. Легко звать коммунистом, пока не приходится проливать за это собственную кровь. Подлинными ли мы коммунисты, мы узнаём лишь тогда, когда наступает час испытаний. Я подлинный коммунист, отец! Преодолей свою боль! Тебе ещё предстоит выполнить задачу. И ты должен выполнить её в двойне и в тройне, ибо твоих сыновей уже нет в живых. Бедный отец, и в то же время счастливый отец, отдающий ради идеи лучшее, что у него есть. Война продлится уже недолго, и тогда придёт ваш час. Мне легко умирать, так как я знаю, почему должен умереть. Те, что меня убивают, вскоре встретятся с более тяжёлой смертью».

Я откладываю книжку. За окном всё ещё ночь, и ветер шелестит в руинах.

Как хорошо, что есть такая книга, что издатели объявляют о предстоящем выпуске новых томов предсмертных писем немецких борцов за свободу. Пусть немецкие дети, немецкая молодёжь учатся по ним понимать, что такое свобода, пусть с благоговением произносят имена героев рабочего класса, отдавших жизнь за их счастье, за их будущее.

Дети и молодёжь, и те, которые сами боролись, могут читать эту книжку с чистой совестью. Но горьким, мучительным упрёком будет она

всем пассивным, всем равнодушным, всем, кто не нашёл в себе достаточно мужества для борьбы. Никого, у кого кровь на руках, никого, кто спокойно соглашался на всё происходящее, не оправдает смерть героев.

Тем упорнее должны они бороться сейчас, когда из их родины снова хотят сделать ставку в чудовищной игре, когда Западную Германию снова вооружают, снова воскрешают её военную промышленность, чтобы толкнуть её против Советского Союза, против стран народной демократии.

3

Отправляясь утром на заседание, мы обращаем внимание на странную безлюдность улиц. Словно в городе почти нет обитателей. Почему?

Наш вопрос вызывает удивление.

— У кого же есть время гулять в эту пору? Сейчас все работают.

Действительно. Выйдя из здания во время обеденного перерыва, мы убеждаемся, что Берлин — многолюдный, оживлённый город. По всем направлениям спешат, торопятся прохожие — мужчины, женщины, подростки, чтобы после окончания перерыва снова исчезнуть. Да, Берлин не гуляет, здесь нет уличных зевак, бесцельно прохаживающихся фланёров. Берлин работает. А работы здесь хватает для всех. Там, подальше, под заботливым крылышком американцев, её нет у двух миллионов человек. Здесь её достаточно не только для своих, но и для людей, живущих в западной зоне и приходящих работать сюда. Демократическая Германия уничтожила страшный призрак безработицы, вечно угрожающий рабочим капиталистических стран.

В зале Дома печати весь день идут дебаты. Вновь и вновь обсуждается проблема ремилигаризации Германии, той страшной опасности миру, которой она угрожает. И вновь и вновь возникает вопрос:

— Неужели и вправду неизбежно, чтобы страна, которая могла бы быть страной музыки, философии, поэзии, страной творческого труда, чтобы эта страна снова стала угрозой, чёрной тучей, нависающей над жизнью других народов? Неужели и вправду неизбежно, что именно отсюда обрушивается на Европу огонь, испепеляющий города и сёла, несущий смерть миллионам и миллионам людей?

Первая мировая война принесла Германии голод и поражение, нищету и разруху. Вторая — обратила в развалины её города, навлекла неисчислимы бедствия на немецкий народ.

Сейчас те самые внутренние и внешние силы, которым удалось уже дважды использовать Германию, как резервуар войны, пытаются сделать это в третий раз.

В марте 1919 года, когда ветер ещё не успел развеять пепел сожжённых вильгельмовскими солдатами городов и деревень, когда разрушенная, голодная Европа ещё и не начала залечивать свои раны, — президент Соединённых Штатов Вильсон уже настойчиво требовал нового вооружения Германии. И в качестве основного мотива выставлял «угрозу со стороны России». Именно Германия должна была стоять на страже «порядка» в Восточной и Юго-Восточной Европе. Именно ради этого Америка и Англия энергично помогали возрождению германской армии, германской военной промышленности.

К чему это привело, повидимому, следует напоминать ещё очень и очень многим. Ибо старая история грозит повториться вновь, вновь звучат лживые аргументы, повергшие уже раз человечество в пучину неслыханных бедствий.

Давно нет в живых президента Вильсона. Другие люди заседают в министерских кабинетах Великобритании и Соединённых Штатов. Но уже снова слышатся слова об «угрозе со стороны России», слова о том, что германский милитаризм призван спасти Европу.

Нас мало удивляют английские и американские намерения вооружить Германию. Эти господа привыкли загребать жар чужими руками и не слишком надеются на энтузиазм своих народов. Ещё менее «надёжны» в этом отношении народы Европы, которые чересчур хорошо знают, что такое война, и в противоположность англо-американским поджигателям жаждут не войны, а мира. Между тем американским дельцам дозарезу нужно пушечное мясо, и они уверены, что найдут его в Германии, народ которой за последние полвека уже два раза поставлял его империалистам. Мы, мол, англо-американцы, будем крушить всё живое с воздуха, ползти же по грязи, утопать в снегах, обливаться кровью на земле — будет немецкий солдат. Можно даже с барской щедростью пообещать ему, что ползти по грязи, утопать в снегах, захлёбываться в собственной крови он будет не на своей, а на чужих территориях.

Столь же мало удивляет нас и то, что господа трумэны и ачесоны нашли в Западной Германии людей, с которыми можно сторговаться относительно немецкого пушечного мяса. Убийцам корейских детишек не трудно найти общий язык с убийцами детей Украины, Белоруссии, Польши. Факельщикам, живьём сжигающим корейских крестьян в их хижинах, не трудно договориться с факельщиками, орудовавшими в украинских, белорусских, польских деревнях. Вполне понятно, что торговцы кровью с Уолл-стрита ощущают родственную нежность к Круппу фон Болену.

Но немецкий народ? Неужели он позволит в третий раз превратить себя в пушечное мясо, в орудие преступных планов империалистов? Неужели в третий раз согласится он навлечь катастрофу на свою страну?

Господа Аденауэр и Шумахер, с такой готовностью продающие сейчас немецкий народ и немецкое государство иностранным дельцам, пытаются договориться лишь относительно гарантий, обеспечивающих ведение войны вне пределов Германии.

Какое значение могут иметь такие гарантии, пусть даже генерал Эйзенхауэр и даст их от имени своих хэзязев? Какой немец, глядя на развалины своих городов, не вспомнит «гарантии» Геринга, что ни один неприятельский самолёт никогда не появится в небе над Германией? И кто в состоянии поверить, будто сами-то Шумахер с Аденауэром настолько наивны, что верят таким гарантиям?

Только умалишённый может думать, что, бросив факел в пороховой склад, он взорвёт лишь те ящики, которые намерен был поджечь. Искра, брошенная в любом пункте Европы, охватит пламенем всю Европу, если не весь мир. Да и легче ли было тем немецким матерям, дети которых погибали в Норвегии, Африке или России, чем тем, чьи сыновья пали под Берлином?

Всё, что проделывают в настоящее время американцы в Западной Германии, они делают исключительно ради собственной корысти. Германия и германский народ в их глазах лишь материал, из которого они намерены сделать орудие своих разбойничьих планов.

Возрождаются, правда, Крупп, Флик и другие фабриканты оружия. Но даже и они возрождаются в тени других, более мощных сил: морганов, дюпонов. Возникает преступный концерн под руководством американских миллиардеров и промышленников. Не ради Германии, а во вред и ущерб ей.

Ремилитаризация Германии, восстановление её военной промышленности означает одно: подготовку новой войны под командованием американских миллиардеров.

Но что думают об этом сами немцы? Понимают ли они то, что так ярко бросается в глаза нам?

Вот это-то и хотелось узнать нам, когда мы сюда отправлялись. Ремилитаризация Германии и возрождение германской военной промышленности — эти два вопроса стояли на первом месте в повестке дня Совета Мира.

Понятно, что в первую очередь нас интересовала позиция немцев из западной зоны. Тех, что находятся под американской властью, под непосредственным американским нажимом.

Западная зона. Я совершенно иначе представляла себе этот разрыв города на две части. Ведь здесь сталкиваются два различных мира — мир новой демократии и мир капиталистический, империалистический. Казалось бы, что на рубеже должны возвышаться какие-то бросающиеся в глаза барьеры, какой-то видимый знак того, что там, по другую сторону, начинается мрачный мир насилия и гнёта.

Но никаких материальных барьеров нет. Мы подходим к Бранденбургским воротам и останавливаемся на тротуаре. В нескольких шагах от нас начинается американская зона.

Никаких шлагбаумов, никакой охраны, никаких постов. Никем не задерживаемые мчатся мимо нас в ту и другую сторону такси. Свободно проходят в обе стороны люди.

— Многие из них живут там, а работают на этой стороне. Там меньше разрушенных домов, легче устроиться с жильём. Кроме того, даже и те, кто работает по ту сторону, ходят в здешние магазины, особенно за хлебом. Но не только за хлебом, их полно во всех здешних магазинах, и продовольственных и прмтоварных. Здесь ведь всё гораздо дешевле и можно достать вещи, доступные там лишь очень богатым людям.

Первым моим душевным движением было движение протеста. С какой стати «те» ходят сюда за покупками? С какой стати выгадывают они на разнице цен?

Но я тут же поняла, что это не так. «Те» в своём подавляющем большинстве совершенно такие же, как «эти», как граждане Германской Демократической республики. Рабочие, интеллигенты. Город разорван на две части искусственно, искусственно разорвана на две части единая страна. Вот почему с такой силой, с таким упорством раздаётся по всей Германии лозунг: «Немцы — за один стол!» Этот лозунг кричит не только со стен домов, с заборов и оград восточной части Берлина, он, как эхо, доносится тысячами возгласов из-за Бранденбургских ворот.

Мы просим объяснить нам эту полную свободу передвижений туда и обратно. Ведь это же должно вызывать тысячи осложнений? Но тогда оказывается, что свобода передвижений — лишь видимость, что барьеры существуют, хотя и не бросаются в глаза с первого взгляда.

Людям, отправляющимся отсюда в западную зону, всегда приходится считаться с возможностью провокаций, нападений, неприятностей. У американцев вообще большой огиит в провоцировании инцидентов и явное пристрастие к скандалам. Как раз во время нашего пребывания в Берлине несколько вооружённых американцев, перейдя границу своей зоны, убили немецкого полицейского. Труп они попытались перетащить на свою сторону, чтобы затем сфабриковать «историю» о том, как полицейский из восточной зоны напал на них в чём не повинных

американских солдат на их территории. Фокус не удался. Но одним убитым в Германии стало больше.

На высоком здании по ту сторону Бранденбургских ворот бегут, сверкают электрические надписи, предназначенные для того, чтобы «агитировать» обитателей восточной части Берлина. Старые, затрёпан-ные фразы о «свободе» и «демократии», цинично повторяемые людьми, поощряющими линчевание негров, истребляющими население Кореи, людьми, обратившими собственную страну в огромную тюрьму для всех, кто смеет мыслить и чувствовать.

Восточный Берлин ответил. Не клеветой, не голословными утверждениями. На огромном экране, установленном так, что его можно видеть не переходя демаркационной линии, время от времени демонстрируется документальный фильм, где запечатлены преступления американцев в Корее.

Не помогают никакие запреты, никакие полицейские кордоны. Тысячные толпы собираются в западном Берлине всякий вечер, как демонстрируется фильм, и смотрят, что в действительности представляют из себя мнимые защитники свободы, демократии и прав человека.

Нам пришлось разговаривать с актрисой, приехавшей на сессию Совета Мира из Западной Германии.

— Мы уже больше года без работы. Ведь у нас нет ни театров, ни концертов, никакого искусства. Кабаре, кафе-шантан, какой-нибудь эстрадный театрик на грани порнографии — вот духовная пища, милостиво выделяемая нам американцами. Артистам, работникам искусства — делать нечего, они брошены в ряды безработных.

Мы выразили удивление, почему бы в таком случае ей не переехать в восточную зону, где кипит художественная жизнь, где всякий может заниматься любимым делом.

Она улыбнулась.

— Что же получилось бы, если бы все мы переехали сюда? Ведь там живут миллионы рабочих, сотни тысяч интеллигенции, вправе ли мы отказываться от борьбы? Германия — это единая страна, и мы верим, что то, чего мы требуем — «Немцы за один стол!», — осуществится. Мы не имеем права эмигрировать ради куска хлеба, как бы признавая тем самым, что считаем разрыв Германии естественным и длительным положением вещей.

В справедливости её слов нам пришлось убедиться в тот же вечер. Мы поехали в оперу. Зрительный зал переполнен, яблоку некуда упасть. Мы обратили внимание на группку молодых людей в незнакомых нам военных мундирах.

— Кто это?

— Англичане. Им ведь тоже хочется посмотреть что-нибудь, кроме выступлений гёрлс и порнографических скэтчей. Наши театры ежедневно посещают не только немцы из западного Берлина, но и английские и французские солдаты и офицеры.

Мы внимательно всматриваемся в публику, стараясь угадать, кто из западного, а кто из восточного Берлина. Но различить невозможно — это единый город и единая страна.

Вот почему комитеты борцов за мир существуют не только в Восточной Германии. Их тысячи, и они рассеяны по всей стране. Разница лишь в том, что в Демократической республике они пользуются поддержкой не только населения, но и властей, а в Западной Германии за деятельность в защиту мира травят, преследуют, карают, как за тяжчайшее преступление.

Оратор из Западной Германии коротко приводит факты. Создан комитет для проведения плебисцита по вопросу о ремилитаризации Германии. На конгрессе в Эссене — городе, который испокон веков был кузницей немецких вооружений, — 1 700 делегатов от предприятий, от учреждений и организаций резко и решительно высказались против перевооружения Германии. Официальное проведение плебисцита было запрещено властями, но население проводит его. Голосуют на заводах, на фабриках, голосуют в учреждениях — 97—98 процентов голосуют против нового преступления, против американских махинаций, против превращения немецкого народа в пушечное мясо.

Всё время, пока длилась сессия, ежедневно приходили сотни и тысячи писем и телеграмм из Западной Германии. От организаций, от заводов, от групп и отдельных людей.

— Мы с вами. Всем сердцем присоединяемся к вашей борьбе за мир. Из всех сил будем бороться против всего, что угрожает миру, против ремилитаризации Германии.

С напряжённым вниманием слушаем мы выступления ораторов из Западной Германии. Выступает старик — капитан легендарного судна «Эмден». Выступает молодой журналист. Выступает бывший офицер гитлеровской армии. Женщина, из самой глубины сердца бросающая пламенный призыв — боритесь за мир!

Нет, эти не польстятся на американские приманки. Они понимают, чем была бы для всего мира, и для Германии в том числе, новая война. Эти-то во всяком случае понимают, что скрывается за экскурсиями генерала Эйзенхауэра, за якобы предназначенной для «защиты Европы» ремилитаризацией Германии.

Между тем они говорят не только от своего имени. Это представители тысяч и тысяч приславших их сюда, на сессию Совета Мира. И нам становится понятно, почему господа с Уолл-стрита боятся не только собственного народа, но и немцев. Они повторяют старую ложь об угрозе со стороны Советского Союза. Но за этим кроется и нечто другое. Нечто, о чём стараются не говорить вслух, но что иногда выбалтывают. Достаточно напомнить циничное заявление, сделанное несколько месяцев тому назад Вильямом Генри Чемберленом: «Стрельба американских, английских и французских оккупационных войск по немцам, даже по немцам, подстрекаемым Советским Союзом, вызвала бы неблагоприятную психологическую реакцию».

Разумеется, столь откровенные высказывания не оставляют и тени сомнения в том, что пресловутые «немецкие вооружённые силы», лихо радочно создаваемые английскими и американскими генералами, будут использованы не только против России, что их бросят против самих немцев. Душить немцев немецкими же руками — куда удобнее. А таких специалистов, напрактиковавшихся в лагерях не только Освенцима и Майданека, но и Дахау, и Бухенвальда, найдётся немало среди немецких военных преступников, нежно лелеемых правящими кругами Англии и США.

4

В голубое солнечное утро мы выезжаем из Берлина, направляясь на митинг в Веймар, в город Шиллера и Гёте. Минуем парки предместий, крохотные, уютные местечки, пристроившиеся вдоль дороги и реки. Одноэтажные и двухэтажные домики, крытые красной черепицей, крутые, острые крыши, сады и огороды вокруг домов. На установленных вдоль дороги транспарантах мелькает белый голубь мира. Гладкий асфальт мягко ложится под колёса машины. На перекрёстках — стрелки,

надписи, десятки указаний. Дорога содержится в такой чистоте, словно предназначена не для езды, а для того, чтобы накрывать её к обеду. До Веймара около пятисот километров. Нам предстоит выступить на митинге, осмотреть город и в тот же вечер вернуться в Берлин. С лёгким недоверием выслушиваем мы заверения, что это вполне возможно. Маленькая легковая машина невольно заставляет скептически оценивать свои возможности. Однако, двинувшись, мы замечаем, что она пожирает километры с прямо-таки непостижимой быстротой. Благодаря доведённой до идеального состояния дороге, ей почти не приходится преодолевать сопротивления почвы.

Погода внезапно меняется. Голубое небо куда-то исчезло, тяжёлые серые тучи повисают над самой головой, сыплется мелкий снежок.

— Мы уже поднялись гораздо выше, — объясняет наш спутник. Дорога действительно всё время незаметно поднимается в гору. Поля исчезают, по обе стороны дороги вырастает лес, в который врезаются большие поляны обработанной, поживимому, земли. Здесь ещё лежит снег, которого в Берлине и следов не осталось. У самой дороги, не обращая никакого внимания на проносящиеся машины, играют два зайца, обхватывают друг друга лапками, кувыркаются, как расшалившиеся дети. С левой стороны холмы, поросшие лесом. Летом, когда всё это покрывается зеленью, здесь будет, должно быть, чудесно. Жаль только, что мы так мало видим — густой туман опустился на холмы, покрыв всё вокруг сероватой завесой. Но вот он, словно по заказу, рассеивается, и перед нами целая цепь гор. Да ведь это Гарц! Ведь как раз об этом пейзаже, на который мы сейчас смотрим, пел Гёте:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

И где-то здесь же, в фаустовскую Вальпургиеву ночь справляли свой шабаш ведьмы.

С правой стороны раскинулась в долине река Иена. Три совершенно различные ассоциации: наполеоновская победа, Кант и великолепные оптические приборы Цейсса.

На склоне гор — руины старого замка. И тут же — странное сочетание истории с современностью — над разрушенным во время войны заводом вздымается султан дыма — свидетельство, что немецкий рабочий уже успел отстроить и воскресить его.

На границе Тюрингии нас встречают представители веймарской общественности, дальше мы едем уже вместе. Открывается вид на раскинувшийся в котловине Веймар, уже виднеются строения первых улиц, И что-то сверкает красками, переливается цветами радуги вдали.

Подъезжаем ближе. Машины приходится остановить — улица забита толпой. Знамена, цветы, цветы, знамена. Вся улица цветёт гвоздикой, ландышами, тюльпанами. Под приветственные возгласы мы с трудом протискиваемся сквозь толпу. Вокруг, протягивая нам цветы, теснятся дети. Маленькая девочка приподнимается на носки, пытается дотянуться до меня. Не сразу понимаю, чего она добивается. Ах, вот в чём дело — она хочет подарить мне свой голубой пионерский галстук. Наклоняюсь — и минуту спустя у меня на шее целый хомут из голубых галстуков,

тщательно завязанных в два узла. В этих галстуках, нагружённые цветами, мы идём сквозь шпалеры детей и молодёжи.

— Дружба! — восклицают сотни детских голосов. К нам протягиваются маленькие руки, доверчиво улыбаются порозовевшие от холода личики.

Снова начинает моросить дождь пополам со снегом. Между тем митинг должен состояться на открытом воздухе. Рискнут ли люди присутствовать и заболеть? Явятся ли на митинг?

Мы отправляемся в театр. Тот самый театр, который разрушил американский лётчик и который помогли восстановить советские солдаты. Осматриваем здание, по которому нас с гордой радостью водят хозяева. Их радость и гордость так искренни, что нам не смешна даже наивность, с которой они хвастают размерами сцены, зрительного зала, кулуаров, хотя всё это довольно миниатюрно. С глубокой серьёзностью осматриваем машину, воспроизводящую за сценой звуки грозы и ветра. Для полноты эффекта машину приводят в действие.

Вечером идёт опера «Борис Годунов». Мы объясняем, что, к сожалению, не можем остаться. Между тем и вправду любопытно бы посмотреть, как выглядит этот спектакль в веймарском театре, объединяющем все жанры сценического искусства — оперу, драму, даже оперетку. На спектакли съезжаются люди со всех окрестностей.

До начала митинга ещё несколько минут. И нам показывают великолепную памятную книгу, где расписываются все посетители. Подписи и высказывания десятков людей, начиная с президента Германской Демократической Республики Вильгельма Пика и кончая писателями, художниками, общественными деятелями множества стран.

На страницах этой книги мне попало высказывание, подписанное громкой в немецком художественном мире фамилией: «От народа, который дал человечеству Баха, Бетховена и Гёте, никто не имеет права ничего больше требовать».

Эта запись меня изумила. Неправда! От народа, который дал человечеству Баха, Бетховена и Гёте, — и не только их, — как раз можно и должно требовать очень много. Обладание Бахом, Бетховеном и Гёте — обязывает. Ссылки на прошлое убедительны лишь тогда, когда настоящее достойно всего великого и прекрасного, что было в этом прошлом. Великое прошлое не оправдывает ни преступлений, ни вырождения в настоящем. И чем величественнее было прошлое, тем большие требования предъявляются к настоящему. Иначе нам пришлось бы снисходительно наблюдать убийства, преступления, бесчеловечный террор, свирепствующие в современной Греции на том основании, что древняя Эллада некогда дала человечеству Эврипида, Гомера и Фидия. То, что в Америке жил и боролся Линкольн, не может вызвать снисходительного отношения к поведению американцев в Корее. Наличие Линкольна и Вашингтона в прошлом лишь подчёркивает варварство, глубокое моральное падение современных властителей США. И ни один человек в Германии не должен воображать, что во имя Баха, Бетховена и Гёте можно позавидеть о преступлениях фашизма, что эти великие имена могут освободить народ от ответственности.

Проблема ответственности — это самая злободневная проблема в современной Германии. И раздумывая над ней, рядовой немецкий обыватель чаще всего приходит к самому лёгкому для себя решению. Всему, мол, виной Гитлер. Мы не имели с его преступлениями ничего общего. Мы ничего о них не знали.

Но нам во время войны приходилось разговаривать не с Гитлером, а с сотнями немецких пленных. Самых различных по социальному про-

исхождению, возрасту, воспитанию, профессии. Мы читали письма немецких женщин. И мы могли сделать лишь одно заключение — многие из них знали.

И тут же мне вспоминается одна репортёрская заметка сорок пятого года, где описывалось, как американцы, захватив один из концентрационных лагерей на территории Германии, заставили население соседнего городка осмотреть его. С женщинами делались обмороки, спазмы, и даже мужчины не выдерживали, воочию увидев, что тут происходило.

Теперь я снова то и дело сталкивалась с утверждениями:

— Обо всём этом мы ничего не знали.

И мне кажется это странным. Ведь о том, что такое Майданек, знал не только Люблин, где находился лагерь, но решительно вся Польша. О том, что такое Освенцим и что там происходит, знала решительно вся Польша. Как же могло случиться, что люди, жившие около самого Бухенвальда, который существовал не с сорокового года, как Освенцим, Майданек, Тремблинка, а с момента гитлеровского переворота в Германии, не знали, что там происходит?

Я спросила об этом нашу переводчицу, которая все годы жила здесь. И тут я вновь наткнулась на один из тех труднейших вопросов, о которых так легко судить издали и которые оказываются такими сложными вблизи.

— Я жила в деревне, где мой отец был пастором. Деревня небольшая. Концентрационные лагеря? Нет, мы не знали об этом. Рассказывали, что евреев отовсюду вывозят на работу. Но в нашей деревне не было ни одной еврейской семьи. Исчезали иногда люди и у нас, но мы не знали почему.

— Как исчезали?

— Просто исчезали. Вот, у нашей соседки была дочь, ненормальная с рождения. Как-то мы заметили, что девушки давно не видно. Осведомились: не больна ли она. Мать плакала, но ничего говорить не хотела. А потом оказалось, что её дочери нет. Когда и как её забрали — никто не знал. Да и вообще никаких разговоров в деревне об этом не было. О таких вещах не принято было говорить, откуда же нам было знать?

«О таких вещах не принято было говорить». Ужасом повеяло на меня от этих слов. Какая чёрная ночь простёрлась над Германией, какая тяжесть душила всех и вся, чтобы довести людей до состояния, когда «о таких вещах» не говорят? Когда не только соседка с соседкой, но отец с дочерью, муж с женой, родители с детьми в четырёх стенах собственной квартиры не смеют говорить о них?

И всё же трудно оправдать даже тех, которые и вправду не знали. Они могли бы знать, если бы хотели. Ведь были в Германии такие, кто сопротивлялся, кто в страшную, тёмную ночь не потерял пути, кто не ослеп и не оглох, кто своей жизнью и смертью давал свидетельство истине.

Но справедливо и то, что сказала нам одна молодая женщина, антифашистка и жена антифашиста, не на словах, а на деле доказавшая твёрдость своих антигитлеровских позиций.

— Нельзя, — сказала она, — до бесконечности повторять людям, что они преступники, убийцы, чудовища. Ни к чему доброму это не приведёт, а может только лишить их силы и воли. Нужно, чтобы всякий чувствовал ответственность, но вместе с тем и видел перед собой дальнейший свой путь, возможность реабилитировать себя, смыть свою вину. Вот чем правильна позиция советских людей, которые знают, что нельзя заклеить и вычеркнуть из истории целый народ, которые видят в немцах силы, могущие повести их по иному пути.

Я слушаю её, и мне вспоминаются слова Сталина, сказанные тогда, когда в отблесках пожаров, в испарениях крови мы видели один лишь звериный лик гитлеровской бести и забывали обо всём другом. Он умел отделять немецкий народ от немецкого фашизма даже тогда, когда преобладающая часть этого народа металась в кровавом бреде гитлеровской горячки. Уже тогда учил он нас, что «...гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остаётся».

Но вот прибегают с сообщением, что пора открывать митинг. Выходим на просторную террасу театра.

Под нами площадь, от края до края переполненная толпой. Люди стоят на ветру, под упорным холодным дождём, ждут, подняв головы к террасе. Толпятся в смежных улочках. Море голов, море лиц. Под террасой оркестр. Гремит победная, радостная музыка.

От цементного пола террасы веет холодом. Упорно моросит дождик со снегом. Резкий пронизывающий ветер.

Маленький пионер сжимает в дрожащей от холода ручонке букет розовых гвоздик. Он самый младший из этой тройки ребят с букетами в руках, ожидающей конца митинга, чтобы вручить ораторам цветы. На нём, как и на остальных, надета лишь белая рубашка да коротенькие штанишки. Его трясёт от холода.

На мне широкое меховое пальто и, поставив мальчика перед собой, мне удаётся укутать его полами. С высоты моего роста мне видно, как розовеет его совсем было посиневший носишка. Я всем телом чувствую, как постепенно успокаивается сотрясающееся от дрожи тело мальчика. И всё в том же, почти не покидающем меня здесь, смятении чувств я ощущаю, как бьётся под моей рукой маленькое сердце. Немецкий ребёнок? Нет, это просто дитя, которое могло бы быть и моим. Я не знаю, чьё оно, это дитя. Быть может, сын одной из тех матерей, что писали прощальные письма из смертных камер. Сын Кэте или Гертруды, пославшей ему последнее «прости» с наказом помнить, что она пошла на смерть за святое дело. Сын одного из смельчаков, которые ещё со ступеней эшафота слали детям слова веры в будущее, завет не забывать, за что боролся, за что умер отец.

Ветер колеблет намокшие ветви голых деревьев, и мне слышится в них далёкий шёпот:

— Сыночек, сыночек...

Не голос ли Шарлотты Гаршке, завещавшей близким в свой смертный час: «...умоляю вас, сделайте всё, чтобы он вырос настоящим человеком. Сыночек мой любимый, никогда не забывай, чем мы были для тебя».

Последний материнский зов из камеры смерти, полный страха, любви и веры. Нет в живых Эрика Гаршке, отца её мальчика, который вместе с нею стоял во главе группы сопротивления и был казнён раньше. И вот в декабрьский день сорок третьего года восходит на эшафот она, оставляя единственное дитя сиротой.

Шумят, шелестят намокшие от дождя ветки.

— Сыночек, сыночек...

Не голос ли Гертруды Лютц, казнённой в ноябре сорок четвёртого года, вместе с родителями, невесткой и пятерыми друзьями? Не её ли предсмертные слова: «Сердце моё полно горечи. Ребёнок был для меня несказанным счастьем, особенно когда в самое сердце поразила меня

страшная весть о смерти Вальтера. Но сейчас это горькая забота. Быть может было бы лучше, чтобы мне никогда не было дано дитя».

Шумят ветви мокрых, обнажённых деревьев. Как страшно было этой матери, отдавшей жизнь за великое дело, умирать, трепеща за судьбу своего ребёнка. Нет, не за то—будет ли у него кусок хлеба и крыша над головой, а чтобы не изуродовали его душу, не сделали из него врага родителей, павших в борьбе с фашизмом?

Под моей рукой спокойно бьётся маленькое сердце. Чей ты, незнакомый мальчик? Какая Гертруда или Шарлотта умирала, боясь лишь одного—чтобы из тебя не сделали фашиста?

Ровно, спокойно бьётся маленькое сердце под моей рукой. И вот, когда я гляжу на тёмную головку мальчика, на его длинные ресницы, бросающие тень на лицо, когда я вижу и эту залитую толпой площадь, и молодёжь в первых рядах, и множество радостных лиц,—я начинаю вдруг понимать то, что никогда не приходило мне в голову раньше: наши близкие, защищая в дни Отечественной войны Родину, умирали также и за эту молодёжь, и за этих детей. И за них и за их будущее сложили они свои молодые головы. Чтобы вот так сияли лица под радостно шумящими знамёнами. Чтобы спокойно и доверчиво могло биться сердце птенца под моей рукой. Чтобы над городом Гёте и Шиллера, на языке Гёте и Шиллера победно неслась песня, объединяющая молодёжь всего мира в её борьбе и творческом труде, в марше к будущему. Впервые я так остро чувствую, что Советская Армия принесла свободу не только странам, раздавленным бронированным кулаком фашизма, но и этим землям, которые, породив зверя, столько лет не знали свободы, а знали лишь убийство, ненависть и мрачное молчание.

И я уже без смятения в душе могу говорить этим людям о том, что думаю и чувствую. Могу от всего сердца звать к этим женщинам, каждая из которых, наверно, знает дни скорби и носит в сердце неизлечимую рану. От имени всех наших женщин, хранящих в сердце священную память о погибших, звать к ним: не допускайте, чтобы это повторилось! Звать к этой радостной, сияющей молодёжи: боритесь за мир! Не позволяйте, чтобы ваших братьев из Западной Германии снова сделали мрачными убийцами!

Залитая народом площадь. Тысячи, тысячи поднятых к нам, смотрящих на нас лиц. Кто эти люди, что каждый из них пережил в прошлом? Мне рассказывали, что, когда наши войска вступали в Берлин, в окнах и в руинах домов, где когда-то жили немецкие антифашисты, погибшие от рук гитлеровцев, стояли зажжённые свечи. И что этих свечей было много, очень много.

Ясно. Из миллиона членов немецкой коммунистической партии полмиллиона было казнено, остальные пошли в тюрьмы и концлагери на медленную, но верную смерть. Из рядов рабочего класса было вырвано и уничтожено около миллиона самых активных, самых сознательных его сынов. Теперь в окнах их бывших квартир, в руинах их бывших домов горели свечи.

Но даже эти свечи не всегда доказательство. Я помню, под Вороным мы разговаривали с молодым пленным. Кажется, он был фельдфебелем. Это был один из немногих пленных, который держался с достоинством и разумно отвечал на наши вопросы. Да, он гитлеровец, он глубоко убеждён, что «фюрер» победит и сделает немцев господами всего мира. Он упомянул при этом, что его отец и старший брат—коммунисты—были казнены. Это не мешало ему говорить о Гитлере с бла-

говоением. Мы спросили, не ставит ли он всё же в вину фашизму смерть самых близких ему людей? Нет, отец и брат ошибались, они были противниками единственной системы, которая может вернуть Германии её былую мощь. Они должны были погибнуть, гитлеровцев тут винить не в чем. Он сам гитлеровец и понимает это.

Но глядя на эти полные напряжённого внимания лица, воспоминание о гитлеровском выкормыше стирается в сознании. Остаются лишь просто люди — мужчины, женщины, молодёжь. Матери, потерявшие сыновей. Пусть даже эти сыновья были солдатами фашистской армии — для матерей они были сыновьями. Тем более для матерей, которые мало что понимали и с которыми никто не разговаривал о «таких вещах».

Но ведь, кроме них, здесь есть и матери, подобные той, что родила и воспитала Георга Шпотмана, и которой он писал перед смертью: «Да, дорогая мама, ты права, лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Матери, подобные той, что родила и воспитала Иоганна Пиршке, который перед смертью дал ей лучшую из характеристик, какие в то время можно было дать человеку: «Скажи матери, что я умер так, как она всегда того желала».

И всем этим матерям я говорю:

— Боритесь, боритесь! Боритесь вместе с нами за мир! За мирную жизнь ваших городов, за покой в ваших домах, за жизнь ваших сыновей! Боритесь за мир, вы, которые можете потерять в сто раз больше, чем жизнь, — потерять ваших детей. Головами ваших детей заклинаю вас — боритесь за мир! Не позволяйте, чтобы всю эту молодёжь, радостно собравшуюся здесь под шумящими на ветру знамёнами, снова толкнули на погибель!

Подростки, раннее детство которых прошло под мрачной тенью войны и гитлеровского террора, не допускайте, чтобы вас вторично заковали в цепи! Вы имеете право на жизнь, на счастье, имеете право строить свою свободную, счастливую родину! И мы, советские люди, подаём вам руку помощи на этом пути.

Развеаются на ветру знамёна, гремит рвущаяся из тысячи грудей песня. Вот они, новые немцы! Вот она, новая немецкая молодёжь, сознающая свои цели, сознающая путь, по которому идёт.

Она открыто, ясно смотрит вам в глаза, эта молодёжь. Улыбается доверчивой улыбкой. Она выдвигает своих передовиков на строительствах и заводах, своих стахановцев. С энтузиазмом принимает участие в жизни своего народа, жизни не такой-то простой и лёгкой. Значит не напрасно во имя её будущего клали головы под топор, повисали в петле, принимали залп в сердце лучшие представители рабочего класса и прогрессивной интеллигенции Германии. Не ошибся берлинский чернорабочий Эрнст Кнак, когда писал в свой смертный час: «Я уйду из мира с глубоким убеждением, что моя жертва не останется напрасной. Что наш пепел удобрит почву для нового мира. Что когда-нибудь наши дети в новом, лучшем мире, будут жить той жизнью, за которую мы боролись...»

Эти дети уже живут в новом, лучшем мире. Они уже на пути к той жизни, за которую боролись погибшие на гитлеровской гильотине герои. И есть что-то в этой молодёжи, что вызывает доверие к ней, успокаивает моё душевное смятение. И перекидывает мост над пропастью, по дну которой рекой течёт чёрная кровь мучительных, горьких воспоминаний.

Митинг закончился. У нас остаётся ещё немного времени, чтобы бросить хоть взгляд на веймарские реликвии. Когда машина, медленно объезжая расходящуюся толпу, сворачивает в переулочек, кто-то стучит в стекло. Круглая, улыбающаяся рожица. Да это же мой цыплёнок с театральной террасы! Он жестами показывает мне, что на нём теперь тёплый свитерок, куртка и шапка. Словно хочет сказать:

— Не огорчайся, мне уже не холодно.

Подъезжаем к кладбищенским воротам. Здесь покоятся Гёте и Шиллер. По усыпанной песком аллее поднимаемся в гору. Странной архитектуры часовня: одна сторона — сухие, холодные линии, другая — круглые византийские купола. Но в этот момент мы едва замечаем архитектуру. Нам предстоит увидеть место, где лежат останки двух великих немцев, творчество которых стало достоянием человечества. Невольно понижаем голос до шёпота. Внутри часовня выбелена известью. Голо, пусто, холодно. Два небольших бюста на простых постаментах. Посередине — огороженный барьером вход в подземелье. Как в Доме инвалидов в Париже, где тоже можно сверху взглянуть на саркофаг Наполеона. Только тут всё во много раз уменьшено и — уж даже не просто скромно, а убого.

С трудом протискиваемся с нашими венками по узенькой лестнице. И опять — пустое, выбеленное известью подземелье, холодные голые стены, освещённые дневным светом, проникающим сквозь отверстие в потолке. Два коричневых деревянных ящика. Гёте и Шиллер. Никаких украшений, никаких надписей. На полу лежат венки, возложенные здесь в двухсотую гётевскую годовщину делегациями стран народных демократий.

Мы в молчании смотрим на эти деревянные ящики, скрывающие останки великих поэтов. И мне невольно вспоминается огромный гранитный саркофаг Наполеона под радугой знамён, саркофаг человека, залившего кровью Европу, вспоминается возносящийся над ним воздушный купол, вся роскошь, окружающая его вечный покой.

— Гёте выразил желание быть похороненным как можно скромнее, — объясняет кто-то из наших спутников.

Разумеется, Гёте, поэт и мыслитель, мог желать этого. Но во мне что-то протестует, когда я вижу эти холодные, голые стены, эти два деревянных ящика, эту гнетущую пустоту. Быть может, и в этом есть величие — но какое-то горькое, печальное величие. Хочется, чтоб здесь было иначе. А так — создаётся впечатление, будто родная страна чтит и ценит своих великих сынов менее, чем чтит их и ценит весь мир.

В нескольких шагах от гробов Гёте и Шиллера, в чём-то вроде ниши, один возле другого и штабелями стоят такие же ящики, только несколько лучше отделанные. На них лежит охапка свежих, ещё не увядших цветов. Гробы саксонско-веймарских князей. Ведь это их часовня. И снова во мне всё протестует:

— За какие заслуги перед человечеством веймарские князья разделяют место последнего упокоения с великими создателями, оставившими нам вечно живые творения своего гения? Пусть даже у некоторых из них есть заслуги перед культурой своего маленького княжества, но ведь это же мелкие люди мелкого провинциального городишки. Не много ли чести для них — общая с Гёте усыпальница?

В Польше, в подземельях королевского замка Вавеля установлен гроб Мицкевича. Но польский народ предоставил ему, — кто был более велик, чем короли, — отдельный придел, особое место. Ни один королевский саркофаг не может соперничать с его саркофагом.

Склонив головы, мы долго в молчании стоим в этом суровом, белом, подземелье.

И снова по витой лестнице вверх. Снег перестал. Проходим несколько шагов по узкой дорожке. Здесь могила секретаря Гёте Эккермана. И снова странное впечатление. Маленькая, полузапавшая в землю могила. Ржавый железный крестик на каменной плите. Пожелтевшая зимняя трава. Печалью и заброшенностью веет от этого места.

Осматриваем часовню снаружи. Оказывается, с другой стороны она соединена с православной церковью. Будто сросшиеся сиамские близнецы. Церковь воздвигнута над гробом Марии Павловны, дочери царя Павла I, жены саксонско-веймарского князя Карла-Фридриха. Гробы супругов стоят рядом, но один на немецкой земле, в часовне, другой — на привезённой из России земле, над которой высятся купола церковки.

Со старого кладбища отправляемся в дом Гёте. На небольшой площади низкий двухэтажный дом с мансардой. На эту площадь пятьдесят лет смотрел Гёте из окна своей комнаты.

Просторный вестибюль, украшенный бронзовыми статуями. Широкая лестница во второй этаж, спроектированная самим Гёте. Античные головы и бюсты на постаментах в парадных комнатах — это подарки князей и царствующих лиц, присланные великому поэту. Нельзя не отметить, что князья и царствующие особы не слишком потратились — всё это лишь гипсовые слепки. Внизу единственного мраморного бюста виднеется широкая трещина. В таком виде получил его Гёте — быть может, именно благодаря тому, что он потерял цену для своего бывшего владельца.

Но вот мы переходим в ту часть дома, где расположены комнаты, принадлежащие лично Гёте, куда никто, кроме него самого, не имел доступа. Здесь всё сохранено в том виде, в каком было при жизни поэта.

Останавливаемся на пороге. Небольшая комната. Простой, сколоченный из досок стол. Книжный шкаф. Высокий попитр, за которым работал Гёте. Маленькие окна с видом на площадь. Простой стул. Не просто скромная — бедная комната. Неожиданно бедная. Как-то трудно себе представить, что в этих тесных четырёх стенах, в этой суровой печальной обстановке возникали шедевры поэта.

Одна стена целиком занята шкафом с маленькими ящичками, где помещаются геологические коллекции Гёте. В ящичках минералы со всего земного шара, которые присылали поклонники поэта, зная его любовь к естествознанию.

Дальше — двери в другую комнату. Спальня. Комната-конурка. Кровать, над кроватью коврик, кресло со скамеечкой для ног и маленький столик. Эта минимальная меблировка заполняет собой всю комнату. В этом кресле и умер Гёте. Комната слуги поэта, помещающаяся в том же этаже, — много больше. Здесь видны ограничение всех жизненных потребностей до минимума, прямо-таки аскетическая простота, добровольная бедность. Атмосфера этих двух комнаток невольно ассоциируется в уме с суровой бедностью часовни, где лежат останки Гёте.

Смеркается. Дом не освещён. Нам объясняют, что это, мол, потому, что во времена Гёте не было электричества, а дом оставлен в том виде, в каком был при его жизни. Всё это хорошо, но были же здесь при жизни Гёте какие-нибудь лампы или свечи? Теперь сумерки не позволяют нам осмотреть здесь ещё что-нибудь. Мы выходим в сад, который обрабатывал сам Гёте, сажая свои любимые розы и мальвы. В углу сада маленький домик, где поэт занимался научными опытами.

Огромные деревья молчаливо стоят в сгущающейся тьме. Некоторые из них, быть может, помнят дни, когда по тропинкам вдоль клумб и грядок прохаживался старый Гёте.

Маленькие комнатки, маленький садик, улица маленького городка в мелком княжестве. Есть какая-то странная, тревожащая диспропорция при сравнении всего этого с беспредельным величием духа поэта. Сколько внутренней силы, сколько внутреннего содержания надо было иметь, чтобы это окружение не засосало человека в обыденность бесцветных дней. Какою мощью надо было обладать, чтобы на долгие годы сделать этот Веймар духовной столицей Европы, излучающей на целые поколения поэзию, не просто сопутствующую жизни, а формирующую её. Чтобы видеть в это крохотное оконце не маленькую сонную площадь, а весь огромный мир.

Едем в дом Шиллера. На окнах зелёные жалюзи, комнаты немного повеселей, стеклянные витрины с первыми изданиями произведений Шиллера, его рукописи, письма, заметки. Но всего этого уже не разглядеть, так как освещения нет и здесь.

Ночь спускается над Веймаром. Нам уже не увидеть ни музея Гёте, ни других веймарских достопримечательностей. Перед нами ещё пятьсот километров обратного пути в Берлин.

Хозяева дают нам прощальный ужин. За столом политические деятели, учёные, работники культуры. Поверх букетов белых ландышей, красной гвоздики присматриваюсь к лицам присутствующих. Премьер Тюрингии — десять лет гитлеровского концентрационного лагеря. Учёный, который некогда бежал от гитлеровских преследований. Сейчас он спрашивает о друзьях и знакомых в Москве. Молодой писатель, только что закончивший роман, темой которого является немецко-польская дружба. Люди новой Германии. Люди новых путей и новых дней. С ними нетрудно найти общий язык, и между ними и нами протягивается нить взаимного понимания. Так он и запечатлевается в памяти — этот небольшой город, радушие его обитателей, его тёплая атмосфера.

Жаль только, что пришлось так спешить. Правда, мы успели в ту же ночь вернуться в Берлин. Но лишь дома, в Киеве, рассматривая подаренную мне книгу о Веймаре, я вижу на иллюстрациях всё то, чего там не посмотрела. Прелестные старинные улочки. Необыкновенной красоты старые здания. Замки, башни и великолепные парки. Чарующие средневековые площади. Прекрасная скульптура надгробных памятников. Старинные картины. Фонтаны и изваяния. Городок, как драгоценная безделушка, сделанная влюблённым в своё искусство ювелиром.

Однако красивых городов и местечек рассеяно по Европе множество. И, быть может, лучше, что от пребывания в Веймаре в моей памяти останутся не памятники архитектуры, а залитая народом театральная площадь, полыхание знамён на ветру, гремящая песня да полные решимости энергичные лица новой немецкой молодёжи.

Было уже совсем темно, когда мы садились в машину. Были опасения, что нам и вовсе не удастся уехать. В здешних горах бывает иной раз такой туман и гололедица, что машины по ночам не курсируют. Но вскоре поступило успокоительное сообщение: тумана нет, местами лёгкий снег — ехать можно.

Веймар остаётся позади. Перед нами ровная, гладкая, асфальтированная дорога.

Но погода за это время изменилась. Идёт снег. Асфальт покрыт скользкой скорлупкой льда. наших спутников, едущих впереди, те и дело заносит, швыряет в стороны. Наш шофёр гневно ворчит сквозь зубы:

— Раз не умеешь ездить, не надо садиться за руль.

И действительно, сами-то мы едем, словно снега и льда и в помине нет. Наконец, потеряв терпение, наш водитель опережает первую

машину и ускоряет ход. Через некоторое время слышим за собой настойчивые, тревожные гудки.

Оставшаяся позади машина снова догоняет нас.

— Что ты несёшься? Этак можно и в ров угодить! Видел, сколько поломанных машин по сторонам? Нам ещё повезло, что не свалились, в последний момент еле-еле удержал... Ты бы помедленней.

— Не надо никакого везения, надо просто уметь ездить. Ишь, машины во рву увидел! Мы их и не видели, правда? — ворчит, не глядя на него, наш шофёр.

Мы подтверждаем, что не видели. Правда, мы сейчас поглощены совсем другим. Наша переводчица вдруг стала напевать что-то про себя. Вслушиваемся — и нас поражают знакомые слова.

— Откуда?

Она не отвечает, продолжая вполголоса напевать по-украински сперва «Интернационал», потом какую-то народную песенку.

— Откуда вы знаете украинский?

— А я и не знаю украинского. Я выучила только украинские песни. Целую уйму. А откуда? От ваших девчат. В нашей деревне у бауэров работали девушки, вывезенные с Украины. Такие милые!

Она на мгновение задумывается, а потом, словно думая вслух, говорит:

— Я ведь тогда ещё совсем молоденькой была, что же, тринадцать, четырнадцать лет... Совсем ничего не понимала. Сейчас даже странно, как можно было так ничего, решительно ничего не понимать. Пожалуй, благодаря им я и стала впервые размышлять. Это были студентки из Киевского, из Одесского университетов, и их заставляли убирать навоз, чистить хлевы. Обращались с ними страшно грубо, смотрели на них как на рабочий скот, а себя считали чем-то высшим. Между тем я видела, насколько эти девушки культурнее, образованнее. И когда подружилась с ними, очень скоро пришла к выводу, что всё, что говорится о расе, о немецкой культуре, которая будто бы выше всех других, — просто неправда! И что нельзя так обращаться с людьми. С этого у меня и началось... А дружила я со многими из них, пока они у нас были. Когда огца не было дома, они приходили ко мне слушать радио. Москву слушали.

Она оборачивается к нам и торопливо поясняет:

— Только не думайте, что эта какая-то моя заслуга с этим радио, совсем нет. Я была так глупа, что просто не отдавала себе отчёта в том, что делаю. Считала, что это так, дружеская услуга. Хотя, мол, слушать, пусть послушают. А то, что они хотят слушать именно Москву, казалось мне вполне естественным. Это же их столица! И уж только после войны я поняла, что за такую историю и я и они могли бы отправиться на виселицу.

Упоминание о виселице вызвало в её памяти ещё один эпизод.

— У нас и мужчины работали, у одного бауэра работал польский офицер. И одна немка из деревни влюбилась в него. А ортсгруппен-лейтер это пронюхал, и вот ей обрили голову и так прогнали через всю деревню. А его повесили за надругательство над немецкой расой. И всех иностранных рабочих согнали смотреть, как его вешают. Я тоже видела, как он шёл — гордо так, и будто ему смерть нипочём. Вот это меня и потрясло, это его презрение к смерти... А она потом совсем ушла из деревни, ей просто жизни там не было.

Тут же мы узнаём ещё об одной любопытной подробности фашистской политики.

— Были у нас рабочие и из западных областей Украины. Но эти были совсем на других правах.

— Как так — на других правах?

— Им платили за работу. И карточки на одежду они получали. И не должны были носить заплаты с надписью «Ост». Ну, а уж кто из-за Збруча, с теми прямо как с собаками обращались, хуже чем с собаками! В лохмотьях, босиком... И ни на что им не разрешалось жаловаться. А «западные» имели право жаловаться, и если бауэр плохо с ними обращался, их у него даже забирали.

Гитлеровцы, повидимому, думали, что людей, которые всего два года жили в пределах Советского Союза, им удастся ещё перевоспитать на свой лад. А может, подготавливали почву на будущее...

Пытаемся узнать поподробнее, как выглядела на практике гитлеровская организация деревни. Оказывается, довольно просто.

— Был ортсгруппенлейтер, который и заправлял всем. Полицейский был у нас в деревне всего один, и, кроме того, всякие такие, которые уведомяли его обо всём, — из крестьян. Гитлеровские молодёжные организации? Конечно, для всех, кто посещал школу, принадлежать к ним было обязательно. Сама я в то время поступила в школу домашнего хозяйства, которой ведали монашенки. И хотя считалось, что монаштыри и монахи не в чести у гитлеровцев, но в эту школу они нас совали, так что я к «Гитлерюгенд» не принадлежала. А вот моей младшей сестрёнке — той приходилось туго. Стоило ей хотя раз не явиться на сбор, где их обучали маршировке и всякому там, как за ней приходил полицейский. И всегда, как только кто не являлся, проверка, и если не болен — доставка с полицейским.

За окнами машины сыплется снег. Пока мы были в Веймаре, его здесь успело выпасть столько, что по сторонам дороги возвышаются целые валы. Утром, когда мы выезжали, казалось, что уже весна. Сейчас создаётся впечатление глубокой зимы.

Но в Берлине, куда мы добираемся около трёх часов ночи, снега нет. Едва живая выхожу я из машины, нагружённая целыми охапками необычайно крупных, благоухоющих веймарских ландышей.

6

Заседания Совета Мира плотно заполняют весь день. Утреннее заседание, вечернее заседание, совещания комиссии, работа по подготовке документов — ни на что другое не остаётся времени. Поэтому мы не видим многого, что нам хотелось бы повидать в Берлине.

Не пришлось увидеть инсценировки «Матери» Горького в государственном драматическом театре. Не пришлось увидеть фильма «Зонненбрухи» — яркий пример немецко-польского культурного сотрудничества. Немецкий режиссёр по пьесе и сценарию польского писателя Л. Кручковского создал фильм, в котором играют польские и немецкие актёры. Трижды готовили для нас показ этого фильма, который должен был в ближайшие дни появиться на экранах, и трижды нам пришлось в последний момент отказываться от поездки в киностудию.

Многого, повторяю, не удалось повидать. И всё же мы видели достаточно, чтобы Берлин и немцы стали для нас чем-то совершенно другим, чем были раньше, чтобы мы взглянули на ряд проблем другими глазами, чем глядели до сих пор.

Медленно идём мы по берлинской улице. Где-то здесь был убит Карл Либкнехт. А показывает нам Берлин его племянник — президент немецкой Академии архитектуры.

— Есть уже у вас план восстановления восточного Берлина?

— Восточного Берлина? Нет. Мы планируем воссоединение и реконструкцию всего Берлина, столицы единой страны.

Да, верно. Этот вопрос связан со второй проблемой, наряду с демилитаризацией стоявшей в повестке дня наших заседаний. С проблемой мирного договора с Германией.

Скоро исполнится шесть лет с момента, как затихли последние выстрелы минувшей войны. Кто же заинтересован в том, чтобы поддерживать в Европе состояние неуверенности в завтрашнем дне, сущности шаткости и неустойчивости жизни? Ни один народ Европы в этом не заинтересован. Народы стремятся к мирной жизни, к мирному творческому труду. Они не хотят каждую минуту тревожно прислушиваться, не разразилась ли уже где военная гроза, не слышно ли воя моторов, не содрогается ли земля от орудийных выстрелов.

Но торговцам кровью тревога и неуверенность наруку, им наруку разруха и неурядицы. Кому, как не им, выгодно держать в бараках восемь миллионов немецких переселенцев, в расчёте на то, что среди этих, ими же доведённых до отчаяния людей, им легче будет найти исполнителей своих чёрных замыслов? Кому, как не им, выгодно за счёт немецкого народа держать свои войска на немецкой земле? Кто, как не они, стремится вновь превратить в кровавую, дышащую ненавистью бездну — границы, ныне ставшие мостом, объединяющим десятками лет враждовавшие народы.

Но в Германии уже растут и крепнут силы, готовые не допустить, чтобы их родина стала объектом тёмных империалистических махинаций. Это — рабочие с заводов и предприятий, от которых Совет Мира получил тысячи писем и телеграмм и делегации которых десятками приходили нас приветствовать. Это — молодёжь, ненавидящая войну и уже чуждая идей фашизма. Это та часть интеллигенции, которая, будучи кровно связана со своим народом, стремится отдать ему свои силы, весь свой труд, свои способности.

И американские дельцы обманываются, воображая, что военное деление Германии на две части могло разорвать надвое народ, провести границу между немцами из восточной и западной зоны.

— Они думают, что им удастся втереть нам очки своими бананами и нейлонами,—с горечью говорит делегат из Западной Германии.— Но мы знаем, во что обходятся нам эти бананы и нейлоны сейчас и во что они могут обойтись нам в будущем.

«Янки — домой!» — этот лозунг вы можете увидеть на каждом доме, на каждом тротуаре в Западной Германии. Никакие несчастья, никакие катастрофы ничему не научат, если не сделать из них правильных выводов. Но всё большее количество немцев делает правильные выводы из всего, что на них обрушилось. Надо без усталости работать, чтобы эти выводы сделали все, чтобы их все поняли. Разумеется, кроме банды мечтающих о реванше фашистов, да выростивших их крупных капиталистических дельцов, готовых продать свою родину, свой народ кому придётся и за что придётся.

Да, вся здоровая, вся мыслящая часть немецкого народа не хочет воевать. Она хочет творить и строить новую страну, новое государство, новые города и новую жизнь.

Поздно вечером едем мы на вокзал. Берлин, который я покидаю, кажется мне совершенно другим городом, чем тот Берлин, в котором я высадилась две недели назад. Провожаящий нас Курт Либкнехт присаживается до отхода поезда в нашем купе. Мы разговариваем уже не о Берлине, а о Москве, где он закончил Архитектурный институт, где много лет жил. Говорим об общих знакомых, о том, что и как построено за последние годы в Москве и чего он ещё не видел.

Племянник человека, посвятившего всю свою жизнь ниспровержению и разрушению старого мира, сам — и в прямом и в переносном значении этого слова — строит новый мир. Глубокий смысл чувствуется в этой преемственности поколений.

И вот Берлин остаётся за нами. Город и люди, среди которых мы за эти короткие две недели нашли не только знакомых, но и друзей.

Серебристо-розовые берлинские тюльпаны долго стоят на столе в номере гостиницы «Москва», напоминая мне о том неожиданном Берлине, который я после трудных томительных дней душевного смятения внезапно открыла для себя.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АН. ТАРАСЕНКОВ

★

ВЕЛИЧИЕ ГОРЬКОГО

(К пятнадцатилетию со дня смерти)

Имя Горького стоит в ряду самых светлых и дорогих нам имён — Пушкина, Лермонтова, Белинского, Некрасова, Гоголя, Толстого, Чехова. Но одновременно Горький и его творчество — новая страница в истории и русской и мировой литературы.

В чём же его единство с великой русской литературой прошлого и в чём заключаются те существенно новые черты, которые сделали Горького эпохальной фигурой социалистической литературы?

В своей знаменитой речи на третьем съезде комсомола Ленин дал гениальное разрешение вопросов строительства новой культуры:

«Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества»¹.

Величие Горького заключается в том, что он вобрал в себя всё многообразие прошлой человеческой культуры и на протяжении почти полувека своей творческой жизни неустанно перерабатывал, переплавлял эту культуру в соответствии с пролетарской идеологией, в соответствии с мировоззрением и психологией подлинного хозяина жизни — трудящегося человека. от лица которого со своим художественным творчеством и выступил Горький. Поистине неоценимую службу сыграли здесь и неиссякаемая энергия, и трудолюбие Горького, и удивительная его память, и сказочная работоспособность. Горький превосходно знал не только русскую литературу (в том числе массу второстепенных и третьестепенных писателей прошлого), не только совершенно свободно разбирался в сложном «хозяйстве» французской, немецкой, английской, итальянской, испанской литератур, но и точно представлял себе роль, место, значение того или иного писателя прошлого в политической борьбе, в социальных конфликтах далёкой истории. Его знание литератур прошлого ничем не напоминало знаний коллекционера-библиомана. Для него любой писатель прежних веков был активной, действенной силой — то дружеской, то враждебной, — силой, которую можно и должно либо использовать в творческом деле созидания новой культуры, либо отринуть прочь, как явно непригодный для этой цели материал.

Именно с таким критерием Горький подходил всегда к истории литературы, которая для него была неотделима от собственной писательской работы, сопутствовала и придавала ей глубоко осмысленный характер.

На первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году в докладе Горького были упомянуты многие десятки имён русских и иностранных писателей и мыслителей

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 262.

прошлого, подчас известных лишь специалистам. Для Горького эти имена не были экзотикой — они естественно и непринуждённо входили в его духовный обиход. Горький говаривал: «Плохих книг я прочитал бесчисленное количество, но и они были полезны мне. Плохое в жизни надо знать так же хорошо и точно, как хорошее. Знать надо как можно больше. Чем разнообразнее опыт, тем выше он поднимает человека, тем шире становится поле зрения». В одном из своих автобиографических рассказов — «Сторож», действие которого относится к периоду жизненных «университетов» Горького, когда он служил сторожем на железнодорожной станции и был ещё весьма далёк от писательской деятельности, упоминаются некоторые книги, читанные им тогда. Здесь и Спенсер, и Дарвин, и Гейне, и Шекспир. О Пушкине, Жуковском, Глебе Успенском здесь говорится как о писателях, уже давно прочитанных и хорошо к этому времени знакомых Горькому.

Стремление к знаниям было в Горьком с юных лет могучим, неистребимым.

Оно подчас было мучительным в условиях той жизни, которую вынужден был вести молодой Алексей Пешков. «Культура, — говорил он, — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий». Освоение культуры и литературы молодым Горьким было, на первый взгляд, бессистемным, хаотичным. Он читал всё подряд — сочинения философов и поэтов, французских романистов и писателей-народников, великих реалистов и авторов, не оставивших сколько-нибудь заметного следа в истории литературы. Но это чтение, по видимости бессистемное и разбросанное, не сделало из Горького начётчика, каких много было тогда на Руси, не привело к отрыву от жизни, — наоборот, везде в своих автобиографических произведениях Горький неустанно подчёркивает, как болезненно он переживал в пору своей юности оторванность многих тогдашних интеллигентов от народа, от его повседневных тягот и забот, от его тяжкого труда ради хлеба насущного.

«Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции — как разумного начала — от народной стихии всю жизнь более или менее преследовало меня... Если разрыв воли и разума является тяжкой драмой жизни индивидуума, — в жизни народа этот разрыв — трагедия», — писал Горький.

В другом месте он, рассказывая о своих юных впечатлениях, говорил:

«Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, уничительною жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а — жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средой, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни».

Путь Горького не был гладок, у него были ошибки, были серьёзные заблуждения. Известно, как сурово критиковали Горького Ленин и Сталин, когда в глухие годы реакции, в годы идейного разброда интеллигенции Горький примкнул к богостроительству, когда он проявил интеллигентское мягкосердечие в суровую годину революции.

Величие Горького заключается не в том, что у него не было ошибок, а в том, что он умел преодолевать их беспощадно и до конца — под благотельным воздействием партийной критики. И преодолевая эти ошибки, Горький становился ещё на голову выше, ещё громче и чище звучал его могучий голос в защиту общепролетарского, общенародного дела.

Осваивая огромные богатства человеческой культуры, Горький с самого начала умел критически относиться к идеям прочитанных им книг. Горький искал в литературе прежде всего прямой и ясный ответ на коренные вопросы жизни. Бесконечна была благодарность молодого Алексея Пешкова, когда он находил в книгах хотя бы подобие ответа. Уже в последнюю пору своей жизни, вспоминая о начале своего писательского пути, Горький сказал, что он «полюбил литературу, издревле верного друга и помощника людям в их трудной жизни».

Но какую же ненависть должны были вызвать в нём те писатели и поэты, которые не помогали людям жить, не способствовали установлению правды о жизни, а

превращали литературу в забаву, в прислужницу своих эгоистических прихотей! В те начальные годы формирования горьковского мировоззрения и таланта, о которых идёт речь, ещё не были произнесены гневные слова В. И. Ленинна о литературе, которая служит «...страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», которая движима карьеризмом и буржуазно-анархическим индивидуализмом. Уже тогда горьковское отношение к литературе «сытых» было проникнуто острым чувством классового отрицания этой псевдокультуры, уже в молодые годы Горький инстинктивно был близок к той точке зрения на литературу, которую позднее с такой гениальностью сформулировал великий пролетарский вождь.

Классовый подход Горького к литературе помог ему резко и ясно выразить своё отношение к буржуазным писателям. Так, Горький писал, например, редактору «Журнала для всех» В. Миролюбову в декабре 1901 года, характеризуя беспринципность, карьеризм и продажность одного из буржуазно-дворянских литераторов — Мережковского:

«Речами о боге, о Христе, он хочет добиться каких-нибудь благ жизни, чего-нибудь для удовлетворения честолюбивой своей душонки. Ты увидишь! Не верь ему, и если он зажжёт себя, облив маслом,—будет гореть и славить бога— всё равно!— не верь! Это — он для того делает, чтобы говорили о нём, чтобы памятник поставили ему. Геростратишко! А помни, что Геростратишке всё равно, чем прославиться, он не только храм сожжёт, он и Христа предаст».

Горький отчётливо формулировал свои требования к литературе. Ему враждебен был расслабленный пессимизм буржуазной интеллигенции. Он призывал вдохновенно и горячо:

«Русь надо любить, надо будить в ней энергию, сознание её красоты, силы, чувство собственного достоинства, надо прививать ей ощущения радости бытия...» Это — фраза из письма Горького к Леониду Андрееву — писателю и человеку, когда-то близкому и дорогому для Горького. Но в 1911 году, когда было написано это письмо, в отношениях Горького к Л. Андрееву произошла резкая перемена, вызванная тем, что Л. Андреев начал всё более стремительно скатываться в болото декадентства. С гневом и презрением говорит Горький в этом письме о «полоротой швали» декадентской литературы. Он резко отчитывает Л. Андреева за то, что тот поддался на лживые похвалы, за то, что он принял участие в позорной «пляске над могилами».

С подлинным пафосом говорит Горький о роли, об облике русского писателя — правдолюбца и подлинного патриота:

«Русский писатель должен быть личностью священной, в России нечему удивиться, некому поклониться, кроме как писателю — русский писатель каждый раз, когда его хотят обнять корыстные или грязные руки, должен крикнуть — прочь, я сам знаю, кто я есть в моей земле».

С таким мерилом Горький подходил и ко всей русской и западноевропейской литературе. С безграничным уважением он говорил о Пушкине, Лермонтове, Некрасове, Гоголе, Толстом, Чехове, Салтыкове-Щедрине, Белинском, Добролюбове, Герцене, Чернышевском. Как никто, Горький умел раскрывать красоту личности, благородство идей этих деятелей, великое и славное их писательское мастерство.

Бережно, любовно относился он и к великим писателям Англии, Франции, Америки, Германии. О Диккенсе, Теккерее, Шекспире, Гейне, Стендале, Бальзаке, Флобере, Твене он говорил всегда восторженно, уважительно, серьёзно. Он включал в орбиту своего творческого внимания всю мировую литературу, он тщательно отыскивал в ней всё, что могло стать кирпичами здания новой культуры.

Всё отношение Горького к культуре и литературе прошлых эпох исходило из главного — из понимания огромной роли этой культуры, этой литературы для формирования сознания нового класса.

Горькому был бесконечно чужд тот нигилизм, то наплевательское отношение к культуре и литературе прошлого, которые позднее приобрели известность под названием «пролеткультизовщины» и «раппоёщины».

Горького пленяло в великой русской литературе XIX века её бескорыстие, её благородство, подлинная человечность её идей, беззаветное стремление наших лучших писателей-классиков отдаться делу служения народу, высокая степень реализма, правдивость в изображении жизненного процесса. Всё это Горький унаследовал от великих писателей земли русской, как их прямой потомок и продолжатель. Он един с великими русскими писателями-реалистами в стремлении познать и изобразить жизнь такой, как она есть.

Вобрав в себя всё то лучшее, что создало до него человечество в области художественного творчества, критически переработав наследие прошлого, Горький открыл своим творчеством новую страницу в истории мировой литературы. Новый герой — безгранично могучий человек труда, осознавший свои истинные цели и понявший свои исторические возможности, занял в творчестве Горького центральное место и во всём определил отношение писателя к сложнейшим жизненным явлениям, с которыми ему пришлось столкнуться в гнилом и продажном мире капитализма, доживавшем свой век.

Горький, по собственному признанию, начал писать «по силе давления» на него «томительно бедной жизни», а также потому, что он не мог не писать, будучи переполнен впечатлениями. Рассказывая об этом двуедином процессе, Горький считал, что «бедность» жизни заставила его создать такие «выдумки» (иначе говоря, такие возвышенно-романтические образы), как Сокол и Буревестник. А впечатления жизни, переполнявшие молодого Пешкова, который прошёл школу подневольного труда, властно диктовали ему суровый реализм — «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы», «Озорник».

Для Горького нераздельны были народная жизнь во всей её подчас неприглядной наготе, и активное, неукротимое стремление народа переделать эту жизнь, сделать её лучше, справедливей, чище, человечней. Путь к этому был только один — борьба, борьба не на жизнь, а на смерть против старого общества. И Горький без колебаний выбрал этот единственно правильный путь.

К Горькому вполне можно применить (учтя, конечно, разницу между философским мышлением и художественным творчеством) знаменитые слова Маркса, которыми он характеризовал новый этап в развитии философии:

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»¹.

И Павел Власов, и его мать — Ниловна, и машинист Нйл из пьесы «Мещане», и гордый Сокол, и Буревестник — все эти классические образы Горького явились новым этапом литературы именно потому, что они выразили волю породившего их класса, волю к тому, чтобы навсегда упразднить эксплуатацию человека человеком и построить новый, справедливый и гармоничный общественный строй — строй социализма.

Небывалую новизну творчества Горького осознавала даже современная ему буржуазная критика. Вот что, например, писал о повести Горького «Мать» американский журнал «The North American Review» в 1907 году:

«В какой странный, новый мир мы вступаем, когда открываем книгу Максима Горького! Новая планета или неведомый язык произвели бы меньшее впечатление...

Может ли быть, чтобы новая, высшая форма сознательности, сознательность социальная, а не личная, пришла к нам из самой нецивилизованной страны?..

Изображением подробностей, удивительным мастерством, которым автор отодвигает себя на задний план, она напоминает один из старых шедевров — «Мадам Бовари». Но какая разница, какие миры и миры лежат между этими двумя темами!»

Трудно сказать, чего больше в этом отзыве американского журнала, — высокомерия по отношению к русскому народу или нескрываемого удивления перед тем, что писатель этого народа — Горький — впервые в истории литературы выступил

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IV, стр. 591.

с могучим по своей художественной силе, небывало новаторским по своим идеям и по своей форме произведением.

Этот отзыв чрезвычайно характерен для настроений буржуазных литераторов, со страхом и удивлением, с недоумением и уважением признававшихся самим себе в небывалой ношине могучего горьковского таланта.

Новаторская сила Горького определила не только его собственный творческий путь. Она открыла новые пути всему мировому искусству, она повела за собой сперва десятки, а затем и сотни малых и больших пролетарских писателей; она создала после победоносной пролетарской революции мощное движение новой, советской литературы, занявшей ныне первое место в мире своей правдивостью, многообразием своих талантов, неподкупной и высочайшей идейностью.

Велика была в Горьком сила художественного утверждения нового, побеждающего. Скорби, тоске, пессимизму старой литературы Горький противопоставил свою молодой, несокрушимый революционный оптимизм, свою веру в человека, в его высокое предназначение.

С позиций исторического оптимизма, вытекавшего из научно обоснованной веры в торжество социализма, Горький страстно отрицал всё то, что было связано в литературе прошлого с неверием в силы человека, с философией мизантропии, с поэтизацией страдания. Он сознательно и последовательно, на протяжении почти всей своей жизни, страстно и жестоко критиковал творчество Достоевского, хотя и признавал его большой талант.

Он писал в одном из своих дореволюционных писем: «Показывать миру свои царапины, чесать их публично и обливаться гноем, брызгать в глаза людям жёлчью своей, как это делают многие, и отвратительнее всех делал злой гений наш Фёдор Достоевский, — это гнусное занятие и вредное, конечно».

Но это не значит, что Горький не видел язв и пороков современной ему жизни. Кто сильнее Горького изобразил «свинцовые мерзости» прошлого? У кого можно найти картины подневольного страдания и унижения людей, равные по своей страшной силе тем, которые нарисовал Горький в рассказах «Двадцать шесть и одна», «Васька Красный», «Сторож», «Страсти-мордасти», в автобиографической трилогии «Детство. — В людях. — Мои университеты», в пьесах «На дне», «Васса Железнова», «Егор Булычѳв и другие»? И разве образ Клима Самгина, интеллигентного предателя и духовного провокатора, не является одним из самых зловещих и ущербных ликов нашей дореволюционной действительности?

Горький писал:

«Я и заглядывал всюду, не щадя себя, и так узнал многое, чего мне лично лучше бы не знать, но о чём рассказать людям — необходимо, ибо это — их жизнь, трудная, грязная драма борьбы животного в человеке, который стремится к победе над стихией в себе и вне себя».

Доктрины политической экономии он познал на своём собственном трудовом и жизненном опыте («Я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей», — говорил Горький), и потому так пронзающе-правдивы были выводы о неизбежности гибели мира лжи и эксплуатации, выводы, которые делал в своём творчестве Горький.

Веря в светлое революционное будущее своего народа, Горький изображал мерзости жизни в условиях капиталистического общества, как нечто недолговечное, преходящее.

Не поступаясь в правдивости обрисовки тёмных сторон человеческого существования, Горький возносил над мерзостями окурочкины и самгинщины такой яркий факел любви к человеку, такую боль и гордость за него, что отступали в сторону все эти подпольные людюшки, мнившие себя хозяевами жизни, и широко и вольно открывался перед взором честных борцов и тружеников путь в будущее, путь тех, кому навек посвятил свою большую жизнь и неустанную творческую работу Горький.

Внимание Горького было приковано не только к бунтарям и протестантам,

борцам против капитализма, не только к подневольным, забитым и ищущим выхода на вольный простор мысли и действия людям труда. Горький по праву может быть назван творцом эпоса русской жизни периода гибели капитализма и возникновения социалистического строя. Естественно, что Горький не прошёл и мимо тех явлений, которые связаны с моральным распадом и гибелью владык старого общества.

Удивительно многообразна в творчестве Горького галерея типов и лиц, являющихся представителями гибнущего мира. Здесь и Фома Гордеев, и Мачкин, и Егор Булычёв, и Артамоновы, и многие реальные прототипы образов российского купечества и промышленной буржуазии — от нижегородского миллионера, рыцаря первоначального накопления Бугрова до заигрывавшего с революцией мануфактуриста Саввы Морозова.

По-разному складываются судьбы и характеры этих представителей российского капитализма. Но везде, рисуя этих людей — от субъективно честного, стремящегося порвать со своей средой Фомы Гордеева до Егора Булычёва, понимающего свою личную и социальную обречённость, но не имеющего сил оторваться от своего класса, — Горький подчёркивает моральную опустошённость, ущербность, неполноценность этих людей.

«Всем известно, — говорит Егор Булычёв, — воровство дело законное. ...И воруюсь — не ты, — рубль ворует. Он, сам по себе, есть главный вор».

В этой страшной философии — разгадка морального облика Егора Булычёва. Он и умён, и в известном смысле добр и честен — в отличие от его жадных, суеверных, злых и глупых родственников. Но ни к чему и личные достоинства Егора Булычёва. Они не могут ни проявить себя, ни принести людям добро в волчьем мире торгашеских отношений, где «рубль ворует».

«Выламываются» купчишки и промышленники Горького, то погрязая в разврате и пьянстве, то кидаясь в мистику и раскол, то занимаясь садистскими издевательствами над подневольными людьми, то предаваясь неистовому обжорству. С беспощадной иронией рисует Горький этих людей. Но за всем этим — большая боль писателя за то, что из-за нечеловеческой мерзости волчьих законов старого мира способности и таланты растут, как дикое мясо, являя миру лишь уродливое зрелище зря загубленных человеческих судеб.

В своей критике капитализма Горький поднимается до таких философских и исторических высот, которые не снились ни одному, даже самому прогрессивному, буржуазному писателю, включая сюда и таких гениев, как Бальзак, Диккенс, Гейне. На эту высоту Горького поставило его последовательно-научное, марксистско-ленинское мировоззрение, сила влияния на него идей большевистской партии.

Горькому, с его великой человечностью, с его подлинно поэтическим гуманизмом, от начала до конца пронизывающими всё его творчество, принадлежит одна из самых суровых формул революционной этики: «если враг не сдаётся, его уничтожают».

Эти слова Горький бросил в лицо всем слугам капитализма, всем тем, кто пытался бороться прогив великой страны социализма. Беспощадность публицистического таланта Горького, который с такой яркостью развернулся в последние шесть-семь лет его жизни, очевидна. И столь же очевидна глубокая человечность всего того, что написано им в эти годы. Не есть ли это противоречие в мировоззрении писателя?

Нет, ибо именно во имя любви к человеку и его подлинно человеческим делам, которые для Горького заключались в строительстве нового, социалистического общества, он с такой ненавистью и презрением говорил о попытках людей старого мира остановить поступательный ход истории.

Горьковское слово, подкреплённое всемирным авторитетом писателя, было равно подлинному действию.

В публицистике Горького с исключительной яркостью и силой звучит тема борьбы за культуру. С содроганием вслушиваясь в дикую какофонию западноевропейских джазов, Горький писал в 1928 году:

«Пришёл толстый хищник, паразит. живущий чужим трудом, получеловек с лозунгом: «После меня — хоть потоп», — пришёл и жирными ногами топчет всё, что

создано из самой тонкой нервной ткани великих художников, просветителей трудового народа...

Погибает культура! — вопят защитники власти толстых над рабочим миром. — Пролетариат грозит погубить культуру! — вопят они и лгут, потому что не могут не видеть, как всемирное стадо толстых людей вытаптывает культуру, не могут не понимать, что пролетариат — единственная сила, способная спасти культуру и углубить и расширить её».

Как всё необычайно обернулось в сложной диалектике истории! Сын мастерового человека из далёкой «азиатской» Руси, бывший пекарь, грузчик, мальчик на побегушках, по понятиям «приличных» людей — бродяга, ценою невероятных усилий овладевший самостоятельно, без помощи какой бы то ни было школы, всей сокровищницей старой культуры, созданной человечеством, вынужден защищать эту культуру от тех, кто испокон веков привыкли считать себя её носителями и хранителями.

Ни в русской, ни в мировой литературе нет второго такого человека, как Горький, который на протяжении стольких лет и с такой трогательной заботой пестовал бы, растил бы сотни новых писателей из среды рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. Его письма к писателям, и не только к начинающим, — полны и умной даски, и сердечного внимания, и бескорыстного учительства.

Горький в этом смысле был поистине великим просветителем.

Лишь малая часть его писем собрана и опубликована в различных сборниках и периодических изданиях. Но и то, что известно читателям, вызывает удивление и восхищение. Это деловые разборы сотен и тысяч рукописей романов, повестей, поэм, стихов никому не известных начинающих литераторов, это критика подчас суровая, жёсткая, но всегда принципиальная, всегда исходящая из самой сути дела.

«Я — могу и ругаться с тобой, потому что люблю литературу, а любя — не обидишь». — писал Горький одному известному писателю. И по праву старшего Горький редактировал, исправлял, учил. Сколько людей благословил он на литературное творчество! В перечне этих имён можно найти и В. Маяковского, и К. Тренёва, и Вс. Иванова, и В. Гроссмана, и К. Федина, и М. Исаковского, и С. Подъячева, и Вяч. Шишкова, и А. Чапыгина, с которыми Горький вёл переписку, когда они были начинающими писателями, и которых он вырастил в больших литераторов.

Множество общественных литературных начинаний возникло по инициативе и под идейным и художественным воздействием Горького. Здесь и передовое издательство «Знание», сыгравшее огромную роль в утверждении реалистического направления в русской литературе в те годы, когда пышным цветом расцвёл российский декаданс; здесь и журнал «Летопись», поднявший честный, неподкупный голос против империалистической войны 1914 года; здесь и издательство «Всемирная литература», выпускавшее переводы лучших произведений иностранных классиков; здесь и журнал «Колхозник», выходивший в годы сталинских пятилеток; и альманах «Год...», посвящённый достижениям социалистического строительства; и «Библиотека поэта», выходящая до сих пор; и серия книг «История молодого человека»; и план издания литературы для детей, на долгие годы определивший творчество советских писателей, которые работают для подрастающего поколения.

Нет возможности перечислить все начинания Горького, получившие такой размах в последние годы его жизни и деятельности и которые знаменовали огромную практическую работу Горького по созданию и утверждению новой социалистической культуры.

Сам Горький всю жизнь показывал образцы трудолюбия, образцы вдохновенного труда. Литературовед С. Касторский в 1941 году опубликовал интересные данные о работе Горького над повестью «Мать». Впервые «Мать» печаталась в отрывках на немецком и английском языках в 1906—1907 гг. В 1907 году вышло и первое отдельное издание повести в Нью-Йорке, на английском языке.

Вскоре, в том же 1907 году, «Мать» вышла на русском и немецком языках в Берлине. Но текст повести для этих изданий был уже основательно переработан Горьким.

Начиная с апреля 1907 года, «Мать» печатается в России в сборниках «Знание». Для этого издания Горький в корректуре вносит много исправлений.

В 1908 году издательство Ладыжникова выпускает новое издание повести, снова исправленное автором.

В 1913 году Горький опять принимается за переработку повести для нового издания (из-за цензурных условий оно было осуществлено лишь в 1917 году).

Готовя в 1922—23 гг. полное собрание своих сочинений, Горький подвергает повесть снова (в шестой раз!) тщательной переработке.

Таково было неутомимое трудолюбие Горького, такова была его требовательность к себе. Горький неустанно работал над художественной отделкой повести «Мать», памятуя о той высокой оценке, которую дал идейному содержанию этого произведения великий Ленин. В процессе многочисленных переработок повести Горький не только улучшал стиль, язык произведения, но дополнял, развивал, уточнял характеристики отдельных героев, перестраивал в ряде случаев композицию.

С. Касторский справедливо отмечает, что переработка повести «Мать», предпринятая Горьким в 1913 году, явилась как бы его ответом на новый могучий подъём революционного движения в России, на победу большевиков над меньшевиками.

Углублённый идейно-художественный характер носила и переработка повести в 1922—23 гг. Горький шлифовал каждую фразу, оттачивал каждый образ. В последней редакции образ Андрея заметно приблизился к образу большевика Павла. Герой приобрёл более чёткую политическую окраску. Стала более убедительно мотивирована революционная деятельность Ниловны. Серьёзному пересмотру подвергся образ Рыбина, было смягчено его анархическое бунтарство. Образы интеллигентов были освобождены от элементов риторичности и театральности. Исходя из жизненной правды, Горький более сложно и глубоко раскрыл основные характеры героев повести.

Пример работы над повестью «Мать» наглядно показывает, как требователен к самому себе был Горький. Его отношение к собственному творчеству было проникнуто той внутренне обязательной самокритичностью, без которой невозможны творческий рост, мужание и вызревание писательского мастерства.

В статье «О том, как я учился писать» Горький рассказывал начинающим литераторам советской поры, как он отказывался от стремления писать «красиво».

«Море смеялось» — писал я и долго верил, что это — хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей.

«А печь стоит у вас не так», — заметил мне однажды Л. Н. Толстой, говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна». Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня. А. П. Чехов сказал мне о Медынской в «Фоме Гордееве»:

«У неё, батенька, три уха, одно — на подбородке, смотрите!» Это было верно, — так неудачно я посадил женщину к свету...

Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке:

«Волнистая равнина вся исхлѣстана серыми дорогами, и пѣстрый городок Окуров посреди неё — как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони».

Мне показалось, что я написал хорошо. Но когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет».

Как видим, в качестве примеров Горький приводит здесь отрывки из своих известных произведений, высоко оценённых критикой. Это не мешает Горькому в пору зрелого мастерства осуждать несовершенства своей ранней литературной манеры, своего стиля в прошлые годы.

Требования, которые Горький с такой последовательностью предъявлял и к себе и к своим младшим сотоварищам по литературной работе, отражали не просто и не

только повышение писательского мастерства. От стихийного революционного сознания, которое Горький принёс из самой практики жизни и борьбы трудового народа, великий писатель шёл ко всё более чёткому идейному осознанию методов своей литературной работы, ко всё более широкой теоретической постановке вопросов литературного движения в целом.

Горький стал основоположником метода социалистического реализма и как автор бессмертных художественных творений, положивших начало новой литературе, и как выдающийся теоретик советского искусства.

Опыт «Матери», «Мещан», «Дела Артамоновых», «Жизни Климá Самгина» — это основа практического воплощения метода социалистического реализма. Но этот опыт был бы неполон без теоретического осмысления самой природы метода социалистического реализма.

Зрелый Горький эпохи сталинских пятилеток и стал тем человеком, на долю которого выпала честь вместе с товарищем И. В. Сталиным, при помощи А. А. Жданова, сформулировать основные черты этого метода. Нет нужды приводить в настоящей статье соответствующие широко известные цитаты. Но хочется отметить, что для Горького было крайне важным утвердить понятие метода социалистического реализма через понятие «трудотворческой энергии масс».

Он не устал развивать в ряде своих статей и устных выступлений мысль о том, что в старой литературе истинная роль труда и трудового человека были затушёваны, принижены, что только советской литературе дано художественно выразить ту роль, которую они по праву играют в жизни, в подлинной истории общества.

Рассматривая слово советского художника как деяние, Горький неустанно продолжил мысль о новом качестве литературы социализма, способной в гораздо большей степени, нежели раньше, активно вмешиваться (или «вторгаться», по выражению А. А. Жданова) в жизнь.

В этом для Горького заключалась одна из принципиально новых черт социалистического реализма, как бы способствующая уничтожению разрыва между жизнью и литературой, между народом и интеллигенцией, разрыва, который столь болезненно переживал Горький в предреволюционную пору своей жизни и творчества.

Горький неустанно призывал писателей учиться видеть новое, уметь удивляться ему, уметь описывать его. В этом — одна из черт его подлинного новаторства, заключавшегося прежде всего в осмыслении основных жизненных процессов с точки зрения трудящихся. Новаторство Горького коренным образом отличается от разного рода изысков и вывертов формалистов и декадентствующих натуралистов, с которыми он вёл последовательную и непримиримую борьбу.

Широко популярны статьи Горького о языке советской литературы. Они проникнуты пафосом борьбы за его обогащение и многообразие. «Живой и трудный, каприз но-гибкий русский язык», — называл его Горький.

Неустанно пропагандируя среди советских писателей знание всех тонкостей и оттенков бесконечно щедрого и многообразного русского языка, Горький равно отрицательно относился как к засорению его областными словечками, «провинциализмами», так и к модернистскому словозобретательству, к лженоваторскому экспериментированию над языком.

В этом смысле статьи Горького о языке находятся в полном соответствии с теми принципиальными требованиями, которые нашли своё воплощение в гениальных работах И. В. Сталина, посвящённых вопросам языкознания.

Горький призывал писателей познавать жизнь во всём её многообразии. Он говорил:

«Писатель обязан всё знать — весь поток жизни и все мелкие струи потока, все противоречия действительности, её драмы и комедии, её героизм и пошлость, ложь и правду. Он должен знать, что каким бы мелким и незначительным ни казалось ему то или иное явление, оно или осколок разрушаемого старого мира, или росток нового».

Этот высший критерий подхода к действительности, когда каждое её явление рассматривается в диалектической изменчивости, в живом ходе исторического процесса, необыкновенно характерен для горьковского понимания метода социалистического реализма.

Этот критерий приобретал в устах Горького особую силу и убедительность, потому что был подкреплён его собственным творчеством на протяжении ряда десятилетий.

Творчество Горького оказало и продолжает оказывать огромное и исключительно плодотворное влияние на современных писателей нашей страны, на писателей стран народной демократии, на прогрессивных писателей всего мира. Под воздействием идейного содержания и художественного опыта Горького были созданы и «Тихий Дон», и «Чапаев», и «Железный поток», и «Разгром», и «Как закалялась сталь», и «Хождение по мукам», и «Повесть о детстве», и «Необыкновенное лето», и многие другие произведения советской литературы. Каждый из крупных советских художников слова по-своему, в соответствии со своим собственным индивидуальным писательским почерком и манерой, преломлял в своём творчестве влияние Горького. Никто из них не остался в стороне от могучего воздействия горьковской личности, горьковского таланта.

Советская литература, как единое и многообразное целое, является коллективной наследницей и продолжательницей горьковских традиций.

В публицистические статьи последних лет жизни Горький вкладывал присущий ему огромный опыт человека, который лично испытал все ужасы капиталистической действительности.

Обращаясь к фактам истории и современности, используя огромный арсенал жизненных, литературных, исторических и философских аргументов, Горький выступал на мировой арене неутомимым пропагандистом нового общественного строя, созданного в СССР, новых отношений между людьми, новых культурных и технических навыков.

Горький гордо говорил о советском человеке:

«Он обладает доверием к организующей силе разума, доверием, которое утрачено интеллигентами Европы, истощёнными бесплодной работой примирения классовых противоречий. Он чувствует себя творцом нового мира и хотя живёт всё ещё в условиях тяжёлых, но знает, что создать иные условия — его цель и дело его разумной воли, поэтому у него нет оснований быть пессимистом. Он молод не только биологически, но исторически. Он — сила, которая только что осознала свой путь, своё значение в истории, и он делает своё дело культурного строительства со всей смелостью, присущей юной, ещё не работавшей силе, руководимой простым и ясным учением»

Старая горьковская формула, ставшая народной поговоркой — «человек — это звучит гордо», — из сферы романтической мечты перешла в сферу реальной жизни. Это могло быть возможным и стало возможным только в стране социализма.

Вот почему творчество Горького последнего периода его жизни было проникнуто такой солнечной энергией, таким неколебным оптимизмом, — писатель видел, как партия Ленина—Сталина практически воплотила в жизнь самые, казалось бы, несбыточные мечты и чаяния трудового человечества.

Потому-то так гневен был голос Горького, который он возвышал против поджигателей войны — американских, немецких, английских и всяких других фальшивцев. С уничтожающим презрением писал Горький о власти доллара и его «цивилизации», реально ощущая историческое превосходство советских людей над всеми слугами и защитниками капиталистической «демократии».

Когда мы сегодня вспоминаем Горького, перед нами встаёт образ рыцарски непреклонного борца за мир во всём мире. Ничто не было Горькому так дорого, как согласие и сотрудничество между народами, как созидательная, творческая, культур-

ная деятельность. В страстных призывах Горького к тому, чтобы навсегда покончить с фашизмом, с агрессией, честные люди всех наций земного шара и сегодня видят свою собственную программу, свои собственные убеждения, свою волю к миру. Для современных борцов за мир горьковская публицистика — неоценимое по своей силе оружие.

Величие Горького — величие страны социализма, противостоящей всему капиталистическому миру и строящей счастливую жизнь для десятков и сотен миллионов тружеников.

Горький был не только великий писатель. В нём воплотилась народная мечта о борце за правду — воплотилась поистине в титанических масштабах.

Горький — это сказочный богатырь земли русской, но не в старом его обличье, а человек-богатырь ленинско-сталинской эпохи, поднявшийся из низов народных масс к высотам мировой культуры, связавший великое духовное прошлое народа с его сегодняшним днём, вооружённый знаниями, наукой, невиданной в мире техникой, животворящими идеями марксизма-ленинизма, — зачинатель и творец новой социалистической культуры.



Б. ДАЦЮК и К. КОВАЛЕВСКИЙ

★

СОЗДАТЬ ИСТОРИЮ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ!

История русской журналистики — одна из наименее разработанных областей нашей науки. Даже замечательная журнально-публицистическая деятельность Радищева, Пушкина, Беллинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, — лучшие боевые традиции которых восприняты, обогащены и развиты большевистской печатью, советской публицистикой, — всё ещё ждёт глубокого исследования.

Первой попыткой восполнить этот пробел является книга очерков по истории русской журналистики и критики XVIII века и первой половины XIX века, изданная Ленинградским университетом.

Очерки, собранные в рецензируемой книге, обладают рядом несомненных достоинств. Ценно, прежде всего, обилие приведённого фактического материала. Авторы книги изучили всю многообразную периодику XVIII и первой половины XIX столетия и впервые с большой полнотой свели воедино фактические данные по истории русской печати.

С этой точки зрения «Очерки» самым положительным образом отличаются от некоторых предшествовавших им опытов создания курса истории русской журналистики. Известным схематизмом страдают написанные одним из авторов этой статьи — В. Дацюком разделы курса лекций по истории русской журналистики (изданного в 1948 году): «Русская журналистика в начале XIX века» (1800—1812) и «Журна-

листика времени декабристов». Ряд положений, выдвигаемых в лекциях этого курса, уже устарел в свете новейших исследований; требует, например, уточнения периодизация; имеются неточности и фактического характера.

«Очерки», изданные в 1950 году, свободны от некоторых из этих недостатков. Отдельные очерки, собранные в книге, несомненно представляют значительный научный интерес. Однако, сосредоточившись на описании большого фактического материала, многие авторы «Очерков» значительно меньше внимания уделяют вопросам идейно-теоретического содержания своей книги, анализу и обобщению собранных фактических сведений.

Следует отметить, что в устранении ряда недостатков, присущих рецензируемой книге, серьёзную роль должна была сыграть редакционная коллегия, состоящая из авторитетных научных работников — проф. В. Евгеньева-Максимова, проф. Н. Мордовченко и доц. И. Ямпольского. Роль редакторов должна была быть особенно значительной, так как ряд исследований, вошедших в книгу, был написан ещё до Великой Отечественной войны. К моменту издания книги некоторых авторов не было в живых. Прямым товарищеским долгом редакторов было исправить устаревшие положения, содержащиеся в очерках, внимательно просмотреть их в свете новейших достижений советской науки.

К сожалению, такой направляющей роли редакторов в «Очерках» не заметно.

Страницы объёмистой книги перетружены названиями газет и журналов, вышедшими в свет, фамилиями редакторов и издателей. При этом главная линия развития периодической печати не выделяется;

Очерки по истории русской журналистики и критики. Том первый. XVIII век и первая половина XIX века. Издательство Ленинградского Государственного университета им. А. А. Жданова. Д., 1950.

характеристика органов печати даётся зачастую в отрыве от конкретных исторических условий; консервативная печать представлена если не в большей, то в равной мере с печатью передовой — демократической и революционной. Все авторы единодушно уклоняются от анализа жанров и особенностей стиля передовых публицистов. Вследствие этого «Очерки» содержат ряд серьёзных недостатков.

2

Авторы «Очерков» неудовлетворительно решают такие принципиально важные — особенно для всякого труда обобщающего характера — вопросы, как определение предмета и метода истории журналистики в качестве научной дисциплины, а также вопросы периодизации.

Характеризуя историю рабочей партии за двадцатилетие 1894—1914 годов как историю двух направлений в российской социал-демократии, В. И. Ленин указывал: «Чтобы понять историю рабочей печати в России, надо знать не только и даже не столько названия разных органов печати, названия, ничего не говорящие современному читателю и только сбивающие его с толку, а содержание, характер, идейную линию разных частей социал-демократии»¹.

Следовательно, изучать историю журналистики — значит прежде всего изучать идейное направление, содержание периодических изданий. Их значение может быть правильно понято и оценено только в том случае, если идейное направление органов печати будет рассматриваться в прямой связи с конкретными условиями жизни общества, с основными закономерностями исторического развития.

Указания В. И. Ленина определяют и то значение, которое имеет и по сей день изучение истории русской прогрессивной периодики XVIII и XIX веков. «Рабочая печать в России, — говорит Ленин, — имеет за собой почти вековую историю — сначала подготовительную, т. е. историю не рабочего, не пролетарского, а «общедемократического», т. е. буржуазно-демократического освободительного движения...»²

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 227.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 229—230.

Эти указания Ленина помогают советским учёным в их борьбе с различными вульгаризаторами, ещё подвизающимися в области литературоведческой и исторической науки. Эти указания подчёркивают неразрывную связь лучших традиций советской литературы, большевистской печати с тем классическим наследием, которое оставлено как в области художественной литературы, так и в области публицистики Пушкиным, Белинским, Герценом, Чернышевским, Добролюбовым.

К сожалению, авторы очерков недостаточно руководствовались этими основополагающими указаниями В. И. Ленина.

В книге фактически нет даже определения предмета и задач исследования, его методологии и т. п.

Некоторые указания на этот счёт встречаются лишь в первой главе, написанной профессором П. Берковым, и относятся они к XVIII веку. Понять значение русской журналистики, иными словами — изучить её, по утверждению П. Беркова, «можно лишь в том случае, если рассматривать её как элемент исторической жизни того периода, соотнося её с политическими событиями эпохи, устанавливая её роль в общественной борьбе, наконец, определяя её место в развитии литературы и языка соответствующего времени».

Методологические принципы исследования П. Беркова являются крайне спорными. Как видно из этого определения, П. Берков понимает журналистику всего лишь как «элемент» некой абстрактной, а следовательно внеклассовой «исторической жизни». Журналистика в его схеме выглядит как бы оторванной от общественного развития, исследователю, по мнению П. Беркова, следует лишь «соотносить» её с «политическими событиями эпохи». Того факта, что сама журналистика есть «политическое событие эпохи», П. Берков здесь явно не учитывает.

В этом определении не сказано о важнейшей задаче — об изучении форм и методов передовой русской журналистики. А ведь изучение истории журналистики должно вооружить работников печати знанием газетно-журнальных жанров, знанием приёмов и методов публицистики и редакторской работы выдающихся русских журналистов. В очерках это расширительно ставится как задача изучения места журнали-

стики «в развитии литературы и языка», то есть подмывается задачами, свойственными самостоятельным научным дисциплинам: литературоведению и языкознанию.

Ошибки этого определения характерны в известной степени для книги в целом.

Непропорционально большое место отводится в книге реакционным, а также и либеральным органам печати. Некоторые авторы не только говорят о них в объективистском тоне, но и рассматривают их в качестве равноправного объекта исследования. В итоге — книга засорена цитатами из писаний различных реакционеров-мракобесов. При этом оказывается потерянным главное. Таким главным является изучение опыта той непримиримой идейной борьбы, которую вела передовая русская публицистика XVIII и первой половины XIX века с реакционным лагерем крепостников-помещиков, борьбы, в которой крепили и развивались близкие нам передовые традиции демократической печати.

Недостатки содержания «Очерков» обусловлены и тем, что авторы попытались объединить два самостоятельных учебных курса: историю журналистики и историю литературной критики.

Закономерность такого объединения по меньшей мере спорна. Литературная критика, конечно, во многом определяла направление и содержание подцензурной периодической печати. Однако ведь и вопросы философии, социологии, экономики, истории имели в публицистике самостоятельное, а не подчинённое значение. Выделив литературную критику, авторы «Очерков» дали одностороннюю картину деятельности журналов и газет, тем более, что осветить глубоко и полно развитие литературной критики они, естественно, в данном издании не могли. Объединение же двух учебных дисциплин привело к поверхностному освещению и истории журналистики и истории критики.

Наконец, серьёзный недостаток «Очерков» — явно неправильная периодизация истории русской журналистики. Если ряд частных вопросов периодизации является спорным, то основные методологические принципы периодизации истории русской журналистики совершенно ясны. Они определяются рядом положений, содержащихся в работах В. И. Ленина.

«История рабочей печати в России, — писал В. И. Ленин в статье «Из прошлого рабочей печати в России», — неразрывно связана с историей демократического и социалистического движения. Поэтому, только зная главные этапы освободительного движения, можно действительно добиться понимания того, почему подготовка и возникновение рабочей печати шли таким, а не другим каким-либо путем»¹.

В этой же статье, являющейся образцом научного освещения истории журналистики, В. И. Ленин выделяет три главных этапа освободительного движения в России, соответственно трём главным классам русского общества: 1) дворянский — примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический — приблизительно с 1861 по 1895 год; и 3) пролетарский — с 1895 года.

Только опираясь творчески на эти принципиально важные положения В. И. Ленина, можно правильно наметить основные периоды в истории русской журналистики. В частности, нам представляется, что с конца XVIII века и вплоть до середины XIX столетия в истории журналистики следует наметить следующие основные разделы: с конца XVIII века (с Радищева) до 1825 года — журналистика периода вырезания дворянского этапа в русском освободительном движении; 1825—1861 гг. — журналистика дворянского периода в русском освободительном движении; внутри этого периода должно быть выделено принципиально новое в общественно-политическом развитии России — зарождение в начале 40-х годов революционно-демократической периодики, начинателем которой явился В. Белинский.

Периодизация же, принятая авторами «Очерков», лишена не только теоретического обоснования, но и идейного содержания. Она исходит из принципа голый хронологии: «XVIII век», «Первая четверть XIX века», «1826—1840 гг.», «Сороковые годы».

Таковы основные недостатки методологического характера, присущие «Очеркам» в целом. На них следовало остановиться, прежде чем перейти к разбору отдельных разделов книги.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 223.

3

Большинство глав первого раздела «Очерков» написано профессором П. Берковым и посвящено русской периодической печати XVIII века.

Здесь мы сталкиваемся прежде всего с путаной периодизацией. В основу периодизации истории журналистики XVIII века П. Берков положил смену царствований. Он пишет: «Первый период существования русской периодической печати прекращается почти одновременно со смертью Петра I... Со вступления на престол Екатерины I и до начала 1760-х годов, то есть в течение всей второй и части третьей четверти XVIII в., продолжался новый этап русской истории...» «Новая полоса в истории русской журналистики совпадает с началом царствования Екатерины II».

Больше того, даже факты личной жизни иностранца Миллера «определяют» этапы русской журналистики. Так, очевидно забыв собственное утверждение, что первый период истории журналистики «заканчивается» в 1727 году, П. Берков заявляет: «С прекращением «Ежемесячных сочинений» (первый научно-популярный и литературный журнал Академии наук.— Б. Д. и К. К.) завершается первый период в истории русской журналистики...» Журнал закрылся в 1764 году, «в связи с отъездом Миллера в Москву».

П. Беркова привлекает не анализ социально-политических причин появления периодической печати в России, не анализ идейного содержания и направления органов печати, а, главным образом, регистрационное их описание.

Метод, которым пользуется П. Берков, приводит к явному принижению петровских «Ведомостей». С чрезвычайной пунктуальностью прослеживает П. Берков изменения в названиях первой русской печатной газеты, но в то же время не подчёркивает и не раскрывает её характер как органа государственного — в отличие от первых печатных газет Запада, преимущественно торгово-информационных. «Ведомости» изображаются как прямой преемник рукописных «Курантов», как их печатная форма! «Эти самые «куранты» позднее, при Петре I, кладутся в основу первой русской печатной газеты...» «Использовать это средство при проведении своей политики Пётр мог только, придав «курантам»

печатную форму. И по основным используемым источникам «Ведомости» продолжают традиции «курантов».

Трудно понять, что общего между рукописными столбцами, составлявшимися в Посольском приказе для чтения «царю да баярам» и имевшими характер дипломатической тайны, с печатной газетой, «продлившейся в народ», газетой, в которой, по словам Добролюбова, «в первый раз русские увидели всенародное объявление событий военных и политических». «Ведомости» широко освещали внутреннюю жизнь — это был один из главных отделов газеты. «Куранты» же внутреннюю информацию не помещали. Недаром и сам автор признаёт внутреннюю хронику «Ведомостей» новым и «не случайным, а принципиальным» отделом.

Сосредоточив внимание на «выходных данных», на различных внешних фактах издания, автор не проанализировал содержание газеты, не выявил её тенденции в освещении военных дел, иностранной информации, внутренней хроники, прошёл даже мимо таких фактов, как письмо Петра о «полтавской виктории» и другие военные репортажи. Вообще роль Петра в издании газеты освещена неполно. Поверхностный обзор петровской газеты П. Берков заключает такими выводами: «Ведомости» оставили след в русском обществе. Иначе нельзя понять того, что сейчас же после прекращения «Ведомостей» на смену им пришла другая газета, имевшая более длительную историю».

Вслед за этим П. Берков опять называет академические университетские издания, условия их издания и каждое изменение в этих условиях, перечисляет редакторов, издателей, сотрудников, даже названия статей и корреспонденций, но опять не раскрывает в достаточной степени главного: направления, характера важнейших органов печати — и этим самым как бы обезличивает их.

С начала 1728 года Академия наук стала издавать «Санкт-Петербургские ведомости», заменившие первую русскую печатную газету. Попав в руки Миллера, они утратили черты государственного органа, приобрели характер придворно-академический. Целенаправленная внутренняя хроника петровских «Ведомостей» сменилась многословными описаниями дворцовых тор-

жеств. П. Берков не показывает различия между этими изданиями и тем самым опять-таки принижает значение первой русской газеты. «По существу, между «Ведомостями» 1702—1727 гг. и «Санкт-Петербургскими ведомостями» Академии Наук разницы нет», — утверждает он.

Полное недоумение вызывает тот факт, что П. Берков всячески превозносит Миллера. Неизвестно, зачем пространно излагаются его взгляды на журналистику, цитируется его предуведомление к «Ежемесячным сочинениям», перечисляются его «труды», в том числе и клеветнический «Опыт новейшей истории о России», вызвавший гневный протест М. В. Ломоносова.

Особое внимание советского исследователя должна была приковать деятельность в журналистике 50—60-х годов, конечно, не Миллера, а М. В. Ломоносова. От профессора П. Беркова, много лет исследовавшего журналистику XVIII века, читатель вправе был ожидать всестороннего освещения деятельности Ломоносова как журналиста. Но в «Очерках» даже не упомянуто знаменитое «Рассуждение о должности журналиста» Ломоносова — выдающийся документ публицистики XVIII века, впервые определяющий моральный облик журналиста. А ведь некоторые положения этого «Рассуждения» не потеряли значения и до сих пор.

Несколько лучше других удались П. Беркову разделы о «Московских ведомостях» и журналах 1759—1764 гг., в частности разбор журнала А. Сумарокова «Трудолюбивая пчела». Однако и здесь не может не вызвать возражения метод П. Беркова — нагромождение названий периодических изданий, даже совершенно малозначительных, описание каждого из них, вместо выделения и анализа наиболее важных. Примером такого ненужного загромождения текста может служить следующее место: «Хотя с точки зрения хронологии «Праздное время» было первым русским частным журналом (разрешение на него было выдано на несколько дней раньше, чем на издание «Трудолюбивой пчелы»), тем не менее по своему общественному и литературному значению журнал Сумарокова стоит выше «Праздного времени», и рассмотрение «Трудолюбивой

пчелы» должно быть сделано в первую очередь».

Серьезными недостатками страдает глава о сатирических журналах 1769—1774 гг.

В журналах Новикова мы находим многие журнально-газетные жанры: от памфлета и пародии до путевого очерка. Проследить процесс зарождения и становления журнальных жанров — крайне необходимо в любом труде по истории журналистики, а тем более в книге, которую сами авторы считают возможным рекомендовать для учебных целей. Однако П. Берков, как и другие авторы «Очерков», совершенно обходит эту задачу.

В то же время автор много внимания уделяет мелочам, вроде установления... приоритета в полемических вопросах журнала, издававшегося Екатериной. «Началась длительная и ожесточенная полемика по вопросу о допустимом характере сатиры. Инициатива в данном случае принадлежала опять-таки «Всякой всячине». «Второй пункт, вызывавший оживленные прения в журналах 1769 г., был вопрос о бюрократии, о подьячих. И опять-таки начало полемики положила та же «Всякая всячина». «Ещё важнее были расхождения между «Всякой всячиной» и её «потомством» по вопросу о положении крепостных. И в данном случае первое слово по этому поводу сказала «Всякая всячина»...»

Не обогатят читателей «Очерков» и такие открытия автора: «Появление «Всякой всячины» в первых числах января 1769 г. состоялось без какого-либо предварительного оповещения читателей. Условия подписки были сообщены публике лишь в № 2 «Санкт-Петербургских ведомостей» (от 6 января 1769 г.)...»

П. Берков растрчивает своё внимание на исследование взаимоотношений второстепенных и третьестепенных писателей, на описание таких никчемных и бесцветных изданий, как «Трудолюбивый муравей», «Старина и новизна» Рубана, как «безграмотный и графомански-нелепый», по определению самого же П. Беркова, листок «Мешанина катоноскарронийская».

Подобными пороками страдает в первом разделе книги и глава «Журналистика 1770—1790-х годов». Здесь читателю преподносятся названия пятидесяти четырёх новых журналов и газет. Основной же вопрос — публицистические выступления

А. Радищева, его влияние на журналистику — не получил достаточного освещения. В начале главы есть декларативное заявление: «Почти все эти издания (отражающие настроения радикальных кругов. — Б. Д. и К. К.) в какой-то мере связаны с А. Н. Радищевым, либо непосредственно участвовавшим в них в качестве сотрудника («Беседующий гражданин»), либо оказавшим своими произведениями и личной судьбой влияние на издателей («Санкт-Петербургский журнал»)). Выделить это положение как важнейшее, посвятить разработке его свои изыскания — автор не счёл необходимым. О Радищеве и его последователях есть ещё всего лишь несколько отрывочных упоминаний. Показательно, что даже радищевский трактат «Беседа о том, что есть сын отечества» «разобран» в одном абзаце. В этом разборе упускается самое главное: революционная, антикрепостническая направленность трактата, глубокий патриотизм Радищева.

«Санкт-Петербургскому журналу» — наиболее яркому изданию конца XVIII века — посвящена одна страничка. Здесь даже не упомянуты те статьи, в которых отражено прямое влияние Радищева. А ведь статья Н. Пнина «Гражданин» непосредственно перекликалась с радищевскими статьями «Письма из Торжка», напоминала читателю о «Путешествии из Петербурга в Москву», в частности главу «Торжок». Обязанность автора заключалась в том, чтобы проанализировать эти и другие произведения, отразившие влияние Радищева.

Более удачна IV глава — «Журналы И. А. Крылова», написанная А. Кучеровым. В ней обстоятельное описание журналов сочетается с анализом основных печатавшихся в них произведений.

Обращают на себя внимание и стилистические погрешности. В частности, П. Берков пишет каким-то нарочито трудным слогом. Порою целые абзацы текста неграмотны. «Картинно» рисуя петровские реформы, П. Берков, например, пишет: «Строились новые посёлки, порты, из земли выростали фабрики, тысячи плотников в новых верфях рубили мощные корабли». В другом месте П. Берков пишет: «Годы потёмкинского удушения общественно мнения сказались прежде всего в устранении боевого характера даже в наиболее передовых тогдашних изданиях...» «Екате-

рина сперва попалась на удочку, закинутую Фонвизинным...», «Новиков ударил Екатерину её же оружием, и ударил прямо в точку» и т. д. и т. п.

4

Вторая часть рецензируемой книги посвящена периодическим изданиям первой четверти XIX века, то есть фактически журналам времени царствования Александра I.

Наибольший интерес в этом разделе представляет написанная Н. Степановым глава «Критика и журналистика декабристского движения». Автор подробно охарактеризовал здесь литературно-общественные идеи декабристов и отражение этих идей в таких изданиях как «Полярная звезда», «Мнемозина» и другие.

Однако и этому разделу в целом присущи серьёзные недостатки. Наиболее существенный из них — ничем не оправданное преувеличение роли Н. М. Карамзина как в истории русской печати, так и в развитии всей русской литературы начала XIX века.

Авторы данного раздела совершенно не раскрывают содержание общественно-политической борьбы, происходившей в первом десятилетии XIX века. По поводу направлений, существовавших и боровшихся тогда в русской публицистике, сказана беспредметная фраза: «В соответствии с политическим разделением общества в журналистике определилось два направления — прогрессивное и реакционное».

Рассматривая Карамзина как ведущую фигуру, определявшую развитие русской прогрессивной журналистики начала XIX века, А. Комаров, являющийся автором данной главы, допустил и ещё одну серьёзную ошибку. Он крайне бегло и прикиненно охарактеризовал деятельность Пнина, Борна, Попугаева, то есть тех публицистов начала XIX века, которые, как это убедительно показал Вл. Орлов в своём исследовании «Русские просветители 1790—1800-х годов», находились под идейным влиянием Радищева. Их публицистические выступления, а вовсе не издания Карамзина и так называемых «карамзинистов», определяли прогрессивное направление русской печати.

Специальный раздел книги посвящается журналистике 1826—1840 годов.

Этот период отмечен началом публицистической деятельности В. Г. Белинского, которая знаменовала собой совершенно новый этап в развитии русской журналистики. Важнейшая задача исследователя и заключалась в том, чтобы показать, что нового внёс Белинский в журналистику, как с первых же лет своей деятельности он, несмотря на свои кратковременные идейно-философские заблуждения, развивал принципы боевой демократической публицистики, всецело посвящённой борьбе за интересы народа.

Заметное явление этого времени — и оформление ранней буржуазной журналистики («Московский телеграф» Н. Полевого).

Огромное значение имеет в эти годы публицистическая и редакторская деятельность Пушкина, его борьба за свой журнал, как орган, объединяющий передовых литераторов. Журналистика этого времени характерна и дальнейшим развитием газетно-журнальных жанров. В публицистике Белинского, Пушкина, Гоголя и других литераторов и журналистов мы находим образцы литературного обозрения, литературно-критической статьи, рецензии, библиографической заметки, театральной рецензии, путевого очерка, памфлета, фельетона, корреспонденции. Процесс развития журнальных жанров, конечно, должен быть раскрыт в таком специальном исследовании, как рецензируемая книга.

Вводная, обзорная глава этого раздела (автор П. Мордовченко) не отвечает на эти вопросы. Журналистика 1826—1840 годов рассматривается, главным образом, в литературоведческом плане, как журналистика двух направлений: романтического и реалистического (автор пытается даже ввести термин: «литературная журналистика»). Журнал «Современник», деятельность Пушкина как редактора и публициста — очерчены крайне бегло. Как известно, задыхавшийся в тисках цензуры Пушкин пытался расширить программу журнала, крайне ограниченную рамками официального разрешения, обогатить тематику «Современника», разнообразить жанры. Эта яркая и примечательная страница редакторской деятельности Пушкина не раскрыта исследователем.

Некоторые пробелы вводной главы восполняются В. Орловым, обстоятельно

осветившим и направление «Московского телеграфа», и публицистику Н. Полевого. Следует, однако, отметить, что автор не вскрывает сущность социально-политической программы Полевого, спрагазавшей стремление русской буржуазии к компромиссу с царизмом; односторонне рассматривает он отношение Полевого к июльской революции 1830 года во Франции; не говорит и о враждебном отношении к деятельности великих русских революционных демократов Герцена и Белинского.

Специальные главы посвящены «охранительной» и «торговой» печати: «Северной пчеле» и её редактору Булгарину, «Библиотеке для чтения» и её редактору Сенковскому. Тщательно выясняется содержание «Северной пчелы» — полуофициоза III отделения, «критические позиции» Булгарина, «высказывания» газетёнки о Пушкине, Гоголе и натуральной школе; приводятся многочисленные цитаты, примечательные только смесью клеветы и психологии. Конечно, «Очерки» должны дать представление о лагере противников прогрессивной печати, охарактеризовать реакционную журналистику. Но вдаваться в столь подробный «анализ» «борзых и тонких публицистов второй руки и третьего отделения», как метко называл А. И. Герцен деятелей полицейской журналистики, совершенно не к чему. Это лишь засорит книгу. Много ненужного и в главе о Сенковском: воспоминания его учеников, цитирование злобных высказываний и насмешек по адресу Гоголя, Лермонтова и Пушкина, фамилии писателей «Библиотеки», чьё «творчество» осталось «за пределами литературы», названия ходульных стихов и светских повестей, составлявших «художественный материал» журнала.

Н. Мордовченко — автор глав о «Телескопе» и «Московском наблюдателе», проделал большую исследовательскую работу, всесторонне осветил деятельность Н. И. Надеждина. Он последовательно развивает положение о том, что Надеждин — литературный критик — подготовил реалистическую критику Белинского. Но ошибочным кажется на наш взгляд преувеличение роли Надеждина, как наставника молодого критика. Сближая Надеждина и Белинского в литературной борьбе с общими противниками, Н. Мордовченко не всегда подчёркивает, чем Надеждин-публицист, поли-

тический консерватизм которого он сам правильно отмечает, отличается от Белинского — зачинателя революционной демократической печати. Не разобрав этот узловое вопрое журналистики рассматриваемого времени, нельзя, разумеется, разрешить и важнейшую проблему — оценить в полной мере журналистско-публицистическую деятельность великого русского революционера-демократа, как зачинателя нового этапа освободительного движения в России. Ошибка Н. Мордовченко, намеченная ещё во вводной главе, таким образом, углублена, и корень этой ошибки именно в том, что начало публицистической деятельности Белинского рассматривается вне связи с освободительным движением, вне связи с созревающей новой силой этого движения.

Раздел заключают главы о «Литературной газете», «Современнике» и о Пушкине-критике. Они должны были обобщить публицистическую деятельность Пушкина, его взгляды на периодическую печать, показать его борьбу с продажной, беспринципной прессой, «грачами-разбойниками», управлявшими общественным мнением, борьбу за журналистику, порядочную, честную, прогрессивную. Однако журналистско-публицистическая деятельность Пушкина только бегло освещается в ряде глав, и читатель не получает полного представления о Пушкине-публицисте, о его борьбе за политический журнал, могущий направлять общественное мнение. Так, например, борьбе Пушкина за право издавать политическую и литературную газету «Дневник» посвящён один абзац.

«Литературная газета» и «Современник» — выдающиеся явления в русской журналистике первой половины XIX века, и исследование их Н. Степановым представляет большую ценность. В частности, нужно отметить, что анализ полемики «Литературной газеты» с Полевым и Булгариным верно характеризует позицию Пушкина, разоблачает «легенду» о литературном аристократизме, якобы пропагандировавшемся в газете (как это утверждали некоторые исследователи пушкинской публицистики в 30-х годах). Глава о «Современнике» всесторонне характеризует Пушкина-редактора и тем самым отчасти восполняет отсутствие его характеристики как редактора «Литературной

газеты» (Пушкин почти два месяца вёл газету без Дельвига). Анализ «Современника» и редакторской деятельности великого поэта завершён правильным выводом, — планы реорганизации журнала, намечавшееся сотрудничество с Белинским оцениваются как «выход Пушкина к демократической журналистике».

Особо должна быть отмечена глава «Пушкин-критик», которая могла бы явиться полноценной главой учебника по истории русской критики. В общем же труде по истории журналистики и критики она должна была быть дополнена таким же серьёзным разбором публицистики Пушкина, его социальных, философских и исторических взглядов, систематизацией его высказываний о журналистике и, наконец, раскрытием тезиса (дока только провозглашённого), что «Пушкин был блестящим мастером критических жанров, блестящим стилистом, перенёсшим в критику основные качества своей прозы: краткость, точность, ясность».

Однако и главы, написанные Н. Степановым, заслуживающие в целом положительной оценки, не свободны от некоторых ошибок принципиального характера. В отдельных случаях автор не преодолел влияния давно разгромленных ошибочных установок в понимании пушкинского творчества, в понимании его глубоких национальных истоков.

Так, Н. Степанов справедливо отмечает, что «Пушкин шёл своим путём, разрешая проблемы литературы оригинально и самостоятельно...». Однако это положение слабо подкреплено дальнейшим изложением и находится в прямом противоречии с явно ошибочной, надуманной «схемой», по которой якобы развивались воззрения Пушкина.

Неоспоримый факт широкой эрудиции передовых русских людей, в том числе и Пушкина, факт их творческого отношения к достижениям современной им мировой культуры здесь подменяется наслоением различных «влияний».

«Теоретические воззрения Пушкина сложились не сразу, — пишет Н. Степанов, — и продолжали развиваться на всём протяжении его творческого пути. Ещё в лицейский период, наряду с лекциями Кошанского, читавшего в основном по старинке, по Баттё и Лагарпу (хотя и упоминая уже

о Лессинге и Винкельмане), Пушкин слушал и Галича, сторонника немецкого идеализма, во многом разделявшего положения кантианской эстетики. В то же время Пушкин находился под воздействием французской просветительной философии, и несомненно, что эстетические принципы просветителей, в частности Дидро, были ему известны.

В начале 1820-х годов Пушкин знакомится с эстетическими и теоретическими воззрениями представителей романтической школы, как немецкой (Шлегель), так и французской (Сталь, Сисмонди и др.)

В конце 1820-х годов Пушкин сближается на некоторое время с «любомудрами», сторонниками шеллингианской эстетики, однако далеко не разделяя их взглядов. В дальнейшем, в 1830-е годы Пушкин, обратившись к историческим темам и занятиям, становится всё более на историческую точку зрения. Этот историзм особенно явственно сказался в его суждениях о народности литературы, в его набросках обзора развития французской и русской литературы, в его высказываниях о В. Скотте и историческом романе.

В этой упрощенческой схеме не нашлось места для русской действительности, не нашлось места даже для А. Н. Радищева! Это — серьёзная ошибка Н. Степанова, его дань пережиткам компаративизма.

5

Недостаточное внимание авторов «Очерков» к теоретическому анализу и обобщению фактических сведений особенно отрицательно сказывается на содержании четвертого раздела книги, в котором даётся обзор периодических изданий, выходивших в 40-х годах XIX века. Авторы этого раздела Н. Мордовченко и А. Дементьев не связали органически историю журналистики с социально-экономическим развитием России, с общественно-политическим движением того времени, в котором журнально-публицистическая деятельность В. Г. Белинского и А. И. Герцена была главным и определявшим прогрессивное развитие печати.

Общезвестно, что в освещении основных событий этого периода в науке долгое время протаскивались различные чуждые марксистско-ленинскому учению объективистские и космополитические точки

зрения, унаследованные от взглядов либерально-буржуазных и меньшевистских фальсификаторов истории.

В новейшем труде, посвящённом вопросам русской журналистики, мы вправе были бы ожидать глубокой боевой критики этих враждебных советской науке взглядов, и на основе этой критики — их решительного преодоления. К сожалению, этот раздел «Очерков» не содержит такой необходимой критики чуждых науке взглядов.

Удачным может считаться освещение отдельных чисто литературоведческих вопросов. Разбирая же специальные вопросы истории журналистики, авторы не только отрывают развитие печати от общественно-политической борьбы 30—40-х годов, но и вносят немало путаницы в понимание этой борьбы, её содержания и исторического значения.

Совершенно неприемлемой является даваемая Н. Мордовченко оценка «Философического письма» Чаадаева.

«П. Я. Чаадаев, — пишет Н. Мордовченко, — ...был одним из выдающихся представителей русской философско-политической мысли начала XIX столетия. В цикле своих «Философических писем» Чаадаев обосновал оригинальную систему философии истории, поставив на теоретическую почву вопрос о национальной и всемирно-исторической роли России».

Вольно или невольно, но в данном случае автор следует за либерально-буржуазной историографией и литературоведением. Он даже не учитывает оценки Чаадаева, данной В. И. Лениным в статье «О «Вехах», где Чаадаев по своим взглядам стоит рядом с Владимиром Соловьёвым и Достоевским.

Переоценка Чаадаева либеральными историографами понятна — этим самым они стремились принизить Белинского. А ведь если говорить о создании «оригинальной системы философии истории» и о том, кто же первый в русской общественной мысли XIX века поставил «на теоретическую почву вопрос о национальной и всемирно-исторической роли России», то, конечно, надо говорить о Белинском. Тем более непонятно, как можно не видеть, что Чаадаев как либерал в своём мировоззрении во многом ушёл в сторону даже от национальных и патриотических традиций декаб-

ристов. А содержащееся в «Философическом письме» осуждение декабристов, которым Чаадаев приписывал лишь «одни дурные понятия, гибельные заблуждения», было прямо реакционным. На взглядах Чаадаева, высказанных в этом письме, лежит и печать неверия в творческие силы русского народа. Всё прошлое и настоящее России рисуется ему в самом мрачном свете; он фактически зачёркивает всю героическую историю русского народа, его великую самобытную культуру. Он не видит его борьбы с крепостничеством и самодержавием.

«Философическое письмо» было насквозь проникнуто мистикой, космополитизмом и поповщиной. Идеи Чаадаева фактически звали к отказу от родины, к растворению русской национальной культуры в некоей западной «всечеловеческой» культуре. Особенно реакционным было его восхваление католицизма, в котором Чаадаев видел «всечеловеческую» религию.

Космополитические идеи «Философического письма», как известно, вызвали тогда же возражения со стороны Пушкина, который заявлял Чаадаеву: «Ни за что на свете не хотел бы я переменить отечество или иметь иную историю». Герцен, в своё время восторгавшийся смелостью Чаадаева, уже в 1842 году говорил о нём: «При всём своём большом уме, при всей начитанности он ужасно отстал. Это голос из гроба, голос из страны смерти и уничтожения».

Характерно, что авторы книги полемизируют даже с этими критическими взглядами современников на Чаадаева. Очевидно именно к Пушкину и Герцену относятся следующие строки: «Большинство современников Чаадаева было далеко от понимания сущности его философской системы; современников Чаадаева больше всего поразило его отношение к русской культуре и оценка исторического прошлого России».

Серьёзные ошибки содержит раздел «Сороковые годы» и особенно написанная А. Дементьевым глава «Журналистика и критика сороковых годов (1840—1855 гг.)».

Здесь ряд верных положений, выраженных в общей декларативной форме, не находит своего последующего раскрытия в изложении фактического материала. А. Дементьев справедливо, например, указывает, что идеи Белинского и Герцена

отвечали задачам, поставленным историческим развитием России, выражали интересы народа и чрезвычайно способствовали развитию освободительного движения в нашей стране. В основном правильно оценивается и содержание общественно-политической борьбы того времени, как борьбы «между защитниками интересов крепостного крестьянства Белинским, Герценом и их последователями, с одной стороны, и защитниками интересов дворянства и буржуазии, славянофилами и либеральными западниками, — с другой».

В ходе же изложения конкретной истории печати автор как бы забывает все эти правильные положения.

Славянофильство оценивается А. Дементьевым в духе либеральной историографии — как течение, занимающее «относительно прогрессивные позиции». В качестве критерия для сравнения здесь берутся не взгляды революционных демократов, единственно верно отражавших задачи развития России и боровшихся против славянофилов, а идеология мракобесия и реакции — взгляды Погодина и Шевырёва. Поэтому А. Дементьев считает возможным даже утверждать, что славянофилам была присуща «глубокая симпатия к русскому народу», хотя вряд ли можно сомневаться, что вся идеология славянофилов, восхвалявших самодержавие, была как раз направлена против коренных интересов народа, боровшегося тогда за революционную ликвидацию феодального строя в России.

Весьма неясно и путанно освещает Н. Мордовченко процесс формирования общественно-политических взглядов Белинского. Верные мысли о самостоятельных исканиях Белинского, о его критическом отношении к немецкой идеалистической философии, метафизическому материализму, о преодолении их отрицательного влияния, мысли о роли самого Белинского в развитии русской классической философии выглядят как бы вставками, сделанными в уже готовый текст, и не вытекают органически из приводимого материала. Так, например, этим верным мыслям противоречит примитивная схема, которую Н. Мордовченко прикладывает к развитию мировоззрения Белинского. По этой схеме Белинский в начале 30-х годов — фиктеанец: «Бакунин, — пишет Н. Мордовченко, — и по-

знакомил Белинского с философией Фихте, поемному втянув его в «фихтеанскую ствлечённость». Во второй половине 30-х годов Белинский — гегельянец: «С системой Гегеля Белинский ознакомился через М. Бакунина». В начале 40-х годов Белинский — в основном фейербахианец: «Большую роль в обращении Белинского к философскому материализму сыграла знаменитая книга Фейербаха «Сущность христианства», а также «материалистические произведения Герцена...».

С некоторыми поправками (влияние А. Герцена и др.) Н. Мордовченко, таким образом, воскрешает пережитки той самой схемы развития Белинского, которая, начиная с Плеханова, долго держалась в науке и несколько лет назад была разбита в связи с выходом книги П. Лебедева-Полянского «В. Г. Белинский». Не пересмотран даже вопрос о Бакунине, которому долгое время и явно ошибочно приписывалась роль «философского наставника» Белинского. Не пересмотран и вопрос о кружках 30-х годов, хотя и здесь есть все основания для новых выводов. В частности, преувеличение роли Станкевича и его кружка в развитии Белинского, типичное в своё время для либерально-буржуазных историков, преследовало единственную цель: заглушать демократизм Белинского, слить его с либерализмом — под общим понятием «западники». Н. Мордовченко, к сожалению, не только не опровергает этого в корне ошибочного положения, но и сам связывает развитие Белинского в 30-х годах с этим кружком либерально-настроенной дворянской молодёжи.

А. Дементьев и Н. Мордовченко отходят и от собственной правильной оценки содержания общественно-политической борьбы 40-х годов. Они фактически склоняются к давно разоблачённой в науке версии о полемике «западников» и «славянофилов» (то есть о внутриклассовых расхождениях помещичье-дворянских идеологов), как о главном содержании всего общественного движения того времени. Стремясь «улучшить» эту концепцию, авторы вводят понятие «либеральные западники», из которого должно явствовать, что Белинский и Герцен — это якобы «западники» революционные.

В итоге совершенно не показано, что в русском общественно-политическом движе-

нии 40-х годов, а следовательно и в русской журналистике, размежевались и боролись два основных направления — революционно-демократическое и либеральное. Не показано, что появление революционно-демократической журналистики («Отечественные записки», «Современник») было закономерным явлением, обусловленным всем ходом социально-экономического развития России. Это была журналистика принципиально новых общественных сил — разночинцев — сил, растущих в русском революционном движении, борющихся и против крепостников и против либералов. О разночинцах авторы «Очерков» считают возможным лишь упомянуть, и то при помощи цитаты... из доноса, поданного Булгариным в третье отделение. Борьба с либерализмом, развёрнутая Белинским на страницах «Отечественных записок» и «Современника», в «Очерках» совершенно заглушена. Больше того, по смыслу утверждений Н. Мордовченко можно думать, что до 1846 года Белинский являлся либералом. Характерно, что Н. Мордовченко избегает вообще называть Белинского революционным демократом и рассматривать «Отечественные записки», возглавлявшиеся Белинским, как первый орган русской революционной демократии. Белинский в 40-х годах рассматривается им как «просветитель-революционер». Только в последние два года жизни, — как пишет Н. Мордовченко, — «революционно-демократические взгляды Белинского дошли до той ступени, которая уже отделяла Белинского от его друзей, становившихся защитниками буржуазного либерализма (Боткин, Кавелин, Анненков и др.)».

Не удалось Н. Мордовченко раскрыть и новаторскую форму публицистики Белинского. В «Очерках» не показано, что публицистика Белинского — явление совершенно новое в русском общественном движении, что до него в России журнальная трибуна ещё никем и никогда не использовалась для такой всесторонней и боевой пропаганды демократических взглядов.

Слабо показано, что деятельность Белинского характеризуется высокой принципиальностью, проникнута воинствующей наступательной идейностью и глубоким патриотизмом. Искажение облика Белинского — крупнейший идейно-теоретический недостаток «Очерков».

Собрав огромный фактический материал, авторы ряда собранных в книге очерков не подняли обобщение и анализ этого материала на уровень боевой марксистско-ленинской науки и не смогли поэтому создать марксистской книги по истории русской журналистики и критики.

Серьёзные недостатки книги наглядно

показывают, что в ряде областей литературоведческой и исторической науки всё ещё чувствуется влияние чуждых и устаревших концепций.

Для преодоления теоретического отставания этих областей науки необходимо творческое обсуждение нерешённых и спорных вопросов.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Н. Капиева. Пробуждение народа.— **Ю. Карасёв.** Бледно и невыразительно.— **К. Лапин.** Сборники латышской поэзии.— **З. Кедрина.** Творческий портрет писателя.— **С. Розанова.** Критика, идущая от жизни.— **Л. Зонина.** Непокоённая Греция.

БОРЬБА ЗА МИР. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ИСТОРИЯ

А. Палладин. Правые лейбористы — прислужники капитала.— **Б. Александров.** Национальное движение в Индии.— **А. Иглицкий.** Весна в польской деревне.

ТЕХНИКА

М. Голей. Знатные курыне.— **Н. Томан.** «Полоса чудес».

ЭТНОГРАФИЯ

Е. Лукашова. Великий гуманист.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Вл. Львов. Журнал «Природа».

ХИМИЯ

М. Азарин. Творец теории химического строения.

Литература и искусство

Пробуждение народа

Новым свидетельством мужания и роста молодых литератур народов Советского Союза, свидетельством творческого восприятия традиций великой русской литературы служит недавно вышедший в свет роман бурят-монгольского писателя Жамсо Тумунова «Степь проснулась».

Жамсо Тумунов рассказывает о «ранней весне» в жизни своего народа, о тех годах, когда трудящиеся Бурят-Монголии, ведомые большевистской партией, завоевывали при помощи русских трудящихся свободу и счастье. Роман раскрывает картины совершенно своеобразные, показывает кусок исторической действительности, доселе в нашей художественной литературе

Жамсо Тумунов. «Степь проснулась». Роман. Авторизованный перевод с бурят-монгольского **А. Митрофанова** и **С. Родова.** Редактор **А. Чеснокова.** «Советский писатель», М. 1950.

«Новый мир», № 6.

не освещённый, вводит читателя в быт и психологию братского народа Бурят-Монголии.

Нелегко было народу, придавленному царизмом, истерзанному «своими» угнетателями, пробиться к новой жизни. На пути стояли тяжёлые препятствия, жестокие враги: белые банды атамана Семёнова, американские и японские интервенты, местная феодально-кулацкая верхушка и ламы. Интервенты в сговоре с Семёновым намерены были отторгнуть Бурят-Монголию от России, присоединить её к Монголии, и оба государства подчинить Японии...

Жамсо Тумунов рисует тот период, когда меч революционного возмездия уже поднялся над головой интервентов и белых банд, когда жарко разгоралось пламя народной партизанской войны. Показывает он и бесславыный конец враждеб-

ных трудовому народу сил, победу революции на земле Бурят-Монголии. «Степь проснулась! Люди степей вышли на золотую дорогу новой жизни». Этими словами заканчивается роман.

Книга богата действующими лицами, и это закономерно, ибо невозможно правдиво раскрыть смысл больших исторических событий, не затрагивая жизни самых различных слоёв общества. Мы видим разных людей, со своими особыми склонностями, характерами, обликом и судьбой: здесь мужественный, честный батрак Дылгер и смелая девушка — его невеста Сысегма; командир партизанского отряда Анатолий Петров и подпольщик Нима Бороев; смиренный, принижённый старик Дамба и бунтовщик Базар; семёновский палач Дугар Тапхаев; крупный хищник, стяжатель — староста Тосото и его сынок — убийца, пьяница, развратник Гомбо, и многие, многие другие.

Действие романа многопланово. Надо сказать, что автор справился и с большим количеством действующих лиц, и со сложным построением сюжета. Тесно переплетая людские судьбы, он доводит их до логического художественного завершения.

В продуманной системе картин и образов писатель раскрывает революционное пробуждение народа, различные ступени духовного мужания, политической сознательности трудовых масс.

Нима Бороев — представитель наиболее сознательной революционной части народа. Его духовный облик сформировался в годы первой империалистической войны, на фронте, когда Нима под влиянием дружбы с русским большевиком Анатолием Петровым вступает в партию. Путь Бороева — через царскую тюрьму к боям на улицах Петрограда в Октябре — типичный путь революционера. Нима — соратник Лазо, опытный подпольщик. Вернувшись по заданию партии на родину, он раскрывает перед своими земляками величие идей Ленина — Сталина, призывает народ к действию. Читинская подпольная организация большевиков выдвигает Ниму комиссаром в партизанский отряд Петрова.

Светлая, честная душа Нимы видна в истории его семейных отношений. Подозревая в измене свою жену Ынжиму (на которую возведена напраслина), Нима находит в себе силы не оскорбить, не уни-

зить женщину. «И человек!» — эта мысль помогает ему осгаться действительно человеком в сложной сцене объяснения с женой.

Правдив героический образ коммуниста Пунсока Базароза. Первый председатель сельсовета в своём улусе, он, когда приходят белые, примыкает к партизанскому отряду Петрова. Взятый в плен семёновцами в неравном бою, Пунсок попадает в читинскую тюрьму. Держится он бесстрашно и на все вопросы врагов отвечает молчанием. На допросе присутствуют атаман Семёнов и офицер американской оккупационной армии Бернгард Гувер.

«— Должно быть, этот кочевник имеет самое наивное представление о том, как мы сильны, — пренебрежительно сказал американец, безбожно коверкая русские слова.

Шея Пунсока побагровела, как железо, только что выхваченное из горна. Гнев закипел в его груди.

— Ваша сила — гнилая сила! — воскликнул он по-русски.—...Большевистская правда, правда народа — вот та сила... которая раздавит вас!».

Показ нерушимой дружбы русского и бурят-монгольского народов, приведшей в наши дни советскую Бурят-Монголию к социалистическому расцвету, — эта тема пронизывает всю книгу.

Удача Жамсо Тумунова — значительный, сложный и жизненный образ батрака Дылгера. Дылгер — достойный сын своей страны: он чист и смел душой, трудолюбив, умён. Но лучшие качества его природы не выявлены. Они тлеют «под пеплом вековых привычек». Дылгер покорно идёт по узкой древней тропе подневольной жизни, мечтая лишь о маленьком личном счастье и, хотя он от всей души сочувствует большевикам, он сторонится активной борьбы. Нима первый пробуждает в Дылгере думы о великом смысле происходящих событий. Однако понять — для Дылгера ещё не означает действовать. Ему кажется, что можно остаться вне двух борющихся лагерей, что есть третий путь: «между этими двумя путями».

Жизнь показывает ему, как глубоко он заблуждался. Отказавшись присоединиться к партизанам, насильно мобилизованный, Дылгер попадает в дружину белобандита Дугара Тапхаева.

Резкими штрихами рисует Жамсо Тумунов омерзительные фигуры «людей без родины»: предавшегося японцам палача и шпиона Дугара Тапхаева; подлого, тупого убийцу Гомбо; жадного и хитрого богача Тосото. Писатель обнажает страшную пустоту их душ, их обречённость в борьбе с народом, стремящимся к новой, светлой жизни.

Шаг за шагом показывает Ж. Тумунов, как прозревает его герой, как он начинает понимать страшную опасность своего заблуждения. Когда Дылгер, убив белого сотника, присоединяется, наконец, к партизанам, совершает героические поступки, — читатель верит автору. Закономерно, что именно Дылгер, представитель проснувшегося народа, своей рукой карает Дугара Тапхаева..

Дылгер говорит, что большевики указали ему и многим его друзьям настоящий путь к счастью. И это не декларация. Это показано подлинно художественными средствами, всей логикой развития событий, поступками, изменением характера героя.

Дылгеру противопоставлен его друг Базар. Насколько покорен укладу старины, медлителен в решениях и осторожен Дылгер, настолько с самого же начала решителен и прям в выборе жизненной дороги Базар, который уходит биться с врагом по первому зову Нимы. В ряде сюжетно острых сцен и положений писатель, сталкивая обоих друзей, оттеняет их индивидуальные особенности.

И, наконец, в образе ещё одного героя — старика Дамбы — писатель показывает представителя трудовых слоёв, наиболее забитых и одурманенных предрассудками прошлого. Тут и привычное преклонение перед богатством, и надежда разбогатеть, «выйти в люди», тут и пассивная покорность перед властью имущими, перед установлениями религии. Староста Тосото обманом и запугиваниями склоняет старика откочевать в Маньчжурию вслед за бегущими семёновцами. Дамба едва не поддаётся уговорам Тосото. Но верность своему народу, любовь к родной земле побеждают. Удирающего от возмездия народа старосту Дамба гневно напутствует: «Нам с тобой не по пути! У нас дороги разные!.. Беги, беги за Хинган! Пусть и тени твоей здесь не будет, и речей твоих не хотим слушать! Пусть следы твои не

поганят табанайского снега. Уходи! Исчезни!».

Каждый из характеров героев книги дан в развитии, он верен и правдив. У людей разные думы, чаяния, дороги. Но всех, кто честен, кто живёт собственным трудом, рано или поздно выводят эти дороги на один широкий путь, начертанный партией Ленина — Сталина.

В напряжённой борьбе народа за советскую власть, в событиях, описываемых автором, читатель чувствует направляющую мудрую волю партии. Она воплощена в сильном, волевом образе командира партизан Анатолия Петрова, который связал свою судьбу с судьбами бурят-монгольского трудового люда; в комиссаре партизанского отряда Федько; в Ниме Бороеве; в показе работы читинской подпольной большевистской организации.

Привлекают своей чистотой и свежестью женские образы романа: сильная духом, решительная Сысегма — прообраз раскрепощённой, свободной бурят-монгольской женщины; мудрая старушка Долгод, мать партизана Пунсока; жена Нимы — верная, любящая Янжима..

Большую живость и динамичность придало бы действию устранение длиннот, которыми страдает повествование. В показе военных событий автору не всегда удаётся передать наиболее характерные моменты. Описания боевых действий, партизанской жизни, распадаясь на отдельные эпизоды, порой не оставляют у читателя такого же яркого, цельного представления, как описания классовых столкновений в улусе, картины быта, изображение психологии.

Следует остановиться на качестве перевода книги. Нам кажется, что переводчикам А. Митрофанову и С. Родову не удалось найти тот общий тон, то органически единое (но не однообразное) звучание, которое обусловливается стилистическим, языковым единством произведения.

В романе Жамсо Тумунова, произведении национально-самобытном, — свой образный мир, своя система поэтического мышления, рождённая реальными историческими и бытовыми условиями жизни Бурят-Монголии. И во многих случаях переводчики сохранили эту национально-самобытную окраску образа, метафоры. Сохранена переводчиками в ряде диалогов своеобразная интона-

ция живого говора, уснащённого пословицами и речениями народной мудрости.

Но наряду с этим целые абзацы написаны вялым, невыразительным языком: «...не было почти ни одного двора, из которого хотя бы один член семьи, якобы ушедший в город на заработки, не находился в партизанском отряде». «Дядя Харитоновна был отцом члена читинской подпольной организации»...

Неприятное впечатление оставляет налёт языкового натурализма, который следовало бы устранить редактору: «нахлестать зады», «спуталась со старостинным ублюдком», «партизанская сука» и т. д.

В романе приведено много песен. Подлинно народные, они отличаются чёткостью параллелизма образов, точностью метафоры, построением в форме диалога. Но в переводе все песенные тексты звучат, как чуть-чуть подправленные подстрочки:

Легки крылья у журавля,
Кружащегося высоко над головой.
Нежны вдохи девушки,
Прижавшейся к груди жениха.

В книге непомерно много слов, перепечённых в текст без перевода с языка подлинника. Споры нет: трудно перевести на русский язык, не давая распространённого толкования, слово «шо» (кубики, применяющиеся ламами для молитвенных гаданий). Нелегко найти краткое тождественное выражение множеству терминов, связанных с особенностями многовекового

скотоводческого обихода бурят-монголов. Здесь, например, из молока делают такие кушанья, как сушёный творог — «айрахан», варёное кислое молоко — «тарак» и т. д. Названия эти всюду сохранены А. Митрофановым и С. Родовым и в этом переводчики, пожалуй, правы. Но зачем писать «хойморная» сторона, вместо «почётная», «дабан» вместо «перевал»?

Вызывает протест засорение текста романа терминами ламаистского религиозного обихода. Нужно ли читателю запоминать, что мальчик-послушник называется «хуварак», часовня — «омбон», шпили храма — «ганжуры»? Прямо-таки загадочно звучат такие фразы, как: «У омбона людей встречали завёрнутые в охримжо меднолицые, круглоголовые габжи и гэбшэ»; или: «Толстые и худые ламы с бритыми головами, в охримжо через плечо, расхаживали взад и вперёд по улицам дацана. Маленькие хуваки проводили телегу грустными взглядами». При этом надо добавить, что «дацан» в одном месте расширяется переводчиками, как «ламаистский храм», в другом — как «буддийская церковь». Значит, ламы ходили взад и вперёд по улицам храма или церкви?..

Богатства русской речи огромны. Не существует таких понятий, какие она не могла бы выразить в зримых, ясных образах. Переводчики должны были серьёзнее поработать над текстом, и тогда многие страницы книги заблестали бы иными, более свежими, чистыми красками.

Н. КАПИЕВА.

★

Бледно и невыразительно

Немало значительных, волнующих произведений создано советскими писателями о Великой Отечественной войне. И всё-таки читатель с живым интересом обращается к каждой новой книге, посвящённой этой неисчерпаемой теме: какие новые стороны войны раскроет писатель? Какой этап осветит он на этот раз?..

Перед нами — первая книга романа Л. Аргутинской и М. Певзе «Крылатые

Л. Аргутинская, М. Певзе. «Крылатые люди». Роман. Книга первая. Редактор Б. Соловьёв. «Советский писатель», М. 1950.

люди». Это — книга о войне. Больше того: это книга об одном из самых важных, решающих этапов в ходе войны — об обороне Москвы. Герои романа — лётчики, сталинские соколы, покрывшие себя «...славой бесстрашных бойцов», как сказал о них в дни войны товарищ Сталин.

Тема, как видим, значительная. И тем нетерпимей ремесленный подход к ней, тем больше требований вправе предъявить читатель к взявшимся за ответственную тему писателям и тем строже эти требования...

Авторы романа рассказывают о том, как

бились с фашистами майор Алексей Ширяев, молодой лётчик Валентин Жаров, лётчики Николаев, Бакрадзе и другие. Завершается роман картиной наступления наших войск, начавших разгром врага под Москвой.

К сожалению, важное, значительное в романе показано банально и бледно. Чувство неудовлетворения вызывает уже самое начало книги.

Последние предвоенные дни... Мирная, весёлая жизнь советских людей... Взрыв первых бомб... Читателю, наверное, хорошо знакомы книги, очерки и статьи, построенные на подобном ошибочном контрасте — ошибочном потому, что уж слишком лёгкой, беззаботной представлена в такого рода произведениях наша жизнь до войны: создавалось впечатление, что война отняла у нас, в основном, карнавалы в парках, загородные прогулки, поездки на курорты и прочие — далеко не главные — блага.

Жертвой этого ложного приёма стали и авторы романа «Крылатые люди». Война застаёт героев романа в момент, когда они прогуливаются по морскому берегу, мечтают о том, как бы получше провести воскресный день. Правда, один из героев, майор Ширяев, должен во время отдыха выполнить важное задание наркомата, — но Ширяев занимается этим попутно, между прочим, и о его работе — о главном в его довоенной жизни — авторы лишь сообщают, информируют. День, проведённый лётчиком на аэродроме, они описывают в общих словах: «Алексей весь был поглощён работой», «все его мысли были сейчас заняты машиной», «он... увлёкся работой», «забыл о себе» и так далее.

Рассказав о первом воздушном бое майора Ширяева, авторы отправляют его в Москву, сообщают (именно сообщают) о том, что он делал в столице и, наконец, перебрасывают своего героя на один из подмосковных аэродромов, на котором в основном и происходит действие первой книги романа.

Отдельные сцены, отдельные эпизоды удались авторам. Это относится к описанию нескольких воздушных боёв, построики ложного аэродрома. Авторы наметили интересное решение характера майора Ширяева, ставшего командиром эскадрильи: они попытались показать его лётчиком ду-

мающим, творчески относящимся к своему делу, то есть лётчиком-новатором. В то же время Ширяев, по замыслу авторов, — чуткий, заботливый воспитатель своих подчинённых.

Но и здесь художественный показ, изображение героя в поступках, эмоциях, действиях — авторы в большинстве случаев подменили сухой информацией.

Основной конфликт, в котором должны раскрыться новаторские черты Ширяева, — это конфликт между ним и командиром полка Зилиным. Зилин думает, что можно обойтись опытом гражданской войны, и восстаёт против «новшеств», вводимых Ширяевым. Но построен конфликт в виде логизированного спора. Иногда в подтверждение своих доводов герои приводят те или иные примеры, но художественно-конкретного проявления ни правота Ширяева, ни явная неправота Зилина в романе не получают. Авторы, например, не показывают, к чему приводит неверная позиция Зилина в вопросе о взаимодействии истребителей; и верные доводы Ширяева, как и неверные — Зилина, повисают в воздухе. «...И на Хасане, и на Халхинголе, и на финской войне широко применялись слётанные пары, и это давало прекрасные результаты. Сама жизнь подсказала нам необходимость этих приёмов», — убеждает командира полка Ширяев. Но наглядного подтверждения слов Ширяева о «прекрасных результатах» и о необходимости, подсказанной жизнью, в романе почти нет; мы не видим, в какой мере Ширяев исходит из жизненной практики, — тем более, что при обрисовке воздушных боёв не проводится ширяевская мысль о важности взаимодействия слётанных пар.

Впечатление нежизненности конфликта между Зилиным и Ширяевым усугубляется ещё и тем, что недостатки Зилина подчеркнуты авторами слишком навязчиво; Зилин показан закоснелым ретроградом; жизнь ничему его не учит (именно потому, что жизнь подменена здесь полемическими выступлениями Ширяева), до самого конца книги он ни в чём не сдаёт своих позиций; и совершенно непонятно, почему же всё-таки столько времени терпят его на посту командира авиаполка.

Затянувшийся конфликт между Ширяевым и Зилиным мешает авторам показать

лётчиков в борьбе с немцами: Ширяеву приходится больше воевать с Зилиным, чем с врагом!

Сам Зилин упрекает Ширяева за то, что тот «слишком много рассуждает и слишком мало вылетает». И хотя герои романа, лётчики, утверждают обратное — читатель вправе не поверить им: в боевых действиях Ширяев показан досадно мало. О бое же, в котором Ширяев особенно отличился, мы узнаём лишь из сообщения комиссара полка Неженцева.

Пунктирно обозначен путь Ширяева от командира эскадрильи до командира полка. Читатель узнаёт, что Ширяев «несмотря на фронтовые трудности, ...наладил регулярную учёбу, добился того, что ведущие и ведомые стали постоянными напарниками, а при сопровождении штурмовиков применяют новые, подсказанные опытом войны методы». Но каким образом Ширяев добился всего этого, авторы опять-таки не показывают.

Слабо показана и воспитательная роль Ширяева; здесь многое упрощено или утрировано... В полк прибывает необстрелянный юнец Валентин Жаров. Тут же, не дав ему опомниться, авторы бросают его в воздушный бой. И ошибка, которую Жаров совершает в своём первом бою (думая, что у него «забарахлил» мотор, он оттягивает самолёт в сторону от звена), кажется естественной: при такой «подготовке» к бою могло бы случиться и худшее. Но лётчики почему-то перестают здороваться с Жаровым, встаёт вопрос об отдаче Жарова под суд... Лишь Ширяев истолковывает проступок Жарова так, как и следует его в данной ситуации истолковывать, и берёт над Жаровым шефство.

К концу романа Жаров, оставаясь всё тем же наивным, восторженным и хвастливым юнцом, становится Героем Советского Союза. Истоки его героизма авторы почти не прослеживают; путь его к подвигу слишком лёгок. А это снижает и заслуги Ширяева как воспитателя; авторы облегчили, упростили роль и задачи Ширяева, не показав воспитательного процесса во всей его сложности.

Другой объект приложения воспитательских усилий Ширяева — боец Некрасов, работающий в столовой аэродрома. Но, увлечшись показом смешных черт Некрасова,

авторы оглушили этот образ. Некрасов предстаёт перед нами, беспомощным, жалким, чудаковатым человеком. Над ним без конца подшучивают, смеются, даже издеваются... Солдаты посылают Некрасова в каптёрку попросить, чтобы ему в банку налили дугику (деталь самолёта); в разговоре с Ширяевым он с водевильной трагичностью относится к ширяевским словам о записи четырёх лётчиков в расход (речь идёт об оставлении им обеда).

К разговору о действительно важных чертах характера Некрасова авторы приступают с опозданием; но и здесь им изменяет чувство меры. В конце концов выясняется, что Некрасов в прошлом певец, человек интеллигентного труда. Этим, дескать, и объясняются все его нелепые черты. Интеллигент — значит чужак! — к такому выводу невольно приходит читатель.

Занявшийся перевоспитанием Некрасова Ширяев призывает его: «Людей надо выпускать в бой с песней!». И первым (и последним) подвигом Некрасова в романе становится спасение засыпанных в блиндаже лётчиков... песней: Некрасов поёт, и лётчики постепенно приходят в себя... В дальнейшем Некрасов попадает в госпиталь, ему ампутирован ногу, а затем окружающим приходится убеждать его в том, что операция не помешает Некрасову петь. Всё это крайне неубедительно.

Как видно из сказанного, речь идёт о плохо написанной книге. Авторам не удалось основные образы романа. Но плохо написано — это значит идейно ослаблено, то есть искажено.

Искажён образ бойца Некрасова, которого авторы оглушают; искажён образ Зилина, в котором авторы многое упростили, применяя одну лишь тёмную краску; искажены и образы Ширяева и Жарова, которых авторы рисуют неполно, схематично.

Упрощены в романе образы второстепенных героев; читатель и здесь встретит то пробел, то излишнюю утрировку. Жена Ширяева, Иринка, и «созращается с пути истинного» и «перековывается» за пределами романа; читатель не верит в реальность существования этого человека. На протяжении почти всего повествования Иринка выглядит отрицательным персонажем: это легкомысленная, пустая женщина, на кото-

рую не в силах оказать благотворное влияние даже Ширяев. Но к концу романа Иринка неожиданно «раскаивается» и уезжает с бригадой артистов на фронт.

Комиссар Неженцев занимается в романе, в основном, резонёрскими рассуждениями; сестра Жарова — Таня почти не показана в своей работе, авторы и здесь опрощаются лишь общими формулировками; для Бакрадзе авторы не придумали ничего свежее грузинского акцента и восточного добродушия; известие о гибели друга Ширяева, Володи Новикова, не вызовет у читателя соответствующих эмоций: о Новикове ему известно лишь то, что он в начале романа требовал с Ширяева магарыч.

Многие описания в романе вызывают недоверие из-за своей поверхностности и легковесности; авторы измышляют детали, выглядящие и наивными, и неточными. В картинах воздушных сражений многое кажется неправдоподобным. Вот одна из них: у Жарова во время воздушного боя загорается самолёт. В кабину врываются дым и пламя. Заметив впереди себя «хейнкель», Жаров пытается подбить его, но оружие отказывает. Тогда Жаров идёт на таран. Плоскостью своего самолёта он рубит хвост «хейнкелю». «Хейнкель» разваливается в воздухе, а у «Жарова отвалилась правая плоскость» (!). Машина начинает с огромной скоростью падать. Жаров решает выбраться с парашютом, но это ему не удаётся. «И вдруг раздался страшный, оглушительный взрыв». Очнувшись, Жаров видит себя падающим, а сверху на него несутся обломки взорвавшегося самолёта. Переждав (!), пока обломки пролетят мимо, Жаров дёргает кольцо парашюта, не пострадавшего при взрыве, и благополучно приземляется.

Упрощённо изображая воздушный бой, искусственно облегчая Жарову борьбу с возникающими в этом бою трудностями, авторы отступают от жизненной правды и

снижают впечатление от подвига советского лётчика.

Чувство неудовлетворения вызывает и стиль романа — стиль, для которого характерны штампованная, маловыразительная фраза, банальные, проникнутые умиленностью описания, отсутствие ярких художественных деталей.

Дешёвой сентиментальщиной веет от некоторых сцен (например, Таня, которую не отпускают на фронт, делится своими горестями с котёнком: «— И ты пищишь, Чиж? И какие же мы с тобой оба неудачливые, — тихо сказала Таня и прижала тёплую мордочку к своей щеке»). С особой щедростью авторы восторгаются и умиляются в последних эпизодах романа — после того, как всё приведено к благополучному концу: Жаров оказывается спасённым, Таня случайно находит брата, перековавшаяся Иринка едет на фронт.

Язык романа насыщен (вернее сказать, разбавлен) фразами и выражениями, заставляющими вспомнить о пожелтевших страницах «Нивы» или о «душеспательных» романах Вербицкой. Чего стоят такие, например, «красивости» (подобных которым немало в романе): «Алексей высунул из окна и глубоко вдыхал пьянящий воздух», «от пьянящего вечернего воздуха на душе было радостно и легко», «тонко и протяжно звенели скрипки, искрилось видно в свете ярких лампочек, и смех становился всё заразительнее и звонче. Алексей смотрел на девушку, ловил горячий блеск её глаз, от которого пьянел больше, чем от вина».

Эти и другие тривиальности далеко не безобидны: подчинение шаблону приводит авторов к опощлению образов (Ширяев, например, зачастую наделяется несвойственной ему книжной сентиментальностью), к снижению значительности сцен и ситуаций.

Роман о лётчиках, к сожалению, не удался.

Ю. КАРАСЕВ.

Сборники латышской поэзии

Известное пожелание Маяковского — «больше поэтов хороших и разных» — можно применить в качестве одного из принципов при составлении антологии поэзии. Этот принцип в известной степени соблюден М. Кемпе — составителем двух сборников переводов латышской советской поэзии, изданных в Ленинграде и Риге и знакомящих читателя с отдельными хорошими произведениями разных авторов.

О радости обновлённой жизни, о братской помощи великого русского народа, о мудрой ленинско-сталинской национальной политике, о сегодняшних днях и светлом коммунистическом завтра рассказывают латышские поэты в стихотворениях, собранных в этих двух книгах.

Сборник, изданный в Ленинграде, открывается стихами Народного поэта республики Яна Судрабална. Лучшие слова, идущие от чистого сердца, посвящает поэт старшему брату — русскому народу, чьё величие во всех «рождает восхищение и любовь» («Русскому народу»). Обращаясь к прошлому своего народа, говоря о легендарном герое Лачплесисе, чьё имя олицетворяет мужественную душу латышского народа (Лачплесис в переводе означает «раздирающий медведя»), поэт восклицает: «Алой советской звездой отмечен теперь щит героя!» («Лачплесис»). Ощущением весны жизни, весны республики пронизано стихотворение Я. Судрабална «Клёны в цвету»:

Цвети, как клён, отчизна молодая!
Пусть ветви мира в радостной судьбе
Навстречу наклоняются тебе.
Прекрасна ты в цветущих клёнах, Латвия!
(Перевод В. Державина)

Жаль, что в сборнике мало новых стихов Я. Судрабална. Большинство из публикуемых здесь уже было напечатано в книге «В братской семье», за которую автор в 1948 году удостоен звания лауреата Сталинской премии.

Талантливый поэт Александр Чак предстаёт перед читателем, как подлинный патриот своей Родины.

«Поэты Советской Латвии». Перевод с латышского. Редактор В. Рождественский. «Советский писатель», Л. 1950.

«Поэты Советской Латвии». Сборник стихов в авторизованных переводах. Редакторы А. Меднис и Вл. Невский. Латгосиздат, Рига, 1950.

К Москве — столице мира устремлены его мечты и думы, она напоминает ему «соками жизни напоённый плод».

Образ русского народа предстаёт в стихах А. Чака, овеянный величавым благородством. Эти свои чувства автор передаёт в ярких эпических образах.

Озарён бессмертной славой,
Страха смерти он не знает.
На штыке его гранёном
Высшей правды свет сверкает.

Вкруг него сомкнулись тесно
Все советские народы.
Старший брат, он делит с ними
Труд и радость, и невзгоды.

(«Русскому народу». Перевод Вл. Невского)

К сожалению, значительно слабее стихи А. Чака на трудовые темы сегодняшнего дня.

И куда быстрее
Сразу потекло
Раскалённой лентой
Жидкое стекло!

И куда быстрее
Мерный ход машин —
Значит, план досрочно
Нынче завершим!..

(«О тех, кто у машин». Перевод Вл. Лифшица)

— декларативно заявляет поэт, не создавая конкретной картины труда и достижений республики. Эти стихи включены в книгу, очевидно, лишь в угоду «производственной теме». В богатом литературном наследстве поэта, безвременно скончавшегося в прошлом году, есть бесспорно лучшие произведения.

Полны суровой сдержанной силы военные стихи Валдиса Лукса «Солдатская кружка». С мягким юмором написаны «Стихи для детей». И всё же поэтический почерк В. Лукса, его творческое лицо, его возможности показаны в сборнике неполно. Жаль, что составители не дали ни одного отрывка из послевоенных поэм В. Лукса, пользующихся большой популярностью в Латвии и уже частично переведённых на русский язык.

Одиннадцать стихотворений Мирдзы Кемпе, пожалуй, лучшее из того, что создала поэтесса. Отточено по форме, с большой внутренней силой написана «Бал-

лада о герильеро», посвящённая борьбе испанского народа, за свободу которого отдал свою жизнь брат поэтессы — боец интернациональной бригады. «Баллада о Раймонде Дьен» рассказывает о французской патриотке, чей пример героической борьбы за мир вдохновил тысячи людей на борьбу.

На землю не ляжет зловещая тень!
В едином порыве народы
Встают по примеру Раймонды Дьен
На битву за мир и свободу.

(Перевод В. Алатырцева)

Освобождение Риги, исторический музей Латвии, лесонасаждения, поездка в Грузию, латышские поэты в детском саду украинского колхоза — таков неполный перечень тем стихов М. Кемпе.

Известное представление даёт сборник о мужественной философской лирике Арвида Григулиса, который доселе был больше известен русскому читателю, как автор пьес и рассказов. Сомнительным кажется только «Сонет о море и жизни», где в старинную форму автор тщетно пытается втиснуть новое большое содержание. Особенно ясно видишь это несоответствие, когда читаешь напечатанное рядом другое стихотворение А. Григулиса — «Поэзия лемехов», в котором автор передаёт новую социалистическую поэзию латышской колхозной деревни:

...Выходят пахари в поле,
Стальным лемехом готовясь
О жизни, о вольной воле
Писать весеннюю повесть.

Поэму великую здесь вы
Создайте пером из металла,
Чтоб жаворонка песня
Созвучья в неё влетала...

Склонился пшеничный колос,
Поют молотилки громко,
И кажется — во весь голос
Звучит Маяковского слово.

(Перевод Л. Мартынова)

Хорошими лирическими стихами представлен в антологии Анатолий Имерман, сочетающий в своём творчестве задушевно-лирическую интонацию с публицистической заострённостью, актуальностью содержания. Стихотворение А. Имермана «Старый моряк» в сущности — небольшая поэма с умело построенным сюжетом. Сюжетность — отличительная черта и других стихов и поэм А. Имермана.

Интересен цикл колхозных миниатюр Юлия Ванана. Хочется посоветовать советским композиторам заинтересоваться тремя стихотворениями поэта — «Цвет черёмухи», «Садовник» и «Любовь». Стихи эти наполнены острым ощущением современности, оптимизмом, подлинно народны по духу. Короткие, точные строки стихов Ю. Ванана нередко афористичны.

Кругозор латвийских поэтов за последние годы заметно расширился, тематика их выходит за пределы республики. Ян Грот пишет о своих друзьях на родине Джамбула («Друзья»), Ян Плаудис поэтически передаёт рассказ старого пастуха-волжанина о заводчиках, некогда хищнически вырубавших леса, и о той великой борьбе, которая началась в нашей стране в связи с осуществлением Сталинского плана покорения природы («Песнь о молодом лесе»).

Латвийские поэты — в рядах борцов за мир. В стихотворении «Разговор через океан» поэт Петер Силс советует «мистеру Сэму» не слишком грозить атомным пугалом, а не то «в руке взорвётся бомба». В «Басне о лягушке» А. Балодис (кстати сказать, явно недостаточно представленный в антологии) сравнивает английское правительство, запретившее первомайскую демонстрацию, с лягушкой, которая, раздувшись, тщится заслонить собою солнце.

Однако, закрыв сборник, испытываешь чувство некоторой неудовлетворённости работой многих латвийских поэтов. Иные из них зачастую философствуют на «мелких местах», изображают жизнь, как туристы или как поверхностные наблюдатели. Показательно в этом отношении стихотворение «Латвийское лето» Эдгара Дамбура, где автор вольно или невольно высказывает своё поэтическое «кредо»:

Скользит среди намышей челнок мой
по тению...
Деревья у воды. Стада бредут звеня.
Сойти бы на берег, остаться, хоть
мгновенье,
Под тенью сонных лип, в горячем
блеске дня!
Побывать у тех людей, что, разломав
ограды,
Слив все поля в одно, живут трудом
родными!

(Перевод Вс. Рандяственского)

Заметим, что действие в двух стихотворениях В. Лукса происходит также «на хо-

ду» — то в вагоне трамвая («Руки»), то в пригородном поезде («В поезде»). Нет, не с тихо скользящего «по течению» челнока и не из окон поезда следует изучать жизнь. Не на «мгновенье» надо сходить «на берег». Место поэта — «в рабочем строю», среди творцов новой жизни.

В работе некоторых переводчиков ощущается бедность словаря. Например, в стихах Я. Судрабкална, переведённых Вс. Рождественским, соседствуют повторы. В стихотворении «Московские липы цветут...» говорится: «И станут роиться латвийские пчёлы, с цветов собирая душистый свой мёд», а на следующей странице, в стихотворении «Друзьям», опять: «Сбирала мёд свой с кровью латвийская пчела». В стихотворении «Утренняя песня» говорится о «голубой тени берёз», а на соседней странице, в стихотворении «Песня» мы снова читаем о «тени берёз» (оба перевода принадлежат Л. Прозоровскому).

Станным кажется обилие имён переводчиков — около сорока на двадцать авторов сборника. При таком количестве переводчиков (а может быть благодаря ему) ни один автор не переведён так, чтобы читатель мог почувствовать манеру письма именно этого поэта, присущие именно ему творческие черты. Двенадцать стихотворений Я. Судрабкална перевели семь русских поэтов, на каждое из восьми помещённых стихотворений А. Чака нашёл отдельный переводчик! И если некоторые переводы и хороши, то по стилю все они разные, а это мешает созданию целостного представления о поэте.

Может быть, составитель сборника М. Кемпе отбирала самые лучшие переводы из известных? Не всегда. Например, перевод стихотворения А. Балодиса «Большевики» был сделан поэтом А. Сурковым раньше и лучше, нежели новый перевод ленинградской поэтессы Е. Полозской. В газетах и журналах печатались на русском языке более удачные переводы стихов В. Лукса, А. Имермана и других поэтов, нежели те переводы, которые мы видим в сборнике.

Встречаются в книге неряшливость, переводческая отсебятина. Так, Л. Прозоровский придумывает какую-то «лебеду-беду», которая может прийти на «молодые гряды», чего у автора — поэта В. Лукса — нет и в помине. Старомодный оборот — «нам при-

дала любовь чудесной власти» — допустил переводчик Вл. Невский в стихотворении А. Имермана «Огни». Переводчик К. Семеновский вводит в стихи Ф. Рокпелниса «стоязычную рать» и «бранную тревогу» — архаизмы, подобных которым нет ни у автора, ни вообще в латышском языке.

В «чудесной власти» редактора антологии Вс. Рождественского было выполоть всю эту переводческую «лебеду-беду» с поэтических «грядок». Строже должен был редактор Вс. Рождественский отнестись к работе переводчика Вс. Рождественского, представленного в сборнике наибольшим количеством переводов (двадцать шесть!), нередко весьма невысокого качества.

Антология, изданная в Риге, в основном дублирующая ленинградское издание, несколько меньше по объёму и в то же время выглядит более полной. В ней помещены новые стихи латышских поэтов, изъятые слабые произведения (в частности, стихотворение Э. Дамбура «Латвийское лето»). Полнее представлен Я. Судрабкаля. Поэт А. Балодис дан в лучших переводах. А. Имерман представлен новыми стихами «Дети в Лиепайском порту» из цикла «Город у моря», на которых стоит остановиться.

Детские воспоминания автора, жившего некогда в Лиелпайе и видевшего замерший в годы кризиса порт, где «мачты стали редкостью», где даже буксир — безработный, где голодные латышские мальчишки выпрашивали корку хлеба у моряков английского крейсера, — умело перемежаются с картинами кипучей сегодняшней жизни одного из портовых городов страны. Здесь теперь «встали мачты в длинный ряд», здесь «железными руками машут краны», а герой стихотворения стал капитаном советского траулера. Весёлые пионеры обступают его с вопросами: «Ну, как улов? Удержите ли знамя?».

Английский лейтенант, некогда гонявший голодных ребят и кормивший в ресторане своего бульдога ветчиной, теперь сам похож «на бульдога, когда, оскалив зубы, в тишине, на карте пролагает путь войне». Выразительна концовка этой небольшой поэмы:

Нет, ваше лордство, тщетны планы эти,
И цар земной — вам не стрелковый тир!
Те, что боялись вашей плётки, дети —
Уже не дети, а борцы за мир. —
Они за всё заставят вас ответить!

Всех ваших броненосных крейсеров
 Во много раз сильней малыш советский,
 Что к солнцу Коммунизма, как цветок,
 С улыбкой тянется ручонкой детской.
 С историей бессильны вы бороться,—
 А он ещё дождётся тех времён.
 Когда торжественный Биг Бена звон
 С кремлёвскими курантами сольётся.

(Перевод **Вл. Невского**)

Недостатком антологии, изданной в Риге, как и недостатком ленинградского издания, является разнобой в работе переводчиков. Не пора ли всерьёз поставить вопрос о том, чтобы поэты-переводчики не только изучали язык, с которого они переводят, но чтобы поэты переводили авторов, наиболее близких им по духу и манере. Лирическая интонация Анатолия Имермана не похожа на близких к разговорной речи стих Валдиса Лукса — почему же обих поэтов переводит один и тот же человек? Богатая языковая палитра Яна Судрабална отличается от энергичных и всё же жен-

ственных стихов Мирдзы Кемпе — в переводе мы это не можем уловить! Лишь в том случае, когда русский поэт-переводчик находит «своё» в чужих стихах, ему удаётся показать читателю хороших, а главное — разных поэтов, которые живут и работают в национальных республиках.

Несколько слов надо сказать о прекрасном оформлении книги, изданной в Риге. Обложка украшена латышским орнаментом, такой же орнамент дан в заставках, в клишированных цветных буквицах. Шрифт расположен на странице приятно для глаз, поля широки.

Следует отметить краткие содержательные биографические справки об авторах печатаемых стихов. Эти справки, помещённые в обеих книгах, дают дополнительные сведения о поэтах и их творчестве, помогают читателю составить представление о современной латышской поэзии.

К. ЛАПИН.

★

Творческий портрет писателя

Монографии о работе советских писателей — необходимый подготовительный акт к созданию фундаментальной истории советской литературы. Создание этой истории вряд ли осуществимо без ряда таких предварительных работ. Перед автором монографии стоит сложная задача — самостоятельно исследовать, обобщить и воспроизвести не только творческий путь писателя, но и литературный процесс, в котором складывалось принципиально новое явление — литература социалистического реализма.

Только после того, как творческие биографии наиболее значительных советских писателей будут разработаны отдельными исследователями, — коллектив авторов, спираясь на эти исследования, сможет создать историю советской литературы. Подобный труд предпринят Институтом мировой литературы. Мы часто критикуем коллектив Института за ту медлительность, с которой пишутся очерки истории советской литературы, но эта медлительность обусловлена именно отсутствием разработки частей целого — отдельных монографий, на которые

могли бы опереться историки литературы в своих обобщениях.

Отсюда — значение этих монографий, которые должны лечь в основу истории советской литературы, отсюда и большая ответственность их авторов и те высокие требования, которые мы предъявляем к подобным работам.

Успехи нашей критики в области создания литературной галереи наших писателей ещё весьма невелики, но с тем большим удовлетворением мы отмечаем каждое удачное произведение этого рода («П. Бажов» Л. Скорино, «А. С. Серафимович» В. Куриленкова).

Перечисленные работы объединяет стремление их авторов раскрыть творческий путь писателя в связи с историко-литературным процессом, в свою очередь обусловленным общественным развитием.

Недавно вышла в свет новая монография — Б. Брайниной о К. Федине. Рассказывая в своей монографии о творческом пути К. Федина, автор книги освещает и ряд историко-литературных проблем, неизбежно возникающих в процессе исследования. Исследовательский характер является несомненным достоинством работы Б. Брайниной, это — не панегирик извест-

Б. Брайнина. «Константин Федин». Редактор **В. Смирнова.** «Советский писатель», М. 1951.

ному писателю, но самостоятельная работа, рисующая не «лик», а лицо писателя. Критик показывает через последовательный, хронологически построенный анализ произведений К. Федина его нелёгкий, но честный и до конца искренний путь от декадентской группировки «Серапионовых братьев» к большевистски-идейному искусству социалистического реализма.

Историко-литературный «фон» портрета К. Федина, сделанный весьма экономно, перестаёт быть «фоном», а становится частью живой ткани критического произведения, живописующего творческий путь писателя как органическую часть литературного движения нашего времени. Благодаря этому, критику удалось показать закономерную неизбежность прихода каждого честного художника нашего времени к социалистическому реализму.

В книге убедительно показана любовь писателя к родине как действенный стимул его движения вперёд.

Критик верно определяет основную проблему творчества писателя — поиски полноценного характера героя эпохи. Б. Брайнина показала, как, борясь с пережитками прошлого в собственном сознании и с влияниями декаданса в литературе, К. Федин одну за другой находил черты образа ведущего героя нашей эпохи.

Б. Брайнина показывает, как художник искал этот образ среди людей искусства и через искусство, как он искал противовеса слабостям «смятенного духом» интеллигента в действенной простоте героя-революционера, как, не в силах показать характер большевика в одном образе, раскрывал его в двух лицах: рефлексирующего Рогова и активного Сергейча, и как, наконец, отказавшись от механического сопоставления противоположностей, постиг диалектику характера большевика в образе Кирилла Извекова.

Одной из интересных мыслей исследователя является определение роли самокритики в развитии характера героя. Анализируя богатый творческий опыт К. Федина, Б. Брайнина отвергает ложную схему, согласно которой характер рафинированного интеллигента, человека искусства, якобы сосредоточивает в себе богатства чувств и сложность интеллекта, а характеру героя-большевика свойственна лишь не знающая оттенков цельность и монолитная простота

действия. Автор монографии вскрывает диалектику богатого и сложного в своей целостности образа большевика Кирилла Извекова — героя, чуждого болезненной рефлексии, но не чуждого внутренней борьбы, разрешающейся в нём при помощи самокритики, борьбы, оканчивающейся победой подлинно партийных черт характера героя.

В соответствии с ролью вопросов искусства в творчестве К. Федина, Б. Брайнина уделяет много места проблеме истинно свободного искусства, понимаемого не как праздная забава «верхних десяти тысяч», а как высокоиндейное искусство социалистического реализма.

Убедительность выводов Б. Брайниной подкрепляется тем, что она анализирует произведения К. Федина в единстве их формы и содержания (хотя особая глава о мастерстве писателя почему-то вынесена в конец книги). Анализ мастерства К. Федина пронизывает всё исследование, являясь его неотъемлемой частью, помогающей глубже раскрыть философию художника, принципы движения его творчества.

Следя за развитием писателя — художника и гражданина — в неразрывной связи с литературным процессом эпохи, критик наглядно показывает, как «...традиция, применённая к новому содержанию, осмысленная новой идеей, новой философией, превращается в новаторство».

Б. Брайнина не стремится доказать, что К. Федин лучше всех других своих современников, что он достиг в своём творчестве того, чего не достиг никто другой. Раскрывая нашу литературу как единый созидательный процесс, она показывает, что достижения К. Федина есть результат общих усилий и устремлений советских писателей, борющихся за искусство социалистического реализма.

Рельефно показана критиком роль А. М. Горького, старшего друга и учителя К. Федина, друга и учителя всех советских литераторов, выразительно подчеркнута сила и значение горьковских традиций, их многообразное проявление в творчестве отдельных советских писателей.

Монография включает в себя много ценного неопубликованного материала из переписки и бесед К. Федина с писателями, из чрезвычайно интересных, проливающих свет на творческое развитие К. Федина кратких его заметок, размышлений по

поводу написанного. Всё это усиливает познавательную ценность книги.

Раскрывая большие и сложные проблемы развития советской литературы через творчество одного из больших и сложных писателей нашего времени, Б. Брайнина создаёт интересное повествование о творческой судьбе художника, читающееся увлекательно, вполне доступное широкому читателю.

Однако для того, чтобы попасть в русло этого повествования, читатель должен преодолеть несколько схематичное начало. Среди недостатков работы читатель отметит и некоторую противоречивость в оценке композиции романа «Города и годы», которую критик на стр. 81-й склонен считать результатом «смятённого» состояния

писателя, а на стр. 84-й пытается вывести её из самого материала романа, как закономерную для него.

Смягчена Б. Брайниной критика пьесы «Испытание чувств». Некритически использованы, хотя и взяты в кавычки, рапювские термины («кожаная куртка» и «выверенный чертёж»).

Но всё это — отдельные недочёты хорошей и нужной в целом книги.

Являясь серьёзным исследованием, написанная точным и ясным языком, включающая в себя новый историко-литературный материал, хорошо изданная книга будет встречена читателем с большим интересом. Она займёт своё прочное место среди тех работ, которые лягут в основу фундаментальной истории советской литературы.

З. КЕДРИНА.

★

Критика, идущая от жизни

Сборник критических статей В. Александрова «Люди и книги» по своему замыслу, по своей идейной направленности и по отбору материала отличается единством и целостностью. Критик обстоятельно и убедительно доказывает, что только в результате органического и глубокого демократизма художника, его внутренней связи с народом, его любви к человеку возникает искусство, художественные достоинства которого неотделимы от его передовой политической направленности. «Тот не художник, — утверждает В. Александров, — для кого народ лишь абстракция — пусть всячески почитаемая, но всё же абстракция. Народ должен воплощаться в конкретных реальных людях, которые художнику человечески дороги, которым художник отдаёт всё лучшее, что у него есть».

На основе анализируемого материала В. Александров ставит серьёзные литературные и эстетические проблемы.

Статью «Спасённое сердце» — о великом поэте русской революционной демократии Н. Некрасове — можно считать программной. В ней В. Александров раскрывает своё понимание места искусства в общественно-политической борьбе, роли художни-

ка в жизни народа, формулирует свои эстетические принципы.

Только тогда, когда художник всем сердцем, всей жизнью, всем творчеством участвует в современной революционной борьбе, его поэзия становится насущной необходимостью в жизни народа, могучим средством в разрешении социальных противоречий и сохраняет себя как искусство. Это положение развивает В. Александров на протяжении всей своей книги. Критик противопоставляет проникнутую страстной заинтересованностью в судьбах народа, полную любви к нему и ненависти к его угнетателям поэзию Некрасова — абстрактной, утратившей связь с национальной жизнью, субъективно-лирической поэзии Фета. «Отказ от служения обществу, — пишет критик, — есть вместе с тем отказ и от искусства; искусство, отстраняющееся от социальных тем, — не настоящее искусство». Анализируя поэзию Некрасова, В. Александров показывает, что подлинная поэтичность его творчества была вызвана глубоко эмоциональным и страстным характером убеждений поэта, искренностью его любви и уважения к «низам». «Единство мыслителя, художника, человека — вот что характеризует Некрасова, для которого политика не «жанр», а неотъемлемая часть его поэзии, внутренне присущее ей качество. Весь опыт истории искусства

В. Александров. «Люди и книги». Сборник статей. Редактор Е. Рамм. «Советский писатель». М. 1950.

прошлого и настоящего подтверждает, что живая связь с жизнью, с народом спасает художника от пороков буржуазной культуры и является силой, оплодотворяющей искусство.

Ряд статей сборника посвящён проблемам социалистического реализма. На анализе романа Горького «Мать» критик раскрывает и конкретизирует основные черты метода социалистического реализма. Он показывает, что замечательный роман Горького — первая книга, «поднявшая знамя партии в художественной литературе», утвердившая «принцип большевистской идейности».

В основе статей В. Александрова о советских писателях лежит понимание огромной роли советской литературы в воспитании коммунистической идейности, высоких моральных и этических качеств. «Художник не только наблюдает и понимает, — пишет В. Александров. — Художник воспитывает. Для него недостаточно создать «художественный образ». Он хочет выращивать новые человеческие образы в самой реальности, в действительной жизни». К книгам, о которых написаны его статьи, В. Александров подошёл с одним критерием: насколько соответствует созданный творческой фантазией художника мир — живой советской действительности, насколько правдивы и жизненны его образы, найденные коллизии и конфликты, чем эти книги помогают воспитанию нового человека.

Наиболее удачной в сборнике является статья «В книге и в жизни», посвящённая роману В. Пановой «Кружилиха». В ней чётко и последовательно раскрывается критический метод В. Александрова, его подход к художественному произведению.

В центре внимания критика — анализ созданных писательницей художественных образов, человеческих характеров. Он стремится раскрыть объективное социальное и конкретное человеческое содержание образа и вынести над ним «приговор». «Кружилиха» привлекла В. Александрова своей правдивостью, богатством жизненного материала, а главным образом тем, что «почти каждый персонаж ставит перед нами серьёзную общественную задачу — не выдуманную, не сочинённую, не вложенную искусственно в этот персонаж, а

найденную писателем в самой жизни, в самом изображаемом человеке».

Анализ образа одного из героев повести В. Пановой — молодой работницы Лиды Ерёмной — показывает, что понимает критик под «общественной задачей». Он находит явное несоответствие между отношением Лиды Ерёмной к своим трудовым обязанностям, её высокими производственными показателями, с одной стороны, и её равнодушием к окружающим людям, душевной чёрствостью, холодной расчётливостью — с другой стороны.

Привлекая дневники, записки, рассказы, очерки передовиков социалистического труда, В. Александров доказывает, что в нашем обществе, основанном на единстве интересов, коллективизме и взаимопомощи, душевные человеческие качества имеют серьёзное значение в общественной деятельности. Вот почему «те черты, которые нам не понравились в Лиде Ерёмной, несут с собой ущерб не только человеку, но и работнику, отрицательно сказываются и в собственно производственной деятельности».

Советские люди — «не только новаторы производства, но и новаторы человеческих отношений», — к этому существенному выводу подводит В. Александров своего читателя.

«Приговор» над Лидой Ерёмной вынесен критиком не с точки зрения абстрактных категорий добра и зла, а с точки зрения интересов социалистического общества.

И в образе Листопада, ответственного руководителя большого предприятия, критик обнаруживает черты равнодушия, высокомерия, мешающие ему стать настоящим руководителем-большевиком. «Другие люди — только объект его заботы, а не товарищи. Его заботливость, — пишет о нём В. Александров, — направлена «сверху вниз»; он не думает о том, что она должна подкрепляться другим, встречным потоком — инициативой, идущей снизу». Противоречия, которые обнаружила В. Панова в жизни и в людях, «снимаются» в реальной жизни самим развитием социалистического общества, но в этом процессе активно участвует художник, который воплощает их в художественные образы, привлекает к ним внимание и тем самым принимает участие в борьбе за преодоление этих противоречий.

И именно потому, что В. Александров видит в советской литературе могучее средство познания и изменения действительности, он внимателен и требователен к эстетической стороне произведения. Он понимает, что для того, чтобы влиять на ум и чувства, на «человеческие души», недостаточно найти актуальную тему, нужно, чтобы она была художественно реализована. «...В жизни перед вами был как бы «сырой жизненный материал», а в книге этот материал уже прошёл через определённое человеческое, писательское отношение к нему, понимание и объяснение... в книге ведь вместе с вами тоже был человек, и не отдалённый, личный ваш спутник,— человек-писатель, чей голос — голос нашего общества... Писатель никогда не должен оставлять читателя одного», — так критик выражает своё понимание художественности в статье о другой повести В. Пановой — «Спутники». Это значит, что не может быть художественным то произведение, в котором действительность отражена натуралистически, в её случайных проявлениях, объективистски, без того высокого общественного сознания, которым должен обладать подлинный мастер искусства. В. Панова — настоящий художник-реалист, глубоко проникающий в действительность, не терпящий штампа и дурной литературы. И именно потому В. Александров критикует её за отступления от метода социалистического реализма, от собственной творческой манеры, отступления, снижающие действенность её книги. Критик отмечает, что ряд эпизодов и конфликтов (отношения Данилова с женой, встреча с Файной в поезде) выпадают из общей направленности повествования: в них чрезмерная сдержанность автора оставляет читателя наедине с «непонятым» и «неразумным». И хотя таких ситуаций у В. Пановой не много, критик считает необходимым на них остановиться. Это вызвано не мелкой придирчивостью педанта и любителя формального изыска. Критик понимает, какую опасность представляет для развития советской литературы малейшее отступление от метода социалистического реализма в сторону художественного объективизма, пассивного следования автором за изображаемой жизненной стихией.

Критика В. Александровым элементов объективизма в творчестве В. Пановой — не частное замечание в адрес одного только писателя, она имеет принципиальное значение.

В статье о романах А. Новикова-Прибоя «Цусима» и «Капитан первого ранга» раскрываются замечательные качества писателя: способность нарисовать объективно верную и целостную картину жизни трудящихся в царской России, глубоко проникнуть в мир интересов и переживаний простых людей, умение предвидеть движение истории. Эти качества определяются демократизмом писателя, его неразрывными связями со своим народом, с изображаемыми героями, тем, как автор владеет методом социалистического реализма.

И всё же статья о творчестве А. Новикова-Прибоя, несмотря на правильность постановки вопроса об особенностях реализма писателя, об общественном содержании его творчества, несмотря на ряд справедливых замечаний о природе художественного дарования писателя, — производит впечатление незаконченной работы. Объясняется это недостатком, который свойствен и некоторым другим статьям сборника. В. Александров исследует и рассматривает сплошь и рядом только отдельные образы и ситуации, созданные писателем. Несмотря на правильность и важность многих выводов и положений В. Александрова, при таком методе страдает идейная и художественная целостность анализируемых произведений.

Бесспорно прав В. Александров, считающий одной из задач и обязанностей литературной критики сопоставление художественного произведения с реальной действительностью, выявление его связей с жизнью. Такой принципиальный и научный подход к искусству требует от критика глубокого изучения и жизни, и самого произведения. И в статье о романе «Кружилиха» критик серьёзно рассмотрел тот жизненный объект, который воспроизведён в книге, — такая публицистическая критика идейно обогащает читателя. Но в тех случаях, когда анализ общественных явлений подменяется комментарием, популярным разъяснением смысла затронутых в произведении проблем, как это имеет место в статье о пьесе К. Симонова «Русский вопрос», критика постигает неудача. Статья

В. Александрова «Американское счастье», написанной в форме объяснительной записки, нехватает убедительности и глубины.

Недостаточно внимания уделяет В. Александров художественным особенностям рассматриваемых произведений, своеобразию творческой манеры и стилевым особенностям писателя.

И всё же книга В. Александрова — достижение советской критики. Это одна из тех работ, которые знаменуют собой начало перехода от заявлений о необходимости следовать традициям революционных демократов, о необходимости боевой советской публицистической критики — к практическому их воплощению.

С. РОЗАНОВА.



Непокорённая Греция

Скоро четыре года, как началась пре- словутая американская «помощь» Греции. В напыщенной речи, склоняя на разные лады слова «свобода» и «справедливость», Трумэн заявил, что в Греции должно быть в полной мере осуществлено «правосудие». И маленькая страна, героически сражавшаяся с итальянскими и немецкими фашистами, была залита кровью. Лучшие люди Греции до сегодняшнего дня томятся в лагерях смерти на островах Эгейского моря. Тайно, боясь мирового общественного мнения, расстреливают греческие монархо-фашисты патриотов. Зато хозяева стесняются меньше — Уолл-стриту нужна покорённая, согнувшая выю страна, — стратегический плацдарм на юге Европы, — и «Голос Америки» оповещает мир о новой «победе» американской «демократии»: «Сегодня в Афинах казнено восемь коммунистов за преступления, совершённые ими в период немецкой оккупации».

Что же это за «преступления»?

В сборнике документов, писем и стихов казнённых греческих демократов приводится несколько кратких биографий осуждённых на смерть фашистскими трибуналами: студент Жан Бурниас приговорён к смерти за казнь полицейского Суриса, который собственными руками убил семь патриотов на городской площади Каламата; двадцатичетырёхлетний железнодорож-

ник Василис Хаджиянис приговорён к смертной казни за убийство предателя, сотрудничавшего с фашистами...

Так избавляются греческие монархо-фашисты от тех, кто может помешать им торговать страной. Так на щедро ассигнованные Соединёнными Штатами деньги устанавливается в Греции «свобода по-американски». Ведь по заявлению Гриссулда, бывшего главой американской миссии «по оказанию помощи Греции», — «массовые казни афинских заложников нисколько не противоречат американским понятиям о демократии».

И всё-таки, несмотря на пытки и казни, воля греческих демократов не сломлена.

«Кровью сердца» — книга о трагических днях Греции, о последних минутах жизни смелых и чистых людей, книга о горе народа. И тем не менее она исполнена глубокого оптимизма, пронизана верой в то, что народ сильнее палачей. Мы помним письма немецких антифашистов, последние слова французов — борцов Сопротивления, строчки, тайно переданные миру из страшных застенков испанского фашизма. Есть единая сила, единый жизнеутверждающий порыв в этих ясных и твёрдых, простых и возвышенных словах перед казнью, в словах людей, которые борются за прекрасное будущее человечества.

Документы, опубликованные в сборнике, написаны, действительно, кровью сердца. Их нельзя читать без глубокого волнения, без чувства восхищения героями греческого народа и ненависти к его палачам.

Маленькому многострадальному народу веками пришлось бороться против иноземных захватчиков, и эта борьба закалила его. В греческом народе живут традиции сопротивления захватчику до по-

«Кровью сердца». Документы, письма и стихи казнённых греческих антифашистов. Перевод с французского Н. Смирновой. Стихи в переводе Ф. Кельина. Редактор Б. Шуплецов. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

Мельпо Аксиоти. «В двадцатом веке». Роман. Перевод с французского М. Мошненко. Редактор Н. Ветошкина. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

следней капли крови, такого противоборства, когда сама смерть превращается в победу над врагом.

Как героический эпос, звучат простые слова о подготовке к казни в Эгинской тюрьме, взятые из подпольной тюремной газеты «Свободная мысль».

Перед тем как огласить смертный приговор тридцати семи патриотам, власти объявили остров Эгину на осадном положении, — два эсминца высадили шестьсот солдат и жандармов, которые должны были исполнить роль палачей.

Тюрьма замерла в страшном горе. Но никто не дрогнул. Ещё одна битва, и бойцы выйдут из неё победителями. «Вся наша жизнь — песня...» — раздаётся во всех камерах. Заключённые танцуют «залонго» — последний героический танец, в котором мужество и стойкость, дерзкий вызов палачам и прощание с друзьями, любовь к Родине и гордость непокорённого народа, — так танцевали в прошлом веке на скале Залонго гречанки, окружённые турецкими янычарами, перед тем, как броситься в море: лучше смерть, чем неволя.

Уходящие на смерть прощаются с товарищами, завещая им своё дело. «Пусть воет сирена в порту Эгины. Как прекрасна жизнь, как мы её любим! Но эта любовь никогда не породит трусости», — записывает один из заключённых в своём дневнике.

Так греческие патриоты, борцы за свободу отвечают американскому хищнику.

О том, как выковывались кадры греческого Сопротивления, как плачивался и мужал в борьбе народ Греции, рассказывает в своём романе «В двадцатом веке» греческая писательница — коммунистка Мельпо Аксиоти.

Она сама активно участвовала в борьбе за свободную демократическую Грецию — сначала против диктатуры Метаксаса, потом против иностранных интервентов. На основе личного опыта писательница рассказала о битве, которую много лет ведёт её народ.

В 1941 году в Грецию вступили гитлеровские полчища. Флаг с чёрной свастикой повис на Акрополе. М. Аксиоти была среди тех, кто звал народ продолжать сопротивление. Она стала одним из инициаторов и организаторов подпольной

прессы. В затемнённых Афинах, прислушиваясь к размеренному стуку сапог немецких патрульных, Мельпо Аксиоти ловила по радио известия с фронта и трижды в неделю печатала на машинке маленький бюллетень — «Радионовости». Движение сопротивления греческого народа оккупантам расширялось и крепло. Бюллетень стал печататься на стеклографе, потом типографским способом. Два раза в месяц выходил этот первый печатный орган борющейся Греции — «Советские новости», и никакие репрессии не могли помешать его выпуску. Победы советских войск вдохновляли греческих патриотов, поддерживали в них бодрость, веру в победу.

Мельпо Аксиоти рассказывает о греческих горцах-крестьянах. В дни войны они самоотверженно помогали сражавшимся с оккупантами партизанам. Сами полуголодные, они отдавали бойцам последнюю горсть кукурузы. Когда в партизанских отрядах падали чахлые крестьянские лошади, женщины впрягались в пушки и тащили их по крутым горным дорогам.

Мельпо Аксиоти рассказывает о партизанах. Раздетые, босые, с отороженными ногами, добывая себе оружие у противника, они сумели отбросить прекрасно вооружённые итальянские войска.

Мельпо Аксиоти рассказывает о коммунистах. В первый день войны они явились на мобилизационные участки, чтобы получить оружие и бороться с захватчиками, но были арестованы и на долгие годы брошены в тюрьмы теми, кто предал Грецию; однако и здесь, в лагерях, в ссылке, до последнего дыхания продолжали коммунисты борьбу против фашизма.

Героиня романа Поликсена, дочь музыканта, состоятельного человека, далёкого от политической борьбы, сначала плохо разбирается в происходящем. Она живёт в замкнутом мире, в родительском доме «между церковью и аптекой». Впервые она слышит о фашизме от Эмиля, сына беженки, профессионального революционера. Поликсена любит Эмиля, верит ему, его слова заставляют девушку пристально взглянуть в окружающую её действительность. Она видит царящую несправедливость, видит страдания народа, ощущает своё единство с ним. Поликсена включается в антифашистское движение, становится членом нелегальной организации.

Ей поручено помогать родным арестованным, сосланным, замученным в застенках Метаксаса. Случайно в одном из барачков встречается Поликсена с Саломеей, матерью Эмиля, о судьбе которого она ничего не знает уже несколько лет. От Саломеи Поликсена узнаёт, что Эмиль арестован и сослан на острова. Одинокая, больная старуха не жалуется. Она живёт мыслью о сыне, его борьбе, она гордится Эмилем и его товарищами: «Даже понинутые всеми, даже приговорённые к смерти, они продолжают бороться. Они строят лучшее будущее, чтобы завещать его нашим детям».

Саломея рассказывает, что получила письмо от сына. «Я ему ответила, — говорит старуха. — ...Что касается меня, не беспокойся, думай лучше, как тебе выбраться оттуда. Но не возвращайся изменником, для таких здесь закрыты двери».

Читая эти страницы, одни из наиболее сильных в романе, невольно вспоминаешь другую мать — незабываемый образ горьковской Ниловны, благословляющей сына и его друзей на борьбу с царизмом. Другое время, другая страна — но та же сила, то же мужество женщины из народа, отдающей самое дорогое ради торжества справедливости. «Ты взяла на себя большую ответственность, — говорит Саломея Поликсене. — Когда женщина выбирает себе в спутники революционера, она уже не только женщина. Это товарищ... Ты должна всю себя посвятить общему делу».

Поликсена и её товарищи выпускают боевые листовки, зовущие на борьбу. Героиню арестовывают греческие фашисты. У неё на груди они находят только что опечатанные воззвания. «Кто помогал тебе? Говори!» Но Поликсена молчит. Она молчит в полицейском участке, где её избивают, молчит, когда фашисты ломают ей руку, молчит в лагере во время бесчисленных зверских допросов. «Было бы ложью говорить, когда слишком много страдаешь, что устаёшь от жизни. Цена, которую за неё платишь, так велика! И начинаешь любить эту жизнь ещё больше!» — думает она. Эта любовь к жизни пронизывает роман Мельпо Аксиоти, рассказывающей о тяжёлых днях греческого народа.

Льётся кровь лучших сынов страны. горят дома, подожжённые оккупантами,

скитаются по стране голодные и бездомные сироты. Но народ продолжает борьбу. В ночь перед казнью в ушах Поликсены звучат слова Эмиля: «Перенесись через горы. Перепрыгни через границы!.. Там, на Востоке! Это новая Россия!.. Мы не одиноки. И все вместе мы пойдём вперёд. Если будет нужно — на смерть».

Осенью 1944 года, опираясь на победоносное движение Советской Армии в Юго-Восточной Европе, Греческая Народно-Освободительная Армия — ЭЛАС — начала широкое наступление против немецко-фашистских захватчиков и изгнала их из Греции.

Но народу не удалось организовать в стране жизнь на демократических началах. Под видом освободителей пришли новые оккупанты — англичане и американцы. Их самолёты, артиллерия и танки сравнивали с землёй рабочие кварталы греческой столицы. «В течение одних суток на Афины было сброшено две тысячи бомб», — похвастался в своём коммюнике генерал Скоби, главнокомандующий силами союзников в Греции.

И снова греческие патриоты достали спрятанное оружие...

Борьба продолжается. Погибла Поликсена, но партизаны в горах Эмиль, бежавший из лагеря. Берётся за оружие старый музыкант, отец Поликсены, понявший, что честный человек не может оставаться пассивным, когда терзают его родину.

Можно убить человека, но нельзя убить жизнь, — говорит Мельпо Аксиоти. А для неё, как и для её народа — жить, значит — бороться.

Композиционно роман строится на воспоминаниях Поликсены в ночь перед казнью. Картины пережитого вспыхивают в её сознании, как диапозитивы в свете волшебного фонаря, чтобы сейчас же погаснуть и смениться новым кадром. Стремясь показать как можно шире жизнь своей страны за длительный и богатый событиями период, писательница отказывается от углублённой психологической характеристики героев. В коротком романе множество эпизодических лиц, образы которых подчас лишены объёмности. К сожалению, даже центральные фигуры романа — Эмиль, отец Поликсены — намечены лишь пунктиром. Политический рост Поликсены, превращение барышни из бо-

гатовой семьи в отважного борца-антифашиста показаны недостаточно убедительно.

Тем не менее роман Мельпо Аксиоти привлекает внимание, как правдивая картина мужественной и самоотверженной борьбы греческого народа. Он проникнут тем же духом непокорности и свободолюбия, что и письма греческих патриотов, той же решимостью бороться до победы.

Мельпо Аксиоти была вынуждена эмигрировать во Францию, откуда французское правительство, столь же покорное своим американским хозяевам, как и греческое, в сентябре прошлого года высладо

её. Но перо писательницы попрежнему служит делу её народа.

Она бичует американских захватчиков, заливших страну кровью, она слязлит патриотов, продолжающих и в фашистских застенках бороться за счастье народа.

Непокорённая Греция живёт в сердцах крестьян в нищих горных деревушках, в сердцах матросов Пирея и афинских рабочих, непокорённая Греция — в тюрьмах и лагерях смерти, в сердцах тех, кто идёт на расстрел, повторяя: «Победа будет за нами!».

Л. ЗОНИНА.

★

Борьба за мир. Международные отношения. История

Правые лейбористы — прислужники капитала

В своей книге «Положение рабочего класса в Англии», написанной более ста лет назад, Ф. Энгельс с потрясающей силой нарисовал картину горькой судьбины, страданий и постоянных лишений в жизни тех, кто своим изнурительным трудом создавал богатства страны.

Книга Энгельса беспощадно обличала английских капиталистов и финансистов в зверской эксплуатации рабочего класса, обречённого на нищенское существование.

Благоденствует ли шахтёр и металлист, текстильщик и железнодорожник Англии сейчас, столетие спустя, когда у власти находятся лейбористы, лицемерные лидеры которых нагло рекламируют себя побсрниками прав рабочих?

Из-за предательства правых лейбористов жизненный уровень трудящихся Англии понижается день ото дня. Всё изощрённее становится эксплуатация рабочих, ибо правые лейбористы — эти прожжённые демагоги, обладают куда более утончёнными средствами обмана и надувательства, нежели их политические «противники» — консерваторы.

Обо всём этом рассказывает книга «Правые лейбористы на службе английского и американского империализма».

«Правые лейбористы на службе английского и американского империализма». Редакционная коллегия Института экономики Академии наук СССР: акад. Л. Н. Иванов. О. В. Куусинен и В. П. Глушков. Госплан-издат, М. 1950.

Правые лейбористы попирают элементарные жизненные права и демократические свободы народных масс. Перекладывая на плечи трудящихся бремя непрерывно увеличивающихся военных расходов, они толкают их в пропасть беспросветной нищеты. Этому вопросу посвящена помещённая в книге статья Д. Зориной «Наступление правых лейбористов на жизненный уровень и права английских рабочих».

Лейбористские министры, услужливо выполняя социальный заказ английских и американских империалистов, из кожи лезут, чтобы уверить рабочих Англии, что снижение их жизненного уровня необходимо во имя... сохранения независимости страны. При этом они расшаркиваются перед американскими империалистами, с готовностью обещая выполнить любое требование своих хозяев.

Развёрнутое наступление на жизненный уровень рабочих правительство Эттли ведёт по многим направлениям: снижение заработной платы, увеличение интенсивности труда, увеличение безработицы. Устанвив фальсифицированный индекс стоимости жизни, капиталисты при содействии лейбористского правительства добились того, что повышение ставок зарплаты намного отставало и отстаёт от роста дороговизны.

В статье Д. Зориной приводятся несколько любопытных данных, заимствованных из журнала «London and Cambridge Economic». Самый скудный прожиточный минимум рабочего и его семьи составлял весной

1949 года 48 шиллингов и 8 пенсов в неделю, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 1936 годом, в то время как ставки заработной платы возросли за это время всего на 73 процента.

Растущая в Англии инфляция ещё больше ухудшает положение трудящихся. При этом лейбористы утверждают живыми устами своих «теоретиков», что рост заработной платы является-де первоисточником инфляции.

Но от подобных утверждений не останется и следа, если вспомнить хотя бы те данные, которые привёл Гарри Поллит на XX съезде английской компартии. Рост суммы цен на потребительские товары только за 1947 год составил 300 миллионов фунтов стерлингов, а фонд заработной платы увеличился всего на 78 миллионов. Ещё больше обогатились капиталисты в последние годы. Криппс вынужден был признать в 1949 году, что «одной из причин, почему цены так высоки, является то, что прибыли за последние годы были непомерно велики».

Ещё в 1887 году конгресс британских труд-юнионов принял резолюцию о равной оплате труда женщин и мужчин. Однако лейбористское правительство всячески препятствует осуществлению этого принципа.

Женщины получают от половины до двух третей заработной платы мужчин. Ещё меньше получает за свой труд молодёжь.

Всё туже затягивают лейбористские министры петлю на шее рабочего класса путём увеличения налогового обложения.

За последние годы в Англии втрое снижены налоги на доходы капиталистов и втрое повышены налоги на зарплату рабочих. Из года в год увеличиваются косвенные налоги. Только один налог на табак превысил сумму всех косвенных налогов, взимавшихся до войны.

Д. Зорина знакомит читателя со следующей цитатой из буржуазной газеты «Нью кроникл» от 31 января 1950 года:

«Во-первых, многие, в особенности люди, обременённые большой семьёй и получающие небольшую заработную плату, не могут себе позволить роскоши приобретения всего рациона полагающихся им продуктов. Во-вторых, качество продуктов, в особенности жиров, низкое». По свидетельству этой газеты, 20 процентов населения не забирает причитающегося им количества

маргарина, 30 процентов не покупает яиц, 25 процентов отказывается от масла и т. д.

Резко снизилось потребление промтоваров: на покупку необходимых предметов одежды у рабочих нет денег. В конце 1948 года нормирование промышленных товаров по требованию капиталистов, торгующих готовым платьем, было отменено, однако нераспроданные запасы товаров увеличиваются.

Только за первые сорок дней нынешнего года в Англии объявлено повышение цен по меньшей мере на сорок различных видов продуктов и товаров, в том числе на молочные продукты, крупу, жиры, бельё, мебель. За январь цены на продукты и промтовары поднялись в среднем на 14 процентов. Вместе с тем вновь снижены нормы выдачи продуктов по карточкам. Сейчас англичане получают в неделю всего 100 граммов мяса. Премьер-министр Англии ещё в прошлом году заявил, что в связи с ростом расходов на вооружение в стране будут «более высокие цены, меньше одежды, меньше домов».

Одним из звеньев непрерывной цепи предательств правами лейбористами интересов рабочего класса является рост безработицы. «Помощь» по «плану Маршалла», нанёсшая смертельный удар ряду отраслей промышленности, непрерывно увеличивает армию безработных.

Наглым обманом оказались клятвенные заверения лейбористских главарей об улучшении социального страхования, народного образования и жилищного строительства.

Лейбористские министры запланировали на многие годы вперёд новые лишения для рабочих. В опубликованных в 1948—1949 гг. «Белых книгах об экономических перспективах» прямо указывается, что понижение жизненного уровня будет продолжаться и в 1952 году.

Предательская политика лейбористского правительства вызывает всё большее недовольство трудящихся Англии. Докеры, шахтёры и рабочие других отраслей народного хозяйства усиливают стачечную борьбу. В промышленности Англии происходит сейчас больше конфликтов, чем когда-либо со времени всеобщей забастовки, 25-летие которой исполняется в нынешнем году. Симптоматичным является тот факт, что массовые стачки начались и на национализиро-

ванных предприятиях, где положение рабочих ухудшилось и стало ещё более бесправным, чем до национализации.

На ряде конкретных примеров М. Смит — автор статьи «Буржуазная лейбористская национализация и «планирование» — обман рабочего класса» — разоблачает буржуазный, государственно-монополистический характер национализации, проводимой лейбористами.

З. Атлас в статье «Лейбористская финансовая политика на службе монополий», используя большой фактический материал, показывает, что основные принципы финансовой политики лейбористов те же, что и принципы консерваторов.

Следуя империалистическому, антисоветскому курсу, правительство Эттли настойчиво увеличивает в английском бюджете расходы на вооружение. Даже по официальным, явно заниженным данным, они составили за два бюджетных года свыше полутора миллиардов фунтов стерлингов. В нынешнем бюджетном году прямые военные расходы Англии возросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Складывавшаяся многими десятилетиями колониальная система британского империализма была расшатана первой мировой войной и победой Великой Октябрьской социалистической революции. После второй мировой войны колониальная система Великобритании переживает острый, всё более углубляющийся кризис.

В колониальных и зависимых странах усиливается борьба за освобождение. Подъём национально-освободительного движения народов колоний угрожает самому существованию Британской империи. И правые лейбористские лидеры, больше всего пекущиеся о сверхприбылях английских монополий, показали себя кровавыми палачами колониальных и зависимых народов.

В. Васильева — автор статьи «Империалистическая колониальная политика лейборизма» — показывает подлинное лицо душителей национально-освободительного движения народов колониальных и зависимых стран, пособников французских и голландских империалистов, которые ведут колониальную войну против вьетнамского и индонезийского народов, поднявших знамя вооружённой борьбы за своё освобождение.

В статье «Правые лейбористы — оплот лейборизма в доминионах Англии» А. Ми-

лейковский вскрывает лакейскую роль правых лейбористов в доминионах Англии, облегчающих Уолл-стриту его захватническую политику.

Об империалистической политике лейбористских лидеров ясное представление даёт материал, собранный в статье Л. Дубинского «Правые лейбористы — защитники загнивающего английского империализма».

Разоблачению агрессивного антисоветского внешнеполитического курса лейбористского правительства посвящена статья И. Лемина — «Лейбористская политика империалистической экспансии и подготовки новой мировой войны».

На ряде исторических фактов И. Лемин показывает, что правые лейбористы неизменно проводили и поддерживали внешнеполитическую программу британского империализма. Именно в правых лейбористах Черчилль и Ллойд Джордж нашли ревностных пособников антисоветской интервенции 1918—1920 гг. Именно лейбористская верхушка активно поддерживала Чемберлена в проведении мюнхенской политики «умиротворения» гитлеровской Германии, рассчитанной на изоляцию Советского Союза и на подготовку фашистской агрессии против нашей страны.

Когда началась Великая Отечественная война, правые лейбористы поддерживали черчиллевскую политику саботажа второго фронта, политику, направленную к тому, чтобы всемерно истощить и обескровить СССР, чтобы не допустить подъёма демократических сил в Европе и национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах.

В 1945 году правые лейбористские лидеры уже в третий раз пришли к власти (первое лейбористское правительство было создано в 1924 году, второе — в 1929 году). И каждый раз они придерживались в области внешней политики буржуазного принципа «преемственности». Следуя этому принципу, лейбористские министры продолжают антисоветскую политику Черчилля. Сколачивая совместно с американскими империалистами военные блоки, открыто подготавливая третью мировую войну, правые лейбористские лидеры находятся в первых рядах врагов Советского Союза и стран народной демократии.

Отъявленные предатели международного рабочего движения, лидеры лейбористов препятствуют укреплению политического единства рабочего класса. Они направляют свои усилия на срыв сотрудничества между социалистами и коммунистами во Франции, Италии, Германии, на превращение социалистических партий этих стран в послушных исполнителей воли английского и американского империализма в Европе. Об этом обстоятельно говорится в статье П. Поляк «Провал раскольнической политики лейбористских лидеров в международном рабочем движении».

Лидеры лейбористов всемерно стремятся заставить европейские страны отказаться от своего национального суверенитета в пользу англо-американского империализма.

Однако попытки лейбористских лидеров ослабить влияние коммунизма в странах Западной Европы потерпели провал. Разоблачена раскольническая деятельность правых лейбористов в странах народной демократии. Тяжёлый удар нанесло предательской тактике лейбористов создание Всемирной федерации профсоюзов.

Лейборизм — идейная опора империализма. Рассмотрению этого вопроса посвящена статья И. Дворкина, открывающая рецензируемый сборник.

Злейшие враги марксизма — лидеры лейбористов всячески изворачиваются, защищая и пропагандируя разбойничью идеологию американского и английского империализма. Проповедь классового сотрудничества, отрицание противоположности между интересами пролетариата и буржуазии, отрицание классовой борьбы — вот на чём основана «идеология» правых лейбористов.

Все статьи, входящие в сборник «Правые лейбористы на службе английского и американского империализма», вскрывают и разоблачают архиреакционную, предательскую политику правых лейбористов Англии, наглядно показывают всю ту подлую, преступную, антинародную деятельность, которую в интересах англо-американских империалистов ведут правые социалисты и реакционные профсоюзные лидеры капиталистических стран.

Вместе с тем сборник даёт представление (правда, не в достаточной степени) о тех силах, которые противодействуют в Англии

гнусным делам правых лейбористов и их хозяев — англо-американских империалистов.

Как ни стараются английская буржуазия и её прислужники — правые лейбористы — свести на нет рабочее движение в Англии, — рабочий класс этой страны всё более втягивается в общее русло демократического, антиимпериалистического движения во всём мире. Прогрессивные элементы в рабочем движении Англии представляют собой значительную и всё растущую силу.

В Англии, как и в других капиталистических странах, растёт сопротивление рабочих масс пронкам поджигателей войны, ширятся ряды борцов за мир.

Широкие массы рабочих Англии со всё большим вниманием прислушиваются к голосу своей коммунистической партии. В недавно опубликованной программе английская компартия указывает Британии путь к новой жизни — путь к социализму.

Авторы сборника «Правые лейбористы на службе английского и американского империализма» проделали большой труд, готовя к выпуску в свет эту нужную, полезную книгу. Но нужно сказать, что при составлении сборника не были достаточно отчётливо определены темы и тот круг вопросов, который следовало в них осветить. В результате некоторые статьи повторяют друг друга, авторы их часто оперируют одними и теми же данными, фактами, цифрами. Это относится, например, к статьям И. Дворкина, Л. Дубинского, М. Смит, З. Атлас, Д. Зориной. В результате сборник получился несколько растянутым, в нём не чувствуется необходимой стройности. Следовало бы дать в сборнике самостоятельную работу о прогрессивных силах Англии, противостоящих империалистам и их пособникам — правым лейбористам.

Встречаются в книге отдельные неточности.

В целом сборник явится хорошим подспорьем в работе агитаторов, пропагандистов, лекторов, преподавателей. Он принесёт немалую пользу и широкому кругу читателей, интересующихся международными проблемами.

А. ПАЛЛАДИН.

Национальное движение в Индии

В течение более чем полуторавекового периода Индия была важнейшей колонией Англии. Вплоть до второй мировой войны она являлась главным рынком сбыта английских товаров, сферой вывоза английского капитала и служила неиссякаемым источником экономического обогащения метрополии. Население Индии составляло три четверти населения Британской империи и более половины населения всего колониального мира. Крупную роль Индия играла в мировом хозяйстве по производству джута, риса, тростникового сахара, чая. Она была основным поставщиком хлопка и марганца. Англичане называли Индию «жемчужиной британской короны».

В результате второй мировой войны резко обострился кризис колониальной системы. Стремясь сохранить своё господство, английские правящие круги расчленили Индию на два доминиона — Индийский Союз и Пакистан. В первом власть была отдана Национальному конгрессу, во втором — Мусульманской лиге. На деле же Индия попрежнему остаётся аграрно-сырьевым придатком Англии, хотя ряд экономических позиций и в Индийском Союзе, и в Пакистане захватили США.

Социально-политические сдвиги, происходящие сейчас в Индии, приобретают особое значение в связи с наступлением лагеря империализма, возглавляемого американскими поджигателями войны, на страны юго-восточной Азии.

В противовес этому наступлению в Индии нарастает национально-освободительное движение. Данному вопросу в основном и посвящён рецензируемый сборник, выход которого в свет следует признать весьма своевременным.

Сборник открывает статья А. М. Дьякова «Национальное движение на юге Индии».

А. М. Дьяков анализирует политические события, происходящие в южной части страны, по отдельным районам, поскольку они различаются не только по своему географическому положению, но и по национальности, а также языку их жителей.

«Учёные записки Института востоковедения». Том 1. Ответственный редактор А. М. Дьяков. Издательство Академии наук СССР, М.—Л. 1950.

Национально-освободительное движение развивается здесь крайне неравномерно. Большой размах оно приняло в районах, населённых народами маратхов, малаяли и в особенности андхра, значительно слабее оно в Карнатаке и Тамилнаде.

В провинции Андхра борьба народных масс против гнёта иностранного империализма и реакционного блока местной крупной буржуазии и помещиков осуществляется под руководством рабочего класса и коммунистической партии. Влияние компартии очень сильно в профсоюзах, женских и молодёжных союзах, а также в наиболее многочисленной организации — Андхра Махасабха, в которую входят крестьянство, городская беднота и демократическая интеллигенция.

В 1947—48 гг. в районе Тельнгиача (княжество Хайдарабад) впервые в истории Индии была создана народно-демократическая власть, которую правитель княжества (низам) и помещики не могли подавить собственными силами. Только осенью 1948 года, когда правительственные войска Индийского Союза, под предлогом ликвидации режима феодального деспотизма иказания помощи местному населению, вступили в пределы княжества Хайдарабад, низаму удалось подавить восстание народных масс. Этот эпизод — яркая иллюстрация сговора индийской национальной буржуазии с реакционно-феодальными элементами.

Махараштра (район Маратхи), куда входит город Бомбей, — самая развитая в промышленном отношении часть Индии. В ней широко развернулось движение за воссоединение в пределах одной провинции всех областей, населённых маратхами, представляющими большинство сельского и городского населения. Движение возглавляет местная организация коммунистической партии Индии, поддерживающей справедливые национальные требования маратхов.

Трудности, стоящие на пути национально-освободительного движения в Индии, усугубляются тем, что районы с различными наречиями, так называемые «языковые» провинции, не получили широкой местной автономии, которая была обещана Национальным конгрессом в 1920 году.

После расчленения Индии в 1947 году Конгресс стал саботировать осуществление этого мероприятия в связи с противодействием буржуазии.

Газета «Пиплз эйдж» писала в 1948 году: «Лидеры Конгресса и буржуазии ещё более боятся народов этих областей. Они боятся, что с образованием отдельных провинций радикальные демократические элементы могут сильно укрепиться, что местные лидеры Конгресса не смогут всегда держать их в повиновении».

Статья А. М. Дьякова даёт правильный, основанный на фактах и документах, обзор и анализ социальных сдвигов за послевоенные годы на юге Индии. К сожалению, автор не делает никаких выводов из гениальных работ И. В. Сталина по языкознанию, без чего не может быть сейчас изучена ни одна сколько-нибудь значительная социальная проблема. Это тем более важно в данном случае, поскольку речь идёт о такой специфически языковой проблеме, как вопрос о «языковых» провинциях в Индии.

В статье З. Петруничейвой «Национально-освободительное движение в княжестве Кашмир» дано яркое, временами даже увлекательное, исследование различных этапов борьбы кашмирского народа.

Княжество Джамму и Кашмир, обычно называемое просто Кашмиром, расположено на крайнем севере страны, в области Гималайских гор, и граничит с Советским Союзом и Китаем.

Девять десятых населения Кашмира (без Джамму) составляют кашмирцы, подавляющее большинство из них — мусульмане. Но княжеством правит махараджа-индус и немногочисленная каста раджпутов — догров по национальности, индуистов по религии. Эта чужеродная группа, захватив власть, в течение века угнетает население, применяя в отношении кашмирцев разнообразнейшие виды дискриминации. Кашмир становится бурлящим котлом; гнев народа направлен против правящей феодальной кучки, национально-освободительное движение проходит под лозунгом: «Долой догрокское правление».

Движение возглавляет массовая демократическая организация — Национальная конференция, куда входят и кашмирские коммунисты, играющие в ней значительную роль. Благодаря их влиянию в про-

грамму Национальной конференции включены такие разделы, как «Кашмир для рабочих», «Кашмир для крестьян».

Махараджа в союзе с английским резидентом в Кашмире и генеральным инспектором полиции (тоже англичанином) стал проводить разнузданный террор против революционного народа. Ни один день в Сринагаре — столице княжества — не обходится без расстрелов и избиений. «Счастливая долина», как в древности называли Кашмир, превратилась в «долину ужасов».

Летом 1946 года, во время яростного разгула правительственной реакции и могучего нарастания массового протеста, в Кашмир прибыл председатель Индийского Национального конгресса Джавахарлал Неру, который, однако, не оказал никакой существенной помощи движению. Это связало руки махарадже и его приспешникам.

Национальный конгресс имел свои виды на махараджу, предполагая вовлечь с его помощью кашмирское княжество в Индийский Союз. Со своей стороны Мусульманская лига, учитывая религиозные взгляды кашмирцев, пыталась присоединить Кашмир к Пакистану. Возникший индо-пакистанский спор был перенесён в ООН, что оказалось на руку англо-американским империалистам, стремящимся превратить Кашмир в плацдарм против Советского Союза и демократического Китая.

К интересной и живо написанной статье З. Петруничейвой следует сделать лишь одно замечание. Рассматривая административное деление Кашмира, автор пишет: «Ладакх — единственный район княжества, где преобладает буддизм, что, несомненно, связано с соседством Тибета». На самом деле Ладакх — бывшая тибетская провинция, с помощью англичан отторгнутая от Тибета кашмирским князем.

Содержательна обстоятельная статья Г. Шмидта «К вопросу о народонаселении Индии». Значительный рост населения Индии за два десятилетия (1921—1941 гг.) вызвал обильную литературу как индийских, так и англо-американских мальтузианцев разных толков.

Отъявленные человеконенавистники и мракобесы типа американца Фогта проповедуют фашистские бредни о необходимости ограничения роста населения, о принудительной стерилизации и т. д. В первую

очередь предлагается применить подобные меры к колониальным народам. Войну, голод, эпидемии эти озверелые рабисты считают полезными явлениями, уменьшающими численность населения, которое якобы нельзя прокормить из-за падения плодородия почв и ограниченности продовольственных ресурсов земного шара.

В своей статье Г. Шмидт подробно разбирает доводы и положения индийских учёных и экономистов, превозносящих «теорию» Мальтуса, подвергая их суровой и убедительной критике.

Г. Шмидтом показаны и обоснованы условия возникновения относительного перенаселения в Индии и превращения резервной армии безработных в постоянную. Громадное количество безработных даёт возможность крупному капиталу орудовать и в мелкой промышленности. Многочисленные примеры, приводимые в статье, ярко рисуют тяжёлое существование индийских рабочих и крестьян, обречённых на поголовное обнищание и обезземеливание.

Особое место в сборнике занимает статья Г. В. Астафьева «Колониальная политика США на Гавайях в доимпериалистический период».

О Гавайских островах существует огромная литература, возникшая уже в конце XVIII века. Эту литературу использовал Г. Астафьев. Достоинством его статьи является то, что он стремится дать научное освещение раннего периода истории Гавайев. Жаль, однако, что Г. Астафьев не использовал замечательных трудов великих русских мореплавателей первой четверти XIX столетия. Многие из них посещали Гавайи, стояли, так сказать, у колыбели гавайского государства и наблюдали первые его шаги. Всего лишь в одной сноске упоминается о «русских военных мореплавателях», побывавших на Гавайях. Это не может удовлетворить советского читателя, которому хорошо знакомы труды И. Крузенштерна, Ю. Лисянского, О. Коцебу и В. Головнина. Работы этих исследователей переведены на многие языки и получили мировую известность.

Не использовав богатого научного наследства первых русских кругосветников, Г. Астафьев не смог достаточно полно и правдиво осветить целый ряд вопросов доимпериалистического периода истории Гавайев, например, вопроса о неэквивалентности товарообмена европейцев с гавайцами, о роли миссионеров на Гавайях, о роли института «табу» в жизни гавайцев, о положении женщин, о «торговой политике» гавайского короля Камамеа и его преемников. Роль короля Камамеа представлена в статье совершенно иной, чем это показано у Лисянского и Головнина, рисующих Камамеа как «просветителя и преобразователя своего народа».

В статье, правда, говорится о попытках Камамеа торговать с Китаем и о введении им таможенных и портовых сборов на европейские и американские товары, но значительно подробнее, интереснее и политически более заострённо об этом сообщает В. Головнин.

В изображении Г. Астафьева гавайский народ выступает как «лишённый национального самосознания». Это опровергается работами русских авторов, ярко рисующих борьбу гавайцев за свою независимость. Так, В. Головнин рассказывает, что он видел на островах свыше ста пушек и до восьми тысяч вооружённых солдат. Описывает В. Головнин и морскую крепость у Гонолулу, воздвигнутую по всем правилам фортификационного искусства, и военные суда гавайского короля. Всё это создавалось гавайским народом для защиты своей свободы и независимости, для борьбы с английскими и американскими захватчиками. На статье Г. Астафьева сказалось влияние американских источников, рассматривающих историю Гавайев с империалистических позиций.

Отмеченные недочёты отдельных статей не меняют общей положительной оценки книги. Первый том «Учёных записок Института востоковедения» окажет существенную помощь всем интересующимся историей развития послевоенного Востока.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

★

Весна в польской деревне

Всё более активно откликается современная польская литература на события, происходящие в жизни страны. Книги польских писателей помогают народу в его борьбе за быстрое осуществление шестилетнего плана, в борьбе за построение новой жизни.

Выполнению этой благородной задачи в меру сил помогает и книга молодого польского писателя В. Залевского «Тракторы разбудят весну!», вышедшая в 1950 году в Варшаве и удостоенная Государственной премии. Она посвящена актуальнейшей проблеме — перестройке деревни на социалистический лад.

Благодаря национализации крупной и средней промышленности в Польше капиталистические элементы были вытеснены с занимаемых ими экономических позиций. Иное положение — в деревне, где наряду с производственными сельскохозяйственными кооперативами — этими подлинными ростками новой жизни — существует ещё слой эксплуататоров — кулачество — и мелкое индивидуальное крестьянское хозяйство.

Сразу же после установления в стране строя народной демократии государство осуществило земельную реформу. Помещичье землевладение было ликвидировано. Безземельные и малоземельные крестьяне получили не только наделы земли, но и сельскохозяйственный инвентарь, скот, посевной материал.

В 1949 году началась коллективизация сельского хозяйства. На основе добровольности возникли первые крестьянские производственные кооперативы. Успеху этого глубоко революционного и прогрессивного начинания способствовала не только большая организационная и разъяснительная работа, проводимая Польской объединённой рабочей партией, но и убедительный пример достижений колхозного строя в Советском Союзе.

Государство оказывает производственным кооперативам действенную помощь. Для них выделяются сельскохозяйственные машины, удобрения, им предоставляются раз-

личные денежные льготы и кредиты. В стране создан ряд машинно-тракторных станций.

Внимательно присматривались к новому для них делу польские крестьяне. Кооперативы стали своеобразным «пробным камнем» коллективного способа ведения хозяйства. В этих условиях первоочередное значение приобретали организационный рост и укрепление кооперативов. Эти важнейшие задачи остаются актуальными и на сегодняшний день.

Уже первые годы существования сельскохозяйственных производственных кооперативов, применяющих современную агротехнику, наглядно показали крестьянам преимущества коллективных форм труда, обобществлённого сельского хозяйства: урожаи, полученные производственными кооперативами, были на 20—50 процентов выше урожаев в индивидуальных хозяйствах.

В 1950 году коллективизация сельского хозяйства Польши ознаменовалась большими успехами. Было организовано свыше двух тысяч новых производственных кооперативов. Соответственно увеличилось и количество МТС; их тракторный парк вырос почти в десять раз. Значительную роль в этом сыграла бескорыстная помощь, оказываемая Польше Советским Союзом.

Шестилетний план предусматривает дальнейшую широкую механизацию сельского хозяйства Польши. В нынешнем году тракторный парк страны увеличится по сравнению с 1950 годом больше чем на сорок процентов. По выполнении шестилетнего плана — в 1955 году — сельское хозяйство получит 80 700 тракторов (в переводе на пятнадцатисильные).

Процесс перехода от индивидуального мелкого крестьянского хозяйства к крупному коллективному хозяйству происходит — и не может не происходить — в условиях классовой борьбы между трудовым крестьянством и кулачеством. Так, в 1950 году сельская буржуазия пыталась сорвать поставки хлеба государству. Но эти попытки потерпели неудачу благодаря бдительности и патриотизму бедняков и середняков.

Капиталистические элементы в деревне,

В. Залевский. «Тракторы разбудят весну!». Перевод с польского и предисловие В. Арцимовича. Редактор В. Сугоняй. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

убедившись в тщетности своих стараний сделать из коллективного хозяйства пугало для крестьян, прибегают к разного рода диверсиям, вплоть до убийств активистов.

О сложной обстановке в польской деревне и рассказывает книга В. Залевского. Она является художественно-документальным очерком о реальном, действительно существующем крестьянском производственном кооперативе. Ряд выразительно написанных сцен, точно очерченных характеров, раскрывающихся в действии, создают картину подлинной жизни польской деревни с её заботами и тревогами, радостями и удачами.

В начале очерка автор знакомит читателя с тем, что представляет собой сельскохозяйственный кооператив.

«Наиболее распространёнными сельскохозяйственными кооперативными объединениями в Польше, — узнаём мы, — являются такие кооперативы, члены которых при вступлении в кооператив вносят в качестве пая свою землю, машины, живой и мёртвый инвентарь, оставаясь вместе со всей семьёй владельцем этого имущества. Доходы распределяются между всеми членами кооператива следующим образом: семьдесят процентов их приходится на трудодни, двадцать — падает на количество внесённой земли, а десять — на инвентарь. Жилой дом, приусадебные постройки и участок, примерно в полгектара, остаются в индивидуальном пользовании каждой семьи. На приусадебном участке разрешается держать две коровы, овец, свиней и в неограниченном количестве домашнюю птицу».

Сельскохозяйственный кооператив в Данковицах, возникший по инициативе деревенской бедноты, возглавляемой партийным активом, объединяет шестьдесят четыре хозяйства. У кооператива двести восемнадцать гектаров пахотной земли.

Кооператив был организован одним из первых в стране, весной 1949 года, но окончательно оформился только к осени. Это сильно затруднило проведение в срок осенней пахоты. Кооператив располагал трактором и лишь несколькими обобществлёнными лошадьми, так как крестьяне, вступавшие в кооператив, не всегда сдавали лошадей. В этом сказывалось насторожённое отношение части крестьян, в особенности середняков, к новому для них

делу. Немалую роль играет здесь и вражеская пропаганда.

С глубоким сочувствием следит читатель за усилиями председателя правления кооператива — порывистого, горячо преданного общему делу коммуниста Алоиза Недзьведа, передовой крестьянки Искровой и других людей новой польской деревни, отдающих все силы укреплению кооператива, словом и делом убеждающих крестьян, подпавших под влияние кулаков.

Тёмные элементы — ставленники поджигателей новой мировой войны — стремятся затормозить победное движение польской деревни к социализму. С глубоким презрением говорит Недзьведь об американских атомщиках, а также о кулаках — подголосках лживого «Голоса Америки», распускающих провокационные слухи и пытающихся запугать крестьян новой войной.

Колоритна фигура Рыхты — подкулачника и стяжателя, прикидывающегося другом бедноты, но готового при первом удобном случае предать её.

Преступной деятельности местных реакционеров Недзьведь противопоставляет глубокую веру в победу социализма и мужественную готовность пожертвовать собой, если это понадобится, во имя общего блага (его грозят убить, если он не откажется от председательства в кооперативе). Неколебима уверенность Недзьведа в успехе преобразования отсталой польской деревни в процветающий сельскохозяйственный кооператив.

Активистов в Данковицах вдохновляет пример великого друга Польши — Советского Союза.

«Весной сорок девятого года, когда актив данковицких крестьян решил организовать кооператив, Марыся Искрова вместе с бывшим батраком Водняком и с группой польских крестьян из других деревень поехали посмотреть украинские колхозы. Вернулись они оттуда возбуждёнными и ошеломлёнными виденным. В беседе с Недзьведом Марыся сказала лишь одно: «Люди на всём свете должны жить так, как живут там. Там нет чужих, там все между собой братья...».

Крестьян, поверивших Искровой, пытаются сбить с пути ксёндз — прислужник реакции, проводник её чёрных замыслов. Описание борьбы между Искровой и ксёнд-

зом — одно из интереснейших мест книги В. Залевского.

В условиях только что пробуждающегося общественного сознания польских крестьян нелегко членам правления кооператива наладить его работу. Но это необходимо: кооператив должен быть образцом продуманного, спланированного труда, он должен служить убедительным примером для всех крестьян, ещё колеблющихся в выборе пути.

В трудную минуту на помощь кооперативу приходит государство, выделяя для него второй трактор. Полсжение резко меняется: за один день вспахано четыре с половиной гектара. Появляется уверенность, что тракторы помогут «обогнать зиму» и что все осенние полевые работы будут закончены в срок.

Но Недзьведь не успокаивается, хотя успех радует его вдвойне — ведь это победа новой сельскохозяйственной техники над дедовскими способами обработки земли, которые применяют ещё единоличные крестьяне. «Мы не должны забывать, — говорит Недзьведь, — что наша работа — это работа для всей деревни, что через год вся она будет в кооперативе». С этим призывом перекликаются горячие слова приехавшего для оказания помощи кооперативу секретаря укома партии Каменки, обращённые к активу сельскохозяйственной артели. Каменка разъясняет крестьянам не только хозяйственное, но и политическое

значение во-время проведённой осенней пахоты.

Польские крестьяне постепенно убеждаются в преимуществах укрупнённого хозяйства перед единоличным. Кроме двух тракторов, кооператив получил от государства десять миллионов злотых на ссуды и авачсирование, триста тысяч злотых на ремонт строений. Кооперативу помогает и один из рабочих коллективов, подаривший ему новый трёхтонный прицеп.

Достигнуты успехи и в области культуры. Кооператив радиофицирован, построено новое школьное здание...

Книга В. Залевского тепло встречена польской общественностью. Просто и правдиво написанная, она убеждает читателя яркими фактами.

Для советских людей книга «Тракторы разбудят весну!», полная оптимистического звучания, представляет познавательный интерес. В. Залевский убедительно показывает, что в развернувшейся классовой борьбе в польской деревне неизбежно победит социализм.

Книге предпослано предисловие, которое знакомит с политическим и хозяйственным развитием послевоенной Польши. Автору предисловия В. Арцимовичу следовало дать более полное представление о трудностях, которые ещё предстоит преодолеть сельскому хозяйству новой Польши, о происках империалистов — поджигателей новой войны.

А. ИГЛИЦКИЙ.

★

Техника

Знатные курыне

Архивы областей и городов нашей страны хранят множество необнародованных и неисследованных документов — пока ещё молчаливых свидетельств замечательных достижений русских самородков — учёных и техников.

Разыскать и обнародовать эти документы, заставить их заговорить — почётная обязанность историков науки. Вспомним неоднократно указания А. М. Горького о важной роли изучения истории родного края, жизни и деятельности его выдающихся людей.

«Курыне — выдающиеся деятели науки и техники». Редактор Т. Нерезов. Курское областное книгоиздательство, 1950.

Всяческого одобрения заслуживает почин Курского областного издательства, выпустившего в свет книгу «Курыне — выдающиеся деятели науки и техники». Многочисленные читатели Курска и Курской области с интересом ознакомятся с биографиями своих знаменитых земляков, их вкладом в отечественную науку и технику.

Рецензируемая книга состоит из четырнадцати очерков биографического характера. В ней рассказано не только о таких широко известных деятелях, как «Колумб российский» — путешественник и мореплаватель Г. И. Шелихов, как выдающийся электротехник, изобретатель электрической дуги В. В. Петров, основатель

научного мостостроения Д. И. Журавский, учёный металлург академик А. А. Байков, но и о тех, чьи имена были знакомы только узкому кругу специалистов или до недавнего времени вовсе были неизвестны.

В очерке «Рудознатец Иван Иванович Морозов» на основе материалов, обнаруженных в архивах берг-коллегии горного департамента министерства внутренних дел, показана самобытная фигура геолога-самоучки из Белгорода, построившего в 1744 году железодельный завод на реке Терсе (в 70 километрах от нынешнего Сталинграда).

Авторы убедительно доказывают несостоятельность дореволюционных исследований, провозглашавших англичан Карла Гаскойна и Джона Юза «основателями» и «первооткрывателями» донецкой металлургии. Ещё за сорок с лишним лет до них Ивай Морозов произвёл разведку рудных месторождений в Донецких степях и предложил проект постройки завода на реке Лугани близ г. Бахмута. Этот проект и был впоследствии осуществлён англичанином Гаскойном. Бывшее в полном забвении имя действительного автора проекта теперь восстановлено.

В другом очерке обрисована не менее яркая деятельность гидротехника Михаила Александровича Пузанова, человека незаурядных способностей, строителя Сеймской системы. Эта система, названная Александринской, сделала реку Сейм судоходной на всём её протяжении и связала Херсонский порт с центральными чернозёмными губерниями. В первой половине XIX века сеймская система имела огромное значение для нашей страны.

В интересной статье «Андрей Снегирёв — изобретатель управляемого аэростата» рассказывается о трагической судьбе талантливого учителя физики, посвятившего свою жизнь созданию воздухоплавательного снаряда.

Безуспешно попытавшись осуществить свою идею собственными силами, А. Снегирёв впоследствии направил свой проект в Российскую академию наук. Проект был одобрен академиками Б. С. Якоби и Э. Х. Ленцем, отметившими его новизну и оригинальность, «здоровое суждение и остроумие автора». Однако помочь изобретателю никто не захотел. Царские чиновники, рабодепствовавшие перед иностранщиной,

помешали постройке в России первого управляемого аэростата.

Работа А. Снегирёва «Русская теория воздухоплавания и аэростатов», напечатанная в журнале «Маяк современного просвещения» в 1841 году, убеждает в том, что изобретатель впервые предложил эллипсоидную форму аэростата, нашёл оригинальный способ прорезинивания материала его оболочки.

Интересен очерк «Механик и астроном Фёдор Алексеевич Семёнов». Работая в различных областях механики, Ф. Семёнов создал много оригинальных конструкций и механизмов. С помощью самодельного телескопа он произвёл ряд интереснейших астрономических наблюдений. Став самостоятельным и зрелым учёным, он смело вступил в спор с известным французским астрономом Араго и доказал несостоятельность его теории солнечных затмений.

Небольшой очерк посвящён изобретателю наборной машины Михаилу Ивановичу Алисову. Его «скоропечатник», которому в то время не было равных по качеству набора и печати, демонстрировался на всемирных выставках в Вене и Филадельфии. М. Алисов намного раньше немцев Квайсера и Гуссака изобрёл гектограф, хотя и не взял своевременно патент на своё изобретение. Первым в мире предложил он литографский способ печати и создал для этого машину.

Один из лучших в книге — очерк о талантливом изобретателе А. Г. Уфимцеве. Осуждённый за революционную деятельность, Уфимцев создаёт в ссылке бесклапанный керосиновый двигатель, конструкцию воздухоплавательного аппарата — сфероплана (прототипа летающего крыла) и ряд других конструкций. Многочисленные изобретения Уфимцева зачастую перехватывались иностранцами. Так, изобретённое им ртутное параболическое зеркало для телескопов через несколько лет было запатентовано английским профессором Вудом.

В годы первой мировой войны Уфимцев практически начинает осуществлять свою заветную мечту — проблему использования энергии ветра. Он разрабатывает конструкции ветроэлектростанций.

Работам Уфимцева суждено было осуществиться только в советский период. В разных концах нашей страны

сейчас уже построены подобные ветроэлектростанции, усовершенствованные профессором В. И. Ветчинкиным. По замыслу Уфимцева, ветроэлектростанции в будущем должны стать мощными энергисточниками для городов и промышленных центров.

Незадолго до смерти Уфимцев издаёт труд «Разрешение проблемы полного овладения и использования энергии ветра во всех областях энергетики взамен топлива», в которой приводятся расчёты сверхмощных ветроэлектростанций.

Человек большого дарования и негибавшей воли, смело смотревший в будущее техники, А. Г. Уфимцев обогатил её созданием новых конструкций авиационных двигателей, коловратной газовой турбины и т. п. Замечательные изобретения Уфимцева свидетельствуют о многогранности его таланта, необычайной широте творческих замыслов.

А. Г. Уфимцева хорошо знал и высоко ценил А. М. Горький, назвавший его «поэтом в области научной техники» и наказавший курским литераторам создать книгу о своём одарённом земляке. «О нём надо писать, о его работе — жизнь у него увлекательная». Этот наказ ещё не выполнен писателями Курска.

Авторы очерков и статей (их фамилии в книге почему-то не указаны) далеко не в полной мере использовали имевшиеся у них возможности. Они могли и должны были полнее и ярче обрисовать жизненный путь и деятельность замечательных курян.

Так, например, о выдающемся ученике Н. Е. Жуковского — авиаконструкторе В. И. Ветчинкине, об основателе советской экспериментальной метеорологии В. Н. Оболенском, о работах геоботаника В. В. Алёхина читатель получает лишь отрывочные, неполные сведения. В очерке, посвящён-

ном В. Г. Шухову — энциклопедисту инженерных наук, автору десятков широко распространённых изобретений и многочисленных теоретических исследований, — сбивчиво излагается история некоторых работ учёного.

Издательству не следовало забывать хорошего правила — статьи по научным вопросам отдавать на рецензирование квалифицированным специалистам. Тогда в книге не были бы допущены ошибки в освещении пиролиза, крекинга нефти и в объяснении многих научных терминов.

Очень коротко, а подчас просто в порядке сухого перечисления фактов излагается чисто биографический материал. Неправильной является и основная установка составителей — они указывают, что «не стремились (!) дать всеобъемлющей биографии, полностью рассказать о всём творчестве... земляков». Именно к этому должны были они всемерно стремиться. Но даже и в описании «самого главного» им не удалось преодолеть сухости в изложении интереснейшего и увлекательного материала.

Язык книги засорён неряшливыми формулировками, неправильно построенными фразами. На страницах сборника можно встретить такие выражения:

«Павел Николаевич Яблочков построил первый в мире трансформатор и знаменитую свечу Яблочкова».

«...Лежащие в основе этого заповедника Стрелецкая, Казацкая и Ямская степи».

«Байков объяснил внутренний смысл закладки» и т. д.

Бедно и невыразительно оформление сборника. В нём не помещено сколько-нибудь интересных фотографий или рисунков, да и вообще иллюстраций в книге очень мало

М. ГОЛЕЯ.



«Полоса чудес»

Создание для детей научно-популярных книг о сложной и многообразной технике железнодорожного транспорта представляет немалые трудности. Те книги о железных дорогах, которые были в прошлом выпущены Детгизом, не полюбились,

М. Ефетов. «Полоса чудес». Ответственный редактор Н. Максимова. Детгиз, М.—Л. 1950.

к сожалению, нашим школьникам. Авторам этих книг не удалось избежать сухости изложения, обилия специальных терминов, а подчас и серьёзных технических ошибок. Это относится к книгам А. Августынюка и В. Вахмана «Транспорт Советской державы», А. Августынюка «Юные железнодорожники», а также к книге Н. Гри-

горьева «На зелёной улице», правда, написанной более живым языком.

Иное впечатление оставляет книга М. Ефетова «Полоса чудес», адресованная детям среднего возраста. Чтобы сделать её доступной школьникам, едва начинающим постигать законы элементарной физики, автор должен был раскрыть перед ними сложные технические понятия в живых образах, в сравнениях с предметами и явлениями жизни, уже вошедшими в их миропонимание.

М. Ефетову во многом удалось справиться с поставленной задачей. Он не только рассказывает своим читателям занимательные случаи из истории железнодорожного транспорта, но и умело раскрывает сложные технические принципы, доступно объясняет специальные термины.

Вот как, например, поясняет он такие понятия, как «габарит», «индикаторная диаграмма» и «коэффициент полезного действия»:

«Есть такое слово «габарит». Можно сказать: «габарит ручки или карандаша не подходит для пенала». Это значит, что ручка длиннее или толще пенала и не войдёт в него».

Здесь сравнение взято из обихода школьника и оно понятно ему. Он уже без дальнейших пояснений поймёт, что под габаритом разумеются предельные внешние очертания предметов.

«По большому листу плотной бумаги бежит острое пёрышко. Бежит прямо — значит давление в машине нормальное. Но вот пёрышко вздрогнуло и подскочило. Так бывает, когда ты пишешь, а сосед по парте толкнёт тебя под локоть: сразу на тетрадке получится кривая. Это значит — плохой у тебя сосед. А кривая на индикаторной диаграмме говорит о том, что плохо работает цилиндр паровой машины».

О коэффициенте полезного действия в техническом справочнике сказано, что к. п. д. является отношением полезно затрачиваемой работы или получаемой энергии ко всей затраченной работе или соответственно потребляемой энергии. Естественно, что школьник ничего не понял бы из этого объяснения, а Ефетов раскрыл ему суть этих трёх букв (к. п. д.) очень просто:

«...в паровозе из ста лопат угля, бросаемых в топку, обращается в полезную

энергию только семь лопат, а девяносто три лопаты вылетают в трубу вместе с дымом. На языке техников это значит, что коэффициент полезного действия равен 7—8 процентам».

Внимание юного читателя «Полосы чудес» привлечёт и упорство изыскателей трасс будущих стальных путей, и остроумное устройство различных машин и механизмов, применяемых на транспорте, и романтика труда железнодорожников самых разнообразных профессий. Дав книге интригующее название, Ефетов продолжает поддерживать интерес юного читателя и живостью изложения, и удачными названиями глав и подглавок: «Записка весит три килограмма», «Могут ли рельсы дышать?», «Под водой, не замочив ног», «Два шага за два года», «Мастер бархатной езды», «Книга, в которой только два слова».

Но не только в занимательности и обилии полезных сведений достоинство книги М. Ефетова. Главное её качество — в умелом показе труда советских людей, героев «Полосы чудес», которые проходят перед юным читателем, заражая его примером своей жизни, полной творческих исканий.

Лучшие страницы книги М. Ефетова посвящены таким златным людям советского железнодорожного транспорта, как Пётр Кривonos и Николай Лунин. Люди эти, воспитанные партией и советской властью, смело ломали старые представления о технических нормах и производительности труда. Пример нового отношения к труду особенно ярко показан в рассказе о машинисте Луине — инициаторе нового этапа стахановско-кривоносовского движения на транспорте.

Трудовой подвиг Лунина хорошо раскрыл Ефетовым в главе «Книга, в которой только два слова». Книга, о которой идёт речь, служит для записи ремонта механизмов паровоза. Обычно подобный ремонт производят после пробега в несколько тысяч километров, а паровоз Лунина, перекрывая все сроки, стал в депо только после того, как пробежал около десяти тысяч километров. Мастер паровозного депо, спросив у Лунина книгу ремонта, не сомневался, что в ней записано не менее десяти-пятнадцати пунктов. Велико же было его удивление, когда он прочёл в ней всего два слова:

«Промыть котёл». Лунин и его бригада так любовно ухаживали за своим паровозом, что он к удивлению специалистов оказался в полной исправности. Для промывки же котла требовались специальные приспособления, и только поэтому она оказалась не под силу бригаде Лунина.

Но не только о знатных машинистах рассказывает М. Ефетов. Много живых страниц посвятил он и другим труженикам железнодорожного транспорта: диспетчерам, составителям поездов, стрелочникам и путеобходчикам, показав, что нет на транспорте людей ненужных или незначительных.

С интересом читаются главы: «Крепость на колёсах» и «Родные братья», посвящённые работе советских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Вот яркий эпизод, описанный в книге. Лето 1943 года. Немцы готовятся к мощному наступлению на Курской дуге. Советская Армия сосредоточивает свои силы для парирования этого удара. Генералу железнодорожных войск приказано срочно проложить новую железнодорожную линию к району предстоящих сражений. Стройка огромна. На ней одних только мостов нужно соорудить 52, а срок дан предельно короткий — всего 60 дней. Однако едва генерал прибывает на стройку, как его вызывают к телефону и сообщают, что линию нужно построить за 35 дней. На замечание генерала о невозможности сделать работу в столь сокращённый срок ему повторяют: «Нужно! Таково требование Верховного командования».

Генерал быстро и умело мобилизует все средства. На помощь солдатам-железнодорожникам приходят колхозницы окрестных сёл. Объезжая стройку, генерал останавливается возле кутлована, вырытого под фундамент водокачки, и видит плакат, написанный углем на фанере: «Тут бригада Дуси Сафроновой роет могилу Гитлеру. Выполнение — 210 процентов нормы».

Героическим трудом военных железнодорожников и курских колхозниц новая дорога была построена за тридцать два дня, на трие суток раньше «невозможного» срока.

На постройку моста через Днепр для переброски подкреплений советским войскам, занявшим Киев в ноябре 1943 года, командование дало двадцать дней, тогда

как в мирное время на одну только подготовку к такому строительству нужны были месяцы напряжённой работы. А советские военные железнодорожники под бомбёжкой и артиллерийским огнём врага воздвигли мост за тринадцать суток.

Книга М. Ефетова поможет воспитать в школьниках чувство уважения к нашему социалистическому транспорту, возбудит в них желание поближе и поглубже познакомиться с его работой и замечательными людьми. Тем более досадно, что в ней встречаются технические ошибки и отдельные небрежности.

В главе «Случай у Мугоджарских гор» описана авария, происшедшая с поездом машиниста Ф. Казанцева, которого подвёл тормоз Вестингауза. В этом эпизоде автор называет Казанцева то старым машинистом, то молодым помощником машиниста. Фраза: «После этого происшествия молодого помощника машиниста Флорентия Казанцева сместили на низшую должность» — вообще технически безграмотна. Помощник машиниста не мог понести наказание по той причине, что тормозным краном поезда управляет только машинист.

Следует отметить, что вообще весь раздел книги под общим названием «Железный конь» меньше удался автору. В этом разделе не всегда хороши сравнения, не везде типичны примеры. Так, например, М. Ефетов пишет: «Сердце паровоза — котёл». Это неверно. Если уж проводить аналогию с человеческим организмом, то сердцем паровоза следует назвать его паровую машину.

В главах: «Два шага в два года», «Мастер бархатной езды» и «Медведь ползёт» М. Ефетовым описан не типичный для советского железнодорожного транспорта паровоз, работающий на нефти. К слову сказать, на таком паровозе и бригада состоит всего из двух человек. Неправильно утверждение автора, что «машинист, Иван Никанорович, смотрел не только вперёд, но и назад: не отцепились ли вагоны, не потерял ли поезд своего хвоста». С пассажирским поездом (а М. Ефетов в данном случае описывает пассажирский поезд) подобного случая не может произойти, так как он оборудован автоматическими тормозами. Если бы произошёл обрыв вагонов (что, кстати, с пассажирскими

поездами случается крайне редко), то оторвавшийся «хвост» никуда не убежал бы, а автоматически остановился бы на месте, так же, как и «голова» поезда.

Книга М. Ефетова будет с большим интересом и пользой прочитана юными читателями. Она может стать хорошим пособием для руководителей детских железных дорог и преподавателей железнодорожных

училищ, если автор освободит её от технических ошибок и более тщательно отнесётся к языку изложения.

Многочисленные рисунки и цветные вклейки, имеющиеся в книге, помогут полнее ознакомить молодых читателей с техникой железнодорожного транспорта.

Н. ТОМАН.

★

Этнография

Великий гуманист

Две книги в строгих темнозелёных переплётках — два первых тома собрания сочинений замечательного русского путешественника и учёного Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Эти книги содержат материал, на первый взгляд, сухой: дневники путешествий и официальные донесения, конспекты научных докладов и различные обзорные статьи. И тем не менее читаются они с таким захватывающим интересом, как далеко не всякий роман.

Дело здесь не только в красочности, необычности самого фактического материала. Труды Миклухо-Маклая пронизаны глубокой человечностью, тем высоким гуманизмом, который отличал выдающихся представителей передовой русской науки.

«Среди великих путешественников прошлого века, — писал недавно скончавшийся академик Л. С. Берг, — Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846—1888) занимает совершенно особое место. В то время как другие географы открывали новые, доселе не известные земли, Миклухо-Маклай стремился прежде всего открыть человека среди исследованных им «первобытных»... народов».

Л. Н. Толстой в своём письме к Миклухо-Маклаю говорит: «Умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, насколько мне известно, вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек».

Вся жизнь Миклухо-Маклая — это героический подвиг во имя науки, во имя

борьбы за права угнетённых колониальных народов. Половину своей яркой короткой жизни (он прожил всего 41 год) Миклухо-Маклай провёл в непрерывных исследованиях и труднейших путешествиях. Двадцатилетний молодой естествоиспытатель изучает морскую фауну на Канарских островах, затем посещает Сицилию, берега Красного моря, работает в зоологическом музее Российской Академии наук. Двадцати трёх лет, в 1869 году, он разрабатывает необычайно смелый, рискованный проект «предполагаемых исследований во время путешествий на острова и побережья Тихого океана», добивается его утверждения в Географическом Обществе и ежегодной субсидии в 1350 рублей.

8 ноября 1870 года Миклухо-Маклай на корвете «Витязь» отплывает из Кронштадта и через Магелланов пролив направляется к избранной им Новой Гвинее. Вот что говорит он сам о причинах этого выбора: «Читая описания путешествий, почти что во всех я находил очень недостаточными описания туземцев в их первобытном состоянии... Путешественники или оставались среди этих туземцев слишком короткое время, чтобы познакомиться с их образом жизни, обычаями, уровнем их умственного развития и т. д., или же главным образом занимались собиранием коллекций, наблюдением других животных, а на людей обращали совершенно второстепенное внимание. Такое пренебрежение ознакомления с первобытными расами мне казалось достойным положительного сожаления вследствие обстоятельства, что расы эти, как известно, при столкновении с европейской цивилизацией с каждым годом исчезают».

Даже первого пятнадцатимесячного пребывания на Берегу Маклая было бы

Н. Н. Миклухо-Маклай. Собрание сочинений. Том I. «Дневники путешествий (1870—1872)». Том II. «Дневники путешествий (1873—1887)». Ответственный редактор профессор С. П. Толстов. Издательство Академии наук СССР, М.—Л. 1950.

достаточно, чтобы имя Миклухо-Маклая навеки было запечатлено не только на географической карте, но и на страницах мировой, и в первую очередь русской науки. Величайший гуманизм, столь контрастирующий с обычными капиталистическими «методами исследования» колониальных стран, проявлялся им в каждом поступке, был основным принципом его жизни и работы.

Первые шаги в первый день пребывания на Новой Гвинее так описаны в его дневнике: «Я обратился к командиру корвета с просьбой дать мне четвёрку, чтобы отправиться на берег, но когда узнал, что для безопасности предположено отправить ещё и катер с вооружённой командой, я попросил дать мне шлюпку без матросов... и отправился знакомиться с моими будущими соседями, захватив предварительно кое-какие подарки». Через день на корвете должен был быть пушечный салют, «поэтому я решил остаться в деревне среди туземцев... чтобы моим присутствием ослабить несколько страх». Рассказывая о своих первоначальных действиях и решениях, Миклухо-Маклай объясняет их следующим образом: «Мне не хотелось селиться в самой деревне и даже вблизи её, во-первых, потому, что я не знал ни характера, ни нравов моих будущих соседей; во-вторых, незнание с языком лишало меня возможности испросить на то их согласие; навязывать же моё присутствие я считал бестактным» (подчёркнуто нами. — Е. Л.).

Обладая исключительной силой воли и бесстрашием, Миклухо-Маклай полностью отказывается от применения оружия даже для самозащиты. Он действует лишь силой спокойствия и терпения. Стрелы, летающие около его головы, копыя, едва не задевающие лица, вызывают у него лишь вопрос: зачем пришёл он стеснять этих людей? И во время этого первого посещения деревни, среди воинственно настроенных папуасов Миклухо-Маклай... спокойно укладывается спать, решая, что «если бы пришлось умирать, то сознание, что при этом два, три или даже шесть диких также заплатились жизнью, было бы весьма небольшим удовольствием. Был снова доволен, что не взял с собой револьвера».

«Я держал пистолет,— говорил впослед-

ствии Маклай,— не против чёрных, а против белых, оскорблявших чёрного».

И его чуткость, такт, деликатность, доброжелательное отношение к туземцам всегда вознаграждались. Через два месяца после высадки на Новой Гвинее Миклухо-Маклай уже отмечает, что папуасы соседних деревень начинают дичиться его меньше.

Он был всегда честен и правдив в общении с туземцами, лечил папуасов, обучал их владению новыми инструментами. Во время второго (1876—1877) и третьего (1883) посещений Берега Маклая учёный снабжал жителей домашними животными и семенами полезных растений, которые много лет спустя ещё носили названия «Маклай».

Насколько враждебна была первая встреча Маклая с туземцами, настолько трогательны были последующие. При расставании папуасы проявляли глубокую любовь и уважение к Маклаю, умоляя не покидать их и предлагая в каждой деревне по дому. Иностранцы, посещавшие впоследствии Берег Маклая, пользовались именем русского исследователя для установления хороших отношений с туземцами.

Теми же принципами человечности руководствовался Миклухо-Маклай и во всех своих остальных путешествиях. Так, отправляясь в одно из них, Миклухо-Маклай включает в договор с капитаном следующий характерный пункт: «В случае, если г-н Миклухо-Маклай будет убит туземцами одного из островов, капитан Веббер обещается не позволить себе никаких насилий относительно туземцев под предлогом «наказания». Приводя этот договор в письме, учёный снабжает его примечанием: «Вина белых в отношении островитян Тихого океана, по моему мнению, так громадна, что всякое так называемое «наказание» только увеличивает число преступлений против них!».

На каждом шагу сталкивается Миклухо-Маклай с «виной белых» — открытым грабежом, полускрытой работорговлей, бессмысленной жестокостью и варварством «цивилизованных» людей, типичной колониальной политикой, существующей в капиталистическом мире и в наши дни. Всё это вызывало у него естественное возмущение и протест.

В одном из своих отчётов он отмечает: «Самое поверхностное и беспристрастное наблюдение открывает вереницу злоупотреблений, сопровождающих вывоз туземцев Меланезии на плантации в Австралию, Новую Каледонию, Фиджи, Самоа... Собранные факты по этому вопросу (которому я думаю посвятить со временем особую статью) я считаю долгом довести до сведения лиц, имеющих возможность, если захотят, облегчить участь пострадавших и отчасти, хотя бы в незначительной степени, предупредить повторение постоянно практикуемых злоупотреблений белых на островах Тихого океана».

Маклай сообщает об уничтожении скота и хлебных деревьев — единственных средств пропитания туземцев — матросами немецкого и испанского военных судов, о жестокости обращения шкиперов торговых шхун с туземными командами и т. д.

Беспощадно разоблачает он плоды европейской «культуры». «За миссионерами следуют непосредственно торговцы и другие эксплуататоры всякого рода, влияние которых проявляется в распространении болезней, пьянства, огнестрельного оружия и т. д. Эти «благодейства цивилизации» едва ли уравновешиваются умением читать, писать и петь псалмы!»

Оценки, даваемые Маклаем английской и американской колониальной политике, не устарели и сейчас, спустя 75 лет. «Я нашёл немалую выгоду в том, что я не англичанин, так как в последнее время, наученные опытом и примером, малайские власти начинают бояться планов Англии, прикрытых миролюбивыми, дружескими и сладкими речами». «На английском правительстве лежит чёрным пятном окончательное уничтожение туземцев Тасмании и постепенное, по сие время продолжающееся истребление австралийцев». «Хотя в Австралии не дошли ещё относительно китайцев до таких возмутительных несправедливостей, как в Западных Соединённых Штатах, но это, кажется, скорее вопрос времени».

И Миклухо-Маклай по мере сил, иногда наивно, но всегда искренне борется против угнетения отсталых народов, за их свободу и права. Он посылает губернаторам и правителям обличительные письма и меморандумы с рядом предложений в защиту туземцев. Правда, при этом он сознаёт, что

справедливость его предложений окажется важной причиной того, что все они останутся без желаемых последствий и что его увещания «во имя справедливости и человеколюбия» походят на просьбу, обращённую к акулам, — не быть такими прожорливыми! Однако в ряде случаев личное вмешательство Маклая предотвращало карательные экспедиции, вооружённые стычки или захват новых территорий.

В научной работе Миклухо-Маклай отличался фанатической настойчивостью, неутомимым трудолюбием, пренебрежением к опасностям. То обстоятельство, например, что на берегах Новой Гвинеи и Полинезии живут людоеды, не только не отпугнуло его, но, напротив, способствовало выбору именно этих районов, так как он надеялся встретить там наиболее чистокровное папуасское население.

Через три недели по прибытии на Новую Гвинею Маклай заболел тяжёлой тропической лихорадкой, не оставлявшей его в течение всей дальнейшей жизни. Во время приступов он ползком добирался до метеорологических приборов, чтобы в установленные сроки записать их показания. При путешествии по Малайскому полуострову он, больной, шёл 176 дней, по 10 часов в сутки, нередко по пояс в воде, под потоками тропического ливня. И когда Миклухо-Маклаю пришлось семь месяцев пролежать в Сингапуре (к лихорадке присоединилась рожа лица и головы), он сетовал лишь на то, что мог работать «весьма мало».

Во время пребывания на Новой Гвинее Маклай отводил на научную работу по 12—13 часов в сутки. При этом нередко болезнь слуг нарушала распорядок дня учёного и заставляла его заниматься не только научной деятельностью: «Утром я зоолог-естествоиспытатель, затем, если люди больны, повар, врач, аптекарь, маляр, портной и даже прачка и т. д. и т. д.» И это всё делал сам тяжело больной человек.

Протекавшее во время ливней жилище, не дававшие покоя москиты и термиты, отсутствовавшие в течение многих месяцев необходимые продукты (сахар, соль, мясо, крупы) и, наконец, болезни, впоследствии преждевременно оборвавшие жизнь Миклухо-Маклая, — таковы условия, в которых проходил его напряжённый труд. Везде

и всегда он сожалел только о том, что ему нехватает глаз, чтобы всё видеть и замечать, и что человеческий мозг недостаточно силен, чтобы всё понимать.

Результаты его работы были огромны и разносторонни. Естественно, что успехам исследований способствовали не только настойчивость и научная пылкость самого Маклая, но и то взаимное уважение и доверие, установившееся между ним и туземцами, которое помогло ему собрать ценнейший материал. Антропологические, этнологические, этнографические, зоологические, метеорологические отчёты, записки, статьи, коллекции (переданные Маклаем безвозмездно в Этнографический музей Академии наук), сотни ценнейших прекрасных зарисовок (которыми в изобилии снабжены вышедшие два тома) составляют богатейшее наследие, оставленное учёным.

Миклухо-Маклай разрешил ряд спорных антропологических вопросов, впервые описал жизнь некоторых племён, их материальную культуру и обычаи. Он доказывал единство человечества, утверждая, что «существование различных рас совершенно согласно с законами природы, приходится признать за представителями этих рас общие права людей и согласиться, что ис-

требление тёмных рас не что иное, как применение грубой силы, и что всякий честный человек должен восстать против злоупотреблений ею». Он подверг исследованию влияние внешней среды на изменение организма и защищал возможность передачи по наследству вновь приобретённых признаков.

Будучи оторванным от России в течение многих лет, Миклухо-Маклай выразил желание, чтобы издание его трудов осуществилось на русском языке. Однако в царской России сделать это не удалось. Московский географ Д. Н. Анучин добился получения архива Миклухо-Маклая, обработал его и подготовил к печати два тома «Путешествий», которые были опубликованы лишь в советское время. В ознаменование 100-летия со дня рождения Миклухо-Маклая Академия наук СССР приняла издание его собрания сочинений в пяти томах. Многие материалы публикуются в этом издании впервые. К ним принадлежат и письма Николая Николаевича, которые помогут советским людям ещё ближе узнать и полюбить этого удивительного человека.

Е. ЛУКАШОВА.

★

Естествознание

Журнал „Природа“

На титульном листе журнала «Природа» значит: «Год издания сороковой». Перед нами одно из старейших периодических изданий, выходящих в Советском Союзе.

Пройдённый журналом «Природа» путь—свидетельство жизненности той культурной традиции, развивать которую призван журнал. Речь идёт о традиции служения науки народу, о пропаганде передовых научных знаний—о традиции Герцена и Чернышевского, Писарева и Тимирязева.

В 1912 году группа прогрессивных русских учёных во главе с А. А. Вагнером и Л. В. Писаржевским, задумав издавать журнал, определила свою задачу так:

«Дело популяризации естествознания при-

«Природа». Популярный естественно-исторический журнал, издаваемый Академией наук СССР. М.—Л. 1950—1951.

обретает значение общественного служения в самом прямом и точном смысле этого слова... Мы, глубоко убеждённые в великом общественном значении распространения научных истин, и решаемся вступить в число работников популяризации естествознания со своим журналом «Природа».

Перелистывая пожелтевшие страницы первых номеров журнала «Природа», мы встречаемся с именами многих видных деятелей науки: А. Н. Баха, Н. Н. Бекетова, Н. А. Умова, П. П. Лазарева, Н. А. Морозова и других. Часть из них стала впоследствии активными участниками строительства новой, социалистической науки в нашей стране. Имена самых молодых из первых сотрудников журнала «Природа», как, например, нашего выдающегося зоолога Е. Н. Павловского, а так-

же астронома Г. А. Тихова, появляются на страницах журнала и в наши дни.

В 1915—1916 гг., по инициативе старейшины русских геохимиков В. И. Вернадского и его ближайшего соратника А. Е. Ферсмана, издание журнала «Природа» переходит к Комиссии естественных производительных сил при Академии наук. Журнал становится органом Академии. Выход его не прекращается в самые тяжёлые годы разлуки и гражданской войны.

С 1922—1923 гг. профиль журнала «Природа» постепенно меняется. Журнал адресуется к более квалифицированной читательской аудитории, главным образом к научным работникам. Статьи и заметки приобретают более специальный характер. Журнал в целом становится органом не столько популяризации, сколько внутринаучной информации.

Потребность в подобном обзорно-рефератном органе бесспорна, и переход журнала на эти рельсы сам себе не мог бы вызвать особых возражений.

Произошло, однако, не только изменение профиля журнала. Несмотря на наличие первоклассных авторских сил и целый ряд удачных выступлений (можно назвать, в частности, статьи талантливейших энтузиастов науки А. Е. Ферсмана и В. А. Обручева), журнал стал менее активно выполнять свою основную общественную задачу. Как писала «Правда» в 1948 году,—«журнал явно отстаёт от жизни... статьи... не имеют никакого отношения к практической жизни... Статьи написаны так, что совершенно безразлично, когда их читать, в феврале или в июне, и столь же безразлично, к какой стране они относятся». Журнал,—подчёркивала «Правда»,—«не знакомит читателя с достижениями нашей отечественной науки, он оторван от жизни и работы советских научно-исследовательских учреждений... Журнал «Природа» должен быть боевым воинствующим органом научного материализма, журналом, имеющим своё лицо, советское лицо. В таком виде, в каком он теперь вылезает на свет, шурясь на солнце, вне времени, вне пространства, вне народа, вне науки,—он никому не нужен...»

Правильность этой суровой, но справедливой оценки была признана редколлегией журнала.

Прошло несколько лет. Что принесли они журналу?

Минувший 1950 год был годом крупнейших событий в жизни советской науки. Это был год сталинских гениальных работ по языкознанию. Их значение простирается на все без исключения области наук об обществе и природе. Произошёл ряд важнейших научных дискуссий. Но, как правильно и самокритически отметил недавно «Вестник Академии наук», «за последние годы не было ни одного случая, чтобы инициатива постановки и обсуждения острых дискуссионных вопросов науки исходила со страниц академических журналов. А ведь, казалось бы, им и карты в руки!»

Журнал «Природа» не составил здесь исключения.

В связи с дискуссией по вопросам физиологического учения Павлова журнал ограничился перепечаткой (в августовском номере) текста постановления научной сессии, состоявшейся в июне—июле прошлого года в Москве. И опять-таки мы не встречаем на страницах журнала ни одной статьи, самостоятельно освещающей проблемы дискуссии (следует вспомнить, что в редколлегию журнала долгое время входил автор ряда ошибочных антипавловских концепций—академик Л. А. Орбели).

В 1949—1950 гг. советские химики оживлённо обсуждали вопросы теории химического строения. Внимание учёных было приковано к творческому развитию материалистического учения великого русского химика А. М. Бутлерова, к выкорчёвыванию из советской химии англо-американской лженаучной, так называемой «теории резонанса». Напечатанное в № 1 журнала за 1951 год сообщение Т. В. Волковой рассказывает о том, что в Ленинграде найден экземпляр малоизвестной докторской диссертации А. М. Бутлерова («Об эфирных маслах». 1853 год). Диссертация, как указывает автор заметки, «является ценным документом для понимания генезиса воззрений Бутлерова». Уместно было бы напомнить читателю об этих воззрениях и об их влиянии на развитие советской химии.

В июне 1950 года—с запозданием на год и три месяца—журнал откликнулся, наконец, на важнейший патриотический

почин ленинградских учёных: обращение к товарищу Сталину по вопросу о творческом содружестве науки и производства. Мы имеем в виду статью Ф. В. Кругликова, в самой общей и поверхностной форме обзорающую эту проблему. Важнейшая тема, заслуживающая постоянного и вдумчивого освещения из номера в номер, оказалась смазанной. А ведь журнал «Природа» издаётся в Ленинграде, городе, где как раз и зародилось и активно развернулось движение содружества.

Странное впечатление производит позиция, занятая журналом «Природа» в 1949 и 1950 годах по целому ряду коренных вопросов науки. В статье И. В. Тюрина «Значение учения академика В. Р. Вильямса для почвоведения и земледелия» (№ 4, 1949) не говорится ничего о некоторых ошибочных положениях, содержащихся в учении Вильямса. Более того, автор статьи как бы зачисляет себе в актив отказ «входить... в критическое рассмотрение его (Вильямса) положений, кажущихся спорными или недостаточно обоснованными»!

Рассказывая о природе бактериофага (№ 1, 1950), проф. Б. И. Клейн подводит читателя к идее о неживой природе бактериофагов и вирусов. «Бактериофаг, — наставляет проф. Клейн, — скорее приближается к антибиотикам... а в «неживой» природе антибиотиков никто не сомневается». Это писалось после того, как советской наукой (в частности, работами О. Б. Лепешинской) доказано существование доклеточных форм жизни, и трудно уже отрицать принадлежность вирусов и фагов именно к этим формам.

Важнейшие, удостоенные в 1950 году Сталинской премии, работы советского физика Я. П. Терлецкого в области происхождения космических лучей известны далеко за пределами нашей страны. Начало публикации этих работ относится ещё к 1945—46 гг. Тщетно было бы, однако, искать развёрнутого изложения этих работ на страницах «Природы».

Дух схоластики и эмпиризма продолжает витать ещё над очень и очень многими статьями, публикуемыми в журнале. Печатая, например, работу о солнечных «факелах» (№ 12, 1950), автору следовало бы рассмотреть явление факелов в связи с общими динамическими процессами, проис-

ходящими на поверхности Солнца, не говоря уже о связи с проблемой «Солнце—Земля» в целом. Это упущение тем более странно, что на страницах «Природы» часто и плодотворно выступает коллектив советских астрономов-солнечников во главе с проф. М. С. Эйгенсоном. Астроному-солнечнику эта статья не даст ничего нового, а для натуралистов смежных областей она будет по указанной причине вовсе бесполезна.

Заслуживает особого внимания язык печатаемых в «Природе» материалов. Подчас он слишком уж сух и сугубо научен. Вот пример: «...Накипные лишайники занимают определённое место и в фитоценозах арктических тундр, образуя ряд подчинённых синузий... При переходе к полярным пустыням синузия накипных лишайников становится господствующей синузией...» (статья В. Д. Александрова в № 9, 1950).

Или: «На современном этапе развития биологической науки, мы понимаем гидробиологию как комплексную биологическую науку, имеющую своим объектом единство водных организмов и среды, изучающую биологическую продуктивность водоёмов через продуктивность водных организмов и разрабатывающую методы активного управления процессами биологического продуцирования водоёмов...» (статья проф. В. И. Жадина в № 7, 1950).

Никто не собирается, разумеется, навязывать «Природе» — журналу, рассчитанному в основном на научных работников, — каких-либо претензий на литературное украшательство и особый «популярный» стиль. Но не следует забывать об истине, замечательно сформулированной почти столет назад Герценом, — «сделать науку до того понятной и усвоенной, чтобы заставить её говорить простым обыкновенным языком».

Редакции «Природы» надо повести решительную борьбу за чистую, ясную русскую речь. Язык великих светочей науки — Ленина и Сталина, Менделеева и Сеченова, Павлова и Тимирязева — должен послужить в этой борьбе достойным подражанием образцом.

Было бы несправедливо не указать и на ряд бесспорных достижений журнала «Природа» в истекшем году.

Отлично поставлен отдел истории естествознания. Под этой рубрикой журнал рассказывает о творческом приоритете русских учёных в ряде открытий. Отметим сделанные сотрудниками журнала ценные разыскания. М. С. Яковлев (№ 5, 1950) знакомит читателей с первыми сведениями о ветвистой «чудо-пшенице», полученными замечательным русским естествоиспытателем В. Севергиным в конце XVIII века. В статьях П. П. Саксонова (№№ 3 и 10, 1950) устанавливается первенство харьковского химика Ф. И. Гизе, извлёкшего в 1817 году из хинной коры химически чистый хинин, и приоритет Н. О. Цибульского, выделившего адреналин из вещества надпочечной железы.

С интересом знакомится читатель и с историей работ русских учёных конца XVIII века по получению свекловичного сахара. Вслед за русскими начали добывать сахар из свёклы и американцы, но русский, «алябьевский» (полученный на первом в мире заводе в селе Алябьево, Тульской губернии) сахар-сырец, как показала произведённая в 1807 году экспертиза, содержит 85 процентов сахара, тогда как американский — 56 процентов.

На территории России 30 июня 1804 года русским академиком Я. И. Захаровым был совершён первый в истории науки полёт на аэростате с чисто научными целями (сообщение Ю. И. Соловьёва, № 1, 1951). В этом же ряду стоит и ценное разыскание В. В. Разумовского о работах шлисельбуржца Н. А. Морозова по теории химической связи. Удачна напечатанная

в № 12 журнала за 1950 год яркая статья М. С. Эйгенсона к 350-летию со дня смерти Джордано Бруно.

Нам хотелось бы упомянуть и о тех (не определяющих ещё, к сожалению, лицо журнала) выступлениях советских учёных, которые подлинно новаторски ставят в «Природе» научные проблемы большого познавательного значения. Сюда относится, например, статья проф. В. В. Аллатова «Биохимическое сходство эндопаразитов и злокачественных опухолей в связи с условиями их существования» (№ 10, 1950). Эта работа даёт принципиально новую точку зрения на раковые заболевания человека. Методологически углублённым характером отличается и статья В. Я. Хайна «Значение геотектоники для геологии нефти», освещающая столь частную, казалось бы, тему, как геология нефти (№ 12, 1950). Поиски нефти связываются здесь с вопросом о динамике земной коры в целом.

К числу достижений журнала «Природа» в минувшем году следует отнести многостороннее освещение вопросов науки о полезном ископаемом лесонасаждении.

Положительные сдвиги в работе журнала, как видим, налицо, но сдвиги далеко ещё не достаточные.

Советская общественность вправе ожидать, что авторский коллектив журнала «Природа», собравший в своих рядах цвет научных сил страны, поднимет журнал на уровень, достойный науки Сталинской эпохи.

Вл. ЛЬВОВ.

★

Химия

Творец теории химического строения

Научная общественность нашей страны с удовлетворением отметила выход в свет избранных трудов А. М. Бутлерова. С его именем на протяжении последнего столетия неразрывно связано развитие органической химии, основоположником которой в России он по праву считается.

А. М. Бутлеров. «Избранные работы по органической химии». Редакция, статьи и примечания академика Б. А. Казанского, члена-корреспондента Академии наук СССР А. Д. Петрова и Г. В. Быкова. Издательство Академии наук СССР, 1951.

Расцвет деятельности А. М. Бутлерова относится к 60—70-м годам прошлого столетия. Это были годы общественного подъёма в России. Мощно двинулось вперёд тогда русское естествознание, в том числе и отечественная химия.

А. М. Бутлеров был смелым новатором, не побоявшимся выступить против укоренившихся в науке традиций, против авторитетов, казавшихся непоколебимыми. Гений Бутлерова самобытен и подлинно национален. Крупнейшим учёным, по выра-

жению Менделеева, он «сделался не в чужих краях, а в Казани, где образовал и продолжал развивать самостоятельную химическую школу».

Открытия А. М. Бутлерова составили эпоху в развитии химии. Огромное значение имеет созданная им теория химического строения вещества, получившая название «структурной теории». М. В. Ломоносовым впервые была высказана мысль о необходимости уяснения химического строения вещества, без чего «во тьме должны обращаться физики, а особливо химики». Бутлерову принадлежит величайшая заслуга в решении задачи, поставленной Ломоносовым.

Органическая химия до Бутлерова, строго говоря, не была наукой. Химики не знали, что представляет собою вещество, как оно построено, от чего зависят его химические свойства. Каждому соединению приписывалось множество формул, которые выражали не строение вещества, а лишь различные реакции его образования.

А. М. Бутлеров вопреки господствовавшим мнениям заявил, что вполне возможно методами химии познать свойства и строение вещества. Девяносто лет назад, в 1861 году, он выступил на съезде немецких врачей и натуралистов в городе Шпейере, куда был приглашён в качестве гостя, с докладом «О химическом строении веществ». Бутлеров заявил, что пора основать понятия о химической конституции веществ на идеях валентности.

Основные положения развитой им новой теории Бутлеров выразил в следующих словах: «Исходя от мысли, что каждый химический атом, входящий в состав тела, принимает участие в образовании этого последнего и действует здесь определённым количеством принадлежащей ему химической силы (средства), я называю химическим строением распределение действия этой силы, вследствие которого химические атомы, посредственно или непосредственно влияя друг на друга, соединяются в химическую частицу».

Американские и западноевропейские «историки» науки до сих пор пытаются оспаривать приоритет русского учёного в создании структурной теории, приписывая его то немецкому химику Кекуле, то шотландцу Куперу, то английскому учёному Франкланду. Претендовал на него и немецкий

химик Эрленмейер. Относительно его претензий Бутлеров писал: «Не могу не заметить, что статья его написана позже заседаний в Шпейере, позже наших многочисленных свиданий и разговоров, и что, следовательно, я имею право защищать перед ним старшинство моей идеи».

Для защиты чести русской науки и своего приоритета Бутлеров даже совершил поездку за границу, во время которой едва не погиб. В Средиземном море, по которому плыл на пароходе Бутлеров, разыгрался 12-бальный шторм. Огромные волны, перекачываясь по палубе корабля, унесли в море восемь матросов и смыли весь груз. Паника охватила пассажиров. Бутлеров сохранял спокойствие. Он самоотверженно работал в качестве простого матроса, спасая людей. Когда шторм утих и корабль был спасён, французский капитан выразил русскому учёному своё восхищение и благодарность. Следует напомнить, что Бутлеров был очень многогранным человеком: горячо любя химию, он был в то же время садоводом, зоологом, музыкантом, страстным охотником и отличным пловцом.

Представлениям химиков-идеалистов об атоме, как о некоей «воображаемой» или «умозрительной» категории, реально в природе не существующей, Бутлеров противопоставил своё материалистическое представление об атоме. Он писал: «При наших суждениях, мы должны говорить о них (атомах.— М. А.), как о реальных предметах, если не хотим впасть в полнейшую темноту и неопределённость».

Бутлеровская теория утверждала, что свойства любого вещества зависят от его химического строения. До Бутлерова исследователи не могли ответить на вопрос, почему два вещества, имеющие один и тот же состав, резко различаются по своим свойствам.

Это явление, названное изомерией, впервые научно объяснил Бутлеров. На основе своей структурной теории он доказал, что причина здесь в различном способе соединения атомов в молекулах этих веществ, то есть в различии их химического строения. Учение Бутлерова позволило проникнуть «внутрь молекулы», познать её конституцию.

Материалистической бутлеровской структурной теории химики-идеалисты противопоставляют ныне «теорию резонанса».

У сторонников этой теории, утверждающих, что они открыли «новейшие концепции химической связи», речь идёт не о реальной молекуле, а лишь о воображаемой. Молекулу каждого вещества, по их мнению, надо представлять, как «помесь» нескольких «возможных», то есть не реальных структур, а вытекающих из приближённых расчётов математических функций. Один из авторов теории резонанса, американский химик Д. Уэланд утверждает: «Структуры, между которыми имеется резонанс, являются обычно только мысленными построениями... Идея резонанса ...не отражает какого-либо внутреннего свойства самой молекулы, а является математическим способом, изобретённым физиком или химиком для собственного удобства».

Приверженцы теории резонанса приписывают одной и той же молекуле множество структур, являющихся результатом отвлечённого математического подсчёта и надуманных формул. Молекуле нафталина приписываются, например, 42 структурные формулы, антрацена — более 400. Отказавшись от установления единой структурной формулы для молекулы вещества, теоретики резонанса на деле вновь вернулись к порочной, отвергнутой ещё Бутлеровым идее «непознаваемости вещества».

Относительно допущения возможности «одновременного совмещения в одной и той же частице различных строений» Бутлеров писал: «Такое допущение было бы, очевидно, нелепостью».

Теория резонанса есть полное отрицание идей химизма, и естественно, что её сторонники вообще приходят к отрицанию химии, как науки. Вышеупомянутый Д. Уэланд уверяет, что на химическом языке теорию резонанса объяснить невозможно. «Основы этой теории, — пишет он, — надо искать в математических недрах квантовой механики, и поэтому изложить теорию полно и строго можно только на математическом языке».

По этому же пути «ликвидации химической науки» пошли и некоторые советские химики, некритически воспринявшие идеалистические концепции зарубежных химиков. М. В. Волькенштейн, например, пришёл к полному отрицанию химии как науки, утверждая, что развитие химии «при-

вело её к слиянию с физикой». Одним росчерком пера М. В. Волькенштейн отменяет химию как науку.

Сторонники теории резонанса тщательно избегают и обходят учение великого русского химика. Так, мы не встречаем имени Бутлерова в книге В. Н. Кондратьева «Структура атомов и молекул», хотя в ней названы сотни иностранных авторов; ни разу не вспоминает Бутлерова в своей книге и М. В. Волькенштейн. Точно так же поступили «пропагандисты» теории резонанса Я. К. Сыркин и М. Е. Дяткина. Они не только перевели и редактировали книги Паулинга, Уэланда, но и сами написали объёмистую книгу, посвящённую этой теории. Пренебрежение к А. М. Бутлерову замечено, видимо, у американских учителей.

Теоретиков резонанса можно спросить словами Бутлерова: «Что бы значили «арифметические действия» в реальной науке, если бы они ни чему объективному, существующему в природе не соответствовали». Теория резонанса совершенно бесплодна, она не в состоянии предсказать ни одного реального химического соединения, тогда как структурная теория составила прочную основу органического синтеза.

Бутлеров был не только теоретиком, но и блестящим мастером химического эксперимента. Ему принадлежит ряд замечательных синтезов. Он впервые синтезировал сахаристое вещество, третичные спирты, уротропин и другие органические соединения, положил начало синтезу сложных углеводов. Он предсказал существование изотопов, впервые разработав вопрос о колебаниях атомных весов у одних и тех же элементов; он впервые высказал мысль о делимости атомов, заложил основы замечательного раздела органической химии — стереохимии, то есть учения о расположении атомов в пространстве.

Структурная теория Бутлерова позволила по-новому подойти к искусственному созданию множества химических соединений.

Научные идеи А. М. Бутлерова сохраняют и в наши дни огромное значение. Именно его теории, его методологии мы обязаны новейшими открытиями советских химиков-органиков в области химии нефти, синтеза каучука, в создании искус-

ственного бензина, в изучении строения белковых тел.

Значение работ А. М. Бутлерова в развитии органической химии можно сравнить со значением трудов Д. И. Менделеева в общей и неорганической химии.

А. М. Бутлеров прославил свою родину не только замечательными открытиями, но и создал обширнейшую школу русских химиков-органиков.

Рецензируемая книга составлена очень тщательно. В неё вошло тридцать статей Бутлерова, в том числе очерк развития теоретических воззрений в химии, ряд наиболее выдающихся экспериментальных работ, теоретические статьи «О химическом строении веществ», «Современное значение теории химического строения» и «Химическое строение и «теория замещения». Среди приложений представляет большой интерес работа Б. А. Казанского и Г. В. Бы-

кова «А. М. Бутлеров и теория химического строения» и содержательная статья А. Д. Петрова «А. М. Бутлеров и промышленность основного органического синтеза». В книге дана полная библиография трудов А. М. Бутлерова.

За последние годы советские учёные провели по различным разделам естествознания плодотворные дискуссии, в ходе которых были разоблачены реакционные идеалистические теории. В июне будет проведена подобная дискуссия и по вопросам теории химического строения.

Издание избранных работ А. М. Бутлерова окажет большую помощь в борьбе с зарубежными идеалистическими теориями в современной химии, поможет дальнейшему развитию самой передовой в мире советской химической науки.

М. АЗАРИН.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Апрель—май 1951 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Заработная плата, цена и прибыль. 67 стр. Цена 75 к.

К. Маркс. Наёмный труд и капитал. 47 стр. Цена 60 к.

В. И. Ленин. Крах II Интернационала. 61 стр. Цена 60 к.

В. И. Ленин. К характеристике экономического романтизма. 143 стр. Цена 1 р. 75 к.

И. В. Сталин. Отчётный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г. 78 стр. Цена 1 р.

И. В. Сталин. Отчётный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г. 56 стр. Цена 1 р.

И. В. Сталин. Сочинения. Том 13. 423 стр. Цена 6 р.

Внешняя политика Советского Союза. 1948 г. Часть первая. 475 стр. Цена 9 р. 50 к.

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б). О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. 46 стр. Цена 60 к.

В. Габуня. Двенадцатый съезд РКП(б). 119 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. Кузин. Как вести занятия в политшколе (Методические советы пропагандисту). 88 стр. Цена 1 р. 15 к.

О Государственном бюджете СССР на 1951 год. Доклад и заключительные слова министра финансов СССР А. Г. Зверева на второй сессии Верховного Совета СССР 3-го созыва 7 и 10 марта 1951 г. Закон о Государственном бюджете СССР на 1951 год. 47 стр. Цена 45 к.

О журналах «Звезда» и «Ленинград». Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Постановление ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. О кинофильме «Большая жизнь». Постановление ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 г. Об опере «Великая дружба» В. Мурадели. Постановление ЦК ВКП(б) от 10 марта 1948 г. 32 стр. Цена 25 к.

Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах выполнения четвёртого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 годы. 21 стр. Цена 25 к.

В. Степанов. Партийная организация в борьбе за стахановский завод. 56 стр. Цена 70 к.

П. А. Шария. О некоторых вопросах коммунистической морали. 280 стр. Цена 6 р. 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Павел Далекский. На сопках Маньчжурии. Роман. Книга I. 640 стр. Цена 15 р. Книга II. 680 стр. Цена 15 р.

Любомир Дмитерко. Стихотворения. Авторизованный перевод с украинского. 152 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Ермилов. А. П. Чехов. Драматургия Чехова. 511 стр. Цена 13 р. 50 к.

Елена Катерли. Бронзовая прялка. Роман. 308 стр. Цена 8 р. 25 к.

В. Маяковский. Стихотворения. Поэмы. (Библиотека поэта. Малая серия). Вступительная статья Н. Маслина. Подготовка текста и примечания В. Катаняна. Второе издание. Том первый (1912—1921). 403 стр. Цена 8 р. Том второй (1922—1925). 407 стр. Цена 9 р. Том третий (1926—1930). 356 стр. Цена 8 р.

В. Я. Шишков. Повести и рассказы. 640 стр. Цена 16 р. 50 к.

Александр Штейн. Пьесы. 204 стр. Цена 5 р.

Степан Щипачёв. Стихи и поэмы. 252 стр. Цена 4 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ольга Берггольц. Стихотворения и поэмы. 180 стр. Цена 6 р. 75 к.

Рудольф Блауман. Рассказы. Перевод с латышского А. Блюмфельд. 312 стр. Цена 5 р. 50 к.

Б. Бурсов. «Мать» М. Горького и вопросы социалистического реализма. 168 стр. Цена 2 р. 50 к.

Ф. В. Гладков. Сочинения в пяти томах. Том третий. Повести и рассказы. 1940—1945 гг. 400 стр. Цена 12 р.

Мехти Гусейн. Апшерон. Роман. Авторизованный перевод с азербайджанского Мир Джабара и А. Садовского. 312 стр. Цена 6 р.

Теодор Драйзер. Собрание сочинений в 12 томах. Том первый. Сестра Керри. 499 стр. Цена 15 р.

Хенрик Ибсен. Избранные сочинения. 376 стр. Цена 19 р.

Г. Караславов. Сноха. Роман. Перевод с болгарского И. Шептунова и А. Эмильева. 196 стр. Цена 5 р. 25 к.

М. Коцюбинский. Собрание сочинений в трёх томах. Перевод с украинского. Том первый. Повести и рассказы. 528 стр. Цена 10 р. Том второй. Повести и рассказы. 416 стр. Цена 10 р.

Н. С. Лесков. Рассказы и повести. 260 стр. Цена 3 р. 50 к.

Ксения Львова. На лесной полосе. Повесть. 112 стр. Цена 2 р.

Н. Ляшко. Рассказы. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

М. Марич. Северное сияние. Исторический роман. 780 стр. Цена 14 р. 50 к.

Е. Наумов. Д. А. Фурманов. Критико-биографический очерк. 180 стр. Цена 2 р. 75 к.

Михаил Садовяну. Митря Кокор. (Роман-газета № 3). 48 стр. Цена 1 р. 50 к.

Леонид Соболев. Морская душа. Рассказы. 424 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Том первый. Стихотворения, сказки, повести и рассказы. 1907—1911 гг. 676 стр. Цена 18 р.

Уйгурские народные сказки. Составили и перевели с уйгурского М. Н. Кабиров и В. Ф. Шахматов. 128 стр. Цена 2 р.

Я. Эльсберг. А. И. Герцен. Жизнь и творчество. Издание второе, дополненное. 551 стр. Цена 11 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Для родной школы. (Советы по изготовлению гербариев, коллекций насекомых и минералов). 128 стр. Цена 1 р. 20 к.

Игры пионеров для младшего и среднего возраста. Издание 2-е, дополненное. 186 стр. Цена 5 р. 50 к.

Д. Колганов. Юный рыболов. 64 стр. Цена 50 к.

Т. Колоницкий. Марксизм-ленинизм о религии (лекция). 38 стр. Цена 50 к.

И. Коротков. Утренняя гимнастика в пионерском лагере. 29 стр. Цена 50 к.

В. Корчагина. Юные натуралисты летом. 160 стр. Цена 3 р.

Н. Мельникова. Выращивание овощей в комнатных условиях. 32 стр. Цена 25 к.

Н. Набатников. Плавание. (Пособие для вожатых и руководителей физического воспитания в пионерских лагерях). 28 стр. Цена 50 к.

Песни о Ленине и Сталине. 191 стр. Цена 7 р.

Пионерское лето в городе. (Советы вожатому). 2-е издание, исправленное и переработанное. 288 стр. Цена 7 р.

А. Примаковский. Как работать с книгой. (Библиотека комсомольского пропагандиста). 38 стр. Цена 60 к.

А. Стекольников. В новой Болгарии. («Молодёжи о странах народной демократии»). 182 стр. Цена 4 р. 25 к.

Б. Тартаковский. Старшеклассники. 160 стр. Цена 3 р. 50 к.

С. Худяков. О преодолении религиозных предрассудков (лекция). 31 стр. Цена 45 к.

М. Черевков. Ходьба и бег. (Методическое пособие для вожатых и руководителей физического воспитания в пионерских лагерях). 23 стр. Цена 40 к.

Н. Шпанов. Поджигатели. Роман. 811 стр. Цена 20 р.

ДЕТГИЗ

В. Апанян. На берегу Севана. Повесть. Перевод с армянского А. Гюль-Назарянц. 408 стр. Цена 10 р. 50 к.

П. Бажов. Зелёная кобылка. Повесть. 72 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Барто. Твой праздник. Стихи. 16 стр. Цена 50 к.

А. Беляков. Электричество вокруг нас. 88 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Бианки. Лесные домишки. Рассказы. 64 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Василенко. Мышонок. Рассказ. 48 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Волк. Корея сражается. Книга очерков. 64 стр. Цена 2 р. 40 к.

Л. Вышеславский. Пионерская тайна. Поэма. 48 стр. Цена 2 р.

М. Горбовцев. Мишкино детство. Повесть. 208 стр. Цена 3 р. 40 к.

Н. Жданов. Морская соль. 96 стр. Цена 2 р.

М. Ивановский. Разведка далёких миров. 416 стр. Цена 11 р. 25 к.

Х. Исмаилов. Упоямец. Повесть. Перевод с туркменского А. Аборского. 112 стр. Цена 3 р. 40 к.

Казахские народные сказки. 64 стр. Цена 2 р. 40 к.

Каравай. Русские народные песенки-игры. Обработка М. Булатова. 18 стр. Цена 3 р. 10 к.

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. 48 стр. Цена 1 р. 80 к.

С. Маршак. Как печатали вашу книгу. Стихи. 14 стр. Цена 3 р.

С. Маршак. Откуда стол пришёл. Стихи. 12 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Нерис. Избранное. Перевод с литовского. Стихи. 176 стр. Цена 3 р. 10 к.

Э. Огнецвет. Песня о пионерском флаге. Стихи и поэма. Перевод с белорусского. 48 стр. Цена 80 к.

М. Плисецкий. Как произошёл и развился человек. 96 стр. Цена 2 р. 30 к.

Б. Полевой. Подвиг. 32 стр. Цена 80 к.

Б. Прилежаева-Барская. В древнем Киеве. Исторический очерк. 112 стр. Цена 3 р. 20 к.

Е. Рысс. Воспитанник капитанов. Повесть. 240 стр. Цена 5 р. 20 к.

В. Соколов. Утро новой Болгарии. Очерки. 120 стр. Цена 4 р. 10 к.

Ю. Сотник. Рассказы. 64 стр. Цена 1 р. 60 к.

Г. Фаст. Последняя граница. Перевод с английского Е. Валишевой. 240 стр. Цена 5 р. 80 к.

Ф. Честнов. В мире радиоволн. 200 стр. Цена 6 р. 10 к.

А. Шахов. Путешествия по Кавказу. 94 стр. Цена 3 р. 40 к.

И. Г. Винокуров, Ф. Е. Флорич. Подвиг адмирала Невельского. 158 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. И. Еголин. Горький — борец за мир и демократию. 55 стр. Цена 1 р. 25 к.

Г. Ф. Коган. Полотняный завод (По пушкинским местам). 104 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. В. Кудрявцев, В. Таранушенко. Музыкальная грамота. 128 стр. Цена 2 р.

Н. М. Метёлкин, М. П. Сафонов. Колхозная библиотека. 79 стр. Цена 2 р. 40 к. 5 минут на размышление. Сборник. 341 стр. Цена 8 р.

Советские народные песни. 77 стр. Цена 2 р.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

Н. Ф. Алкеев. Механическая разделка древесины на складах. 284 стр. Цена 10 р. 10 к.

Г. П. Быстров. Спичечный автомат. 84 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. А. Леонтьев, Е. А. Бежанбек, И. И. Лазаревич, Л. П. Крутиков. Опыт аэросева в песчаных пустынях Средней Азии. 16 стр. Цена 35 к.

Б. А. Устинов. Основы строительного дела. 248 стр. Цена 9 р.

ГОСТЕХИЗДАТ

И. М. Гельфанд. Лекции по линейной алгебре. Издание второе, переработанное и дополненное. 252 стр. Цена 10 р. 30 к.

А. И. Лурье. Некоторые нелинейные задачи теории автоматического регулирования. («Современные проблемы механики»). 216 стр. Цена 7 р. 50 к.

Н. М. Нестерович. Геометрические построения в плоскости Лобачевского. С 423 задачами на вычисление и построение. 304 стр. Цена 12 р. 30 к.

Н. Г. Новикова. «Необыкновенные» небесные явления. (Научно-популярная библиотека). Издание второе. 63 стр. Цена 1 р.

Ю. Г. Перель. Выдающиеся русские астрономы. 216 стр. Цена 5 р. 25 к.

Г. П. Толстов. Ряды Фурье. (Физико-математическая библиотека инженера). 396 стр. Цена 13 р. 80 к.

С. Э. Фриш и А. В. Тиморева. Курс общей физики. Том I. Издание третье, дополненное. 574 стр. Цена 13 р. 50 к.

А. Я. Хинчин. Математические основания квантовой статистики. 256 стр. Цена 10 р. 20 к.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР (Вторая сессия) 6—12 марта 1951 г. Стенографический отчет. 376 стр. Цена 15 р. (Стенографический отчет издан на русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском, эстонском, финском, татарском, башкирском и кумыкском языках).

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Агитационно-массовая работа в подразделении. Сборник статей в помощь заместителю командира подразделения по политической части. 132 стр. Цена 2 р. 30 к.

П. Автомонов. В Курляндском котле. 118 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Н. Ахутин. Преобразование рек СССР. 88 стр. Цена 1 р. 50 к.

Е. Воробьев. Нет ничего дороже. Рассказы. 288 стр. Цена 8 р.

В. Дегтярёв. Моя жизнь. Литературная запись Г. Нагаева. 168 стр. Цена 3 р. 75 к.

П. И. Мусьяков. Войсковая дружба и товарищество. 80 стр. Цена 1 р. 50 к.

К. К. Папок. Бензины. 102 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. А. Смородинцев. Грипп и борьба с ним. («Научно-популярная библиотека солдата»). 52 стр. Цена 75 к.

Е. Шварц. Партийная организация подразделения в борьбе за высокую воинскую дисциплину. 68 стр. Цена 1 р. 35 к.

М. Юрьев. Взаимная выручка в бою. 38 стр. Цена 2 р. 50 к.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. Всеволожский. В морях твои дороги. Повесть. 240 стр. Цена 7 р. 50 к.

П. Гаврилов. Это было под Севастополем. Рассказы. («Библиотека матроса»). 62 стр. Цена 1 р.

Н. Гильярди. Борис Сафонов. («Моряки—Герои Советского Союза»). 128 стр. Цена 2 р. 50 к.

ГЕОГРАФИЗ

Е. П. Маслов. Крым. 52 стр. Цена 85 к.

Н. А. Новосёлов. Турция. 40 стр. Цена 75 к.

С. Л. Семёнов. Европейский Север РСФСР. 53 стр. Цена 85 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

Библиотека самообразования. (Круг чтения). Выпуск III. Советская художественная литература. 222 стр. Цена 8 р.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Заседания Верховного Совета РСФСР 3-го созыва (Первая сессия) 13—17 апреля 1951 г. Стенографический отчёт. 216 стр. Цена 10 р.

ИЗДАНИЕ «ВЕДОМОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР»

Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР за 1950 год. 112 стр. Цена 5 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

М. Н. Бучин. Исследование трения смазанных поверхностей при низких температурах. 57 стр. Цена 3 р.

Витаминные ресурсы и их использование. Сборник I. 293 стр. Цена 13 р. 50 к.

Горьковские чтения 1949—1950 гг. 482 стр. Цена 28 р.

С. Н. Дурылин. Пушкин на сцене. 286 стр. Цена 13 р.

Литературное наследство. В. Г. Белинский. Том III. 606 стр. Цена 50 р.

П. П. Паренего. Мир звёзд. 109 стр. Цена 3 р.

Г. В. Платонов. Мирозрение К. А. Тимирязева. 289 стр. Цена 15 р.

Подвеска автомобиля. Сборник статей. 274 стр. Цена 18 р. 50 к.

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том VIII. 579 стр. Цена 15 р. Том IX. 597 стр. Цена 15 р.

Сборник документов по социально-экономической истории Византии. 318 стр. Цена 21 р.

А. И. Северова. Вегетативное размножение хвойных. 70 стр. Цена 3 р.

А. Ф. Шишкин. Буржуазная мораль — оружие империалистической реакции. 163 стр. Цена 6 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рената Вигано. Товарищ Аньезе. Перевод с итальянского. 215 стр. Цена 7 р. 90 к.

И. Индерссон. История Швеции. Перевод с шведского. 408 стр. Цена 20 р. 25 к.

Коммунистическая партия Чехословакии в борьбе за свободу. Перевод с чешского. 224 стр. Цена 11 р. 85 к.

Конституция и основные законодательные акты Венгерской Народной Республики. Перевод с венгерского. 247 стр. Цена 10 р. 75 к.

Махмут Макал. Наша деревня. Записки турецкого учителя. Перевод с турецкого. 151 стр. Цена 3 р. 15 к.

На переломе. Сборник немецких рассказов. Перевод с немецкого. 440 стр. Цена 18 р.

Пять лет народной Польши. Перевод с польского. 365 стр. Цена 17 р. 50 к.

Э. Серени. Развитие капитализма в итальянской деревне. (1860—1900). Перевод с итальянского. 378 стр. Цена 17 р. 40 к.

Б. Синг. Продовольственная проблема Индии. Перевод с английского. 174 стр. Цена 5 р. 80 к.

ПРОФИЗДАТ

Красные уголки. (Из опыта работы). 60 стр. Цена 75 к.

Сборник руководящих материалов по физической культуре и спорту. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

С. Скотников. Физкультурники одного завода. Опыт работы коллектива физкультуры. 44 стр. Цена 1 р. 10 к.

МАШГИЗ

В. И. Анохин. Устройство автомобиля. (Для шофёров всех классов). 508 стр. Цена 21 р.

С. И. Березин. Счётная логарифмическая линейка. Практическое руководство. Издание 2-е. 48 стр. Цена 1 р. 40 к.

Е. И. Гальперин. Наладка зуборезных станков. 172 стр. Цена 9 р. 90 к.

М. И. Ионычев и В. М. Настюков. Котельщик Василий Земцев. («Новаторы производства»). 40 стр. Цена 1 р. 10 к.

Каталог запасных частей автомобиля «Москвич». Составили Ф. М. Губарь и Ю. А. Хальфан. 164 стр. Цена 14 р.

М. С. Лебедев. Шлифование металлов. Пособие для повышения квалификации рабочих-шлифовальщиков. 204 стр. Цена 8 р. 30 к.

А. Н. Оглобин. Технология токарного дела. 448 стр. Цена 20 р.

Л. П. Смирнов. Теория рабочего процесса в поршневой паровой машине. 156 стр. Цена 7 р. 55 к.

Б. А. Таубер. Сборочно-сварочные приспособления и механизмы. 416 стр. Цена 18 р. 90 к.

МЕДГИЗ

Г. И. Арсеньев. В. А. Манассеин (1841—1901 гг.). 196 стр. Цена 8 р. 10 к.

М. И. Барсуков. Великая Октябрьская социалистическая революция и организация советского здравоохранения (1917—18 гг.). 316 стр. Цена 13 р. 90 к.

Ю. И. Бернадский. Советская стоматологическая литература. 692 стр. Цена 31 р. 80 к.

Э. М. Визен. Головные боли. 68 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. С. Вишневский. Лечение минеральными водами заболеваний пищеварительного тракта. 120 стр. Цена 3 р. 80 к.

С. А. Гиляревский. Эндокардиты. 112 стр. Цена 3 р. 70 к.

М. М. Гуревич. Руководство для санинструкторов. 678 стр. Цена 27 р. 80 к.

Г. Я. Дехтярь. Электрокардиография. 316 стр. Цена 11 р. 15 к.

А. Л. Каплан. Акушерство. 528 стр. Цена 10 р. 15 к.

В. М. Керниг. Клинические исследования. 164 стр. Цена 7 р. 20 к.

Ф. А. Михайлов. Туберкулёз. 72 стр. Цена 2 р. 30 к.

П. И. Осадченко. Внутриаптечный контроль качества лекарств. 240 стр. Цена 8 р. 60 к.

Э. Г. Парамонова. Лечебное питание при болезнях сердца. 44 стр. Цена 30 к.

А. Н. Самойлов, А. Г. Ченцов. Пособие к практическим занятиям по курсу глазных болезней. 144 стр. Цена 3 р. 65 к.

В. И. Товарнический, Г. П. Глухарев. Ультрафильтры и ультрафильтрация. 92 стр. Цена 3 р.

МУЗГИЗ

И. Бэлза. 21-я и 27-я симфонии Н. Мяскового. Путеводитель. 36 стр. Цена 1 р.

Л. Синявер. Шопен. 96 стр. Цена 3 р.

А. Соловцов. Фортепианные концерты Рахманинова. 60 стр. Цена 2 р.

Г. Фёдорова, М. А. Балакирев. 80 стр. Цена 2 р. 25 к.

М. Янковский. Шаляпин. 128 стр. Цена 5 р.

УЧПЕДГИЗ

Е. Н. Горячкин. Электромонтаж на внеклассных занятиях по физике. 248 стр. Цена 5 р. 20 к.

Н. П. Кузин и А. В. Фохт. Методическое пособие по истории СССР. 163 стр. Цена 3 р. 70 к.

Р. Е. Левина. Опыт изучения неговорящих детей (алаликов). 120 стр. Цена 2 р. 15 к.

И. П. Павлов. Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности. 264 стр. Цена 6 р. 85 к.

В. Т. Пашуто. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в XIII веке. 132 стр. Цена 2 р. 90 к.

Ю. В. Рычин. Деревья и кустарники. 188 стр. Цена 4 р. 55 к.

С. В. Тураев. Гёте в школе. 120 стр. Цена 1 р. 90 к.

Хрестоматия по истории древнего мира. Под редакцией академика В. В. Струве. Том I. 359 стр. Цена 8 р. 50 к.

Г. Б. Эренбург. Очерки национально-освободительной борьбы китайского народа в новейшее время. 240 стр. Цена 6 р. 45 к.

«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

Гимнастика. Под общей редакцией А. Т. Брыкина. 512 стр. Цена 10 р. 50 к.

А. Н. Крестовников. Очерки по физиологии физических упражнений. 531 стр. Цена 12 р. 35 к.

А. А. Минх. Руководство к практическим занятиям по гигиене. 246 стр. Цена 6 р. 20 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Я. Вышинский. Вопросы международного права и международной политики. 800 стр. Цена 20 р.

А. А. Герцензон. Преступность в странах империализма. 176 стр. Цена 5 р. 65 к.

А. Е. Лунев. Государственный контроль в СССР. 80 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Б. Свирская, И. Я. Басс. Жилищные права граждан. 71 стр. Цена 1 р.

Справочник по законодательству для работников государственной промышленности СССР. Составитель Х. Э. Бахчисарайцев. 632 стр. Цена 21 р. 15 к.

Г. М. Шур. Суд Линча — орудие американской реакции. 72 стр. Цена 90 к.

КРЫМИЗДАТ

А. Л. Андреев. Соблюдайте санаторный режим. (Врачебные советы курортнику). 80 стр. Цена 1 р.

И. Батулин, С. Монок. Во имя жизни. Очерки. 56 стр. Цена 1 р. 25 к.

Б. Борисов. Подвиг Севастополя. Записки председателя Севастопольского городского комитета обороны. 328 стр. Цена 10 р.

Н. Данилевская. Золотые ключики. Очерк. 28 стр. Цена 1 р.

Вл. Осинин. За Одером утро. Сборник стихов. 64 стр. Цена 2 р.

ЛЕНИЗДАТ

С. И. Волков. Болезни и повреждения клубней картофеля. 64 стр. Цена 2 р.

Г. Н. Воронин. Формовщик чугунолитейного цеха. 90 стр. Цена 2 р. 50 к.

Михаил Дудин. Красная площадь. Поэма. 44 стр. Цена 3 р.

П. И. Лаврик. Выведение новых устойчивых сортов яблони. 170 стр. Цена 3 р. 50 к.

И. М. Михайлов. Рыболов-любитель. 80 стр. Цена 2 р.

А. С. Николаев. Малярные работы. 116 стр. Цена 3 р.

Глеб Пагирев. Мы, мирные люди. Стихи. 164 стр. Цена 4 р.

П. Петунин и М. Шургин. Наш Кировский завод. 1801—1951 гг. 78 стр. Цена 2 р.

С. А. Поликарпов. Качество поверхности, обработанной на токарном станке. 95 стр. Цена 3 р.

В. С. Соминский. Опыт творческого сотрудничества учёных Ленинградского политехнического института имени Ленсовета с работниками промышленности. 96 стр. Цена 2 р.

**НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Н. Ванюков. Культура люцерны в Западной Сибири. 96 стр. Цена 1 р. 45 к.

С. Затучный. Глубокая вспашка. Рассказы. 64 стр. Цена 1 р. 65 к.

И. Молчанов-Сибирский. Здравствуй, лагеря! Стихи для детей. 40 стр. Цена 1 р. 50 к.

Илья Мухачев. Моё родное. Стихи и поэмы. 208 стр. Цена в переплёте 8 р. 35 к.

Е. Орлова. Там, где протекает Обь. 214 стр. Цена 5 р. 80 к.

В. Пухначёв. Беспокойные сердца. Очерки. 96 стр. Цена 2 р. 45 к.

К. Седых. Даурия. Роман. 368 стр. Цена 22 р. 50 к.

Кондр. Урманов. Времена года. Рассказы. 192 стр. Цена 5 р. 35 к.

К. Шадрин. Колхоз «Гигант». 64 стр. Цена 1 р.

**ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

М. Н. Гушин. Новый метод учёта материалов. 62 стр. Цена 1 р. 40 к.

И. И. Малахов, Н. И. Фольмер. Как повысить полевую всхожесть семян. 97 стр. Цена 1 р. 45 к.

Д. К. Маргулис. Скоростное резание металлов на ЧТЗ имени Сталина. 178 стр. Цена 5 р.

П. А. Томилов. Рассказ врубмашиниста. (Рассказ Героя Социалистического Труда о стахановском опыте). 32 стр. Цена 25 к.

Л. А. Уткин, Н. М. Шаратов. Лекарственные растения Челябинской области. 127 стр. Цена 2 р. 40 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К-5-06-96.

Сдано в набор 20/IV 1951 г.
А 00294.

Объём 18 печ. л. Тираж 104.000.

Подписано к печати 22/V-51 г.
Заказ № 850

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.